

А.С. ТРИН

А.С.
ТРИН

1



A. C. Truitt

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ШЕСТИ ТОМАХ

Т А.С.
РИН

ТОМ 1

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1965

Собрание сочинений выходит
под общей редакцией
Вл. Россельса.

Иллюстрации
художника С. Г. Бродского.

РЫЦАРЬ МЕЧТЫ

*Мечта разыскивает путь,—
Закреты все пути;
Мечта разыскивает путь,—
Намечены пути;
Мечта разыскивает путь,—
Открыты ВСЕ пути.*

А. С. Грин «Движение». 1919.

1

С первых шагов Грина в литературе вокруг его имени стали складываться легенды. Были среди них безобидные. Уверяли, например, что Грин — отличнейший стрелок из лука, в молодости он добывал себе пищу охотой и жил в лесу на манер куперовского следопыта... Но ходили легенды и злостные.

Свою последнюю книгу, «Автобиографическую повесть» (1931), законченную в Старом Крыму, Грин намеревался предварить коротким предисловием, которое он так и озаглавил: «Легенда о Грине». Предисловие было написано, но не вошло в книгу, и сохранился от него лишь отрывок.

«С 1906 по 1930 год,— писал Грин,— я услышал от собратьев по перу столько удивительных сообщений о себе самом, что начал сомневаться — действительно ли я жил так, как у меня здесь (в «Автобиографической повести». — В. В.) написано. Судите сами, есть ли основание назвать этот рассказ «Легендой о Грине».

Я буду перечислять слышанное так, как если бы говорил от себя.

Плавая матросом где-то около Зурбагана, Лисса и Сан-Рио-ля, Грин убил английского капитана, захватив ящик рукописей, написанных этим англичанином...

«Человек с планом», по удачному выражению Петра Пильского, Грин притворяется, что не знает языков, он хорошо знает их...»

Собравшись по перу и досужие газетчики, вроде желтого журналиста Петра Пильского, изощрялись, как могли, в самых нелепых выдумках о «загадочном» писателе.

Грина раздражали эти небылицы, они мешали ему жить, и он не раз пытался от них отбиться. Еще в десятых годах во вступлении к одной из своих повестей писатель иронически пересказывал версию об английском капитане и его рукописях, которую по секрету распространял в литературных кругах некий беллетрист. «Никто не мог бы поверить этому, — писал Грин. — Он сам не верил себе, но в один несчастный для меня день ему пришла в голову мысль придать этой истории некоторое правдоподобие, убедив слушателей, что между Галичем и Костромой я зарезал почтенного старика, воспользовавшись только двугривенным, а в заключение бежал с каторги...»

Горька ирония этих строк!

Правда, что жизнь писателя была полна странствий и приключений, но ничего загадочного, ничего легендарного в ней нет. Можно даже сказать так: путь Грина был обычным, протоптанным, во многих своих приметах типичным жизненным путем писателя «из народа». Совсем не случайно некоторые эпизоды его «Автобиографической повести» так живо напоминают горьковские страницы из «Моих университетов» и «В людях».

Жизнь Грина была тяжела и драматична; она вся в тычках, вся в столкновениях со свинцовыми мерзостями царской России, и, когда читаешь «Автобиографическую повесть», эту исповедь страдавшей души, с трудом, лишь под давлением фактов, веришь, что та же рука писала заражающие своим жизнелюбием рассказы о морях и путешественниках, «Алые паруса», «Блестающий мир»... Ведь жизнь, кажется, сделала все, чтобы очерствить, ожесточить сердце, смять и развеять романтические идеалы, убить веру во все лучшее и светлое.

Александр Степанович Гриневский (Грин — его литературный псевдоним¹) родился 23 августа 1880 года в Слободском, уездном городке Вятской губернии, в семье «вечного поселенца», конторщика пивоваренного завода. Вскоре после рождения

¹ Один из критиков не так давно «догадался», что писатель укоротил свою фамилию для того, чтобы она звучала на «заграничный» лад. Грин объяснял происхождение своего псевдонима по-другому. «Грин!» — так коротко окликали ребята Гриневского в школе. «Грин-блин» — была одна из его детских кличек.

Именем «А. С. Грин» подписывал писатель и ранние свои рассказы, написанные в бытовой, реалистической манере. В них действие происходит не в романтических Зурбагане или Лиссе, появившихся в произведениях Грина позже, а в Киеве, Петербурге, Пензе, на Урале.

Литературный псевдоним был необходим писателю. Появившись в печати подлинная фамилия, его сразу же водворили бы в места не столь отдаленные. Высланный в мае 1906 года в г. Туринск, Тобольской губернии, на четыре года, «поднадзорный» Александр Гриневский 11 июня 1906 года бежал из ссылки и жил в Петербурге по чужому паспорту.

сына семья Гриневских переехала в Вятку. Там и прошли годы детства и юности будущего писателя. Город дремучего невежества и классического лихоимства, так красочно описанный в «Былом и думах», Вятка к девяностым годам мало в чем изменилась с той поры, как отбывал в ней ссылку Герцен.

«Удушливая пустота и немота», о которых писал он, царили в Вятке и в те времена, когда по ее окраинным пустырям бродил смуглый мальчуган в серой заплатанной блузе, в уединении изображавший капитана Гаттераса и Благородное Сердце. Мальчик слыл странным. В школе его звали «колдуном». Он пытался открыть «философский камень» и производил всякие алхимические опыты, а начитавшись книги «Тайны руки», принялся предсказывать всем будущее по линиям ладони. Домашние попрекали его книгами, бранили за своеволие, взывали к здравому смыслу. Грин говорил, что разговоры о «здравом смысле» приводили его в трепет сызмальства и что из Некрасова он тверже всего помнил «Песню Еремушке» с ее гневными строчками:

— В пошлой лени усыпляющий
Пошлых жизни мудрецов,
Будь он проклят, растлевающий
Пошлый опыт — ум глупцов!

«Пошлый опыт», который некрасовская нянечка вдальбливает в голову Еремушке («Ниже тоненькой былиночки надо голову клонить»...), вдальбливали и Грину. Очень похожую песню певала ему мать.

«Я не знал нормального детства,— писал Грин в своей «Автобиографической повести». — Меня в минуты раздражения, за своеволие и неудачное учение, звали «свинопасом», «золоторотцем», прочили мне жизнь, полную пресмыкания у людей удачливых, преуспевающих. Уже больная, измученная домашней работой мать со странным удовольствием дразнила меня песенкой:

Ветерком пальто подбито,
И в кармане ни гроша,
И в неволе —
Поневоле —
Затанцуешь антраша!

.

Философствуй тут как знаешь,
Иль как хочешь рассуждай,
А в неволе —
Поневоле —
Как собака, прозябай!

Я мучился, слыша это, потому что песня относилась ко мне, предрекая мое будущее...»

Жутко читать эти строки. Но так было...

Грина потрясала чеховская «Моя жизнь» со все решительно объясняющим ему подзаголовком «Рассказ провинциала». Грин считал, что этот рассказ лучше всего передает атмосферу провинциального быта 90-х годов, быта глухого города. «Когда я читал этот рассказ, я как бы полностью читал о Вятке», — говорил писатель. Многие из биографии провинциала Мисаила Полознева, вознамерившегося жить «не так как все», было уже ведомо, было выстрадано Грином. И в этом нет ничего удивительного. Чехов запечатлел приметы эпохи, а юноша Гриневский был ее сыном. Интересно в этом отношении признание писателя о своих ранних литературных опытах.

«Иногда я писал стихи и посылал их в «Ниву», «Родину», никогда не получая ответа от редакций, — рассказывал Грин. — Стихи были о безнадежности, беспросветности, разбитых мечтах и одиночестве, — точь-в-точь такие стихи, которыми тогда были полны еженедельники. Со стороны можно было подумать, что пишет сорокалетний чеховский герой, а не мальчик...»

Можно вполне поверить, что юный поэт писал стихи, отталиваясь более всего от стихов же, невольно подражая тому, что обычно печаталось. Однако и жизненная обстановка, его окружавшая, тоже была типично «чеховская», рано старящая душу. В удушливой пустоте и немоте вятского быта легко рождались стихи о безнадежности, беспросветности, разбитых мечтах и одиночестве.

Юноша искал спасения в другой, «томительно желанной им действительности»: в книгах, лесной охоте. С отроческих лет он знал уже не только Фенимора Купера, Майн Рида, Густава Эмара и Луи Жаколио, но и всех русских классиков. Увлекался романами Виктора Гюго и Диккенса, стихами и новеллами Эдгара По, читал научные книги. Но что более всего манило мальчика, о чем он мечтал упорно и страстно, так это море, «живописный труд мореплавания». Кто скажет, как зарождались эти грезы о вольном ветре, о синих просторах и белых парусах в душе мальчугана, взраставшего в сухопутной глухой Вятке, откуда, как говорится, хоть три года скачи, ни до какого моря не доскачешь? Легко догадаться, что свою роль тут сыграли книги Жюль Верна, Стивенсона, морские рассказы Станюковича, как раз тогда печатавшиеся в газетах и журналах. Впрочем, вот другой пример. Новиков-Прибой, как известно, родился и рос тоже не у моря, а в медвежьем углу Тамбовщины, где чуть ли не единственной книгой был псалтырь. Но о море, морской службе мальчик Новиков мечтал столь же страстно и целеустремленно. И в конце концов он добился своего: пошел не в монастырские службы, как того желали родители, а на флот.

Книги книгами, но юные сердца часто поворачивает сама жизнь, сила живого примера. Судьбу будущего автора «Соленой

купели» и «Цусимы» повернул тот веселый, ни бога, ни черта не боящийся матрос, что однажды встретился деревенскому мальчишке на лесной тамбовской дороге. Новиков-Прибой описал этот случай в автобиографическом рассказе, который так и назван — «Судьба».

Судьбу Грина поворачивали не только книги. Во «флотчи-ках», изредка появлявшихся в городе, вятские обыватели видели опасных смутьянов, нарушителей спокойствия. Именно это и тянуло к ним романтически настроенного юношу. Уже в самой невиданно белоснежной форме, в бескозырке с лентами, в поло-сатой тельняшке чудился ему вызов всему сонному, неподвижному, заскорузлomu, «вятскому». Грин рассказывает в автобиографии, что, увидев впервые на вятской пристани двух настоящих матросов, штурманских учеников — на ленте у одного было написано «Очаков», на ленте у другого — «Севастополь», — он остановился и смотрел как зачарованный на гостей из иного, таинственного и прекрасного мира. «Я не завидовал, — пишет Грин. — Я испытывал восхищение и тоску».

Летом 1896 года, тотчас же после окончания городского училища, Грин уехал в Одессу, захватив с собой лишь ивовую корзинку со сменой белья да акварельные краски, полагая, что рисовать он будет «где-нибудь в Индии, на берегах Ганга»... Весьма показательная для характера Грина деталь! Рассказав в своей «Автобиографической повести» про то, как он, забывая обо всем на свете, упивался книгами, героической многокрасочной жизнью в тропических странах, писатель иронически добавляет: «Все это я описываю для того, чтобы читатель видел, какого склада тип отправился впоследствии искать места матроса на пароходе». Мальчик из Вятки, отправляющийся на берега Ганга в болотных сапогах до бедер и соломенной «поповской» шляпе, с базарной кошелкой и набором акварельных красок под мышкой, — и в самом деле представлял собою фигуру живописную. Познания, почерпнутые из книг, причудливо переплетались в его юной голове с самыми странными «вятскими» представлениями о действительности. Он был уверен, например, в том, что ступеньки железнодорожного вагона предназначены для того, чтобы поезд на них, как на полозьях, ходил по снегу; паровоз, который он впервые увидел во время своего путешествия в Одессу, показался ему маленьким, невзрачным, — он представлял его с колокольню высотой. Жизнь надо было познавать как бы заново. И тяжки были ее уроки.

Оказалось, что «Ганг» в Одессе так же недосыгаем, как и в Вятке. Поступить на пароход даже каботажного плаванья было непросто. И тут требовались деньги, причем немалые, чтобы оплачивать харчи и обучение. Бесплатно учеников на корабли не брали, а Грин явился в Одессу с шестью рублями в кармане.

Удивляться надо не житейской неопытности Грина, не тем передрягам, которые претерпевает шестнадцатилетний мечтатель, попавший из провинциальной глухомани в шумный портовый город, а тому поистине фанатическому упорству, с каким пробивался он к своей мечте — в море, в матросы. Худенький, узкоплечий, он закалял себя самыми варварскими средствами, учился плавать за волнорезом, где и опытные пловцы, бывало, тонули, разбивались о балки, о камни. Голодный, оборванный, он в поисках «вакансии» неотступно обходил все стоящие в гавани баржи, шхуны, пароходы. И порой добивался своего. Первый раз он плывал на транспортном судне «Платон», совершавшем круговые рейсы по черноморским портам. Тогда он впервые увидел берега Кавказа и Крыма.

Дореволюционные газетчики, строя догадки, утверждали, что автор «Острова Рено» и «Капитана Дюка» — старый морской волк, который обошел все моря и океаны. На самом же деле Грин плывал матросом совсем недолго, а в заграничном порту был один-единственный раз. После первого или второго рейса его обычно списывали. Чаще всего за непокорный нрав.

Не только в книгах, но и в жизни искал юноша необычного, «живописного», героического. А если не находил, то... выдумывал. Очень характерные в этом смысле эпизоды приводит Грин в одном автобиографическом очерке.

«Когда еще юношей я попал в Александрию, — пишет он, — служа матросом на одном из пароходов Русского общества, мне, как бессмертному Тартарену Доде, представилось, что Сахара и львы совсем близко — стоит пройти за город.

Одолев несколько пыльных, широких, жарких, как пекло, улиц, я выбрался к канаве с мутной водой. Через нее не было мостика. За ней тянулись плантации и огороды. Я видел дороги, колодцы, пальмы, но пустыни тут не было.

Я посидел близ канавы, вдыхая запах гнилой воды, а затем отправился обратно на пароход. Там я рассказал, что в меня выстрелил бедуин, но промахнулся. Подумав немного, я прибавил, что у дверей одной арабской лавки стояли в кувшине розы, что я хотел одну из них купить, но красавица арабка, выйдя из лавки, подарила мне этот цветок и сказала: «Селям алейкум». Так ли говорят арабские девушки, когда дарят цветы, и дарят ли они их неизвестным матросам — я не знаю до сих пор.

Равным образом, когда по возвращении с Урала отец спрашивал меня, что я там делал, я преподнес ему «творимую легенду» приблизительно в таком виде: примкнул к разбойникам... Затем ушел в лес, где тайно мыл золото и прокутил целое состояние.

Услышав это, мой отец сделал большие глаза, после чего долго ходил в задумчивости. Иногда, поглядывая на меня, он внушительно повторял: «Да-да. Не знаю, что из тебя выйдет».

В оправдание этих «творимых легенд» можно сказать лишь

то, что мыл золото и ходил в плавание матросом «на все» шестнадцатилетний мальчик-фантазер. Жажда необычного, громкого, далекого от «тихих будней» окурившей Руси, изведанных им сполна, вела его по каменистым дорогам, бросала на горячие пески, манила в чащи лесов, казавшиеся таинственными... Скитаясь по России, он перепробовал самые различные профессии. Грузчик и матрос «из милости» на случайных парходах и парусниках в Одессе, банщик на станции Мураши, землекоп, маляр, рыбак, гасильщик нефтяных пожаров в Баку, снова матрос на волжской барже пароходства Булычев и К°, лесоруб и плотогон на Урале, золотоискатель, переписчик ролей и актер «на выходах», пиaseц у адвоката. Впоследствии Грин вспоминал, что он «в старые времена... в качестве «пожирателя шпага» ходил из Саратова в Самару, из Самары в Тамбов и так далее». Если даже «пожиратель шпага» — метафора, то метафора эта красноречива, она выбрана не случайно. Его хождение в люди само напоминает легенду, в которой физически слабый человек обретает богатырскую силу в мечте, в неизбывной вере в чудесное.

Весной 1902 года юноша очутился в Пензе, в царской казарме. Сохранилось одно казенное описание его наружности той поры. Такие данные, между прочим, приводятся в описании: Рост — 177,4.

Глаза — светло-карие.

Волосы — светло-русые.

Особые приметы: на груди татуировка, изображающая шхуну с бушпритом и фок-мачтой, несущей два паруса...

Искатель чудесного, бредящий морем и парусами, попадает в 213-й Оровайский резервный пехотный батальон, где царили самые жестокие нравы, впоследствии описанные Грином в рассказах «Заслуга рядового Пантелеева» и «История одного убийства». Через четыре месяца «рядовой Александр Степанович Гриневский» бежит из батальона, несколько дней скрывается в лесу, но его ловят и приговаривают к трехнедельному строгому аресту «на хлебе и воде».

Строптивного солдата примечает некий вольноопределяющийся и принимается усердно снабжать его эсеровскими листовками и брошюрами. Грина тянуло на волю, и его романтическое воображение пленила сама жизнь «нелегального», полная тайн и опасностей.

Пензенские эсеры помогли ему бежать из батальона вторично, снабдили фальшивым паспортом и переправили в Киев. Оттуда он перебрался в Одессу, а затем в Севастополь. Хочется привести несколько строчек из «Автобиографической повести», строчек, очень характерных для Грина, для его отношения к своей нелегальной деятельности. С явочным паролем «Петр Иванович кланялся», с чужим паспортом на имя Григорьева

приезжает Грин в Одессу для делового свидания с эсером Геккером:

«Я отыскал Геккера на его даче на Ланжероне. Разбитый параличом старик сидел в глубоком кресле и смотрел на меня недоверчиво, хотя «Петр Иванович кланялся». Он не дал мне литературы, сославшись на очевидное недоразумение со стороны Киевского комитета. Впоследствии мне рассказывали, что мое обращение с ним носило как бы характер детской игры-предложения восхищаться вместе таинственно-романтической жизнью нелегального «Алексея Длинновязого» (кличка, которой окрестил меня «Валериан» — Наум Быховский), а кроме того, я спокойно и уверенно болтал о разных киевских историях, называя некстати имена и давая опрометчивые характеристики...»

Грин оставался тем же фантазером, каким он был, когда рассказывал матросам о своих небывалых приключениях в египетской Александрии или отцу о похождениях на золотых приисках Урала. Понятно, пропагандистская деятельность Грина в Севастополе никак не походила на «детскую игру». За эту «игру» он поплатился тюрьмой и ссылкой. И, однако, оттенок иронии сквозит каждый раз, как только он заговаривает в своей повести о барышне «Киске», игравшей главную роль в севастопольской организации. «Вернее сказать, организация состояла из нее, Марьи Ивановны и местного домашнего учителя», — насмешливо отмечает писатель. Об учителе он прямо говорит, что тот был краснобаем, ничего революционного не делал, а только пугал всех тем, что при встречах на улице громко возглашал: «Надо бросить бомбу!»

В противовес эсеровским краснобаям встает в повести фигура матросского вожака, сормовского рабочего, которого называли Спартак. «На какую бы сторону он ни пошел, на ту сторону пошли бы и матросы», — замечает Грин. Спартак пошел в сторону социал-демократов. С гордостью вспоминает писатель о тех четырех рабочих социал-демократах, что при объявлении амнистии в октябре 1905 года решительно отказались выходить из тюрьмы, пока не выпустят на свободу «студента», то есть Грина.

«Адмирал согласился освободить всех, кроме меня», — пишет Грин. — Тогда четыре рабочих с.-д., не желая покидать тюрьму, если я не буду выпущен, заперлись вместе со мной в моей камере, и никакие упрасивания жандармского полковника и прокурора не могли заставить их покинуть тюрьму».

Имя Гриневского достигло высших петербургских сфер. Военный министр Куропаткин 19 января 1904 года доносил министру внутренних дел Плеве, что два солдата севастопольской крепостной артиллерии, обвиняемые по «делу о пропаганде», не только раскаялись, «но и изъявили, кроме того, желание способствовать обнаружению других виновных по настоящему

делу; исключительно благодаря их стараниям был задержан весьма важный деятель из гражданских лиц, назвавший себя сперва Григорьевым, а затем Гриневским»...

Недавно найдены в архивах и частично опубликованы материалы судебных дел Грина. Они уточняют некоторые факты, известные нам по «Автобиографической повести». Например, в ее заключительной главе, «Севастополь», Грин писал, что при аресте 11 ноября 1903 года он отказался давать показания: «единственно, чтобы избежать лишних процедур, назвал свое настоящее имя и сообщил, что я беглый солдат...» Протоколы допросов сохранились, и из них явствует, что ни на первом, ни на втором допросе Грин не называл своего настоящего имени, он «упорно отказывался открыть свое имя и звание», пытался бежать из тюрьмы, сидел в карцере, объявил голодовку («...перестал принимать пищу и добровольно голодал в течение 4-х суток»,— так доносили об этом начальству тюремщики). «В общем, поведение Григорьева было вызывающим и угрожающим»,— сокрушенно заключал один из протоколов допроса помощник прокурора.

Небезынтересен список литературы, изъятой полицией при обыске севастопольской квартиры Грина; среди книг были социал-демократические издания: «Бебель против Бернштейна», «Политический строй и рабочие», «Борьба ростовских рабочих с царским правительством» и другие. Грин, как и его друг, матросский вожак Спартак, искал истину... «Отец, которому я написал, что случилось, прислал телеграмму: «Подай прошение о помиловании». Но он не знал, что я готов был скорее умереть, чем поступить так»,— писал Грин. В следственных бумагах имеется существенное дополнение к этим строкам. Не так прост был старик Гриневский. Вятские жандармы сообщали в Севастополь, что отец Гриневского на допросах дает «уклончивые ответы» и надежды на него «не оправдались».

После освобождения из севастопольского каземата Грин уезжает в Петербург и там вскоре опять попадает в тюрьму. Полиция спешно хватала всех «амнистированных» и без суда и следствия отправляла их в ссылку. Грина ссылают на четыре года в г. Туринск, Тобольской губернии. Но уже на другой день после прибытия туда «этапным порядком» Грин бежит из ссылки и добирается до Вятки. Отец достает ему паспорт недавно умершего в больнице «личного почетного гражданина» А. А. Мальгинова; с этим паспортом Грин возвращается в Петербург, чтобы спустя несколько лет, в 1910 году, опять отправиться в ссылку, на этот раз в Архангельскую губернию. Тюрьмы, ссылки, вечная нужда... Недаром говорил Грин, что его жизненный путь был усыпан не розами, а гвоздями...

Отец рассчитывал, что из его старшего сына — в нем учителя видели завидные способности!— выйдет непременно ин-

женер или доктор, потом он соглашался уже на чиновника, на худой конец, на писаря, жил бы только «как все», бросил бы «фантазии»... Из его сына вышел писатель, «сказочник странный», как назвал его поэт Виссарион Саянов.

Читая автобиографические произведения писателей, пробывавшихся в те времена в литературу из «низов», нельзя не уловить в них одной общей особенности; талант, поэтический огонек часто замечали в юной душе не записные литераторы, а простые, добрые души, какие встречаются человеку на самом тяжком жизненном пути. На гриновском пути тоже встречались те добрые души. С особой любовью вспоминал Грин об уральском богатыре-лесорубе Илье, который обучал его премудростям валки леса, а зимними вечерами заставлял рассказывать сказки. Жили они вдвоем в бревенчатой хижине под старым кедром. Кругом дремущая чащоба, непроходимый снег, волчий вой, ветер гудит в трубе печурки... За две недели Грин исчерпал весь свой богатый запас сказок Перро, братьев Гримм, Андерсена, Афанасьева и принялся импровизировать, сочинять сказки сам, воодушевляясь восхищением своей «постоянной аудитории». И, кто знает, может быть, там, в лесной хижине, под вековым кедром, у веселого огня печурки и родился писатель Грин, автор сказочных «Алых парусов»? Ведь юному таланту важно, чтобы в него поверили, а лесоруб Илья верил сказкам Грина, восхищался ими.

В статье «О том, как я учился писать» Горький приводит письмо одной своей юной корреспондентки, которая наивно сообщала ему, что у нее появился писательский талант, причиной которого послужила «томительно бедная жизнь». Горький замечает по поводу этих строк, что пока это, конечно, еще не талант, а лишь желание писать, но если бы у его корреспондентки действительно появился талант,— «она, вероятно, писала бы так называемые «романтические» вещи, старалась бы обогатить «томительно бедную жизнь» красивыми выдумками, изображала бы людей лучшими, чем они есть...» Вряд ли можно сомневаться в том, что желание писать появилось у Грина по той же причине, какая была у горьковской юной корреспондентки. Грин стремился обогатить, украсить «томительно бедную жизнь» своими «красивыми выдумками».

Но так ли уж далеки его романтические вымыслы от реальности, от жизни? Герои рассказа Грина «Акварель» — безработный пароходный кочегар Классон и его жена прачка Бетси — нечаянно попадают в картинную галерею, где обнаруживают этюд, на котором, к их глубокому изумлению, они узнают свой дом, свое неказистое жилище. Дорожка, крыльцо, кирпичная стена, поросшая плющом, окна, ветки клена и дуба, между которыми Бетси протягивала веревки, — все было на картине то же самое... Художник лишь бросил на листву, на

дорожку полосы света, подцветил крыльцо, окна, кирпичную стену красками раннего утра, и кочегар и прачка увидели свой дом новыми, просветленными глазами: «Они оглядывались с гордым видом, страшно жалея, что никогда не решатся заявить о принадлежности этого жилья им. «Снимаем второй год», — мелькнуло у них. Классон выпрямился. Бетси запахла на истощенной груди платок...» Картина неведомого художника расправила их скомканные жизнью души, «выпрямила» их.

Гриновская «Акварель» вызывает в памяти знаменитый очерк Глеба Успенского «Выпрямила», в котором статуя Венеры Милосской, однажды увиденная сельским учителем Тяпушкиным, озаряет его темную и бедную жизнь, дает ему «счастье ощущать себя человеком». Это ощущение счастья от соприкосновения с искусством, с хорошей книгой испытывают многие герои произведений Грина. Вспомним, что для мальчика Гряз из «Алых парусов» картина, изображающая бушующее море, была «тем нужным словом в беседе души с жизнью, без которого трудно понять себя». А небольшая акварель — безлюдная дорога среди холмов, — названная «Дорогой никуда», поражает Тиррея Давенанта. Юноша, полный радужных надежд, противится впечатлению, хотя зловещая акварель и «притягивает, как колодец»... Как искра из темного камня, высекается мысль: найти дорогу, которая вела бы не никуда, а «сюда», к счастью, что в ту минуту пригрезилось Тиррею.

И, может быть, точнее сказать так: Грин верил, что у каждого настоящего человека теплится в груди романтический огонек. И дело только в том, чтобы его раздуть. Когда гриновский рыбак ловит рыбу, он мечтает о том, что поймает большую рыбу, такую большую, «какую никто не ловил». Угольщик, наваливающий корзину, вдруг видит, что его корзина зацвела, из обожженных им сучьев «поползли почки и брызнули листьями»... Девушка из рыбацкого поселка, наслушавшись сказок, грезит о необыкновенном моряке, который приплывет за нею на корабле с алыми парусами. И так сильна, так страстна ее мечта, что все сбывается. И необыкновенный моряк и алые паруса.

2

«Писатель N занимает особое место в литературе...» Эта часто употребляемая в критике, до лоска стертая, штампованная фраза очень удобна: она приложима едва ли не ко всем случаям и судьбам. Ведь каждый талантливый писатель чем-то отличается от других. У него свой круг тем и образов, своя манера письма, а стало быть, и свое, особое место в литературе.

Спорить против этой обиходной истины никто не станет, пока ее не опрокинет сама жизнь. А такое порою случается. Приходит в литературу автор, настолько необычный, что в

сравнении с ним иные писатели — даже куда более значительные — кажутся не столь уж своеобразными. Но тогда как раз ему, из ряда вон выходящему, места и не находится. Критики не знают, что с этим писателем делать, куда его отнести, на какую полочку пристроить. В 1914 году Грин писал В. С. Миролюбову, редактору «Нового журнала для всех», где он печатал свои рассказы:

«Мне трудно. Нехотя, против воли, признают меня российские журналы и критики; чужд я им, странен и непривычен...»

Странен и непривычен был Грин в обычном кругу писателей-реалистов, бытовиков, как их тогда называли. Чужим он был среди символистов, акмеистов, футуристов... «Трагедия плоскогорья Суан» Грина, вещь, которую я оставил в редакции условно, предупредив, что она может пойти, а может и не пойти, вещь красивая, но слишком экзотическая...» Это строки из письма Валерия Брюсова, редактировавшего в 1910—1914 годах литературный отдел журнала «Русская мысль». Они очень показательны, эти строки, звучащие, как приговор. Если даже Брюсову, большому поэту, чуткому и отзывчивому на литературную новизну, гриновская вещь показалась хотя и красивой, но слишком экзотической, которая может пойти, а может и не пойти, то каково же было отношение к произведениям странного писателя в других российских журналах?

Между тем для Грина его повесть «Трагедия плоскогорья Суан» (1911) была вещью обычной: он так писал. Вторгаясь в необычное, «экзотическое», в обыденное, примелькавшееся в буднях окружающей его жизни, писатель стремился резче обозначить великолепие ее чудес или чудовищность ее уродства. Это было его художественной манерой, его творческим почерком.

Моральный урод Блюм, главный персонаж повести, мечтающий о временах, «когда мать не осмелится погладить своих детей, а желающий улыбнуться предварительно напишет завещание», не являлся особенной литературной новинкой. Человечеконенавистники, доморощенные нищиеанцы в ту пору, «в ночь после битвы» 1905 года, сделались модными фигурами. «Революционеру по случаю», Блюму родственны по своей внутренней сущности и террорист Алексей из «Тьмы» Леонида Андреева, возжелавший, «чтобы все огни погасли», и пресловутый циник Санин из одноименного романа М. Арцыбашева, и мракобес и садист Триродов, коего Федор Сологуб в своих «Навях чарах» выдавал за социал-демократа.

«Началось дело с восстановления доброго имени (с реабилитации) Иуды Искарота,— саркастически писала «Правда» в 1914 году.— Рассказ понравился интеллигенции, уже готовой в душе на иудино дело. После этого большим грязным потоком полилась иудина беллетристика...» Грин, конечно, знал эту беллетристику, знал рассказ Леонида Андреева «Иуда Искарот»

(1907), ставший ее позорным символом. Но в отличие от потока «иудиной беллетристики» гриновская «Трагедия плоскогорья Суан» не реабилитировала, а, наоборот, изобличала Иуду. Писатель изображает Блюма черным злодеем, в котором выгодно все человеческое, даже умирает Блюм, как некое пресмыкающееся, «сунувшись темным комком в траву...». Побеждает не осатанелый мизантроп, а поэт и охотник Тинг и его подруга Ассунта, люди, близкие к революционному подполью, побеждает «грозная радость» жизни, за которую нужно бороться.

«— Грозная радость, Ассунта... Я не хочу другой радости... Грозная,— повторил Тинг.— Иного слова нет и не может быть на земле...» Таким итоговым словом заканчивается повесть. И то, что ее события разворачиваются не в сумрачном Петербурге, а на экзотическом плоскогорье Суан, то, что действуют в ней Тинг и Ассунта, а не, скажем, Тимофей и Анна,— не могло обмануть читателей. Они угадывали социальный смысл экзотической гриновской вещи, ее современное «петербургское» звучание...

Сюжеты Грина определялись временем. При всей экзотичности и причудливости узоров художественной ткани произведений писателя во многих из них явственно ощущается дух современности, воздух дня, в который они писались. Черты времени иной раз так заметно, так подчеркнуто выписываются Грином, что у него, признанного фантаста и романтика, они кажутся даже неожиданными. В начале рассказа «Возвращенный ад» (1915) есть, например, такой эпизод: к известному журналисту Галиену Марку, одиноко сидящему на палубе парохода, подходит с явно враждебными намерениями некий партийный лидер, «человек с тройным подбородком, черными, начесанными на низкий лоб волосами, одетый мешковато и грубо, но с претензией на щегольство, выраженное огромным пунцовым галстуком...». После такой портретной характеристики уже догадываешься, какую примерно партию представляет сей лидер. Но Грин считал нужным сказать об этой партии точнее (рассказ ведется в форме записок Галиена Марка).

«Я видел, что этот человек хочет ссоры,— читаем мы,— и знал — почему. В последнем номере «Метеора» была напечатана моя статья, изобличающая деятельность партии Осеннего Месяца».

Что это за партия Осеннего Месяца, мог ответить в то время любой читатель. Одна такая партия была в России — так называемый «Союз 17 октября». Сколотили его крупные помещики и промышленники после пресловутого царского манифеста о «свободах» 17 октября 1905 года, и называли их октябристами. В своей статье «Политические партии в России» (1912) Ленин писал: «Партия октябристов — главная контрреволюционная партия помещиков и капиталистов. Это — руководящая партия

III Думы...» Вот такая это была партия Осеннего Месяца, деятельность которой изобличал гриновский герой, журналист Галиен Марк. Казалось бы, все ясно. Однако Грин идет еще дальше, он хочет, чтобы читатели знали, какой именно деятель партии Осеннего Месяца искал ссоры с журналистом.

«Гуктас был душой партии, ее скверным ароматом. Ему влетело в этой статье», — читаем мы дальше. Гуктас... Гуктас... Фамилия «души партии» октябристов была Гучков. Вот в какую крупную птицу целился писатель! Этот прямой экскурс Грина в политическую жизнь страны лишь на первый взгляд может показаться неожиданным. Ведь «Трагедия плоскогорья Суан» тоже является только слегка зашифрованным эскизом жизни России периода реакции. Человеконенавистник Блюм взят из действительности. Каждому, кто читал тогда «Трагедию плоскогорья Суан» (а ее все же напечатал Брюсов в 7-м номере «Русской мысли» за 1912 год), было совершенно понятно, что Блюм — эсеровский террорист. Его предварительно готовили, как он говорит, «пичкали чахоточными брошюрами». Но Блюм не признает никаких теорий: «Они слишком добродетельны, как ужимочка старой девы... Разве дело в упитанных каплунах или генералах?.. Следует убивать всех, которые веселые от рождения. Имеющие пристрастие к чему-либо должны быть уничтожены...» Но кто же останется на земле? — спрашивают у Блюма.

«— Горсть бешеных! — хрипло вскричал Блюм, уводя голову в плечи.— Они будут хлопать успокоенными глазами и кусать друг друга острыми зубками. Иначе невозможно».

«Бешеные», подобные Блюму, порой возглавляли эсеровские акты и «экссы».

«Сказочник странный»... Его сказки подчас похожи на памфлеты. Романтик в каждой жилочке своих произведений, в каждой метафоре,— таким мы привыкли представлять себе Грина. А между тем...

«Звали его Евстигней, и весь он был такой же растрепанный, как имя, которое носил: кудластый, черный и злой. Кудласт и грязен он был оттого, что причесывался и умывался крайне редко, больше по воскресеньям; когда же парни дразнили его «галахом» и «зимогором», он лениво объяснял им, что «медведь не умывается: и так живет...»

Откуда это? Чьи это строчки? Серафимович? Свирский с его «Рыжиком»? Гиляровский с его «Трущобными людьми»? Можно гадать сколько угодно и ни за что не догадаешься, что это... Грин. Такими строками о кудластом Евстигнее начинается его ранний рассказ «Кирпич и музыка».

Литературное наследие Грина гораздо шире, многообразнее, чем это можно предположить, зная писателя лишь по его романтическим новеллам, повестям и романам. Не только в юно-

сти, но и в пору широкой известности Грин наряду с прозой писал лирические стихи, стихотворные фелетоны и даже басни. Наряду с произведениями романтическими он печатал в газетах и журналах очерки и рассказы бытового склада. Последней книгой, над которой писатель работал, была его «Автобиографическая повесть», где он изображает свою жизнь строго реалистически, во всех ее жанровых красках, со всеми ее суровыми подробностями.

Он и начинал свой литературный путь как «бытовик», как автор рассказов, темы и сюжеты которых он брал непосредственно из окружающей его действительности. Его переполняли жизненные впечатления, в досталь накопленные в годы странствий по белу свету. Они настоятельно требовали выхода и ложились на бумагу, кажется, в их первоначальном облике, нимало не преобразенные фантазией; как случилось, так и писалось. В «Автобиографической повести», на тех ее страницах, где Грин описывает дни, проведенные им на уральском чугунолитейном заводе, читатель найдет те же картины неприглядных нравов рабочей казармы, что и в рассказе «Кирпич и музыка», совпадают даже некоторые ситуации и подробности. А в напарнике юноши Гриневского, угрюмом и злом «дюжем мужике», вместе с которым он с утра до поздней ночи («75 копеек поденно») просеивал уголь в решетках, можно без труда узнать прототип кудластого и злого, черного от копоти Евстигнея.

Рассказ о Евстигнее входил в первую книгу писателя «Шапка-невидимка» (1908). В ней напечатаны десять рассказов, и почти о каждом из них мы вправе предположить, что он в той или иной степени списан с натуры. На своем непосредственном опыте познал Грин безрадостное житье-бытье рабочей казармы, сидел в тюрьмах, по месяцам не получая весточки с воли («На досуге»), ему были знакомы перипетии «таинственной романтической жизни» подполья, как это изображено в рассказах «Марат», «Подземное», «В Италию», «Карантин»... Такого произведения, которое бы называлось «Шапкой-невидимкой», в сборнике нет. Но заглавие это выбрано, разумеется, не случайно. В большей части рассказов изображены «нелегалы», живущие, на взгляд автора, как бы под шапкой-невидимкой. Отсюда название сборника. Сказочное заглавие на обложке книжки, где жизнь показана совсем не в сказочных поворотах... Это очень показательный для раннего Грина штрих.

Конечно же, впечатления бытия ложились у Грина на бумагу не натуралистически, конечно же, они преобразались его художественной фантазией. Уже в первых его сугубо «прозаических», бытовых вещах прорастают зерна романтики, появляются люди с огоньком мечты. В том же кудластом, ожесточившемся Евстигнее разглядел писатель этот романтический огонек. Его зажигает в душе галаха музыка. Образ романтического героя рассказа «Марат», открывающего «Шапку-невидим-

ку», был, несомненно, подсказан писателю обстоятельствами известного «каляевского дела». Слова Ивана Каляева, объяснявшего судьям, почему он в первый раз не бросил бомбу в карету московского губернатора (там сидели женщина и дети), почти дословно повторяет герой гриновского рассказа. Произведения, написанных в романтико-реалистическом ключе, в которых действие происходит в российских столицах или в каком-нибудь окурковском уезде, у Грина немало, не на один том. И, пойдя Грин по этому, уже изведенному пути, из него, безусловно, выработался бы отличный бытописатель. Только тогда Грин не был бы Грином, писателем оригинальнейшего склада, каким мы знаем его теперь.

Ходовая формула «Писатель N занимает особое место в литературе» изобретена в незапамятные времена. Но она могла бы быть вновь открыта во времена гриновские. И это был бы как раз тот случай, когда стандартная фраза, серый штамп наливаются жизненными соками, находят свой первоизданный облик, обретают свой истинный смысл. Потому что Александр Грин занимает в русской литературе подлинно свое, особое место. Нельзя вспомнить сколько-нибудь похожего с ним писателя (ни русского, ни зарубежного). Впрочем, дореволюционные критики, а позже и рапповские упорно сравнивали Грина с Эдгаром По, американским романтиком XIX века, автором популярной в пору гриновской юности поэмы «Ворон», каждая строфа которой заканчивается безысходным «Nevermore!» («Никогда!»).

Юный Грин знал наизусть не одного «Ворона». По свидетельству современников, Эдгар По был его любимым писателем. Фантазию юного мечтателя возбуждали не только произведения автора «Ворона», но и его биография. В ней видел Грин черты своей биографии, черты своей горькой, бесприютной юности в «страшном мире» старой, царской России, черты борьбы своей мечты с жестокой действительностью. Широкой и громкой была тогда популярность Э. По. Стихотворения и «страшные новеллы» американского фантаста в то время переводились и печатались во множестве. Их высоко ценили такие разные писатели, как А. Блок и А. Куприн. Стихи Блока, посвященные «безумному Эдгару» («Осенний вечер был. Под звук дождя стеклянный...»), не сходили с уст литературной молодежи. Куприн говорил, что «Конан Дойл, заполонивший весь земной шар детективными рассказами, все-таки умещается вместе со своим Шерлоком Холмсом, как в футляре, в небольшое гениальное произведение Э. По «Преступление в улице Морг»...

Разделяя тут общее мнение, Грин считал автора «Ворона» и «Преступления в улице Морг» превосходным поэтом, блестящим мастером авантюрного и фантастического жанров, нередко пользовался его стиливыми приемами, учился у него изображать

фантастическое в реальных подробностях, виртуозно владеть сюжетом. Однако на этом их сходство кончается. Сюжеты у них, как правило, разные. Возьмем, к примеру, один из самых ранних романтических рассказов Грина — «Происшествие в улице Пса» (1909). Конечно же, не случайно, не наугад выбрано это похожее заглавие. А написан он о другом. В нем нет хитро-сплетенной детективной интриги, нет столь характерного для Э. По натуралистического интереса к «страшному». Совсем иное интересует молодого писателя. Его волнует нравственный смысл происшествия на улице Пса. Виновница уличного самоубийства Александра Гольца, некая смуглянка «с капризным изгибом бровей», появляется и исчезает на первой же странице. Далее речь идет о самом Гольце, этом чародее, который умел совращать чудеса, но не смог затоптать в своем сердце любовь:

«От живого держались на почтительном расстоянии, к мертвому бежали, слома голову. Так это человек просто? Так он действительно умер? Гул вопросов и восклицаний стоял в воздухе. Записка, найденная в кармане Гольца, тщательно комментировалась. Из-за юбки? Тьфу! Человек, встревоживший целую улицу, человек, бросивший одних в наивный восторг, других — в яростное негодование... вынимавший золото из таких мест, где ему быть вовсе не надлежит,— этот человек умер из-за одной юбки?! Ха-ха!»

Обыватели расходились удовлетворенными. Но, подобно тому, «как в деревянном строении затапывают тлеющую спичку, гасили в себе мысль: «А может быть — может быть — ему было нужно что-нибудь еще?»

Гриновским героям всегда нужно «что-нибудь еще», что никак не укладывается в рамки обывательской нормы. Когда Грин печатал свои первые романтические произведения, нормой была «санинщина», разгул порнографии, забвение общественных вопросов.

«Проклятые вопросы». —
Как дым от папиросы. —
Рассеялись во мгле.
Пришла Проблема Пола,
Румяная фефела,
И ржет навеселе, —

писал сатирический поэт тех дней Саша Черный. Герой гриновского рассказа, умерший «из-за юбки», представлялся старомодным и смешным не только обитателям улицы Пса.

Тогда еще начинающий автор, из-за лютой нужды нередко печатавшийся в изданиях бульварного пошиба вроде какого-нибудь «Аргуса» или «Синего журнала», Грин умел оберегать свои рассказы от тлетворной «моды». Он через всю свою трудную жизнь пронес целомудренное отношение к женщине, благоговеиное удивление перед силой любви. Но не той любви, глупой, погребальной, мистической, перед которой склонялся Э. По, утверждавший, что «смерть прекрасной женщины есть,

бесспорно, самый поэтический в мире сюжет»... А любви живой, земной, полной поэтического очарования и... чертовского упрямства. Даже в воздушной, сказочной «бегущей по волнам» Фрези Грант — и в той, по убеждению писателя, «сидел женский черт». Иной раз, как в «Происшествии в улице Пса», он коварен и жестоко. Но чаще всего у Грина это добрый «черт», спасительный, вселяющий в душу мужество, дающий радость.

Если отыскивать причины, почему ко всему гриновскому так увлеченно тянется наша молодежь, одной из первых причин будет та, что Грин писал о любви, о любви романтической, чистой и верной, перед которой распахнута юная душа. Подвиг во имя любви! Разве не о нем мечтает каждый, кому семнадцать?

Стоит сравнить любую из светлых, жизнеутверждающих рассказов Грина о любви, написанных им еще в дореволюционную пору, скажем, «Позорный столб» (1911) или «Сто верст по реке» (1916), с любой из «страшных новелл» американского романтика, чтобы стало совершенно очевидно, что романтика у них разная и они сходны между собой, как лед и пламень.

«Пред Гением Судьбы пора смириться, сör», — наставляет «безумный Эдгар» поэта в блоковском стихотворении. Смирение от безнадежности, упоение страданием, покорность перед неотвратимостью Рока владеют смятенными душами фантастических персонажей Э. По. На кого же из них хоть сколько-нибудь похожи Тинг и Ассунта, упоенные «грозной радостью» бытия? Или бесстрашные в своей любви Гоан и Дэзи («Позорный столб»)? Или Нок и Гелли, нашедшие друг друга вопреки роковым обстоятельствам («Сто верст по реке»)?

Отличительной чертой гриновских героев является не смирение, а, наоборот, непокорность перед коварной судьбой. Они не верят в Гений Судьбы, они смеются над ним и ломают судьбу по-своему.

Литературный путь Грина не был обкатанным и гладким. Среди его произведений есть вещи разного художественного достоинства. Встречаются и такие, что писались под влиянием Э. По, кумира гриновской юности. Но по主要内容 их творчества, эмоциональному воздействию на души читателей Грин и Э. По — писатели полярно противоположные.

Примечательна одна из рецензий в журнале «Русское богатство», который редактировал Короленко. Она начинается словами, обычными для тогдашних оценок гриновского творчества:

«По первому впечатлению рассказ г. Александра Грина легко принять за рассказ Эдгара По. Так же, как По, Грин охотно дает своим рассказам особую ирреальную обстановку, вне времени и пространства, сочиняя необычные вненациональные собственные имена; так же, как у По, эта мистическая атмос-

фера замысла соединяется здесь с отчетливой и скрупулезной реальностью описаний предметного мира...»

А заканчивается эта рецензия выводом неожиданным и точным:

«Грин — незаурядная фигура в нашей беллетристике; то, что он мало оценен, коренится в известной степени в его недостатках, но гораздо более значительную роль здесь играют его достоинства... Грин все-таки не подражатель Эдгара По, не усвоитель трафарета, даже не стилизатор; он самостоятелен более, чем многие пишущие заурядные реалистические рассказы, литературные источники которых лишь более расплывчаты и потому менее очевидны... Грин был бы Грином, если бы и не было Эдгара По».

Уже тогда это было ясно людям, судящим о вещах не по первому впечатлению.

Нет, Грин не пересадочное, не экзотическое растение на ниве российской словесности, произрастающее где-то на ее обочине. И если уж искать истоки его творческой манеры, его удивительного умения вторгать фантастическое в реальное, то они в народных сказках, и у Гоголя, в его «Носе» или «Портрете», и у Достоевского, и в прекрасных повестях и рассказах русского фантаста Н. П. Вагнера (1829—1907), писавшего под сказочным псевдонимом Кот Мурлыка. Его книжки хорошо знал Грин с детства. Иные из гриновских новелл вызывают в памяти «Господина из Сан-Франциско» И. Бунина, «Листригонов» А. Куприна... Нет, Грин не иноземный цветок, не пересадочное растение, он «свой» на многоцветной ниве русской литературы, он вырос как художник на ее почве, там глубокие корни его своеобразной манеры.

Творчество Грина в его лучших образцах не выбивается из традиций русской литературы — ее высокого гуманизма, ее демократических идеалов, ее светлой веры в Человека, чье имя звучит гордо. То, что эта неизбывная мечта о гордом человеке бьется в книгах Грина неприкрыто, обнаженно, яростно, может быть, и делает его одним из самых оригинальных писателей.

Литературные друзья Грина вспоминают, что он несколько раз пытался написать книгу о Летающем Человеке и считал, что ничего необыкновенного в таком сюжете нет.

«— Человек будет летать сам, без машины», — уверял он.

Однако этого мало. Он вполне убежденно доказывал, что человек уже летал когда-то, в незапамятные времена, была когда-то такая способность у человека. Но по неизвестным пока нам причинам способность эта угасла, атрофировалась, и человек «приземлился». Но это не навсегда! Ведь осталась все же смутная память о тех крылатых временах — сны! Ведь во сне человек летает. И он обязательно отыщет, разгадает этот затерянный в тысячелетиях секрет, вернет свою былую способность: человек будет летать!

Былинные богатыри, сказочные великаны не были для Грина только красочным вымыслом, порождением народной фантазии. Он доказывал, что жили на земле великаны и они даже оставили после себя материальные памятники, долмены, загадочные сооружения из гигантских камней на берегах Балтийского моря. И этот секрет тоже раскроет человек, и будут снова жить на земле великаны.

Конечно, при желании эти мечты можно назвать наивной фантазией. Только то была фантазия художника.

Грин написал свою книгу о Летающем Человеке, писал он и о великанах, поднимающих горы («Гатт, Витт и Редотт»). Наивность, обнаженность фантастической выдумки, которая приобретала в его книгах черты реальности, чуть не бытовой повседневности (Летающий Человек в романе «Блещающий мир» становится цирковым артистом!) — не в этом ли одна из тайн чудодейственной гриновской манеры, которая так крепко и непосредственно захватывает читателей, особенно юных читателей?

3

Книги Грина уже давно любят и ценят в одинаковой мере и читатели и писатели. В начале 1933 года, вскоре после смерти автора «Алых парусов», Александр Фадеев и Юрий Либединский написали в издательство «Советская литература»:

«Обращаемся в издательство с предложением издать избранные произведения покойного Александра Степановича Грина. Несомненно, что А. С. Грин является одним из оригинальнейших писателей в русской литературе. Многие книги его, отличающиеся совершенством формы и столь редким у нас авантурным сюжетом, любимы молодежью...»

Это предложение поддержали своими краткими отзывами о Грине десять писателей: Николай Асеев, Эдуард Багрицкий, Всеволод Иванов, Валентин Катаев, Леонид Леонов, Александр Малышкин, Николай Огнев, Юрий Олеша, Михаил Светлов, Лидия Сейфуллина.

Как удивительно едины в оценке творчества Грина эти разные писатели! Казалось бы, что общего между бытовыми повестями Лидии Сейфуллиной и «Бегущей по волнам» или «Алыми парусами» А. Грина, между «земной», наиреальнейшей Виринеей и аллегорической Ассоль? Но Л. Сейфуллина видела это общее, видела в Грине что-то свое, нужное ей, нужное читателям.

Отстаивая произведения Грина, писатели заботились «о сохранении лица эпохи и ее литературы». Грина не вынешь из эпохи, не вынешь его из литературы первого революционного десятилетия, романтический герой которого выходил на арену истории, говоря словами поэта Николая Тихонова:

Творчество Грина — черточка лица эпохи, частица ее литературы, притом частица особенная, единственная. В чем же эта единственность, которую отмечают в своих отзывах писатели, в чем своеобычность Грина, одного из любимых авторов юношества не только в нашей стране, но и за ее рубежами? Гриневские произведения переводятся на иностранные языки, их читают во многих странах.

Уже говорило, что Грина потрясала чеховская повесть «Моя жизнь», ему казалось, будто он полностью читает о Вятке, городе его безотрадного детства и отрочества, читает о своей жизни, о себе. Те же чувства, ту же дрожь самопознания должен был испытывать Грин, перечитывая всем нам любовно памятный маленький рассказ Чехова «Мальчики». В худеньком смуглом гимназисте, избравшем себе грозное имя «Монтигомо Ястребиный Коготь» и грезящем о дальних путешествиях в те таинственные страны, где сражаются с тиграми и добывают золото, «поступают в морские разбойники и в конце концов женятся на красавицах», Грин должен был узнавать самого себя. Тем более, что, словно чудом каким, совпали кое-какие биографические и даже портретные детали...

«Чечевицын был такого же возраста и роста, как Володя,— читаем мы в рассказе у Чехова,— но не так пухл и бел, а худ, смугл, покрыт веснушками... если б на нем не было гимназической куртки, то по наружности его можно было бы принять за кухаркина сына. Он был угрюм, все время молчал и ни разу не улыбнулся...»

Право же, этот чеховский портрет упряма-мечтателя мало чем отличается от автопортрета, нарисованного Грином в его «Автобиографической повести».

Мы не знаем, остался ли чеховский упрямец тем же пылким фантазером и романтиком или его «среда заела» и он забыл о своем побеге в пампасы, забыл отважного Монтигомо Ястребиного Когтя, вождя непобедимых,— но его «двойник» Александр Грин (и на склоне лет твердивший, что «детское живет в человеке до седых волос») на всю жизнь сохранил в своей душе дерзкие мальчишеские мечты о дальних странствиях, о бесстрашных мореплавателях, чьи сердца открыты для славных и добрых дел, о гордых красавицах из рыбацких поселков, озаренных солнцем океана.

Грин перенес их, эти всегда живые, никогда не стареющие мальчишеские мечты о подвигах и героях, в свои произведения. Он изобразил в своих книгах страну юношеской фантазии, тот особый мир, о котором справедливо сказано, что это

...Мир, открытый настезь
Бешенству ветров.

Слова эти сказаны поэтом, в биографии и творчестве которого есть гриновская частица. Он, Эдуард Багрицкий, сам говорил об этом в своем отзыве в издательство в 1933 году: «А. Грин — один из любимейших авторов моей молодости. Он научил меня мужеству и радости жизни...»

Еще в дореволюционные годы называли Грина автором авантюрного жанра, прославившим себя рассказами о необычайных приключениях. Он был великолепным мастером композиции: действие в его произведениях разворачивается, как пружина, сюжеты их всегда неожиданны. Но не здесь заключается главное. «Сочинительство всегда было моей внешней профессией,— писал Грин в 1918 году,— а настоящей внутренней жизнью является мир постепенно раскрываемой тайны воображения...» Писатель говорил о себе. Однако этими же словами он мог бы сказать о многих своих героях: они люди яркой внутренней жизни, и тайны воображения волнуют их столь же трепетно, ибо они неисправимые мечтатели, искатели незнаемого, поэты в душе.

Авантюрные по своим сюжетам, книги Грина духовно богаты и возвышенны, они заряжены мечтой обо всем высоком и прекрасном и учат читателей мужеству и радости жизни. И в этом Грин глубоко традиционен, несмотря на все своеобразие его героев и прихотливость сюжетов. Иногда кажется даже, что он намеренно густо подчеркивает эту моралистическую традиционность своих произведений, их родственность старым книгам, притчам. Так, два своих рассказа, «Позорный столб» и «Сто верст по реке», писатель, конечно же, не случайно, а вполне намеренно заключает одним и тем же торжественным аккордом старинных повестей о вечной любви: «Они жили долго и умерли в один день...»

В этом красочном смешении традиционного и новаторского, в этом причудливом сочетании книжного элемента и могучей, единственной в своем роде художественной выдумки, вероятно, и состоит одна из оригинальнейших черт гриновского дарования. Отталкиваясь от книг, прочитанных им в юности, от великого множества жизненных наблюдений, Грин создавал свой мир, свою страну воображения, какой, понятно, нет на географических картах, но какая, несомненно, есть, какая, несомненно, существует — писатель в это твердо верил — на картах юношеского воображения, в том особом мире, где мечта и действительность существуют рядом.

Писатель создавал свою страну воображения, как кто-то счастливо сказал, свою «Гринландию», создавал ее по законам искусства, он определил ее географические начертания, дал ей сияющие моря, по крутым волнам пустил белоснежные корабли с алыми парусами, тугими от наступающего норд-веста, обо-

значил берега, поставил гавани и наполнил их людским кипением, кипением страстей, встреч, событий.

«Опасность, риск, власть природы, свет далекой страны, чудесная неизвестность, мелькающая любовь, цветущая свиданием и разлукой; увлекательное кипение встреч, лиц, событий; безмерное разнообразие жизни, между тем как высоко в небе — то Южный Крест, то Медведица, и все материи в зорких глазах, хотя твоя каюта полна непокидающей родины с ее книгами, картинами, письмами и сухими цветами, обвитыми шелковистым локоном, в замшевой ладанке на твердой груди...»

Так мечтает о море, о профессии капитана юноша, герой гриновской повести «Алые паруса». У кого из юных читателей не встрепенется тут сердце? Кто из читателей, увы, уже не юных, не вздохнет над этими мечтательными строчками?

Одна из самых притягательных черт гриновского своеобразия в том и состоит, что мир юношеского воображения, страну чудесных подвигов и приключений писатель изображает так, будто страна эта и в самом деле существует, будто мир этот зрим и весом и знаком нам в мельчайших подробностях. И писатель прав. Читая его книги, мы в той или иной мере узнаем в них себя, узнаем свои юношеские грезы, свою страну воображения и испытываем ту же дрожь самопознания, какую испытывал сам Грин, читая Чехова или Жюль Верна, Фенимора Купера или Брет Гарта.

Было бы наивно полагать, что этот воображаемый мир писателя Грин только запомнил, что свои мечты и своих героев он просто «вычитал» из книг и в книги же — свои книги — вставил. А так нетрудно подумать, если довериться первому впечатлению. Иностранные имена... Неведомые гавани — Зурбаган, Лисс, Гель-Гью... Тропические пейзажи... Некоторые критики, привыкшие судить о книгах по беглому взгляду, вполне убежденно представляли Грина читателям «осколком иностранщины», переводчиком с английского. Но в литературе, как и в жизни, первое впечатление чаще всего бывает ошибочным, и книги пишутся не для того, чтобы только перебрасывали их страницы, а чтобы их читали.

«Русский Брет Гарт»... «Русский Джек Лондон»... Еще и так именовали Грина охотники приискивать ему иностранных аналогов. Что касается Джека Лондона, то он стал по-настоящему известен в России тогда, когда Грин уже вошел в литературу. А вот Брет Гарта, которого Горький называл «прекрасным романтиком, духовным отцом Джека Лондона», того Грин действительно знал с отроческих лет. Мальчишки его поколения читали Брет Гарта запоем, воображая себя бесстрашными следопытами снежных гор Клондайка, удачливыми золотоискателями. Бретгартовская черта есть в биографии писателя. Шестнадцатилетним мальчиком он пустился искать счастья на русском Клондайке — рыл золото на Урале.

Романтика «певца Калифорнии», герои его книг — рудокопы, старатели, люди мужественной души и открытого, отзывчивого сердца — были близки Грину. И в некоторых его произведениях можно уловить бретгартовские мотивы. Только звучат они у Грина по-своему, как по-своему звучат у него «мотивы» Майн Рида или Жюль Верна, Купера или Стивенсона. Кажется, никто еще не решился утверждать, что «Алые паруса» Грин писал «по Жюлю Верну», по его роману «Пятнадцатилетний капитан», а «Золотую цепь» вымерил «по Стивенсону», скажем, по его «Острову сокровищ». Однако ведь есть что-то жюльверновское в гриновских капитанах. Есть в его книгах что-то от романтики той калейдоскопической майнридо-жюльверновской литературы о путешествиях и приключениях, которой мы зачитываемся в детстве, а потом забываем, словно бы пеплом покрывается ярый жар тех далеких и радостных впечатлений.

Читая Грина, мы отгартываем пепел. Грин ничего не забыл. Новым жаром вспыхивает в его книгах та «героическая живописная жизнь в тропических странах», которой упивался он мальчиком. Только страны у него теперь другие, гриновские. И другие у него романтические герои. Трезвый и рассудительный Дик Сэнд, жюльверновский пятнадцатилетний капитан, при всех его несомненных достоинствах, вряд ли понял бы Артура Грэя с его явно неделовыми алыми парусами

«Что-то» от Жюль Верна или «что-то» от Стивенсона в мире гриновского воображения — это лишь травка для настоя, для экзотического запаха. Конечно, «книжность» в произведениях Грина чувствуется сильнее, чем у других писателей. И это понятно. Герои майнридовского, бретгартовского, жюльверновского склада были героями юношеской фантазии не одного Грина, и это нашло свое отражение в том особом, художественном мире, который создал писатель. И, однако, «книжность» в гриновском творческом методе более всего — только условность, литературный прием, причем прием иногда иронический.

Возьмем, к примеру, один из самых популярных гриновских рассказов — «Капитан Дюк». Уж куда, казалось бы, «заграничнее» заглавие! Но, читая рассказ, мы, быть может, с удивлением обнаружим, что имена в нем совсем не иностранные, а условные, придуманные автором, что Зурбаган — тоже не за семью морями...

Какое же это, скажите, иностранное имя — Куркуль? Им назван в рассказе матрос, трусливо бежавший с борта ненадежной «Марианны». «Куркуль» — по-украински «кулак, богатей», и ничего более. Столь же «иностранно» имя другого матроса «Марианны» — Бенц. Писатель заимствовал это словцо из одесского жаргона. И Бенц полностью оправдывает свое прозвище: он нахал, самочинно вселившийся в капитанскую каюту, скандалист, ругатель. У имени Дюка тоже одесское проис-

хождение. Статуя дюка (то есть герцога) Ришелье, одного из «отцов» старой Одессы, стоит на площади города. Одесситы называют эту статую просто Дюком. О запомнившемся ему «памятнике Дюка» Грин говорит в своей автобиографии. Кроме того, имя героя рассказа выбрано, наверно, еще и по звукоподражательному признаку: «дзюк», «грюк», — что вполне гармонирует с шумливым характером капитана.

А зачем, спрашивают иногда, Грин эти имена придумывал? Ведь в его произведениях подчас лишь имена персонажей да названия гаваней звучат экзотически. Замена имени, скажи, что действие происходит не в Зурбагане, а предположим, в Одессе, и что изменится в содержании того же «Капитана Дюка»? Но попробуйте, замените... Капитана Дюка назовите «просто» Дюковым. Общину Голубых Братьев, куда заманивают braveго капитана лукавые святоши, переделайте в сектантскую общину. Тем паче, что в тексте есть даже прямое указание на это. «Сбежал капитан от нас. Ушел к сектантам, к Братьям Голубым этим, чтобы позеленели они!» — объясняет кок Сигби положение дела портовому мудрецу Морскому Тряпичнику. Кока Сигби, божественно жарящего бифштексы с испанским луком, переименуйте в Семена, Морского Тряпичника — в отставного шкипера Максимыча. Голубого Брата Варнаву обратите в пресвитера Варлаама... Прodelав эту нехитрую операцию, вы почувствуете, что выкачали из рассказа воздух. А заодно лишили рассказ его современного звучания. Писатель, конечно, не без умысла наделил продувного духовного пастыря Голубых Братьев столь редкостным именем — Варнава. Сейчас оно выглядит только непривычно, «экзотически», а тогда, когда рассказ печатался в «Современном мире» (1915), имя это имело злободневный смысл. Тобольский архиепископ Варнава, сосланный синодом за всякого рода уголовные деяния, с помощью всеильного временщика Распутина появился в Петрограде и вошел в окружение «святого старца». Эта весьма характерная для того времени скандальная история попала в газеты, поп Варнава стал знаменитым. Его «знаменитым» именем автор и поместил шельму из Голубых Братьев.

Имена у Грина играют самые различные роли. Нередко они служат характеристиками персонажей, таят в себе острый современный намек, порой указывают на время или реальные обстоятельства действия. Но чаще всего эти придуманные писателем имена, как и названия городов («м о и города» — подчеркивая, писал о них Грин), обозначают лишь то, что действие в гриновских произведениях происходит в мире воображения, где все по-своему, где самое странное выглядит обычно и естественно.

Что такое, например, «эстамп»? Оттиск, снимок с гравюры, и только. Но в гриновском рассказе «Корабли в Лиссе» фигурирует капитан Роберт Эстамп, в романе «Золотая цепь» действует

другой персонаж, тоже называющийся Эстампом. В «Блистающем мире» выводится актерская пара, кокетливые старички, супруги... Пунктир. Когда-то давно ходила уличная песенка с заливчатским припевом: «Чим-чара-чара-ра!» Из этого припева писатель составил фамилию и наградил ею одного из мало-симпатичных персонажей. И она тоже звучит совсем на «заграничный» лад. Среди этих якобы иностранных персонажей вдруг появляется действующее лицо с чисто русским именем, например, слуга, называемый точно так, как в чеховском «Вишневом саду», — Фирсом. Фирс в «Трагедии плоскогорья Суан», Фирс в романе «Дорога никуда». Это Фирс с изумлением рассказывает о Тиррее, главном герое романа:

«— Он мне сказал на днях: «Фирс, вы поймали луну?» В ведре с водой, понимаете, отражалась луна, так он просил, чтобы я не выплеснул ее на цветы. Заметьте, не пьян, нет...»

А подружка Фирса, которой он это рассказывает, служанка гостиницы «Суша и море», зовется на ложноклассический, высокопарный лад Петронией.

Тонкой лукавинкой, изрядной долей литературной шутки, веселой мистификации одобрены произведения писателя. И не заметить этой гриновской иронии могли только очень скучные люди, из тех, кто некогда требовал запретить сказки на том основании, что в них наличествуют мистические существа вроде черта и добрых волшебников. Судя по его книгам, Грин верил в сказки и чудеса, верил в добрых волшебников, владеющих заветным секретом счастья, и, очевидно, поэтому критики приписывали писателю «склонность к мистическому», о чем, как уже о бесспорном факте, сообщалось даже в энциклопедиях.

Творчество Грина сложного состава; реальное и фантастическое, бытовое и сказочное замешаны в нем круто. Даже в таком прозрачном, нежнейше-лирическом произведении, как феерия «Алые паруса», где, кажется, каждое «прозаическое» слово должно бы резать слух, появляются явно буффонные персонажи, наподобие проворного матроса Летика (от глагола с частицей «лети-ка!»), который говорит книжно, иногда даже в рифму: «Ночь тиха, прекрасна водка, трепещите, осетры, хлопнись в обморок, селедка, — удит Летика с горы!» — и пишет в стиле чеховской «Жалобной книги»:

«Означенная особа приходила два раза: за водой раз, за щепками для плиты два. По наступлении темноты проник взглядом в окно, но ничего не увидел по причине занавески».

Курьезно, что «означенной особой» Летика именует героиню феерии, сказочно прелестную девушку с музыкальным именем Ассоль.

Персонажи, названные Куркулями, Чинчарами, Летиками, действуют в произведениях писателя рядом с героями, от чьих

имен веет легендами о Летучем Голландце и Принцессе Грезе, старинными фолиантами о морских походах и сражениях. «Я люблю книги, люблю держать их в руках, пробегая заглавия, которые звучат как голос за таинственным входом...» Эти слова, вложенные в уста Томаса Гарвея, героя романа «Бегущая по волнам», Грин написал о себе. Он любил книги и страстно, самозабвенно читал книги о море. Он был способен сутками, без сна, штудировать редкие издания с описаниями морских путешествий, изучал научные трактаты по мореходству, всякого рода пособия и справочники, касающиеся кораблевождения, долгими часами просиживал над картами и лоциями.

По воспоминаниям писателя, первой книгой, которую он увидел, было детское издание «Путешествий Гулливера». По этой книге он учился читать, и первое слово, какое он сложил из букв, было: «мо-ре»! И море в нем осталось навсегда.

Рассказывают, что комната в маленьком глинобитном домике на окраинной улице Старого Крыма, где Грин прожил свои последние годы, была лишена всяких украшений. Стол, стулья да белые, ослепительно сияющие на южном солнце стены. Ни ковров на них, ни картин. Только над кроватью, на которой лежал смертельно больной писатель, перед его глазами висел у притолки потемневший от времени, изъеденный солью обломок корабля. Грин сам прибил к стене этот обломок парусника — голову деревянной статуи, что подпирает бушприт, разрезающий волны...

Первая книга, прочитанная в детстве, обычно помнится долго, если не всю жизнь. А в руки мальчика, наделенного пылким воображением, попала такая книга, которая вот уже третье столетие поражает читателей необыкновенностью содержания. Тех «некоторых отдаленных стран», где претерпевает невероятные приключения Лемюэль Гулливер, «сначала хирург, а потом капитан нескольких кораблей», не существовало на свете. Не было ни Лилипутии, ни Бробдингнега, страны великанов, ни Лапуты, повисшей в воздухе... Это страны воображения. Они открыты писателем Джонатаном Свифтом, изобретены, вымышлены им. И, однако, его «Путешествия Гулливера» не просто выдумка. События и персонажи этой фантастической книги носят на себе реальные приметы жизни Англии XVIII века.

Литература знает немало книг, герои которых действуют в причудливых странах воображения, от «Гаргантюа и Пантагрюэля» Ф. Рабле до «Швамбрании» Л. Кассиля, написанной уже по гриновским следам. Разные это страны. Но общее у них то, что они отнюдь не плод чистой фантазии, выросший на пустом месте.

Тех проливов, бухт и гаваней, которые изображаются в книгах Грина, не отыщешь на самых подробных картах. Не отмечены на них ни шумный Гель-Гью, сияющий маскарадными огнями, с гигантской мраморной фигурой «Бегущей по волнам» на

главной площади, ни провинциальный Лисс с его двумя гостиницами «Колючая подушка» и «Унеси горе». Нет этих портов на морях ни северного, ни южного полушарий. Они придуманы писателем, воображены им.

И все же не прав был критик «Русского богатства», уверявший в своей рецензии читателей, будто Грин, подобно Эдгару По, охотно дает своим рассказам ирреальную обстановку, вне времени и пространства... Время и пространство угадываются во многих произведениях писателя довольно точно. Реальную обстановку дают им его отчетливые и скрупулезные описания осязаемого, предметного мира. Вот прочтешь такое, например, описание Лисса:

«...Город возник на обрывках скал и холмов, соединенных лестницами, мостами и винтообразными узенькими тропинками. Все это завалено сплошной густой тропической зеленью, в веерообразной тени которой блестят детские, пламенные глаза женщин.

Желтый камень, синяя тень, живописные трещины стен; где-нибудь на бугрообразном дворе — огромная лодка, чинимая босоногим, трубку покуривающим нелюдимом; пение вдали и его эхо в овраге; рынок на сваях, под тентами и огромными зонтиками; блеск оружия, яркое платье, аромат цветов и зелени, рождающий глухую тоску — о влюбленности и свиданиях; гавань — грязная как молодой трубочист; свитки парусов, их сон и крылатое утро, зеленая вода, скалы, даль океана; ночью — магнетический пожар звезд, лодки со смеющимися голосами — вот Лисс».

Прочтешь эту сияющую красками страницу — и тебе почувдится, что ты уже видел Лисс. Грин умел писать так, что все, даже самое фантастическое, самое сказочное, становилось в его произведениях непререкаемым фактом. Но на сей раз дело не только в этом. Тебе ведь кажется, что ты Лисс видел еще до того, как прочел о нем у Грина. Видел этот город, чьи улицы разбросаны по холмам и скалам, соединенным лестницами и винтообразными узенькими тропинками, видел дома из желтого камня — ракушечника, синюю тень, трещины на стенах, босоногого рыбака с трубкой, чинящего лодку на бугрообразном дворе... Словом, видел все, о чем пишет Грин, причем видел в натуре, а не в книге.

И это недалеко от истины, потому что Лисс в какой-то мере действительно списан с натуры. Вспоминая о Севастополе, куда забросила писателя его скитальческая судьба в 1903 году, Грин пишет в своей «Автобиографической повести», что тогда «стояла прекрасная, задумчиво-яркая осень, полная запаха морской волны и нагретого камня... Я побывал на Историческом бульваре, Малаховом кургане, на особенно интересном севастопольском рынке, где в остром углу набережной торчат латинские

паруса, и на возвышенной середине города, где тихие улицы поросли зеленой травой. Впоследствии некоторые оттенки Севастополя вошли в мои города: Лисс, Зурбаган, Гель-Гью и Гер-тон».

Гертон — место действия романа «Дорога никуда» (1929). Несмотря на «иноземность» и причудливость фабулы, в романе явно проступают его вполне реальные и даже порою автобиографические корни. Грин, как и герой его «Дороги никуда» Тиррей Давенант, томился в тюрьме. Грину друзья тоже пытались устроить побег. Даже бакалейная лавка напротив тюрьмы, на углу, откуда ведут подкоп друзья Давенанта, и та на самом деле существовала в Севастополе. О ней упоминает писатель в «Автобиографической повести», он видел эту лавчонку из окна своей тюремной камеры.

«Некоторые оттенки Севастополя», как и оттенки старой Одессы, Ялты, Феодосии, вошли не только в пейзажи гриновских городов, они вошли в сюжеты его произведений и в образы его романтических героев — меднолицых моряков, просоленных морем и ветром рыбаков, ремесленников, портового люда... Как бы далеко ни улетал писатель на крыльях фантазии, его книги «полны непокидающей родины».

Его художественное воображение питала жизнь, реальная действительность, и потому совершенно неверно представление о нем как о некоем «чистом» романтике, брезгливо сторонящемся житейской прозы. Между тем именно такое представление о Грине подчас навязывается читателям. Даже К. Паустовский, автор исполненной глубокой любви к Грину повести «Черное море» и превосходных статей о писателе, и тот порой склоняется к этой ходовой легенде о Грине. В своем предисловии к одному из его произведений (1956) Паустовский пишет:

«...Недоверие к действительности осталось у него на всю жизнь. Он всегда пытался уйти от нее, считая, что лучше жить неуловимыми снами, чем «дрянью и мусором» каждого дня».

Но, читая Грина, трудно с этим согласиться. «Неуловимых снов» в его произведениях вообще не замечается, он был писатель вполне земной и к декадентским «снам» и «откровениям» относился по большей части скептически. А что до «дряни и мусора каждого дня», то все лучшие произведения Грина, каждая их страница для того и писалась, чтобы «дрянь и мусор» вымести из жизни человеческой, чтобы сказать своим читателям: все высокое и прекрасное, все, что порою кажется несбыточным, «по-существу так же сбыточно и возможно, как загородная прогулка. Я понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы делать чудеса своими руками...».

Это строки из «Алых парусов». Они задумывались в 1917—1918 годах, в те дни, когда люди «своими руками» творили чудеса революционного переустройства жизни. В «Алых парусах», этой по-юношески трепетной поэме о любви, нет и намёка на

«недоверие к действительности». Своей феерией, так знаменательно для тех дней названной, Грин откликнулся на события, бурлящие за окном.

Откликнулся он по-своему, книгой по-гриновски «странной», написанной страстно и искренне, книгой, в которой сказка об алых парусах, лелеемая в душе девушки Ассоль из рыбацкого поселка, этой знакомой нам с детства Золушки, принцессы мечты, становится явью, былью. Былью, которая сама похожа на сказку.

Сказкой перед Грином раскрывалась революция. В своем рассказе в стихах «Фабрика Дрозда и Жаворонка», напечатанном в январе 1919 года в журнале «Пламя» (его редактировал А. В. Луначарский), писатель изображал фабрику будущего, утопающую в зелени тополей, с цветниками роз на фабричном дворе, журчащими фонтанами, плещущим бассейном. А цех на этой фабрике — большая зала,

Круглый свод из хрусталя
В рамках белого металла,
Солнце яркое деля
Разноцветными снопами,
Льет их жар на медь и сталь,
Всюду видимые вами,
Как сивозь желтую вуаль.

Герою рассказа, петроградскому рабочему Якову Дрозду, пригрезилась такая фабрика, где все, как в сказке, где все — от ременного шкива и стен до мотора и машины — сделано «ювелирно и красиво», чтоб «машинная работа с счастьем зрения слилась»... Сейчас, в пору успехов производственной эстетики, то, о чем писал Грин, не диво. А тогда? Кто мог вообразить себе такое в суровом девятнадцатом году? Мечтатель.

Приходит пора вдохновенного труда. Никогда не писал Грин так легко и уверенно и так много, как в эти годы. Феерия «Алые паруса», стихи, рассказы, первый роман, озаглавленный так значительно — «Блистающий мир»... Над ним писатель работал одновременно с другим произведением, тоже новым ему по форме, «Повестью о лейтенанте Шмидте». Рукопись этой повести, к сожалению, утеряна, но отрывок из нее (точнее, ее краткий конспект), напечатанный в 1924 году в московской газете «На вахте», дает представление о ее жанре: это был публицистический очерк о жизни «романтика революции», о восстании «Очакова».

Весьма вероятно, что Грин, тогда только что выпущенный из севастопольской тюрьмы, был свидетелем событий, видел Шмидта. Этому особенно хочется верить, когда читаешь «Блистающий мир». Есть что-то шмидтовское в пафосе трагической судьбы летающего человека Друда.

Роман «Блистающий мир», напечатанный в 1923 году в журнале «Красная Нива», удивил тогда не только читателей, но

и литераторов необычностью фабулы, поразительной даже для Грина смелостью художественной выдумки. В своих воспоминаниях о писателе Юрий Олеша приводит очень любопытную характеристику этого романа, данную самим автором.

«Когда я выразил Грину свое восхищение по поводу того,— пишет Олеша,— какая поистине превосходная тема для фантастического романа пришла ему в голову (летающий человек!), он почти оскорбился.

— Как это для фантастического романа? Это символический роман, а не фантастический! Это вовсе не человек летает, это парение духа!»

То, что изображает Грин в «Блистающем мире», действительно выходит за рамки обычного фантастического произведения. Ведь там люди обычно летают с помощью каких-либо приспособлений, механических крыльев, шаров, хитроумных приборов, а вот чтобы человек полетел без всего, как стоит (так дети летают во сне!), чтобы было это его даром, его естественной способностью,— таких пределов авторы фантастических романов не достигают. Им этого и не нужно, потому что это уже другая область, область символов, иносказаний, аллегорий.

«Блистающий мир» — роман о летающем человеке Друде, его приключениях и трагической гибели — произведение аллегорическое и вместе с тем удивительно конкретное в своих социальных приметах. И суть дела здесь уже не в том, что у Грина была превосходная способность рисовать самое возвышенное, необыкновенное в обстоятельствах обычных, бытовых, «приземленных». Суть в ином. Лисс и Сан-Риоль, эти придуманные Грином, сияющие солнцем гавани, где живут чудачковатые, влюбленные в родное море капитаны Дюки и бесстрашные Битт-Бои, приносящие людям счастье, поворачиваются перед читателями своей другой, неожиданно новой стороной. В романе обнаруживается, что не только Дюки, и Битт-Бои, и девушки предместий, нежные Режи, «королевы ресниц», населяют Лисс. В нем обитает и человек без души, министр Дауговет, который тут же, в цирке, приказывает убить летающего человека: «Теперь же. Без колебания». И сыщики, как бульдоги, бросаются на Человека Двойной Звезды (так называют Друда в цирке). Оказывается, что в Лиссе есть тюрьмы, тайные казематы, чугунолицые полицейские. А на главной улице Лисса, в роскошном особняке, притаилась красавица Руна. Она поначалу пытается очаровать, обворожить летающего человека, приручить его и заставить служить своим миллионам. Но когда Друд бросает ей в лицо резкое и холодное: «Нет!»,— она замышляет то же, что и министр: убить! Ее люди, как охотники зверя, выслеживают Друда. И вот лежит он с разможенной головой на пыльной мостовой города. Люди, правящие Лиссом, убивают летающего человека, убивают мечту, «парение духа».

Так некогда идиллический Лисс, этот блистающий солнеч-

ными красками мир, оборачивается в романе перед читателями своей черной, капиталистической изнанкой. Если «Блистающий мир», как говорил Грин,— роман символический, то его символика насковзь социальна, и это аллегорический социальный роман.

Интересно, что гриновский сюжет о летающем человеке использовали и другие авторы. У чешского писателя Карела Чапека есть рассказ «Человек, который умел летать». Его герой, страстный спортсмен Томшик, так же, как и Друд, нечаянно, внезапно обнаружил в себе способность летать, и его тоже отучают от полетов, но несколько иными, невинными способами. Его заставляют летать «по правилам», правильно приседая да правильно разбегаясь, и крылатый Томшик летать разучивается.

Закончив роман «Блистающий мир», Грин весной 1923 года едет в Крым, к морю, бродит по знакомым местам, живет в Севастополе, Балаклаве, Ялте, а в мае 1924 года поселяется в Феодосии — «городе акварельных тонов». В ноябре 1930 года, уже больной, Грин переезжает в Старый Крым, который он любил за его великую тишину, за безбрежие садов и леса, за то, что стоит он на горе, откуда видно море. Тут Грин заканчивал «Автобиографическую повесть», писал рассказы... 8 июля 1932 года писатель умер.

Крымский период творчества Грина примечателен не только тем, что он стал как бы «болдинской осенью» писателя, что в эту пору он создал, вероятно, не менее половины всего им написанного. В произведениях 1924—1932 годов стала яснее, отчетливее их социальная направленность, их связь с жизнью. Черноморские впечатления этих да и ранних лет, разбуженные воспоминаниями о местах давних странствий, вливались в гриновские книги. Вся вторая часть романа «Дорога никуда», где действие происходит в Гертоне, как мы уже знаем, написана по севастопольским впечатлениям. Во многом автобиографичен и шестнадцатилетний юнга Санди, герой «Золотой цепи».

Сюжет «Золотой цепи» кое в чем напоминает «Золотого жука» Эдгара По. В обоих этих произведениях повествуется о пиратских кладах, о найденных несметных богатствах. Но в «Золотом жуке» клад обещает благополучие, сулит довольство и счастье, которое наконец обретут Вильям Легран и его друзья, а в гриновском романе клад приносит людям горе, тянет за собой преступления и смерть. Совсем не напрасно Грин придает кладу гиперболизированный, символический вид: нищий бродяга Ганувер выволакивает на берег со дна морского чудовищную многопудовую золотую цепь.

Золото для нищих духом... Ни за какие блага мира не купить «счастливчику» простых сердец Санди и Молли, для «золотой пыли» они неуязвимы. Чистыми и светлыми проходят

они через все соблазны, все лабиринты таинственного Дворца Золотой цепи.

Символичен и другой, самый популярный роман Грина, его «Бегущая по волнам». Сказочный Гель-Гью, сияющий маскарадными огнями, тоже поворачивается перед читателями своей неприглядной, будничной подкладкой. Статую «Бегущей по волнам», которая высится на центральной площади, венчая народный карнавал, хотят разрушить люди, «способные уку-снуть камень», — фабрикант и заводчик, с толстыми сигарами в зубах. Прелестная Биче, та, что кажется Томасу Гарвею жи-вым воплощением легендарной девы, бегущей по волнам, сникает и гаснет при первом соприкосновении с тайной воображе-ния. «Я не стучусь в наглухо закрытую дверь», — со снисхо-дительной улыбкой говорит Биче. Той дерзкой душой, что не боится «ступить ногой на бездну», оказывается не Биче, а про-стая девушка с корабля — Дэзи. Это Дэзи зовет и слышит в конце романа призывный голос «Бегущей по волнам»:

«— Добрый вечер! Добрый вечер, друзья! Не скучно ли на темной дороге? Я тороплюсь, я бегу...»

Горький говорил, что в рамки аллегории можно уложить темы самые значительные; пафос и сатира, лирика и эпос — все ей подвластно. Аллегорические романы Грина тому прямое доказательство.

Не все, что написал Грин, равноценно. Даже такие его ве-щи, как «Остров Рено» или «Пролив бурь», наиболее известные в дореволюционную пору, кажутся сейчас «чужими» в творчестве писателя. Ведь Грин в них ближе всего к кумиру своей горькой юности Эдгару По, к его романтике отчаяния, гибельной судьбы человека, как в рассказах типа «Карантин» или «Третий этаж» он ближе всего к Леониду Андрееву.

Но не от нелюдимого «Острова Рено», а от таких блистатель-ных, жизнелюбивых вещей, как «Капитан Дюк», «Возвращен-ный ад», «Сто верст по реке», шла прямая дорога к «Кораблям в Лиссе» и «Алым парусам». И пусть мечта бравого Дюка, это-го морского Фальстафа, не перелетает за борт надежной «Ма-рианны», она сродни крылатой мечте Друда. Они люди одного сплава, одной мечты, мечты на всю жизнь.

Иногда мечта гриновских героев, по слову Писарева, «может хватать совершенно в сторону». И тогда появляются в про-изведениях писателя строки и страницы, которые звучат, как фальшивая нота в ясной и чистой мелодии. К примеру, в «Алых парусах» вслед за уже знакомыми нам прекрасными словами о том, что чудеса надо делать своими руками, герой феерии го-ворит так:

«Когда начальник тюрьмы сам выпустит заключенного, ко-гда миллиардер подарит писцу виллу, опереточную певицу и сейф, а жокей хоть раз придержит лошадь ради другого коня,

которому не везет,— тогда все поймут, как это приятно, как это невыразимо чудесно»...

Мечтания об идиллических начальниках тюрем и миллиардерах, по доброй воле отдающих писцам свои виллы и сейфы, относятся к разряду подлинно несбыточного. Однако эти иллюзии были у Грина стойки. Он сам не раз писал рассказы о сентиментальных начальниках тюрем и растроганных ворах, а кое-какие черты добродетельного обладателя чековой книжки сейчас легко обнаружить даже у Грэя из «Алых парусов» или Томаса Гарвея из «Бегущей по волнам».

К счастью, эти иллюзии не определяют основного направления творчества писателя. Сюжеты его книг ведут люди действия, те, которые «видят в своей мечте святую и великую истину» и ради нее идут на дерзновенные свершения. Презирающий смерть лоцман Битт-Бой, исполненная неугасимой веры в мечту Ассоль, верный Санди и неподкупная Молли в «Золотой цепи», мужественный Тиррей Давенант, вступивший в неравную борьбу с сильными мира сего в «Дороге никуда», бесстрашная Дэзи в «Бегущей по волнам», Тави в «Блестящем мире», поверившая в невозможное,— в этих образах олицетворено основное содержание, социальный пафос гриновских книг, одухотворенных высокой романтикой мечты, такой мечты, о какой говорил Писарев, что ее «можно сравнить с глотком хорошего вина, которое бодрит и подкрепляет человека»...

* * *

На гористом старокрымском кладбище, под сенью старой дикой сливы, лежит тяжелая гранитная плита. У плиты скамья, цветы. На эту могилу приходят писатели, приезжают читатели из дальних мест. Те чувства, которые владеют ими, на наш взгляд, хорошо выразил один из почитателей Грина, юноша-студент, в своих безыскусственных и душевно написанных стихах:

Мне встречи с ним судьба не подарила,
И лишь недавно поздние цветы
Я положил на узкую могилу
Прославленного рыцаря мечты.
Но с детских лет, с тех пор,
когда впервые
Я в мир чудес, им созданных, проник,
Идут со мною рядом, как живые,
Веселые герои его книг.
Они живут в равнинах Зурбагана,
Где молодая щедрая земля
Распахнута ветрам и ураганам.
Как палуба большого корабля.

Мысли этого стихотворения точны. «Рыцарем мечты» входит Грин в сознание своих читателей, и лучшие его книги являются неотъемлемой частицей нашей многообразной советской литературы.

В. В и х р о в

Рассказы

1906-1910

В ИТАЛИЮ

I

Измученный и полузадохшийся, дрожа всем телом от страшного возбуждения, Геник торопливо раздвинул упругие ветви кустов и ступил на дорожку сада. Сердце неистово билось, шумно ударяя в грудь, и гнало в голову волны горячей крови. Вздохнув несколько раз жадно и глубоко, он почувствовал сильную слабость во всем теле. Ноги дрожали и легкий звон стоял в ушах. Геник сделал несколько шагов по аллее и тяжело опустился на первую попавшуюся скамейку.

Те, кто охотились за ним, без сомнения потеряли его из виду. Быть может — это было и не так, но так ему хотелось думать. Или, вернее — совсем не хотелось думать. Странная апатия и усталость овладевали им. Несколько секунд Геник сидел, как загнипнотизированный, устремив глаза на то место в кустах, откуда только что вышел.

В саду, куда он попал, перескочив с энергией отчаяния высокий каменный забор, было пусто и тихо. Это был не-

большой, но густой и тенистый оазис, заботливо выращенный несколькими поколениями среди каменных громад шумного города.

Прямо перед Геником, за стволами деревьев на лужайке красовалась цветочная клумба и небольшой фонтан. Шум уличной жизни проникал сюда лишь едва слышимым дребезжанием экипажей.

Надо было что-нибудь придумать. Огненный клубок прыгал в голове Геника, разворачиваясь и снова сжимаясь в ослепительно блестящую точку, которая плыла перед его глазами по аллее и зеленым кустам. Напряженная, почти инстинктивная работа мысли подсказала ему, что идти теперь же через ворота, рискуя, вдобавок, запутаться на незнакомом дворе — немыслимо. Сыщики гнались за ним по пятам и только после двух его выстрелов убавили шаг. Он вбежал в первый попавшийся двор, перепрыгнул стену и очутился в пустом, незнакомом саду. Он не знал даже, выходят ли ворота этого двора на ту улицу, где он оставил погоню, или же на противоположную. Но даже и в этом случае его положение было сомнительным. Квартал, наверное, был уже оцеплен.

Геник вынул револьвер и сосчитал патроны. Было семь — осталось три. Двумя он очень убедительно поговорил с городовым, побежавшим за ним. Служака растянулся лицом книзу на пыльной, горячей мостовой. Две прожужжали мимо ушей сыщика. Осталось три... Трех было очень мало...

Беспокойные мухи назойливо гудели вокруг, садились на лицо и глаза, раздражая своим прикосновением пылающую кожу. Откуда-то донесся стук ножей, запах кухни и звонкая перебранка. Нервно кусая губы и машинально рассматривая носки сапог, Геник пришел к заключению, что, пожалуй, самое лучшее для него теперь — это забраться куда-нибудь в дровяной сарай или конюшню, предоставив дальнейшее случаю...

II

Когда он поднял, наконец, глаза, маленькая девочка, стоявшая против него, рассмеялась тихим смехом. Ее руки кокетливо прятались за спиной, и светлые карие глазки в упор смотрели на незнакомца.

Есть в человеческой психике что-то, что иногда в самые важные моменты нашей жизни вдруг неожиданно направляет мысли очень далеко от текущего мгновения. Особа, стоявшая на дорожке, вдруг напомнила Генику что-то, несомненно виденное им... Он прогнал муху, приютившуюся над его бровью, и разом поймал ускользавшее воспоминание...

...Маленькая лужайка в густом парке, окруженная сплошной стеной малинника, бузины и высоких, шумящих деревьев. Снопы света падают почти вертикально из голубой вышины. Густая трава пестреет яркими головками лесных цветов...

Это было доисторическое время, когда земля кипела нарядными бабочками, стрекозами с прозрачными крыльями, невыносимо серьезными жуками, царевичами и трубочистами. Жить было недурно, только прелесть жизни часто отравляла особая порода, именуемая «взрослыми». «Взрослые» носили брюки на выпуск, ничего не знали (или очень мало) о существовании разрыв-травы и важнейшим делом жизни считали умение есть суп «с хлебом»...

Все это — лужайка, мотыльки и взрослые — сверкнуло и исчезло. Жгучая, острая тоска затравленного зверя сдавила Генику грудь, и он гневно скрипнул зубами.

Сделав два шага по направлению к скамейке, на которой сидел Геник, девочка устремила на него улыбающиеся глаза и произнесла полужастенчивым, полурадостным голосом:

— Здравствуй, дядя Сережа!

— Здравствуй, — ответил Геник, машинально поворачивая в кармане барабан револьвера.

— А ты почему не приехал завтра? — продолжал ребенок, испытующе поглядывая на дядю. — Мама тебя очень бранила. Она говорит, что ты какой-то деревянный!

— Мама пошутила, — медленно и внушительно сказал Геник. — Она думала, что ты умная. А ты — глупенькая!

— Это уж ты глупенький-то! — Девочка надулась. — Не буду тебя любить!

— Вот как! Это почему?

— А ты... ты, ведь, хотел привезти железную дорожку! И еще зайчика... Разве ты обманщик?

— Я был сердит на твою маму, — вывернулся Геник. — Я хотел, чтобы тебя называли Варей, а она меня не послушала.

— Варя — это у кухарки, — заявила девочка, подступая ближе. — Она рыжая. А я — Оля!

— Ну, вот. Но теперь я уже перестал сердиться. И знаешь, что я придумал?

— Нет! Какую-нибудь дрянь? — осведомилась девочка.

— Ай, какой стыд! Кто тебя научил так говорить? Вот скажу маме непременно, что учишься у Вари...

— Я не учусь! Это папа так говорит, — хладнокровно возразила племянница.

— Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! — продолжал укоризненно покачивать головой Геник.

— Ну — я не буду! Ну — скажи, что? — приставала девочка.

— А ты любить меня будешь?

— Да-а! — Оля утвердительно кивнула головой и, подойдя к Генику, сложила свои розовые пальчики на его большой сильной руке. — Ну, скажи же, скажи!

— Мы, — торжественно заявил Геник, — поедем с тобой на настоящей железной дороге!

— В Италию, — с восторгом подхватила Оля, и глаза ее мечтательно расширились.

— В Италию! Мы возьмем с собой маму м... м...

— Мы еще возьмем... возьмем вот кого! — Оля задумалась. — Мы возьмем всех, правда? И маму, и Варьку, и Ганьку, и французенку... Нет, французенку не нужно! Она злая! Она все жалуется, а папка ее очень любит за это!..

— Вот как! Ну, мы ее тогда... оставим без обеда!..

— Во-от. Так ей и надо! — Девочка с нетерпением смотрела на Геника. — Мы едем в Италию!

— Нет! — печально вздохнул Геник. — Я и забыл, что мне нельзя ехать.

— Ну-у?! — Оля недоверчиво и огорченно раскрыла рот. — А почему нельзя? а?

Ее подвижное личико надулось, и губы обиженно задрожали, приготовляясь плакать. Геник погладил ее по щеке и сказал:

— Я пошутил, Оля. Ехать можно, только надо купить летнюю шляпу.

— Вот такую, как у папы, — озабоченно заметила девочка. — Белую. А ты был в Италии?

— Был. Только там шляпы лучше папиной!

— Да-а, как же! У папы всегда лучше,— заявила племянница и вдруг даже подпрыгнула от радости.

— Сережа, едем! — закричала она, хлопая в ладоши. — Скорее! Я дам тебе папину шляпу — вот!

Геник привлек девочку к себе и поцеловал ее в сияющие глаза.

— Не надо, Оля,— сказал он печально. — Мама узнает, будет бранить Олю!

— Мамы нет, Сережа! Она у художника — знаешь? Плешивый!..

III

Геник не успел открыть рот для ответа, как белое платье девочки уже замелькало по направлению к дому. Через несколько мгновений топот ножек затих.

Тогда он достал из бокового кармана номер вчерашней газеты и развернул ее, смоченную потом. Сразу как-то назойливо бросилось в глаза объявление табачной фабрики с массой восклицательных знаков.

«Вызвали наряд городовых,— думал он, чувствуя, как им овладевает мелкая нервная дрожь, сменившая возбуждение. — По улицам расставили шпионов. По углам сторожат конные жандармы. Телефон работает»...

Где-то, вероятно на соседнем дворе, шарманка заиграла хрипящий, жалобный вальс. Солнце поднялось над соседней крышей и заглянуло в глаза Генику. Маленькая, вертящая птичка запрыгала по аллее и вдруг испуганно вспорхнула, увидев человека, одетого в черное, с бледным лицом. Геник проводил ее глазами и насильно усмехнулся, вспомнив Олю. Затем встал, провел рукой по пыльному лицу и огляделся.

Стена имела не менее сажени в высоту. Она охватывала сад, находившийся в задней части двора, с трех сторон. Было странно, как мог он перескочить ее без посторонней помощи. Это произошло мгновенно; как будто какой-то вихрь поднял его тело и перебросил по эту сторону. Во всяком случае, нечего было и думать повторить снова эту штуку. Всматриваясь пристальнее в глубину сада, он заметил в отдалении легкие просветы, сквозь которые можно было видеть маленькие кусочки мощеного двора и угол каменного, многоэтажного дома.

Он снова сел и только тут заметил, что его одежда носила явные и свежие следы кирпича и извести. Схватив горсть влажной травы, он начал поспешно приводить себя в порядок, затем развернул газету и напряженно, до боли в глазах, стал вглядываться поверх ее страниц в темную глубину сада.

IV

Кровь постепенно отхлынула от сердца, но пульс бился по-прежнему неровно и часто. Станный, колющий озноб пробежал по его ногам, несмотря на июльскую жару.

Цветочная клумба пришла в движение. Немилосердно комкая дорогие цветы, белое платье Оли пронеслось вихрем и остановилось перед Геником. Лицо девочки сияло восторгом блестяще выполненной задачи: большая отцовская шляпа широким грибом покрывала ее густые русые волосы.

— Вот папина шляпа, Сережа! — заявила она, шумно переводя дыхание. — Надевай!

Она привстала на цыпочки и, прежде чем Геник успел нагнуться, торопливые детские руки сорвали его помаятую, черную шляпу и нахлобучили взамен ее желтую новенькую панаму.

— Ах! — она отступила на шаг и, сложив руки, прижала их к груди, с явным восхищением поглядывая на дядю. Незаметным ударом ноги Геник подбросил под скамейку свой отслуживший головной убор.

— Ну, вставай же, поедem!

— погоди, детка, — улыбнулся Геник. — Еще поезд не пришел. Он придет скоро, скоро... и тогда... Мне еще нужно съездить по делу на часок. Потом я вернусь, и мы отправимся.

— Ну, пойдем ко мне! Я покажу тебе Зизи. Она сейчас завтракает, а потом будет кувыраться... У нее глаза болят!..

— Видишь ли, очень жарко. А в комнате еще теплее. Я даже хочу снять пальто.

Геник стащил с себя летнее черное пальто, опустил его за скамейку и остался в широком, сером пиджаке, делавшем его гораздо полнее, чем он был на самом деле и казался в своем узком пальто.

— А я сяду к тебе? — она заглянула ему в глаза.— Можно? Только ты меня усами не трогай. Папа меня всегда усами щекочет.

Болтая, она вскарабкалась к нему на колени и прижалась щекой к его боковому карману, где лежал револьвер.

— А ты хочешь какао, Сережа? Мама мне всегда велит пить какао. Оно такое противное, как лекарство!

V

Но уже кто-то, чужой и враждебный, шел из глубины сада... Мерно хрустел песок, слышалось сдержанное покашливание... Геник затаил дыхание и сунул руку за пазуху...

Два городских, с револьверами наготове, показались в изгибе аллеи. Они шли медленно и осторожно. Впереди шел дворник, плотный, невысокий мужик, широколицый, с маленькими, часто мигающими глазами.

Увидев их, Оля вырвалась из рук Геника и стремительно кинулась к дворнику. Ухватившись за его грязный передник, она запрыгала и заторопилась, путаясь и захлебываясь.

— Степан! Он приехал! Дядя Сережа! Вот он! Он меня повезет в Италию!

Наступило короткое молчание. Полицейские осматривались кругом, нерешительно порываясь двинуться дальше.

Был момент, когда, как показалось Генику, сердце совсем перестало биться у него в груди, и земля завертелась перед глазами...

— С приездом осмелюсь вас поздравить, барин,—сдержанно сказал Степан, приподнимая фуражку.— Позвольте, барышня, как бы не зашибить вас случаем!

Он бережно отстранил девочку и опустил руки по швам.

— Мы, ваше степенство, можно сказать, двор осматриваем... С Михайловской улицы из пивной видели, как тут человек к бельгийцу во двор заскочил... А окромя как через наш двор ему выскочить негде...

— Какой человек? — отрывисто спросил Геник.

— Из тюрьмы сбежал, барин, бунтарь. Вся полиция на ногах. В городского стрелял, прямо в живот угодил...

Геник поднялся во весь рост, строгий и величественный.

— Степан! — начал он медленно и внушительно, смотря дворнику прямо в глаза,— стоит мне сказать одно сло-

во — и ты будешь немедленно уволен! Помогать охране порядка — твоя прямая обязанность! В то время, как вот они, — он указал взглядом на городских, — не жалея жизни исполняют свой долг — ты сидишь в пивной и, разинув рот, ловишь мух! Очень хорошо!

— Господи! Ужли-ж я... ведь на один секунд! Ежели в этакую-то жару выпьешь единую кружку, так уж и не знаю что... Эх, барин!

Степан обиженно вздохнул и умолк.

— Иди, я не держу тебя. Впрочем — погоди. Позови извозчика — ряди в дворянское собрание...

— Хорошо-с, — сказал угрюмо Степан, надевая картуз.

Он немного потоптался на месте, и все трое удалились, переговариваясь вполголоса. Оля робко подошла к Геннику и тихо сказала:

— Какой ты сердитый! А ты на меня будешь кричать?

— Нет...

— Они кого ищут? Мазурика? Да?

— Да...

— Он какой — голый?

— Да...

Геник стоял во весь рост, затаив дыхание, сжав кулаки и, как окаменелый, глядя в сторону ушедших. Когда шум шагов затих, он в изнеможении почти упал на скамью и разразился нервным, рыдающим смехом...

Испуганная девочка кинулась к нему и, напрягая все силы, сама готовая заплакать, старалась поднять его голову, опущенную на вздрагивающие руки.

— Сережа, не плачь! Сережа — я обманула тебя! Я буду тебя любить...

Громадным усилием воли Геник поднял голову и взглянул на девочку. Ее испуганные глазки беспомощно смотрели на него, пальчики трясли изо всех сил большую, загорелую руку. Вдруг Геник скорчил потешную гримасу, и Оля звонко расхохоталась.

— Ты — смешной! — заявила она. — Как клоун!

На другом конце двора послышалось дребезжание извозничьего экипажа. Геник встал.

— Прощай, Оля! — сказал он, поправляя галстук. — Я приеду к обеду и привезу тебе железную дорогу.

— И лошадку?

— Да, и лошадку. А потом мы поедем в Италию!..

— Вот как хорошо! — засмеялась девочка, идя рядом с ним. — Ты, ведь, до-о-бренький! Я с тобой всегда буду ездить!

Аллея кончалась, и перед ними блеснул чисто выметенный, мощеный двор. У роскошного крыльца ожидал извозчикий фаэтон. Подойдя к экипажу, Геник нагнулся и поцеловал пушистую, русую головку.

— До свидания! Будешь умница?

— Да-а!..

Он вскочил на сиденье, и экипаж с грохотом выехал на улицу.

Оглянувшись назад, Геник увидел Олю. Она стояла у железной решетки ворот, освещенная солнцем, золотившим ее густые кудри, и усиленно кивала головкой уезжавшему...

Когда экипаж поворачивал за угол, Геник оглянулся еще раз. Мгновенно мелькнуло и скрылось белое пятнышко, а ветер встрепенулся и донес слабый отголосок детского крика:

— Ведь ты приедешь, Сережа?

СЛУЧАЙ

I

Бальсен запряг свою понурую, рыжую лошадку и, крепко нахлобучив шапку на голову, вышел со двора на улицу. Дождь уже перестал поливать землю. Густой запах навоза и гнилой сырости стоял в черном, как смола, воздухе, насыщенном теплой влагой осенней ночи. Ветер стих. В пустынной тишине темной, уснувшей улицы жалобно скрипел флюгер над крышей дома Бальсена, и в доме ярко светились два окна, озаряя грязные лужи на краю дороги. Жена Бальсена, Анна, умирала. Так думали все соседи и старуха Розе, сидевшая у больной. Но упрямая, круглая голова Бальсена не верила этому. Молодая и любимая женщина не может умереть так скоро, прожив с мужем только год и родив лишь одного ребенка. Старухи каркают зря.

Подумав так, он вошел в дом и тихо подошел к деревянной, почерневшей от времени кровати, на которой, среди подушек и одеял, широко раскинув руки, лежала больная. Бальсен смотрел на нее и удивлялся. Неужели это та самая Анна, что еще неделю тому назад пела и кричала на всю улицу? С трудом можно было этому поверить... Щеки впали; лоб, обтянутый гладкой, пожелтевшей кожей, покрылся испариной. Запекшиеся губы неровно и часто открывались, и дыхание с болезненным свистом вырывалось из груди. Вся она страшно исхудала, побледнела и сделалась такой жалкой и беспомощной.

Розе копошилась у плиты, готовя какое-то деревенское питье. Бальсен тихо потрогал жену за руку и спросил:

— Ну, как? Трудно тебе, Анна?

Молодая женщина ничего не ответила, но веки ее дрогнули и дыхание сделалось ровнее. С трудом приоткрыв, наконец, глаза, она стала смотреть перед собой неподвижным, мутным взглядом. Потом глаза снова закрылись, а губы начали шевелиться. Бальсен стиснул зубы.

— Оставь ее, Отто, оставь! — убеждающим шепотом заговорила старуха, отрываясь от плиты и поправляя под чепчиком дрожащими, коричневыми пальцами клочья седых, как вата, волос. — Нельзя ее трогать... Поезжай скорее, если ты добрый муж!

Ребенок в соседней комнате проснулся и тихо заплакал. Старуха поспешила к нему. Бальсен перевел глаза к столу, за которым его младший брат, Адо Бальсен, читал газету при свете керосиновой лампы. Зеленая тень стеклянного колпака падала на хмурое, сосредоточенное лицо юноши.

— Брось газету, Адо! — раздраженно крикнул Бальсен, и жилы вздулись на его лбу. — Вечная политика, даже тогда, когда в доме горе!.. Это вы, зеленый горох, лезете по тычине к небу и валитесь вместе с ней! Брось, я тебе говорю!

Адо улыбнулся и поднял глаза на брата.

— Не сердись, Отто! — мягко сказал он. — Я не обижаюсь на тебя... Тебе тяжело; это понятно... Но чем виновата газета?

— Никто не виноват! — тяжело дыша, сказал Бальсен и заходил по комнате, круто поворачиваясь. — А чем виновата Анна, что тебе и другим дуракам вздумалось облагодетельствовать всех плутов, мошенников и лентяев на свете? Гибнут все хорошие люди!..

— Этого не может быть! — сказал юноша и упрямо встряхнул волосами. — Если бы погибли все хорошие люди, мир не мог бы существовать!..

— Ну да! Это из книжки! А на самом деле? Где кузнец Пельт? Где Аренс, учитель? Где Мансинг, аптекарь? Один убит... А других что ждет? А что они сделали? Будь Мансинг здесь, Анна, быть может, была бы здорова...

— Отто, ты — как большой ребенок! — сказал Адо. — Ну, что бы мог тут сделать аптекарь? Все равно ты бы поехал за доктором... Тебе просто, как видно, хочется сорвать сердце на чем-нибудь!..

— Сорвать?! Молокосос ты и больше ничего!.. Что ста-

ло с краем? Еще такой год, и мы будем нищие! Мы, Бальсены!..

Истекший год оставил в Бальсене-старшем тяжелые воспоминания. Деревня обезлюдела: кто разорился, кто исчез, неизвестно куда. Нескончаемые военные постой, реквизиции, вечный страх перед кулаком и плетью... Обыски, доносы... Жизнь сделалась адом.

И Бальсен в грустные минуты вспоминал зеленые, залитые горячим светом поля, здоровье, радость труда, смех Анны, крепкую усталость, вкусную жирную еду и богатырский сон... В прошлом жилось хорошо, настоящее — ужасно и смутно; будущее — неизвестно...

И Бальсен возненавидел политику и людей, причастных к ней, перенося, как все умственно близорукие люди, свои симпатии и антипатии на предметы, непосредственно ясные для зрения. Газета, иностранное слово раздражали его. Рабочий, крестьянский ум Бальсена глядел в землю и никуда больше.

Ребенок затих, и старуха вошла в комнату шаркающей, хлопотливой поступью.

— Будет шуметь! — сказала она. — Что для вас Анна? Ваши споры вам дороже. Отто, не забудь, что до Вендена сорок верст... Лошадь поела? Поезжай, а то я выгоню тебя ухватом.

Бальсен перестал ходить и подошел к кровати. Постояв немного, он наклонился и поцеловал Анну в волосы. Больная в беспамятстве шептала что-то, быстро шевеля губами. В голубых, сердитых глазах крестьянина вспыхнула затаянная мука.

— Не топчись! — ворчала Розе. — Поезжай, ну!

— Тетка Розе! — сказал вдруг Бальсен. — А что, если он не захочет?

— Ну, вот! Поедет! Иначе его покарает бог!.. А бумажку возьми с собой на всякий случай; купишь в аптеке.

Бальсен нащупал в кармане бумажку, сложенную вчетверо, на которой был написан какой-то традиционный безграмотный деревенский рецепт, вздохнул и вышел, тихо притворив дверь.

II

Дорога шла лесом. Невысокая, редкая чаща тянулась на пятнадцать верст двумя сплошными, угрюмыми стенами. Дорога была неровна и кочковата, но Бальсен не за-

хотел ехать обычным, наезженным трактом, потому что лесной путь сокращал расстояние по крайней мере верст на десять. Во-вторых, здесь он чувствовал себя спокойнее и мог рассчитывать не наткнуться на бродяг и грабителей, расплотившихся в последнее время. Бальсен живо помнил, как пастор Кинкель приехал домой от одного больного — в нижнем белье, стуча зубами от страха и холода.

Низкие, темные облака толпились, как привидения, исчезая за черной, зубчатой извилиной лесной опушки. Тяжелые водяные капли часто хлопали, падая в рытвины, наполненные водой. Изредка ветер, внезапно прошумев над вершинами елей и сосен, стряхивал с веток целые потоки воды, и тогда казалось, что лес наполняется торопливым, смутным шепотом. Иногда раздавался слабый писк сонной птицы, легкий, осторожный треск... Вдали, в самой глубине лесного затишья, какое-то печальное и одинокое существо монотонно гудело, и его глухое «гу-у! гу-у!» выло, как ветер в трубе.

Лошадь быстро бежала, помахивая шеей, и в ее торопливом, крепком и уверенном беге было что-то успокаивающее и ободряющее. Повозка качалась и подпрыгивала на рытвинах и древесных корнях, протянувших свои кривые щупальца под тонким дерном. И Бальсену, глядевшему в черный, неподвижный мрак, казалось, что он едет в глухом, темном коридоре, уходящем в какое-то подземное царство... Тогда он поднимал голову вверх и смотрел на густые, медленно и высоко ползущие тучи.

Проехав верст десять, он остановил лошадь и вылез, чтобы поправить седёлку, сбившуюся набок. Копыта перестали стучать, и колеса затихли. И в жуткой, сонной тишине лесного покоя, встревоженного только этим шумом езды одинокого человека, казалось, ничто уже больше не разбудит затишья ночи, упавшего на землю.

И дорога, предстоявшая Бальсену, показалась ему такой бесконечной, темной и тоскливой, что он снова поспешно вспрыгнул в повозку и задергал вожжами. Лошадь побежала, бойко и мерно постукивая копытами.

Сидя в повозке, Отто Бальсен думал об Анне, жизни, глупом братишке Адо и своем путешествии. Мысли его тяжело и сосредоточенно устремлялись одна за другой. Было странно и непонятно, что горе может прийти внезапно и нарушить спокойное довольство трудящегося человека. С его, Бальсена, стороны, не было к этому никаких поводов.

Он исправно платил подати, работал прилежно, верил в бога и загробную жизнь, иногда кормил нищих и был добрым, заботливым мужем... А все же хозяйство расстраивалось, и все же Анна лежит там, в деревне, и стонет, и мучается, а он, Бальсен, едет ночью за десятки верст, рискуя большими расходами...

И мысль снова начинала вертеться в прошлом, отыскивая тайные пружины, незримые семена, взрастившие заботу и горе. Ничего не оказывалось. По-прежнему в воображении упрямо вставали желтые пышные поля, смуглые руки Анны и тишина домашнего уюта... Бальсен сердито вытянул Рыжика кнутом и выехал на опушку.

III

Лес кончился, уходя назад черной, плывущей тенью, а дорога сделалась ровнее и шире. Крестьянин вынул старинные, серебряные часы и зажег спичку. Стрелки показывали 12. Еще часа полтора езды до города, и к пяти утра он, пожалуй, успеет вернуться обратно. Шурин Андерсен с удовольствием одолжит ему одну из своих четырех лошадей. Бедный Рыжик уже устал, вероятно, так как часто взматывал головой.

И вдруг Бальсен услышал, что навстречу ему кто-то едет. В темноте раздавались дробные, перебивающиеся удары копыт и фыркание лошадей. Он потянул вожжи к себе, прислушиваясь, и решил, что едут верховые. Затем свернул с дороги на рыхлое, кочковатое жнивье и остановил Рыжика.

Топот приближался, слышался ленивый, сдержанный разговор. Рыжик вытянул шею и звонко, нетерпеливо заржал, перебирая ногами. Голоса затихли. Бальсен рассердился и ударил лошадь. Через секунду раздалось ответное, возбужденное ржание, и повозку быстро окружили темные силуэты людей, сидящих верхом, с винтовками за плечами. Их было много, и Бальсену стало ясно, что это один из казачьих разъездов, бродивших вокруг Вендена. Он сморщился, с неприятным чувством вглядываясь в казаков, но лиц не было видно в темноте. Один подъехал близко, так, что голова его лошади обдала лицо Бальсена горячим паром ноздрей, и спросил:

— Куда путь держишь, дружище?

— В город...— неохотно ответил Бальсен, нетерпеливо пожимая плечами.— И очень тороплюсь.

— А чего же ты торопишься? — спросил другой казак и захохотал громким, резким смехом.— Дюже же ты торопишься, засев у середь поля!..

Под одним из всадников заиграла лошадь, и он, сочно выругавшись, ударил ее ногой в бок. Подъехал еще один, и по тому, как он спросил:—«Что тут?», и по тому, что казаки повернулись к нему лицом, Бальсен догадался, что это офицер. Казак, спросивший у Бальсена, куда он едет, подъехал к офицеру и начал что-то говорить ему, оглядываясь на крестьянина.

— Ты думаешь? — спросил офицер, зевая.

— Так тошно... Стоить у середь поля...

— Куда едешь? — сердито крикнул офицер.

— В город, господин начальник,— ответил Бальсен, снимая шапку.— За доктором. У меня очень больна жена...

— Откуда?

— Из Келя... Меня зовут Бальсен, Отто Бальсен...

— А есть у тебя паспорт?..

— Паспорт я забыл дома, господин начальник,— сказал Отто.— Но вы уж, пожалуйста, пропустите меня. Меня здесь знают кругом на сто верст. Я мирный человек.

Несмотря на уверенный тон, каким Бальсен давал ответы офицеру, смутная тревога, однако, сдавила ему грудь. Он вздохнул и продолжал:

— Нужда заставляет ехать в ночь, господин полковник. Очень неприятно. Я очень тороплюсь...

Офицер молчал, покачиваясь в седле, и Бальсен спросил:

— Так мне можно ехать? Меня здесь все знают...

— Нет, нельзя,— спокойно сказал офицер.— А может быть, ты не Бальсен, а? Как же это ты — без паспорта? Разве ты не читал приказа?

— Никак нет, господин полковник. Никто не читал у нас,— вздохнул Бальсен.— Со всяким может случиться ошибка, господин полковник. И я прошу вас простить меня. Мне нужно к доктору...

— А ну, обыщите его, ребята,— приказал офицер.— А зачем ты свернул с дороги?

— Я не знал, кто едет, господин начальник,— оправдывался Бальсен.— Теперь много разбойников.

— Вылезай! — сонно сказал казак, прыгивая с лошади. — Пощупаем тебя.

Бальсен засуетился, вылезая из повозки и покорно расставляя руки, пока казак ощупывал его и лазил по карманам. Вынув все, что было в них: трубку, табак, бумажник, часы и бумажку старухи Розе, он передал отобранное офицеру. Другой казак зажег небольшой ручной фонарик, и при свете его, бледном и прыгающем, Бальсен увидел худое, бледное лицо офицера, склонившееся над вещами крестьянина. Офицер долго ворочал и рассматривал рецепт, затем тщательно осмотрел часы и бумажник. Еще один казак подъехал к нему и начал что-то шептать. Офицер мычал и кивал головой, изредка восклицая: «А? — Да! — А? Да-а!..»

Время тянулось для Бальсена удивительно медленно. Он пристально и внимательно следил за движениями казаков и удивился, когда один из них вытащил у товарища изо рта окурки папиросы. Рыжик нетерпеливо фыркнул, потряхивая дугой.

Наконец офицер сказал что-то сквозь зубы, передавая вещи Бальсена казаку, и крупной рысью скрылся в темноте. Казаки потянулись за ним. Бальсен облегченно вздохнул и сказал:

— Можно ехать?

Казак, стоявший возле крестьянина, бросил на него косой взгляд, шмыгнув носом и ничего не ответил. Понемногу уехали все, и осталось только четверо. Они переглянулись, спешились и подошли к Бальсену.

— Ну, вот что, друг, — сказал один, и Бальсену показалось, что он улыбается в темноте. Весело улыбнувшись ему в ответ, он хотел спросить, — можно ли ему наконец ехать, но казак продолжал:

— ...мы тебя свяжем. А ты стой смирно. Смотри — не вздумай тикать — застрелю!..

Он повернул Бальсена за плечо, и крестьянин, оторопев, послушно повернулся... И вдруг страшная мысль, огненным сверлом пронзив мозг, упала в душу... Он дико, отчаянно вскрикнул. Казалось, что земля уходит из-под ног и все кружится со страшной, молниеносной быстротой.

— Не прыгай, до города далеко, — апатично сказал казак, сидевший верхом. — Что толку? Все равно, брат, помирать когда-нибудь...

— За что?! — закричал Бальсен и заплакал. — Меня все!.. Я Отто Бальсен!..

— Сам знаешь, за что, — угрюмо ответил казак. — Начальство, дядя, распоряжается, а не мы... Очень разумные. Вот за это самое.

Бальсен застыл, и казалось ему, что все мысли умерли в нем и сам он умер... А, быть может, это сон... Все сон: сырая, пронизывающая сырость осенней ночи, рыхлая земля под ногами, Рыжик, опустивший голову, и эти замолкшие, темные фигуры людей, отдалившихся от него... Это бывает, и Отто вспомнил страшные кошмары, когда, проснувшись в теплой, темной комнате, облегченно вздыхаешь, натягивая одеяло, и поворачиваешься, засыпая вновь...

В голове его пестрым, разноцветным узором пробежали вдруг грядки небольшого огорода, сокровища Анны. Упругая, светло-зеленая капуста, темный стрельчатый лук, белые цветочки картофеля и желтые огуречные... Все это было, и всего этого не будет. И сам он, Отто Бальсен. Бальсен, которого знают на сто верст кругом, куда-то исчезнет, и никто не будет знать и никогда не узнает, почему так вышло...

И снова мысль упала в прошлое, и снова перед Бальсеном сверкнули желтые, пышные поля и смуглые руки Анны. И снова было непонятно, почему теперь явились сильные, злые, вооруженные люди, взяли его и убили...

Он безотчетно рванулся вперед, но, сделав два-три шага, споткнулся и сел со связанными руками на сырую, вязкую землю. Казак, сидевший на лошади, заметил:

— Ослаб. Пугается...

— Я видал, — сказал другой. — А видал и таких, которые смелые. Есть тоже из ихнего брата...

Гнев и отчаяние окончательно овладели Бальсеном. Он хотел крикнуть и не мог. Казалось, еще немного, и он проснется... Еще одно, еще последнее усилие...

— Не копайся, Данило, — сказал верховой. — Вы, черти!.. Чего томить человека?!

Темные фигуры отошли на несколько шагов и остановились. Бальсен видел, как сверкнули длинные красные огоньки, и острая, тянущая боль стеснила ему дыхание. Падая, он увидел свой дом, светлую комнату, Адо, склонившегося над газетой, и больную, любимую Анну...

Затем все исчезло.

МАРАТ

I

Мы шли по улице, веселые и беззаботные, хотя за нами след в след ступали две пары ног и так близко, что можно было слышать сдержанное дыхание и ровные, крадущиеся шаги. Не останавливаясь и не оглядываясь, мы шли квартал за кварталом, неторопливо переходя мостовые, рассеянно оглядывая витрины и беззаботно обмениваясь замечаниями. Ян, товарищ мой, приговоренный к смерти, сосредоточенно шагал, смотря прямо перед собой. Его смуглое, решительное лицо с острыми цыганскими скулами было невозмутимо, и только щеки слегка розовели от долгой ходьбы. И в такт нашим шагам, шагам мирных обывателей, делающих моцион, раздавалось упорное, ползущее шарканье. Гнев ядовитым приливом колыхался в моем сердце, и страшное, неудержимое желание щекотало мускулы, — желание обернуться и смачно, грузно вlepить пощечину в потное, рысёе лицо шпиона. Сдержанным, но свободным голосом я объяснял Яну преимущества бессарабских вин.

— В них, — сказал я, выразительно и авторитетно расширяя глаза, — есть скрытые прелести, доступные пониманию только в трезвом виде. К числу их надо отнести водянистую сухость и большое количество дубильной кислоты... Первое усиливает аппетит, второе укрепляет желудок. Правда, в венгерских и испанских винах больше поэзии, игры, нюансов... Но, уверяю вас, — после двух, трех бутылок демисека воображение переносит в широкие, солнечные степи, где смуглые полные руки красавиц молдаванок плетут венки из виноградных листьев...

Ян криво усмехнулся и, расставив ноги, остановился у лотка с апельсинами. Пламенные глаза его устремились на красную бархатную поверхность плодов, позолоченных июльским солнцем. Он крякнул и сказал:

— Смерть люблю апельсины! Пусть мы будем буржуи и купим у этого славного малого десяток мандаринчиков...

— Пусть будет так!..— согласился я таким мрачным тоном, как если бы дело шло о моей голове.— Да процветает российская мелкая торговля!

Коренастый ярославец глядел нам в глаза и, без сомнения, видел в них серебряные монеты, отныне принадлежащие ему. Он засуетился, рассыпавшись мелким бесом.

— Десяток энтих — три двугривенных, шестьдесят копеек! — предупредительно объяснил он.— Завернуть позволите? Хорошо-с!

Он взял с лотка белый новенький мешочек. В таком же точно пакете, только серого цвета, я нес свой чернослив, купленный по дороге. И вдруг мне стало завидно Яну. У него апельсины будут лежать в белой, как снег, бумажке, а у меня в серой и грязной! Решив сказать ему об этом, я предварительно случайно бросил взгляд в сторону профилей, прикрытых котелками, и был приятно изумлен их настойчивостью в деле изучения дамских корсетов, вывешенных за стеклом магазина. Тогда я дернул Яна за рукав и обиженно заметил:

— Дорогой мой! Не находите ли вы, что белый цвет бумаги режет глаза?

Ян, казалось, искренно удивился моему замечанию, потому что раза два-три смигнул, стараясь догадаться. Тогда я продолжал:

— От молодых ногтей и по сию пору я замечал, что белый цвет вредит зрению. По этой причине я всегда ношу свои покупки исключительно в бумаге серого цвета...

— Бедняга...— сказал Ян, пожимая плечами.— Вам вредно пить много бессарабского... Впрочем, для вас я готов уступить. Нет ли у вас серого мешочка?

Детина растерянно улыбнулся торопливой, угодливой улыбкой, долженствовавшей изображать почтение к фантазии барина, и мгновенно выдернул из-под кучи оберточной бумаги толстый серый пакет. Положив в него апельсины, он сказал:

— Милости просим, ваше-ство! Ежели когда!.. Самые хорошие...

Мы пошли дальше, не оглядываясь, но я чувствовал за спиной жадные, бегающие глаза, с точностью фотографических аппаратов отмечающие каждое наше движение. Вокруг нас, обгоняя, встречаясь и пересекая дорогу, проходили разные люди, но в шарканьи десятков ног неумолимо и упорно выделялись назойливые, как бег маятника, шаги согладатаев. Нахальное, почти открытое преследование заставляло предполагать одно из двух: или близкую, неотвратимую опасность, или неопытность и халатность преследующих.

Как будто дразня и весело насмехаясь, извозчики вокруг наперерыв предлагали свои услуги. Соблазн был велик, но мы, мирные обыватели, потихоньку шли вперед, наслаждаясь солнцем, теплом и бодростью собственного, отдохнувшего за ночь тела. У бульвара, сбегавшего по наклонной плоскости вниз широкой, кудрявой аллеей, Ян вздохнул и сказал:

— Пойдемте бульваром, дружище. На улице становится жарко.

Мы свернули на сырой, утоптаный песок. Густые, прохладные тени кленов трепетали под ногами узорными, дрожащими пятнами. Впереди, в перспективе бульвара, ослепительно горели золотые луковичы монастыря. На скамейках сидели одинокие фигуры гуляющих. И вдруг навстречу нам, кокетливо повертывая плечиками, прошла очаровательная дамочка, брюнетка. Озабоченное выражение ее цветущего личика забавно противоречило пухлому, детскому рту. Восхищенный, я щелкнул пальцами и обернулся, проводив красавицу долгим, слюнявым взглядом. Но тут же ее стройный колеблющийся корпус заслонили два изящных, черных котелка, неутомимых, беспокойных и рышущих. Вздохнув, я посмотрел на Яна. Лицо его было по-прежнему до глупости спокойно, но тонкие, нервные губы слегка пожевывали, как бы раздумывая, что сказать. Бросив умиленный взгляд на купол монастыря, он произнес громким, растроганным голосом:

— В детстве я был набожен и таковым остался до сих пор. Когда я вижу светлые кресты божьего храма, бесконечное благоговение наполняет мою душу. Сегодня я слушал обедню в церкви Всех святых. Батюшка сказал сильную, прочувствованную речь о тщете всего мирского. Истинный христианин!..

Он перевел дух, и мы снова прислушались. Но песок упорно, неотступно хрустел сзади. И это не помогало! Религия оказывалась бессильна там, где преследовались высшие государственные цели. Я сразу понял тщету набожности и развернул перед Яном нараспашку всю глубину своего испорченного, развращенного сердца.

— Охота вам быть монахом! — сказал я тоном старого опытного кутилы. — Поверьте мне, что если в жизни и есть что хорошее, — то это карты, вино... и девочки!..

И я пустился во все тяжкие, смакуя мерзости блуда всех видов и сортов. Начав с естественных, более или менее, отношений и подчеркнув в них остроту некоторых моментов, я готовился уже пуститься в изложение и защиту педерастики, как вдруг шляпа, плохо сидевшая на моей голове, упала и откатилась назад. Пользуясь счастливым случаем, я вернулся за ней, поднял и бросил внимательный взгляд в глубину аллеи. Они еще шли, усталые, лениво передвигая ноги, но уже настолько далеко, что, очевидно, уверенность их в нашей принадлежности к организации была сильно поколеблена моим восторженным гимном культу Венеры и Астарты.

Ян, измученный, с наслаждением опустил на первую попавшуюся скамейку. Я сел рядом с ним и прислонил свой пакет с черносливом к мешочку с апельсинами. Серая, оберточная бумага тускло выделялась на черном фоне наших пальто, невинная и страшная в своей кажущейся незначительности.

Несколько секунд мы молчали, и затем Ян заговорил:

— Итак, товарищ, наступает день... Я совершенно спокоен и уверен в успехе. Ваш гостинец я немедленно отнесу к себе, а вы идите домой и позовите, пожалуйста, Евгению с братом. Пусть нас будет только четверо... Мне хочется покататься на лодке и посмотреть на их хорошие, дружеские лица... Так мне будет легче... Хорошо?

— Конечно, Ян. Вам необходимо рассеяться для того, чтобы завтра иметь возможность сосредоточиться...

— Вот именно... И положение интересное: нас будет четверо — двое не знают и не будут знать, а мы с вами знаем... Надеюсь, что скучно не будет. Только...

— Что?

— Ведь это, собственно говоря, полное отрицание всякой конспирации... Но я придумал: мы с вами переедем на тот берег, они приедут после... Вы приходите в семь часов

к пристани у лесопильного завода... Возьмите вина, конфект... Я очень люблю раковые шейки...

— Чудесно, Ян! Когда стемнеет.

— Да... А что же вы им скажете?

— Ну! Мало ли что. Скажу, что вам нужно экстренно ехать, что ли... Вообще положитесь на меня.

— Спасибо!...

Он пожал мне руку и поднял глаза. Они горели, и цыганские скулы еще резче выступали на бледном лице. Затем Ян зевнул и задумался.

— Я тороплюсь, Ян! — сказал я. — Идите, пора... Для вас все готово...

— Сто против одного, что мне не придется этим воспользоваться... — ответил он, думая о чем-то. — Это была бы страшная редкость!

— Всякое бывает...

— Посмотрим...

Он встал, осторожно поднял один пакет и зашагал крупными решительными шагами в ту сторону, где сверкали золотые маковки монастыря. Я тоже поднялся, вышел с бульвара на тротуар улицы и, случайно оглянувшись, увидел пару неотвязных улиток, озлобленных на вселенную. Они медленно трусили за мной на некотором расстоянии. Ян, следовательно, ушел «чистый», и этого было достаточно, чтобы я развеселился. Затем мне пришлось в голову, что некто, вероятно, очень желал бы, чтобы мой чернослив, захваченный Яном, оказался действительно черносливом...

Но чудес не бывает. И тяжела рука гнева...

II

Полный, блестящий, бутафорский месяц поднялся на горизонте и посеребрил темную рябь воды. Неподвижная громада лесного берега бросила отражение, черное, как смола, в глубину пучины, и лодка медленно скользила в его тени, плавно дергаясь вперед от усилий тонких, гнущихся весел.

Я греб, Ян сидел у руля, лицом к берегу и медленно, задумчиво мигал, слушая песню. Сутуловатый и неподвижный, он, казалось, прирос к сиденью, тихо двигая руль левой рукой. Пели Евгения и брат ее Кирилл, долговязый, безусый юноша с круглой, остриженной головой и добродушно саркастическими глазами. Песня-жалоба одиноко и

торжественно плыла в речной тишине, и эхо ее умирало в уступах глинистого берега, скрытых мраком. В такт песне двигались и стучали весла в уключинах, отбрасывая назад тяжелую, булькающую воду. Девушка обвила косу вокруг шеи, и от темных волос еще резче выделялась белизна ее небольшого, тонкого лица. Глаза ее были задумчивы и печальны, как у всех, отмеченных печатью темного, неизвестного будущего. Свободно, без вибрации, голос ее звенел, рассекая густой, медный бас Кирилла. Простые, трогательные слова песни волновали и нежили:

Меж высоких хлебов затерялось
Небогатое наше село;
Горе горькое по свету шлалось
И на нас невзначай набрело.

Ох, беда приключилась страшная,
Мы такой не знавали вовек:
Как у нас, голова бесшабашная,
Застрелился чужой человек...

Река застыла, слушая красивую, грустную и страшную песню о жизни без света и силы. И сами они, певшие, казались не теми юношей и девушкой, какими я знал их, а совсем другими, особенными. И редкие тревожные ноты звучали в сердце в ответ на музыку голосов.

Девушка закашлялась и оборвала, кутаясь в темный пуховый платок. В полусвете молчаливо застывшей ночи она казалась воздушной и легкой. Еще секунду-другую дрожали одинокие басовые ноты и, стихнув, отлетели в пространство. Песня кончилась, и стало грустно, и было жаль молодых, горячих звуков, полных трепетной поэтической думы. И исчезло очарование. С реки потянуло холодом и сыростью. Уключины мерно скрипели и звякали, и так же мерно вторил им плеск подгретаемой воды.

— Пора ехать домой, господа почтенные,— сонно заявила Евгения, жалобно морщась и зябко пожимая плечами.— Я озябла. И вот вы увидите, что простужусь. Ян, поворачивайте!..

— А в самом деле?..— подхватил Кирилл.— Я уж то же напичкался поэзией... от сих и до сих. Дайте-ка я погребу, а вы отдыхайте...

Я передал ему весла, и он, вытянув длинные ноги, быстро подался вперед и сильно повел руками в противоположные стороны. Вода забурилась под килем, лодка оставалась и, слегка колыхаясь, медленно повернула влево.

Горный, крижистый берег отступил назад и скрылся за нашей спиной. Прямо в лицо глянула холодная, мгlistая ширь водяной равнины, и лодка направилась к городскому, усеянному точками огней, берегу.

Я взглянул на Яна. Он сидел, сгорбившись, наложив на румпель неподвижную руку. Тихий ветер, налетая сзади, слегка теребил его волосы. Утомленные и дремотные, все молчали. Ян начал свистать мазурку, притопывая каблуком. Девушка зажала уши.

— Ой, не свистите, ради бога! Терпеть не могу, кто свистит... На нервы действует.

Ян досадливо мотнул головой.

— Что же можно? — спросил он, глядя в сторону.

— Все, что хотите, хоть купайтесь. Только свистать не смейте... Вот лучше расскажите нам что-нибудь!

— Что рассказывать! — неохотно уронил Ян. — Про других — не умею, про себя — не хочется. Да и нечего... Все жевано и пережевано...

— Отчего это стало вдруг всем скучно? — недовольно протянула девушка, оглядывая нас. — Какие же вы революционеры? Сидят и киснут, и нос на квинту... Возобновляйте ваш дар слова... ну!..

Она нетерпеливо топнула ногой, отчего лодка закачалась и приостановилась.

— Не балуй, Женька! — сказал Кирилл. — Спать захотела, — капризничаешь!

Глаза его с отеческой нежностью остановились на ее лице.

Опять наступило молчание, и снова уснул воздух, встревоженный звуками голосов. Нелепые и смешные мысли сверкали и гасли без всякого усилия, как будто рожденные бесшумным бегом ночи. Хотелось стать рыбою и скользить без дум и желаний в таинственной, холодной глубине или плыть без конца в лодке к морю и дальше, без конца, без цели, без усилий, слушая тишину...

Вдруг вопрос, странно-знакомый и чуждый, прогнал дремотное очарование ночи. И цель его была мне совершенно неизвестна. Возможно, что Яну просто захотелось поговорить.

Он спросил совершенно спокойно и просто:

— Кирилл! Что вы думаете о терроре?

— О терроре-е? — удивился Кирилл. — Да то же, надеюсь, что и вы. Программа у нас общая...

Ян ничего не сказал на это. Кирилл подождал с минуту и затем спросил:

— А вы почему об этом заговорили?

Ян ответил не сразу.

— Потому,— сказал он наконец как бы в раздумье растягивая слова,— что террор—ужас... А ужаса нет. Значит, и террора нет... А есть...

— Самый настоящий террор и есть! — насторожившись, задорно ответил Кирилл. — Конечно, в пределах возможного... А что же, по-вашему?

— Да так, пустяки... Спорт. Паники я не вижу... Где она? Сумейте нагнать панику на врагов. Это — все! Ужас — все!..

Кирилл насмешливо потянул носом.

— Надоело все это, знаете ли... — сказал он. — Даже и говорить не хочется. Все это уж взвешено тысячу раз... А спорить ради удовольствия — я не мастер. Да и к чему?

— Вы, Ян, страшно однобоки! — важно заметила девушка. — Вам бы в восьмидесятых годах жить... А пропаганда? Организация?..

Ян снисходительно улыбнулся углами губ.

— Слыхали. А знаете ли вы, что главное в революции? Ненависть! И если ее нет, то... и ничего нет. Если б каждый мог ненавидеть!.. Сама земля затрепетала бы от страха.

— Да он Марат известный! — захохотал Кирилл. — В ***ске его так и звали: «Маленький Марат». Ему все крови! Больше крови! Много крови... Кр-рови, Яго!.. Тигра лютая!

Каменное лицо Яна осталось совершенно равнодушным. Но через мгновение он живо повернулся всем корпусом и воскликнул с такой страстью, что даже я невольно насторожился, почуяв новые струны в этом, хорошо мне знакомом, сердце.

— Да! пусть ужас вперит в них слепые, белые глаза!.. Я жестокость отрицаю... Но истребить, уничтожить врагов — необходимо! С корнем, навсегда вырвать их! Вспомните уроки истории... Совсем, до одного, навсегда, без остатка, без претендентов! Чтобы ни одна капля враждебной крови не стучала в жилах народа. Вот что — революция! А не печатанье бумажек. Чтобы ни один уличный фонарь не остался без украшения!..

Это было сказано с такой гордостью и сознанием правды, что мы не сразу нашлись, что сказать. Да и не хотелось. Мы думали иначе. А он думал иначе, чем мы. Это было просто и не требовало споров.

Евгения подняла брови и долгим, всматривающимся взглядом посмотрела на Яна.

— Вы какой-то Тамерлан в миниатюре, господь вас ведаёт... А ведь, знаете, вы на меня даже уныние нагнали... Такие слова может диктовать только полное отчаяние... А вы это серьезно?

— Да.

Лицо Яна еще раз вспыхнуло острой мукой и потухло, окаменев в задумчивости. Только черные глаза беспокойно блеснули в орбитах. Я попытался сгладить впечатление.

— Я вас вполне понимаю, Ян...— сказал я.— У вас слишком накопело на душе!..

Он посмотрел на меня и ничего не ответил. В лице его, как мне показалось, мелькнула тень сожаления о своей выходке, нарушившей спокойный, красивый отдых прогулки.

— А помните, Ян,— перешла девушка в другой тон,— как вы приезжали сюда год тому назад? Вы были такой... как дитя. И страшно восставали против всякой полемики, а также и... против террора, как системы?

— А помните, Евгения Александровна,— в тон ей ответил Ян, улыбнувшись,— как двадцать лет тому назад вы лежали в кровати у мамы? Одной рукой вы засовывали свою голенькую, розовую ножку в ротик, а другой держали папашу за усы? И восставали против пеленок и манной каши...

Девушка покраснела и задумчиво рассмеялась. Кирилл громко расхохотался, очевидно, живо представив себе картину, нарисованную Яном.

— А ведь правда, Женька...— заговорил он.— Как подумаешь, что мы когда-то бегали без штанов... Даже странно. Да, в горниле жизни куется человек! — патетически добавил он. И вдруг заорал во все горло:

Плыви-и мой чо-о-оли!!...

На ближайших пристанях всполошились собаки и беспомощно залаяли сонными, обиженными голосами.

— С ума ты сошел, Кирька!..— прикрикнула, смеясь, девушка.— Тоже,— взрослый считаешься!..

Кирилл внезапно впал в угрюмость и заработал сильнее веслами. Ян круто поворотил руль, и лодка, скользя под толстыми якорными цепями барок, уткнулась в берег, освещенный редкими огнями ночных фонарей.

Заспанный парень-лодочник принял нашу лодку, и мы поднялись на берег к городскому саду. Всем смертельно хотелось спать. Девушка подошла к Яну.

— Так вы, значит, завтра едете?..— спросила она, широко раскрывая полусонные глаза.— Скоро! Что же вы это так?

— Надобность явилась... И так как я вас больше не увижу, то позвольте пожелать вам всего лучшего!..

— Вот пустяки! Мы еще увидимся с вами, Ян. Я этого желаю... Слышите?

— Слышать-то слышу... Ну, до свидания, идите бай-бай...

— До свидания.

Она подала ему руку, и он задержал ее на секунду в своей тонкой, смуглой руке. Девушка молча посмотрела на него и что-то соображающее мелькнуло в ее мягких чертах. Я тоже пожал Яну руку, прощаясь с ним, и—сто против одного—навсегда. Он крепко, до боли впился в мою сильными, жилистыми пальцами. Они были холодны и не дрожали. Кирилл поцеловался с ним и долго, крепко тискал его руки в своих. Глаза его из насмешливых и пытающих вдруг сделались влажными и добрыми.

— Ну, дорогой Ян, прощайте, прощайте! Не забывайте нас! Ну, всего хорошего, идите!.. Вот проклятая жизнь—нет даже утешения в квартире попрощаться! Ну, прощайте!..

И мы разошлись в разные стороны.

III

Я опустил плотные, парусинные шторы и зажег лампу. Мне не ходилось, не сиделось и не стоялось. Нетерпеливый, ноющий зуд сжигал тело, и виски ломило от напряженного ожидания. Ни раньше, ни после,—никогда мне не случалось так волноваться, как в этот день.

Лампа, одетая в махровый розовый абажур, уютно озаряла центр комнаты, оставляя углы в тени. Я ходил взад и вперед, сдерживая нервную, судорожную зевоту, и мне казалось, что время остановилось и не двинется вперед

больше ни на йоту. И в такт моим шагам прыгал взад и вперед часовой маятник, равнодушно и бегло постукивая, как человек, притопывающий ногой.

Я развернул газету и побежал глазами по черным рельсам строк, но в их глубине замелькали освещенные и шумные городские улицы и в них — фигура Яна. Он шел тихо, осторожно останавливаясь и высматривая.

Тогда я лег на кровать и закрыл глаза. Розоватый свет лампы пронизывал веки, одевая глаза светлой тьмой. Огненные точки и узоры ползли в ней, превращаясь в буквы, цифры, фигуры зверей Апокалипсиса.

Вечер тянулся, как задерганная ломовая кляча. Каждую секунду, короткую и длинную в своей ужасной определенности, я чувствовал в полном объеме, всем аппаратом сознания — себя, лежащего ничком и ждущего, до боли в черепе, до звона в ушах. Я лежал, боясь пошевелиться. Вытянуться, чтобы случайным шумом или шорохом не заглушить звуки прихода Яна. Я ждал его, хотел увидеть снова и уже заранее торжествовал при мысли, что он может не прийти... Ожидание победы боролось где-то далеко, внутри, в тайниках сознания с тяжестью больной, бьющей тоски.

Она росла и крепла, и тяжелые, кровяные волны стучали в сердце, тесня дыхание. Вверху, над моей головой, потолок содрогался от топота ног и неслись глухие, полугладушенные звуки рояля, наигрывающие кек-уок. Это упражнялось по вечерам зеленое потомство плодovitой офицерской семьи. На секунду внимание остановилось, прикованное стуком и музыкой. Возня наверху усиливалась. Белая пыль штукатурки, отделяясь от потолка, кружилась в воздухе. Отяжелевший мозг торопливо хватался за обрывки аккордов. Старинные кресла, обитые коричневым штофом, хвастливо упирались вычурными, изогнутыми ручками в круглые сиденья, как спесивые купцы, довольные и глупые. Пузатый ореховый комод стоял в раздумьи. Письменный стол опустился на четвереньки, выпятив широкую, плоскую спину, уставленную фарфором и бронзой. Лица людей, изображенных на картинах, окаменели, прислушиваясь к светлой, гнетущей тишине ожидания. И казалось, что все вокруг притаилось и хитро, молча ожидает прихода Яна. И когда он войдет, — все оживет и бросится к нему, срываясь с углов и стен, столов, рам и окон...

И вдруг тоска упала, ушла и растаяла. Наверху бешено и глухо загудела мазурка, но топот стихал. Голова сделалась неслышной и легкой, как пустой гуттаперчевый шар. И я встал с кровати, твердо уверенный в том, что Ян идет и сейчас войдет в комнату.

IV

Едва он вошел, как я бросился ему навстречу. Ян остановился в дверях, измученный и слабый, торжественно смотря мне прямо в глаза. Одежда его была в порядке, и это обстоятельство не казалось мне странным и удивительным. Он сделал, и не только несмотря на это, а вопреки этому — уцелел. Все остальное было пустяки. Раз совершилось чудо, — одежда имела право остаться чистенькой. Я держал его за руки, выше локтей, и изо всей силы тряс их, захлебываясь словами. Они кипели в горле, теснясь и отталкивая друг друга.

Ян отстранил меня легко, как ребенка, плавным движением руки и, подойдя к столу, сел. Нельзя сказать, чтобы он был очень бледен. Только волосы, прилипшие на лбу под фуражкой, и тонкая жила, вздрагивающая на шее, выдавали его усталость и возбуждение. Весь он казался легким, тонким и маленьким в своем новеньком, с иголочки, офицерском мундире.

Первое, что я увидел, — это его улыбку, сокрушенную и мягкую. Он сидел боком к столу, вытянув ноги и положив руки на колени, ладонями вниз. Мы были одни, и никто не мог услышать нашего разговора. Но я склонился к нему и сказал тихим вздрагивающим шепотом, как если бы нас окружала целая сеть глаз и ушей:

— Вот как?.. Славно...

Улыбка исчезла с его лица. Он задвигался на стуле и так же тихо ответил:

— Сегодня ничего не было. Значит, придется завтра...

Чудо исчезло, осталось недоумение. Я сразу устал, как будто только что выпустил из рук тяжелый камень.

И между нами произошел следующий, тихий и быстрый разговор:

— Он не был, Ян?

— Был.

— Он ехал, да?

— В карете. Я видел его.

— А потом?

— Он уехал.

— Почему?

— Я ушел.

— Почему же, почему, Ян? Ян!..

Он зажмурился, крепко стиснул зубы и тихо, раздельно роняя слова, ответил:

— Он был не один... Там сидела женщина и еще кто-то... Не то мальчик, не то девочка... Длинные локоны и большие, капризные глазки... Ну...

Он умолк и открыл глаза. Они щурились от яркого света лампы. Ян прикрыл их рукой и сказал резким, равнодушным голосом:

— Нельзя ли послать за пивом? У меня что-то вроде озноба...

Я молчал, и странная, жуткая, полная мысли тишина сковала дыхание. Ян, видимо, сообразил поднять глаза. Одна его рука смущенно и неловко шарила в кармане, отыскивая мелочь, другая лежала на столе и пальцы ее заметно дрожали.

Оглушительный, потрясающий звон разбил вдребезги тишину. Это ударил тихий, мелодичный бой стенных часов...

Когда на следующий день вылетели сотни оконных стекол и город зашумел, как пчелиный улей, я догадался, что на этот раз — он был один...

НОЧЬ

I

— Ну, что вы на это скажете?

Шесть пар глаз переглянулись и шесть грудей затаили вздох. Первое время все молчали. Казалось — невидимая тень близкой опасности вошла в тесную комнату с наглухо закрытыми ставнями и вперила свои неподвижные глаза в членов комитета. Ганс, продолжая рисовать карандашиком на столе, спросил, не подымая головы:

— Когда получено письмо, Валентин Осипович?

— Сегодня утром. Было оно задержано в пути или нет — я не знаю... Факт тот, что оно пришло к нам на двое суток позже его...

— Вот так фунт изюма! — произнес Давид и рассмеялся своей детской улыбкой, обнажившей ровные, острые зубы.

— Товарищ, прочитайте еще раз! — сказал Ганс. — Свежо предание, а...

Он поднял свои светлые, серые глаза и опустил их, продолжая рисовать кораблики.

Пожилой сутуловатый господин, с проседью в бороде и усталыми, нервными глазами, окинул всех продолжительным, озабоченным взглядом и, взяв листик бумаги, лежавший перед ним, начал читать ровным, грудным голосом:

— «К вам едет провокатор. Должен прибыть 28-го. Приметы: молодой, черные усы, карие глаза, выдает

себя за студента; левый глаз немного косит. Примите его, как следует.

Районный комитет, 23-е июля».

— Оттуда письмо идет два дня,— продолжал Валентин Осипович, кончив чтение.— Одно из двух: или его задержали, или бросили слишком поздно. Я, как заведующий конспиративной частью,— улыбнулся он,— поступил, быть может, слишком конспиративно, уничтожив конверт, так что подтвердить второе предположение теперь невозможно. Но оно всего вероятнее, ибо полиция не отсылает адресатам такие документы, раз они попадутся ей в руки...

— Левый глаз косит,— сказал про себя Валерьян, юноша могучего телосложения, с целой копной черных волос, из-под которой сверкали маленькие глаза-буравчики.— Да... дождалась!..

Опять наступило молчание. Дверь из соседней комнаты раскрылась, и на пороге появилась девушка. Она стояла, держась одной рукой за косяк двери, другой — за свою собственную косу, перекинутую через плечо. Лицо ее было уверенно и красиво.

— Ну?! — сказала она.

Но все молчали. Валерьян тряс головой, гневно покрывая; Давид вертел большими пальцами рук, поджав нижнюю губу. Ганс рисовал и ломал карандаш.

— Ну? — повторила девушка, и глаза ее рассердились.

— Мы придем пить чай после, Нина,— сказал Ганс, рисуя шхуну с распущенными парусами.— Нам очень жарко...

Никто не улыбнулся на шутку. Девушка исчезла, нетерпеливо хлопнув дверью.

— Теперь будем думать! — сказал Давид.— Что ж? Надо решать как-нибудь... Грязное дело получается...

— К порядку, господа! Валентин Осипович, возьмите на себя председательство!..— раздраженно крикнул Сергей, пятый член комитета, высокий, с впалой, чахоточной грудью.

— Прекрасно!

Валентин Осипович выпрямился на стуле и провел рукой по волосам, еще густым и волнистым.

— Итак,— сказал он,— пусть Ганс расскажет нам про него...

— Я расскажу то, что уже рассказывал...

Сказав это, Ганс бросил наконец рисовать и поднял свою круглую, стриженую голову с твердыми, крупными чертами лица. Холодные, серые глаза его были серьезны, а рот улыбался.

— Третьего дня... я сплю. Приходят и говорят: «Вас спрашивают»... Ну... встал... Входит молодой человек, черноусый, карие глаза... левый глаз заметно косит. Сказал явку, честь честью... «Приехал,— говорит,— работать, а по специальности — агитатор и дискуссионер...» Я ему сказал сперва, что денег в комитете мало, но так как люди у нас нужны, а денег все равно добудем же когда-нибудь, то он и решил остаться... Вот.

Сказав это, Ганс взял карандаш и приделал флаг к мачте, а на флаге написал: «П. С. Р.»

— Откуда он приехал? — отрывисто буркнул Валерьян.

— Из Самары. Знает тамошнюю публику. Физиономия внушает доверие... Обращение — ровное, голос уверенный, спокойный... Говорит, что бывший студент...

— Да, нет сомнения — это он... — задумчиво произнес Валентин Осипович. — Ну, товарищи, ваше мнение?

— Я, Валентин Осипыч, — покраснел Давид, — думаю, что... это может выйти ошибка... По всему видно, что он — бывалый парень... Вчера, например, он, еще не отдохнув, как расщипал эсдеков у Симона на заводе! В лоск прямо положил!.. А это значит, что он не младенец...

— А кто давно работает... — тот не может быть провокаторм? Милейший юноша, — улыбнулся Валентин Осипович, — вы еще плохо знаете людей... Я за свою жизнь знал таких, что работали годами в партии, а потом делались шпионами... Эволюция эта проклятая, знаете ли, незаметно происходит... Устанет человек, озлобится, — вот вам и готово субъективное отношение... А тут один шаг к дальнейшему... А этот — Костя, кажется, его зовут — еще молод, а на мягком воске молодости сплошь и рядом можно написать что угодно...

У Ганса опять сломался карандаш, и он с ожесточением принялся чинить его, стругая так, что куски дерева летели во все стороны. Опять наступило молчание, и каждый думал о том, что сказал старый, опытный революционер.

— Ну, вот что, товарищи, — продолжал Валентин Осипович. — Я хотя и старше вас, и прислан с директи-

вами от ЦК, и знаю весь объем опасности, грозящей делу революции в крае, но всецело предоставляю решение этого дела вам, во-первых, — потому, что оно просто и ясно, а во-вторых, — потому, что у меня много более важных дел... А вы уж сами справитесь.

— Да, — промолвил Ганс, — придется того...

Он не договорил, но каждый понял его жест и мысль...

— Это надо сделать скорее, — невозмутимо продолжал Ганс, отделивая корму большого океанского парохода. — Вы меня простите, товарищи, но, чем скорее переговорить об этом неприятном деле, тем лучше... Кто же возьмет на себя руководство этим... предприятием? — спросил он, оглядывая всех. Рот его улыбался.

— Ганс прав, — сказал Валентин Осипович. — Сделав так, мы избавим не одних себя, а все организации от риска провала.

— Ну, кто же? — спросил Ганс еще раз и, откинувшись на спинку стула, склонил голову набок, любуясь рисунком. Затем, подождав немного, добавил два-три штриха и сказал:

— Я возьму. Завтра пойду к Еремею. Доверяете, или... может быть — кто-нибудь другой хочет?

— Нет уж, спасибо, — сморщился Давид, расширив свои голубые глаза. — Валяйте вы.

— А вы не хотите, Валерьян? — улыбнулся Ганс.

— Ах, оставьте, пожалуйста! — болезненно крикнул Сергей. — Нельзя из этого делать шутки!..

— Ну, хорошо! Провокатора съем! — совсем уже смеялся Ганс. Валентин Осипович тоже улыбнулся.

Снова вошла Нина, и все поднялись, не дожидаясь ее недовольного «ну!». Зазвенели чайные ложки, и Валентин Осипович стал рассказывать о жизни в Якутске и сибирских чалдонах. Рассказывал он очень интересно, с увлечением, и все смеялись, а у Ганса улыбался рот.

II

На улице было темно и тихо. Ганс провожал Валентина Осиповича домой. Они шли медленно; молодой человек сердито стучал тросточкой о деревянные тумбы, спутник его курил папиросу. Вечер был теплый и нежный, и в душу ползла легкая дремота очарования, мешая разговаривать и вызывая в голове неясные, сладкие вос-

поминания, полные неопределенной тоски о будущем. Юноша совсем размяк и молчал. Валентин Осипович изредка делал кое-какие замечания, касающиеся завтрашней сходки у Синего Брода, где еще раз должны были померяться силами две партии. Он негодовал и сердился.

— Совершенно я не понимаю и не признаю этих дебатов... Смешные эти петушинные бои... Честное слово...

— Нельзя, Валентин Осипович,— возразил наконец Ганс.— У нас всего восемь кружков, а у социал-демократов 30. И что всего замечательнее: у нас масса литературы крестьянской, рабочей — и все же как-то дело подвигается туговато... А они жарят без литературы, и у них кружки растут, как грибы.

— Ничего удивительного... В рабочих говорит классовый инстинкт... Зато мы монополизировали крестьянство...

— И потом — у эсдеков здесь есть типография, а у нас все еще процветает кустарничество...

— Ну, это, знаете, не важно, по-моему... Можно и на гектографе сделать хорошо...

— Можно, да здешние уври — весьма балованный народ: подавай им непременно печатные, а гектограф, миеограф и т. п. они и знать не хотят...

— Очень скверно. Со временем можно будет наладить и типографию... А теперь надо устроить с провокатором. Вы как думаете?

— О! Я сам не хочу здесь мараться... Просто передам в дружину, а там пусть как хотят... Ну, окажу, конечно, косвенное содействие.

— Смотрите, будьте осторожнее. Вы — ценный человек для революции.

— Помилуйте! Вы меня конфузите!

— Ну, будет скромничать... Нет, я говорю не комплимент. В вас есть незаменимое качество: энтузиазм... А это не так часто встречается... Наша интеллигенция — больше от головы революционеры, а не от сердца.

Оба замолчали и через минуту остановились у подъезда большой каменной гостиницы, где жил Валентин Осипович. Ганс пожал ему руку и быстро пошел обратно. Дойдя до угла, он крикнул извозчика и велел ему ехать в нижнюю часть города, к реке.

Извозчик ехал скоро, и от быстрой езды по пустынным, затихшим улицам, и от сознания романтичности положения Ганс испытывал необыкновенно сильный прилив энергии и возбуждения, когда мысли горят ровно и сильно и все кажется возможным и достижимым. Это случалось с ним каждый раз, когда приходилось рисковать в чем-нибудь или обдумывать детали сложного предприятия. И, чем ближе подъезжал он к цели своего путешествия, тем яснее становилось для него все, задуманное им. Улыбаясь своей обычно неопределенной улыбкой, Ганс слез с извозчика у ворот небольшого деревянного домика и подошел к окну, освещенному и раскрытому настежь. Белая занавеска колыхалась в нем; Ганс отдернул ее и тихо сказал:

— Здравствуйте, Костя.

К окну придвинулся черный силуэт хозяина квартиры. Костя читал и очень обрадовался приходу Ганса.

— А, Ганс! — сказал он весело. — Ну, входите!..

— Скажите сперва — сколько времени?

Костя вынул карманные часы и посмотрел на них, слегка косясь левым глазом.

— Одиннадцать. А вы торопитесь куда? — спросил он.

— Поторапливаюсь, товарищ. Ну, что — нашли квартиру?

— Нашел, кажется, годится... Впрочем, можно будет переменить... Она помещается на одной лестнице с редакцией «Голоса», так что вроде публичного места. Приходит и уходит народ, а куда, в какую квартиру — кто знает?

— Правильно! — согласился Ганс.

Он облокотился на подоконник и положил голову на руки.

— Да идите вы в комнату, странный субъект! — вскричал Костя. — На улице шляется масса шпионов...

— Нет, спасибо! — вздохнул Ганс. — А вот что: у вас револьвер есть?

— Есть, браунинг.

— У меня тоже есть и тоже браунинг.

— Поздравляю вас!

— Премного благодарствую... Соскучился я, пришел к вам посидеть... Был сегодня у Нины, да она меня гонять стала; боится, что квартиру замараю... А сейчас от Валентина Осипыча... Симпатичный человек.

— Да-а!.. Будем ли мы с вами такими в его годы?— задумчиво произнес Костя, и его левый глаз как-то жалобно устремился в сторону, в то время, как правый серьезно и грустно смотрел на темную фигуру Ганса.— Каторга, ссылка, десяток тюрем — и все как с гуся вода... По-прежнему молод, верит, борется...

Рот Ганса перестал улыбаться, и он спросил вдруг, устремив глаза на потолок:

— Костя! Вам снились сегодня дурные сны?

— Никаких! — рассмеялся он.— Да что это вы сегодня — какой-то лунатик? Уж не собрались ли вы?..

— А мне снились,— упрямо перебил Ганс.

— Ну что же из этого? Я, ей-богу, вас не понимаю!— Костя пожал плечами.— Идите-ка вы лучше спать. А то нервы расстраиваете...

— Вот что, Костя! — сказал Ганс.— Сейчас я иду решать дело, от удачного исхода которого зависит все существование нашего комитета... Я говорю серьезно,— добавил он, заметив недоверчивую улыбку в глазах товарища.

Лицо Кости сразу стало серьезным, и глаз перестал косить. Он заправил один ус в рот и сказал:

— Та-ак-с...

— И мне нужна... или, может быть, понадобится ваша помощь... Пойдемте со мной? Это будет не долго, а? У вас есть револьвер к тому же...

— Хорошо-о...— протянул Костя в некотором раздумьи.— А... какое дело?

— Уверю вас — я не могу вам сказать сейчас; во-первых, потому, что мало времени, во-вторых, потому, что у меня уже все решено в голове, и вы можете понадобиться только в крайнюю минуту, на случай опасности...

Костя заторопился, надевая верхнюю блузу, шляпу и закладывая обойму в револьвер. Ганс вынул свой браунинг и пересчитал патроны, держа руки в глубине окна.

III

Река медленно и сонно плескалась у берегов, невидимая в темноте. На пароводных пристанях тускло горели красные фонари, дрожащим, призрачным светом выделяя из мрака полуразвалившиеся штабели дров, «бунты» товара, окутанные брезентами, и лодки всевозможных разме-

ров, уткнувшие в песок свои носы. В отдалении звонкой, щелкающей трелью заливалась трещетка ночного сторожа.

Ганс и Костя спустились к воде у конторки «Кавказа и Меркурия». Тут лежали толстые бревна, очевидно, когда-то употреблявшиеся для настилки сходней. Влево высилась черная масса пристани и по борту ее ходил человек с фонарем, осматривая что-то. Дремлющий ветер донес с середины реки пьяные звуки гармоники и подгулявших голосов.

Они остановились у бревен, и Ганс сказал:

— Костя, вы пройдите, пожалуйста, и спрячьтесь где-нибудь за дровами... Если вы услышите, что я крикну: «сюда!» — спешите скорее. Если же нет — не показывайтесь... Жаль только, что вы не услышите нашего разговора...

— Один вопрос, товарищ: это дело не касается лично вас?

— Меня? — усмехнулся Ганс. — Да нет же... Оно касается всех... и вас в том числе.

Костя еще постоял немного в раздумьи. Ему было слегка неприятно, что он играет пассивную и подчиненную роль, и самолюбие его, эта ахиллесева пята революционеров, было сильно уколото. Но он не подал вида, отчасти потому, что был еще новым лицом в городе и, следовательно, — пока зависимым; отчасти же потому, что Ганс сильно заинтриговал его, и ему хотелось узнать суть дела хотя бы путем участия в нем. Кроме того, Костя был не трус, а опасность притягивает. В силу всех этих соображений он еще раз соображающе выпятил губы и скрылся в горах березовых дров и колесных ободьев.

Ганс сел на бревно и перестал улыбаться. Фигура его, прилично одетая в черное пальто и такой же картуз, почти совершенно сливалась с погруженным в темноту берегом. Вытянув ноги в лакированных штиблетах, он вдруг вспомнил что-то, опустил руку в карман и, вынув белый носовой платок, обернул им ладонь левой руки. Еще одно соображение мелькнуло в нем. Он встал и подошел к сколоченной из старого теса будке старика лодочника, приютившейся возле громадных сходней пристани, и крикнул:

— Эй, дедка!

Разбуженный «дедка», седой, сутуловатый, но еще крепкий и жилистый старик, вылез из будки и устремил

на юношу свои красные, подслеповатые глазки. «Дедку» — в его вечном ватном картузе до ушей и огромных валенках знала вся городская молодежь, и он ее, так как сходки и вечеринки часто устраивались где-нибудь на островах, а у старого лодочника была превосходная, быстрая и легкая «посуда».

— Лодочку, барин? — закричал «дедка».

— Четверку... ту — востроносную... Дорого не бери, смотри...

— Цена известная... Лодки-то, почитай, все разобрали... Ай, нет, есть никак... Денежки пожалуйста.

Ганс заплатил деньги, взял весла и спустился к воде. Быстро отперев цепь и вскочив в лодку, закачавшуюся под ногами, он вставил весла в уключины и в два взмаха очутился у бревна, на котором сидел. Выскочив на берег, он вытащил лодку до половины на песок и снова уселся на бревне.

Ветер, поднявшийся было с востока, стих, и воздух застыл в легкой прохладе речной сырости. Сверху, из темных сбившихся облаков, блестел тусклый, месячный свет. С горы, усеянной темными купами деревьев, доносились звуки голосов, сонное таяканье собак, бряканье калиток; светились красные четырехугольники окон.

Сердце билось у Ганса сильнее обыкновенного. Он перевернул браунинг, лежавший в кармане, рукояткой вверх и стал ждать, посматривая в сторону спуска.

Ждать пришлось недолго. Прошло пять-шесть минут, и на дороге, пролежавшей вдоль берега, показалось черное пятно человека, идущего медленным, легким шагом. Человек подошел к сходне пристани, остановился, помахивая тросточкой, и начал осторожно спускаться к воде. Ганс не видел лица идущего, но чувствовал пытливый и подозрительный взгляд, направленный в сторону бревна. Он положил руку, обернутую платком, на левое колено и тихонько крикнул.

Незнакомец спустился к самой воде и стал шагах в двух от революционера, смотря прямо перед собой в темную даль реки. Теперь Ганс мог его разглядеть. Это был невысокий, худощавый молодой человек, с скуластым, крепким лицом и бородкой клинышком, одетый в серое пальто и черную фетровую шляпу. Тросточка его описывала за спиной беспокойные зигзаги. Наконец он ско-

сил глаза в сторону Ганса, осклабился, увидя белый платок, и, выжидательно смотря на юношу, сказал:

— Теплынь-то, а? Благодать!.. Барсов.

Ганс начинал испытывать раздражение. Он выпрямился и сказал:

— Ну, садитесь, раз пришли! Мне, знаете, некогда!

Незнакомец вдруг оживился и просиял. Быстро засуетившись, он прислонил тросточку к бревну и, запахнув полы пальто, уселся рядом с Гансом, заговорив радостным, тихим голосом:

— Вот как хорошо, что вы пришли-с! Ей-богу! А мы-то уж думали, думали! Мы-то гадали, гадали! Уж прямо-таки решили, что вы, не дай бог, захворали или что!.. Ей-богу! Господин ротмистр даже расположения духа лишились, право! Сердитые... ходят взад и вперед и все говорят:—«Уж эти мне петербургские! Осторожности на целковый, а дела на грош!» Да-с... Вы уж извините, что я так говорю...

— Да говорите, что же мне ротмистр!— прервал его Ганс.— Только почему это вы так беспокоились? Ведь мы условились именно сегодня?

— Так-то так, да все же-с... Думали: господин Высоцкий сами заглянут, улучат минутку... А вы вот, видите ли,— осторожны. Что же? По совести, и я бы так делал-с... В нашем деле нельзя иначе, нельзя-с... Опасное дело по нынешним временам!..

— Да, неприятное,— вздохнул Ганс.— Можно живота лишиться...

— И-и! Сколько хотите!.. Я вот, знаете ли, на днях: иду за одним эсэриком... да вы его знать должны, как же-с: еврейчик, часовщик, Трейгер фамилия...

— Как же, знаю! Ну, этот не опасен — мальчишка... Другие есть, настоящие...

— Конечно,— поспешил согласиться незнакомец.— Ах, простите,— привстал он,— позвольте представиться: Николай Иванович Хвостов-с. Я недавно служу, а все же, конечно, приятно познакомиться. Да-с. Так вот, слежу я, изволите видеть... А он, жидюга, завернул за угол да оттуда обратно и выскакивает... А я разлетелся, да и сшибсь с ним... Ка-ак он замахнется на меня набалдашником!.. Я уж тут отбежал... И грозит еще, представьте. «Не попадайся!»— кричит.

— Скоро мы им отшибем спеси,— сказал Ганс.

— Да-а... Больно ведь уж силу взяли, куда тебе! Так и плодятся, как саранча... Одних этих партий проклятых не пересчитаешь... да-с. Мы тогда же, как вашу телеграмму получили — подумали: ну, возьмутся умные люди, закрутят овечке хвост!..

— Да, я потому и послал телеграмму, что так было удобнее, — сказал наудачу Ганс.

Но Николай Иванович, очевидно, обрадовался возможности поговорить. Он подсел еще ближе и, оглядываясь, таинственно зашептал:

— Да-с: мы как ее расшифровали, господин Высоцкий, — так и подумали: тут дело не с бухты-баракты делается... Сообщает человек свой адрес, фамилию и когда увидеться. Сразу, с налету, так сказать, орлом! Налетел, расклевал, — ищи! Дело чисто сделано! Ха-ха!..

Ганс облегченно вздохнул, и рот его улыбнулся. Теперь все становилось ясно.

— Нельзя иначе, Николай Иванович, — сказал он. — Я сам — человек общительный, люблю общество умных людей... поговорить там, в картишки... А все же, знаете, нужно себя сохранить... Что же? Приехал я аккуратно, с паролем, виды видал, думаю — живо выведу всех на чистую воду, прихлопну и — дальше... Надо себя сохранить...

— Это верно-с, верно! Что говорить! — подхватил Николай Иванович. — А то начнешь ходить в жандармское, полицию или так куда... не дай бог — заметит кто из социалистов!.. А тут уж разговор короткий...

— Знаете, — перешел Ганс в деловой тон, — я, пожалуй, сегодня же вам все передам. Делать здесь больше нечего... Останется разве какая мелюзга — на развод! — усмехнулся он.

— Да-а? — обрадовался Хвостов. — Вот молодец вы, право!.. В две недели!.. И уезжаете?

— Конечно... А скоро все это сделано потому, что я сразу вошел в комитет... Ну, — и актер я хороший...

— Да-с, да-с!.. По лицу даже заметно... Гениально, можно сказать! А я вам тут пакетец припас от полковника... Сведеньица тут и потом, знаете, кое-что насчет Екатеринослава... Может, там будете, так дела можете сделать...

У Ганса сделался нестерпимый зуд в ногах от этих слов. Всеми силами сдерживая охватившее его волнение, он немного помолчал и сказал небрежно:

— Ну, что ж... Давайте! Всякое лыко в строку...

Николай Иванович расстегнул пиджак и вытащил тяжелый, толстый пакет. Принимая его, Ганс испытывал ощущение стопудовой тяжести в руке, пока пакет не очутился в его кармане. Ему вдруг сделалось ужасно радостно и весело на душе. С веселым лицом он повернулся к Хвостову и, опустив руку в карман, где лежал револьвер, сказал изменившимся голосом, в упор глядя на сыщика:

— А что бы вы сказали, Николай Иванович, если бы вдруг узнали, что я... не Высоцкий, а... социалист-революционер?

— Что бы я сказал? — улыбнулся Хвостов. — Сказал бы, что вы — гениальнейший артист! Гамлет-с, можно сказать!.. Талант! Хи-хи!

Ганс рассердился.

— А что бы вы сказали, — грозно произнес он, быстро вставая и приставляя браунинг к фетровой шляпе Хвостова, — что бы вы сказали, — повторил он, и его резкое лицо вспыхнуло, — если бы я сообщил вам, что здесь восемь пуль и одной из них довольно, чтобы пробить ваш грязный мозжок? А?

Николай Иванович сидел, сложив руки на коленях, недоумевающе улыбался и вдруг побелел в темноте, как снег. Глаза его в ужасе, казалось, хотели выскочить из орбит. Он протянул руки перед собой, как бы отстраняя Ганса, и пролепетал:

— Хо-хо-роший револьвер... У вас... ка-казенный?

— Не валяйте дурака! — начал Ганс. — Если вы...

— Ка...раул!.. — взвизгнул Хвостов, но вместо крика из его горла вырвался какой-то сип. Ганс быстро ударил его дулом в лоб. Сыщик пошатнулся и умолк.

— Если вы, — зашипел Ганс, — скажете хоть еще одно слово — застрелю... Сюда! — громко сказал он в сторону дров.

Дрова со стуком посыпались, и Костя бледный, держа за спиной револьвер, подбежал к воде.

— Товарищ! — взволнованно сказал Ганс, — вот этот человек — шпион... Я хочу, — произнес он, быстро переводя дыхание, — сплавить его на тот берег.

— Господа! Миленькие!.. — пискливо шепнул Хвостов. — Ей-богу!.. Если я!.. Простите! Будьте такие добрые! Ради Христа! Христос не велел...

— Садитесь в лодку! — приказал Ганс, не отводя дула от сыщика. — Скорее! Я вам не сделаю ничего, увезу вас

только на тот берег, чтобы вы не подняли гвалт... Костя, голубчик, общитесь его скорее...

Молодой человек торопливо выворотил карманы Николая Ивановича. Записная книжка и несколько фотографических карточек исчезли в брюках Ганса.

Хвостов стоял, дрожа всем телом. Он сразу как-то весь окис и опустился, молчал и только изредка всхлипывал. Ганс связал ему руки назад туго свернутым носовым платком и, втолкнув в лодку, схватил весла.

— Ганс!— сказал Костя, и в голосе его слышалась просьба.— Вы...

— Ничего я ему не сделаю, товарищ,— сурово ответил Ганс.— Пусть полежит с денек в лесу...

«Дедка» проснулся, вышел из шалаша и, вздыхая, посмотрел на небо. Кой-где блестели звезды, и бледные клочки начинающего светлеть неба тонули в тучах. Он зевнул и обернулся к темным фигурам, возившимся у воды. Уключины брякнули, и лодка, столкнутая Костей, заковыхалась на воде.

— Поехали, молодцы? — спросил «дедка». — Дай бог веселого пированья... Али вы рыбу ловить?

— Рыбу ловить, дедка! — крикнул Ганс, и Костя вздрогнул, не узнав его голоса в этом звонком, оборвавшемся выкрике. Вода зашумела под веслами, и лодка отделилась от берега, уходя в темноту. Минуты две еще было слышно, как брякали уключины в такт мерным, тяжелым всплескам. Затем все стихло.

Серый туман окутал реку, и с нее потянуло пронизывающей сыростью. Вода светлела у берегов, и стальные, гладкие полосы отмелей серебрились, пронизанные черными отражениями судов, стоящих на якоре. Разноцветные точки фонарей дрожали в воде.

И вдруг в глубокой тишине уходящей ночи гулко и отчетливо прокатился выстрел, подхваченный эхом... Вверху на горе глухо залаяли разбуженные собаки... И снова все стихло. Река сонно шептала у берегов, как будто рассказывая тысячелетние были. Костя вздрогнул и опустил голову...

IV

Ганс причалил, молча снял весла и отнес их в сторожку. Затем встряхнулся, потянулся так, что затрещали суставы, и, не дожидаясь вопросов «дедки» о причинах скорого

возвращения, схватил Костю под руку и быстро зашагал в гору. Выбравшись наверх, они остановились и перевели дух.

Костя поглядел на товарища. Лицо Ганса как-то посерело и осунулось, а серые, холодные глаза ушли внутрь. Он тяжело дышал. Так они стояли с минуту, глядя друг другу в глаза.

— Костя!— сказал наконец Ганс упавшим грудным голосом.— Вы знаете, кто такой... Валентин Осипович Высоцкий?

— Что за штуки, Ганс,— поморщился Костя.— Говорите прямо... если есть что.

— Петербургский провокатор!— выпалил Ганс.— Это тот самый, что провалил в прошлом году ростовских социал-демократов!..

Костя остолбенел, и крик изумления вырвался у него:

— Провокатор! Ганс!! Не может быть!..

— А вы слушайте!..— продолжал Ганс тихо.— И пойдемте... Тут стоять нельзя. Знаете — если бы мне три дня тому назад кто-нибудь сказал то, что я вам сейчас — я без дальних околнчностей закатил бы ему пощечину... А теперь... «Всякое бывает» — сказал Бен-Акиба... Все вышло случайно... То есть, поистине все вышло чудесно... Дело было так: два дня тому назад прихожу я к Высоцкому... У меня было дело, надо было послать человека за границу... Пришел, а его дома нет... Ждал, ждал... Вдруг стучит кто-то... «Войдите»... Посыльный.— «Здесь живет такой-то?» — Здесь, мол... — «Письмецо вам»... — Хорошо, — говорю... Ушел, письмо я сунул в карман, Высоцкого не дождался, про письмо забыл, прихожу домой, — тут мне почтальон приносит два письма... Но так как мне тут же надо было спешить на организационное собрание, то я их в тот же карман сунул, сел на конку и помчался... Дорогой вынимаю одно, читаю...

Ганс остановился и вытер вспотевший лоб. Товарищи шли быстрым, полным шагом... Бледный рассвет застыл над городом недвижной, мертвой улыбкой. Было тихо и пусто.

— И тут, — продолжал Ганс, — меня как будто целой крышей по голове хватили... Там было написано вот что... оно у меня огненными буквами в мозгу засело: — «Многоуважаемый г. Высоцкий! Настоящим имею честь уведомить вас, что, согласно просьбе вашей, выраженной в те-

леграмме, назначить свидание для переговоров о деле не раньше двух недель со дня приезда вашего — полагаю возможным назначить таковое в субботу, 29-го сего месяца. Место и час прихода вашего будьте любезны заблаговременно сообщить письмом в Управление, с указанием какого-либо отличительного знака, по коему наш агент мог бы вас узнать. По приходе он скажет вам следующее: «Барсов». Примите уверение в совершенном почтении, Барсов»... И вот, пока я читал, я еще думал, что эти карбонарские приемы относятся к какому-нибудь нашему делу, мало ли что может быть... А подпись жандармского ротмистра меня прямо к земле пригвоздила... Да еще в связи с канцелярским изложением... Я ночь не спал, все думал — как быть? Потом решил взять все на свой риск и написал Барсову письмо, что все, мол, прекрасно и в двенадцать часов ночи я приду туда, где мы сейчас с вами были... Я хотел таким образом попытаться узнать кое-что... И действительно... А сегодня, то есть вчера вечером, — поправился Ганс, — у нас было очередное заседание... Высоцкий приходит и читает письмо, якобы от районного комитета; смысл письма таков, что к нам приехал провокатор и что провокатор этот — вы!..

Костя застонал и схватился за голову.

— Вот! И понимаете, — что всего ужаснее — вас здесь никто не знает!.. Приехали вы с местной явкой, а Высоцкий — с партийным паролем... А? Каково? И вчера, знаете, уж порешили вас того — убрать...

Костя вдруг опустился на ближайшую тумбу и закрыл лицо руками. Нервное потрясение было слишком велико... Он весь содрогался от сдерживаемых рыданий и скрипел зубами...

— Костя, да что с вами? Будьте хладнокровнее! Идемте скорее! До утра нужно еще созвать всех и обсудить, как быть дальше! Время дорого... Слышите?..

Ганс тряс товарища за плечо изо всей силы. Наконец тот встал и рассмеялся хриплым, нервным смехом, вытирая глаза.

— Видите, какая скотина! — заботливо-негодующим тоном произнес Ганс. — Он ведь переписку вел. Пари держу, что получил письмо относительно себя и хотел след запутать, а сам еще где-нибудь напакостить... Вы вот что: идите к Нине и Сергею, а я побегу к остальным... Сергею надо щекотать пятки, иначе он не встанет...

— Хорошо...
— Ну, до свиданья пока... Ой, ой, вы мне руку раздавили!
— Слушайте, Ганс!.. А... тот?
— Пришлось покончить... А соберемся, скажите — у Лизы...
В небе легли розовые краски, и стало холодно. Запели петухи.

У

— Я сам пойду!— кричал бледный Сергей, размахивая шапкой. Глаза его лихорадочно горели и красные пятна зловеще алели на щеках.— Я,— он глухо закашлялся и схватился за грудь,— я сам... кха... кха!..

— Нет! Пусть Валерьян!.. Куда вам?! Идите спать, Сергей!— кричал Ганс.— Вы будете шуметь, разговаривать! Слышите?

— Нет!— раздражался Сергей.— Я пойду!.. Эволюция личности!.. Прохвост!..

— Сергей! Прошу вас, останьтесь!..— решительно сказал Валерьян.— Вы мягкий человек!..

— Боже мой! Валерьян — да идите уж вы, что ли, скорее!.. Ведь не сто человек тут нужно... Вот деньги и паспорт на всякий случай... Впрочем, наверно, увидимся еще!.. Нина, где деньги?..

Девушка, плотно сжав губы, молча вынула ассигнации и подала Гансу. Тот передал их Валерьяну, который стоял, ероша обеими руками свою густую копну, и энергичски тряс головой.— Ну, жарьте!..

Валерьян вышел, плотно притворив дверь и вздрагивая от утреннего холода в своей черной сатиновой блузе. Все в нем кипело и бурлило, как самовар. Юноша гневно сверкал своими черными маленькими глазками, направляясь в центр города. У подъезда гостиницы он остановился и позвонил.

Было пять часов, и солнце золотым шаром выкатилось над крышами, позолотив куполы церквей и стекла окон. Сновали редкие прохожие, громыхали пролетки извозчиков, выезжавших на промысел. Валерьяну отпер заспанный, обрюзгший швейцар, окинув молодого человека подозрительным взглядом. Революционер сунул ему двугри-венный и стал подыматься вверх.

В длинных, полутемных коридорах гостиницы все еще спало. Валерьян подошел к номеру, в котором жил Высоцкий, и приложил ухо к двери. Там слышалось ровное дыхание спящего. Где-то внизу хлопнула дверь, и кто-то стал подниматься по лестнице. Валерьян осторожно постучал три раза и снова прислушался. Дыхание прекратилось, и послышалось шарканье калош, одетых на босу ногу. Через секунду чиркнула спичка и ключ повернулся в замке. Дверь отворил Высоцкий, в одном белье, с заспанным и недовольным лицом. В зубах его торчала папироса. Увидя Валерьяна, он прищурился и сморщился.

— Что так рано?— зевнул он.— Ну, проходите...

— Дело есть, Валентин Осипович,— глухо проворчал Валерьян, входя и запирая дверь на ключ. Подумав немного, он вынул ключ из замка и сунул в карман.

— Зачем вы это делаете?— размеренно спросил Высоцкий.

— Затем, чтобы нам не помешали,— слегка дрожащим голосом ответил Валерьян.— Я пришел... ну, одним словом, не будем долго разговаривать... Вы провокатор, и ваша песенка спета!

Что-то неопределенное сверкнуло в глазах Высоцкого. Лицо его оставалось спокойно, но пальцы рук нервно задвигались. Он отступил в глубину комнаты и произнес громким, сдавленным голосом:

— Вы — мальчишка и сумасшедший! Убирайтесь вон!..

— Молчать! — заревел Валерьян, и револьвер ходуном заходил в его руке.— Сорвалось, ага! Скажите только хоть слово!..

Высоцкий покачнулся и упал вперед всем корпусом к ногам юноши. Тот растерялся и в то же мгновение почувствовал, что падает сам. Валентин Осипович схватил его за ноги и с силой дернул к себе. Падая, Валерьян выронил револьвер, и началась отчаянная борьба на полу. Но молодой был сильнее и проворнее старика. Он быстро подмял его под себя и уселся сверху, тяжело пыхтя. Правая рука его шарила по полу, отыскивая упавший браунинг. Наконец полированная рукоятка попала ему в руку.

— Слушайте!— сказал Валерьян.— Я сейчас убью вас!.. Но скажите, откройте мне душу предателя!..

Высоцкий лежал, запрокинув голову, и широко раскрытые глаза его вертелись во все стороны. Тонкая кровяная струйка стекала по виску, оцарапанному при падении.

— Я дам вам тысячу рублей...— с трудом, наконец, прохрипел он, так как левая рука молодого медвежонка лежала на его тонкой, жилистой шее.— Слышите!? Пустите меня!.. Когда я был... слушайте... я вам расскажу!.. в группе старых... народовольцев...

— Эволюция личности, да?— злобно прошипел Валерьян, плохо соображая, о чем говорит Высоцкий.— Подленькая натура у вас, это будет вернее!..

— Вы, вы знаете... правду?— захрипел Высоцкий.— Кто вы — черт вас побери с вашим добром и злом? Пустите меня, паршивый идеалист!.. Вас повесят, слышите вы? Фарисей!..

Сиплый полувизг, полукрик клочками вылетал из его сдавленного горла.

— Застрелитесь сами?! — предложил вдруг Валерьян, красный, как пион.

— Сам??— Пустите меня!— слышите? Ради матери вашей!..

Валерьян отвернул голову и выстрелил не глядя куда... Эхо зарокотало в коридоре, и тело лежащего вздрогнуло под рукой Валерьяна. Пороховой дым за клубился по комнате... Юноша выскочил и бросился бежать, сломя голову, по лестнице вниз. Она была пуста. Весь дрожа, улыбаясь бессознательной, плачущей улыбкой, Валерьян вышел на улицу и крикнул извозчика.

Через час он был на конспиративной квартире.

АПЕЛЬСИНЫ

I

Брон отошел от окна и задумался. Да, там чудно хорошо! Золотой свет и синяя река! И синяя река, широкая, свободная...

Свежий весенний воздух так напирал в камеру, всю вызолоченную ярким солнцем, что у Брона защекотало в глазах и подмывающе радостно вздрогнуло сердце. Не все еще умерло. Есть надежда. Все пройдет, как сон, и он увидит вблизи синюю, холодную пучину реки, ее вздрагивающую рябь. Увидит все... Как молодой орел он взмлет, освобожденный в воздушной пустыне и — крикнет!.. Что? Не все ли равно! Крикнет — и в крике будет радость жизни.

Так бежала мысль, и взгляд Брона упал в маленькое, потускневшее зеркало, повешенное на стене. Из стекла напряженно взглянуло на него небольшое, бледное, замученное лицо, обрамленное редкими, сбившимися волосами. Тонкая, жилистая шея сиротливо торчала в смятом воротничке грязной, ситцевой рубахи. Он машинально провел рукой по глазам, блестящим и живым, и снова задумался.

Брон сидел и курил, но мучительное беспокойство, соединенное с раздражением, действовало, как электрический ток, вызывая зуд в ногах. Он зашагал по своей клетке. Всякий раз при повороте у окна перед ним сверкал большой четырехугольник, перекрещенный решеткой, полный солнца, лазури и зелени. Мысли Брона летали как беспокойные птицы, что у реки, над бархатом камышей, поминутно вспархивают и кружатся с резким, плачущим криком.

Вдвойне неприятно сидеть в тюрьме, чувствовать себя одиноким и знать, что до этого нет никому дела, кроме тех, кто заведует гостиницей с железными занавесками.

Так думал Брон, и злое, гневное чувство росло в его душе по отношению к тем, кто знал его, звал «товарищем», а теперь не потрудится написать пару строчек или прислать несколько рублей, в которых Брон нуждался «свирепо» — по его выражению. В те периоды, когда он не сидел в тюрьме, одиночество составляло необходимое условие его существования. Но сидеть в одиночной камере и быть одиноким становилось иногда очень тяжело и неприятно.

Он ходил по камере, а весна смотрела в окно ласковыми, бесчисленными глазами, и ее ленивые, певучие звуки дразнили и нежили. Синяя река дрожала золотыми блестками; внизу, глубоко под окном, как шаловливые дети, лепетали молодые, зеленые березки.

«Тяжело сидеть весной, — подумал Брон и вздохнул. — Третья весна в тюрьме...»

И он подумал еще кое-что, чего не решился бы сказать никому, никогда. Эти волнующие мысли остановились перед глазами в виде знакомого образа. У образа были большие, темные глаза и нежное, продолговатое лицо...

— И это ушло... Ради чего? Да, — ради чего? — повторил он. — Несчастная, рабская страна...

Брон еще раз взглянул вверх, откуда лились золотые потоки света, пыльного и горячего; подавил мгновенную боль, сел и раскрыл «Капитал». Сухие, математически ясные строки понеслись перед глазами, падая в какую-то странную пустоту, без следа, как снежинки. И от этих безжалостных строк, ядовитых, как смех Мефистофеля, неутомимых и спокойных, как бег маятника, — ему стало скучно и холодно.

Брякнул ключ, и с треском откинулась форгочка в слепой, желтой двери. В четырехугольном отверстии появились щетинистые усы, пуговицы и бесстрастный, хриплый голос произнес:

— Передача!..

Сперва Брон не сразу сообразил, что слово «переда-

ча» относится к нему. Затем встал, подошел к форточке и принял из рук надзирателя тяжелый бумажный пакет. Форточка сейчас же захлопнулась, а радостно-взволнованный Брон поспешил положить полученное на койку и взглянуть на содержимое пакета. Чья-то заботливая рука положила все необходимое арестанту. Там был чай, сахар, табак, разная еда, марки и апельсины. Брон стоял среди камеры и улыбался широкой улыбкой, поглядывая на сокровища, неожиданно свалившиеся в форточку. И оттого, что день был тепел и ясен, и оттого, что неожиданная забота незнакомого человека приласкала его душу,— ему стало очень хорошо и весело.

«Ну, кто же мог прислать? — соображал он. На мгновение образ с темными глазами выплыл перед ним, но сейчас же закрылся картиной дальнего ледяного севера.— Н-нет... Впрочем, сейчас увижу. Если есть записка — значит, это кто-нибудь из своих»...

И он начал торопливо рыться в провизии. Ничего не оказалось. Слегка устав от бесплодных поисков, Брон принял жесточенно обдирать ярко-красный апельсин, и вдруг из сердцевины фрукта выглянула маленькая серебряная точка. Он быстро запустил пальцы в сочную мякоть плода и вытащил тоненькую, плотно скатанную бумажную трубочку, завернутую в свинец.

«Вот она. Какая маленькая! Однако хитро придумано!..»

Трубочка оказалась бумажной лентой, сохранившей тонкий аромат духов, смешанный с острым запахом апельсина. Бисерный женский почерк рассыпался по бумаге и приковал к себе быстрые глаза Брона.

«Товарищ! — гласила записка. — Я узнала случайно, что Вы сидите и очень нуждаетесь. Поэтому не сердитесь, что я посылаю вам кое-что. Мой адрес — В. О. 11 л., 8. — Н. Б. Вам, должно быть, ужасно тяжело сидеть, ведь теперь весна. Ну, не буду дразнить, до свидания, если что нужно — пишите. Н. Б.»

И тут Брон вспомнил, как неделю тому назад, перестукиваясь с соседом, он просил передать на «волю», что ему очень нужны предметы первой необходимости. Теперь стало ясно, что передачу и записку принес кто-нибудь из... Перечитав два раза маленькую белую бумажку, Брон почувствовал, что ему хочется разговаривать, и стал разговаривать с незнакомкой посредством чернил и бумаги. Пись-

мо вышло большое и подробное, при чем он не упустил случая щегольнуть остроумием. А под конец письма слегка «прошелся» по адресу кадетов, назвав их «политическими недоносками» и «фальстафами». И, уже кончив писать,—вспомнил, что пишет незнакомому человеку.

«А все же пошлю,—подумал Брон, успокаивая себя еще тем соображением, что ответ — долг вежливости.— Скучно же так сидеть...»

Так подумал Брон, стоявший среди камеры с апельсином в одной руке. Второй же Брон, сидевший где-то глубоко в Броне первом, сказал:

— Как приятно, когда о тебе заботятся. Я хочу, чтобы этот человек еще раз написал мне. Еще хочу каждый день испытывать тепло и ласку внимательной, дружеской заботы...

Легкое возбуждение, вызванное событием, улеглось, Брон отложил письмо и стал есть. После долгого поста все казалось ему необычайно вкусным. Наевшись, он снова начал читать «Капитал» и между строк великого экономиста улыбался своему собственному письму.

IV

Четверг был снова днем свиданий и передач, и Брон опять получил бумажный пакет с снедью и апельсинами. В одном из них он отыскал бумажную трубочку, закатанную в свинец; Н. Б. писала, что письмо его получено и ему очень благодарны. Следующее место из записки не оставляло сомнения в том, что пишет человек молодой, наивный и искренний.

«... Я прочитала Ваше письмо и весь день думала о вас всех, сидящих в этом ужасном месте. Если бы Вы знали, как мне хочется пострадать за то же, за что мучают Вас! Мне кажется, что я не имею права, не могу, не должна жить на свободе, когда столько хороших людей томятся. Пишите. Зачем пишу Вам это? Не знаю. Н. Б.»

Брон, прочитав записку, тут же сел и написал длинное письмо, в котором объяснял, что «страдания» их — ничто в сравнении с тем великим страданием, которое века несет на себе народ. Очень Вам благодарен за пирожки и апельсины. Пишите, пожалуйста, больше. Брон».

Раскрывая на сон грядущий Гертца и следя засыпающей мыслью за чистенькими статистическими таблицами,

Брон решил, что Н. Б.— высокого роста, тоненькая брюнетка, в широкой шляпе с синей вуалью. Это помогло ему дочитать главу и про себя высмеять «оппортуниста» Гертца.

V

Через неделю переписка приняла прочные и широкие размеры, и Брон всегда с нетерпением, не глядя в себя, ожидал записок, в свою очередь, посылая большие, подробные письма, в красивой, грустной форме заключающие его надежды и мысли. Нежная и тихая печаль странной дружбы ласкала его душу, как отдаленная музыка. И чувствуя, но плохо сознавая это, он с каждым днем чувствовал все сильнее страшный контраст двуликой, разгороженной решеткой жизни, контраст синей реки, окрыляющего пространства и тесно примкнувшей к нему маленькой одиночной камеры с бледным, сгорбившимся человеком внутри...

Так шли день за днем, однообразные, когда не было передач, и яркие, когда в камере Брона становилось тесно от светлых, как хрустальные брызги, мыслей, набросанных на узкой полоске бумаги торопливой, полудетской рукой. Девушка писала Брону, что и ей тесно жить, что, чувствуя себя как в тюрьме, в мире, полном грязного, тупого самодовольства, она рвется на борьбу с темными силами, мешающими свежим, зеленым росткам новой жизни купаться в лучах и теплом весеннем воздухе. И, читая эти певучие, жалобные строки, где горе, смех и слезы мешались и искрились, как дорогое вино, Брон вспоминал прошлое, розовые мечты и неподдельную, строгую к себе и другим отвагу юности.

VI

В один из четвергов, когда за дверью камеры, где-то глубоко внизу, гремели голоса и шаги надзирателей, Брон, получив свой пакет, вынул оттуда только один апельсин, огромный, кроваво-красный. Вытащив из него записку, он сел и прочитал:

«Дорогой Брон! Вам, в самом деле, должно быть ужасно скучно. Поэтому не сердитесь на меня за то, что я вчера была в жандармском управлении и выхлопотала свидания с Вами под видом вашей «гражданской жены». Труд-

ненько было, но ничего, обошлось. Меня зовут Нина Борисова. Ничего почти не пишу Вам, ведь сегодня увидимся и наговоримся.

У меня сегодня хорошее настроение. И так тепло, весело на улице. Н. Б.»

«И так тепло, весело на улице»,— подумал Брон. Прочитав записку еще раз, он с сильно бьющимся сердцем подошел к старенькому чемодану и стал вынимать чистую голубую рубашу. Но тут же внизу раздалась четыре свистка, и торопливый резкий голос крикнул:

— 56-й! На свидание!

И Брон почувствовал апатию и усталость. Ему хотелось сказать, что он не пойдет на свидание. Но, когда надзиратель распахнул дверь и, быстро окинув камеру привычным взглядом, сказал: «Пожалуйста!», Брон заторопился, суетливо пригладил волосы, выпрямился и вышел.

Внизу, в длинном, чисто выметенном коридоре гремели крики надзирателей, звон ключей, кипела суетливая беготня, как всегда в дни свиданий. «Зальный» надзиратель, толстый, усатый человек с медалями, увидя Брона, поспешно спросил:

— На свидание? В конец пожалуйста, в камеру направо!

Брон пошел в конец длинного коридора, ступая той быстрой, легкой походкой, какой ходят люди, долго сидевшие без движения. Другой надзиратель, гладко причесанный, печальный человек, ввел его в пустую камеру, заново покрашенную серой масляной краской, и вышел, притворив дверь. Прошло несколько томительных минут, которые Брон старался сократить курением, не в силах будучи побороть чувство стеснения, неловкости и ожидания. Наконец дверь быстро распахнулась, и тот же надзиратель равнодушно произнес:

— Пожалуйста сюда!

У Брона сильно забилося сердце, и через два шага его ввели в другую камеру, где стоял небольшой столик, покрытый газетной бумагой, а у столика сидел жандармский ротмистр, молодой человек с сытым, бледным лицом и сильно развитой нижней челюстью. Брон вошел и неловко остановился среди камеры. Маленькие глаза ротмистра скучающе скользнули по нему, и Брону показалось, что ротмистр подавил усмешку. Брон вспыхнул и повернулся к двери.

В камеру, слегка переваливаясь, вошла толстененькая, скромно одетая, некрасивая девушка с розовыми щеками и светлыми, растерянными глазками, которые слегка расширились, остановившись на Броне. Брон шагнул к ней навстречу и усиленно-крепко пожал протянутую ему руку.

— Ну, вот... здравствуйте!— сказал он, кашлянув.— Ну, как здоровы?— поспешил он добавить, чувствуя, что предательски краснеет.

— Прошу сесть, господа!— раздался скрипучий голос ротмистра, и Брон послушно засуетился, опускаясь на стул и не отводя глаз от лица посетительницы. Она тоже села, а на столе между ними протянулись пухлые, белые руки ротмистра. Прошло несколько секунд, в течение которых Брон тщательно, с отчаянием придумывал тему для разговора. Мысли его вертелись с ужасающей быстротой, и одна из них была его по нервам:

«Я сижу тупо, как дурак!— Как дурак!— Как дурак!»

— Ну, говорите же что-нибудь,— тихо сказала девушка и виновато улыбнулась. Голос у нее был слабый, грудной.— Ужасно это, как мало дают свидания. Пять минут... Вон в предварилке, говорят, больше..

— Да, там больше,— согласился Брон значительным тоном.— Там десять минут дают...

И он опять умолк, прислушиваясь к себе и желая, чтобы пять минут уже кончились.

— Я очень торопилась сюда,— продолжала девушка.— Мне надо еще попеть в одно место... А здесь ждала—час... или нет? Полтора часа...

— Спасибо, что пришли,— сказал Брон деревянным голосом.— Очень скучно сидеть...—«Что же это я жалуясь?»—внутренне нахмурился он.— А вы... как?

— Я? — рассеянно протянула девушка.— Да все так же...

Они еще немного помолчали, поглядывая друг на друга. И обоим почему-то было грустно. Ротмистр подавил зевок, побарабанил пальцами по столу и, с треском открыв огромные часы, сказал, поднимаясь:

— Свидание кончено... Кончайте, господа!..

Брон и Борисова поднялись и снова улыбнулись растерянно и жалко, мучаясь собственной неловкостью и чужой, враждебной атмосферой, окружавшей их. Девушка

пошла к дверям, но на пороге еще раз обернулась и торопливо бросила:

— Я приду в четверг... А вы не скучайте.

Она думала, быть может, встретить другого, закаленного человека, сильного и гордого, как его письма, с резкими движениями и мягким взглядом... Все может быть. Может быть и то, что, выходя на улицу, она бросила длинный взгляд на мрачный фасад тюрьмы, схоронившей за железными прутьями столько прекрасных душ... Может быть также...— Все может быть.

Брон медленно поднимался по лестнице к «своему» коридору и «своей» камере. Ему было тяжело и неловко, как человеку, уличенному в дурном поступке, хотя он и сам не знал — отчего это... И он думал о странностях человеческой жизни, о тайных извилинах души, где рождаются и гаснут желания,— двуликие, как и все в мире, смутные и ясные, сильные и слабые. И жаль было этих прекрасных цветов, пасынков жизни, обвеянных поэтической грезой, живущих и умирающих, как мотыльки, неизвестно зачем, почему и для кого...

Войдя в камеру, Брон подошел к окну, вздохнул и стал смотреть на блестящие краски весеннего дня, цветным покровом обнимающие пространство. Синела река, звонкий, возбуждающий гул уличной жизни пел и переливался каскадом. И новая морщина легла в душе Брона...

НА ДОСУГЕ

Начальник еще не приходил в контору. Это было на руку писарю и старшему надзирателю. Человек не рожден для труда. Труд, даже для пользы государственной — проклятие, и больше ничего. Иначе бог не пожелал бы Адаму, в виде прощального напутствия, «есть хлеб в поте лица своего».

Мысль эта кстати напомнила разомлевшему писарю, что стоит невыносимая жара и что его красное, телячье лицо с оттопыренными ушами обливается потом. Задумчиво вытащил он платок и меланхолично утерся. Право, не стоит ради тридцатирублевого жалованья приходить так рано. Годы его — молодые, кипучие... Сидеть и переписывать цифры, да возиться с арестантскими билетами — такое скучное занятие. То ли дело — вечер. На бульваре вспыхивают разноцветные огни. Анпетитно звякают тарелки в буфете и гуляют барышни. Разные барышни. В платьочках и шляпах, толстые, тонкие, низенькие, высокие, на выбор. Писарь идет, крутит ус, дергает задом и поигрывает тросточкой.

— Пардон, мадмуазель! Молоденькие, а в одиночестве... И не скучно-с?..

— Хи, хи! Что это, право, за наказание!.. Такие кавалеры, а пристае!..

— А вы, барышня, не чопуритесь!.. Так приятно в вечер майский с вами под руку гулять!.. И так приятно чай китайский с милой сердцу распивать-с!..

— Хи, хи!

— Хе-хе!..

Легкие писарские мысли нарушены зевотой надзирателя, старой тюремной крысы, с седыми торчащими усами и красными, слезящимися глазками. Он зевает так, как будто хочет проглотить всех мух, летающих в комнате. Наконец, беззубый рот его закрывается и он бормочет:

— А уголь-то не везут... Выходит, что к подрядчику идти надо...

С подрядчиком у него кой-какие сделки, на почве безгрешных доходов. Вот еще дрова — тоже статья доходная. На арестантской крупе да картошке не разжиреешь. Нет, нет — да и «волынка», бунт. Не хотят, бестии, «экономную» пищу есть. Так что с перерывами — подкормишь, да и опять в карман. Беспокойно. То ли дело — дрова, керосин, уголь... Святое, можно сказать, занятие...

Часы бьют десять. Жар усиливается. В решетчатых окнах недвижно стынут тополи, залитые жарким блеском. Кругом — шкафы, книги с ярлыками, старые кандалы в углу. Муха беспомощно барахтается в чернилах. Тишина.

Сонно цепенеет писарь, развалившись на стуле, и разевает рот, изнемогая от жары. Надзиратель стоит, расставив ноги, шевелит усами и мысленно усчитывает лампадное масло. Тишина, скука; оба зевают, крестят рты, говорят: «фу, черт!» — и зевают снова.

На крыльце — быстрые, мерные шаги; тень, мелькнувшая за окном. Медленно открывается дверь, визжа блоком. Тщедушная фигура рассыльного с черным портфелем и разносной книгой водворяется в канцелярию и обнажает вспотевшую голову.

— От товарища прокурора... Письма политическим...

Тишина нарушена. Радостное оживление оскаливает белые, лошадиные зубы писаря. Перо бойко и игриво очеркивается в книге, и снова хлопает визжащая дверь. На столе — небольшая кучка писем, открыток, измазанных штемпелями. Писарь роется в них, подносит к глазам, шевелит губами и откладывает в сторону.

— Вот-с! — торжествующе восклицает он, небрежно, как бы случайно подымая двумя пальцами большой, синий конверт. — Вот-с, вы, Иван Палыч, говорили, что отец Абрамону не напишет! Я уж его почерк сразу узнал!..

— Что-то невдомек мне, — лениво зевает надзиратель, шевеля усами: — что он писал у в прошедший раз?..

— Что писал!—громко продолжает писарь, вытаскивая письмо.— А то писал, что ты, так сказать — более мне не сын. Я, говорит, идеи твои считаю одной фантазией... И потому, говорит, более от меня писем не жди...

— Что ж,—меланхолично резонирует «старший», подсаживаясь к столу.— Когда этакое супротивление со стороны своего дитя... Забыв бога, к примеру, царя...

— Иван Павлыч!—радостно взвизгивает писарь, хватая надзирателя за рукав.— От невесты Козловскому письмо!.. Ну, интересно же пишут, господи боже мой!..

— Значит — на прогулку сегодня не пойдет,—щурится Иван Павлыч.— Он этак всегда. Я в глазок¹ сматривал. Долго письма читает...

Писарь торопливо, с жадным любопытством в глазах, пробегает открытку, мелко исписанную нервным, женским почерком. На открытке — заграничный вид, лесистые горы, мостики, водопад.

— В глазок сматривал,—продолжает Иван Павлыч и щурится, ехидно усмехаясь, отчего вваливается его беззубый, черный рот и прыгает жиденькая, козлиная борода.— Когда плачет, когда смеется. Потом прячет, чтобы, тово, при обыске не отобрали.. Свернет это мелконько в трубочку — да и в сапог... Смехи!.. Потом, значит, зачнет ходить и все мечтает... А я тут ключами — трах!.. — «На прогулку!» — «Я, говорит, сегодня не пойду»... — «Как, говорю, не пойдете? По инструкции, говорю, вы обязаны положенное отгулять!» — Раскритится, дрожит... Сме-ехи!..

— «Ми-лый... м... мой... Пе...тя...» — торжественно читает писарь, стараясь придать голосу натуральное, смешливое выражение.— Про-сти-что-дол-го-не-пи-са-ла-те-бе. Ма-ма-бы-ла-боль-на-и...

Писарь кашляет и подмигивает надзирателю.

— Мама-то с усами была! Знаем мы!—говорит он, и оба хохочут. Чтение продолжается.

— бу-ду-те-бя-жда-ать... те-бя-сош-лют-в-Си-бирь... Там-уви-дим-ся... При-е-х-ать-же-мне, сам знаешь,—нель-зя...

— Врет!—категорически решает Иван Павлыч.— Что ей в этом мозгляке? Худой, как таракан... Я карточку ей-ную видел в Козловского камере... Красивая!.. Разве без

¹ Глазок — круглое отверстие в дверях камеры. (Прим. автора.)

мужика баба обойдется? Врет! Просто туману в глаза пускает, чтобы не тревожил письмами...

— Само собой!— кивает писарь.— Я вот тоже думаю: у них это там — идеи, фантазии всякие... А о кровати-то, поди — нет, нет — да и вспомнят!..

— Что барская кость,— говорит внушительно Иван Павлыч,— что мещанская кость,— что крестьянская кость. Все едино. Одного, значит, положения природа требует...

— Жди его!— негодуяше восклицает писарь.— Да он до Сибири на что годен будет! Измочалится совсем! Будет не мужина, а... тьфу! Ей тоже хочется, небось, ха, ха, ха!..

— Хе-хе-хе!.. Любовь, значит, такое дело... Бе-е-ды!..

— Вот!— писарь подымает палец.— Написано: «здесь мно-го-инте-рес-ных-людей»... Видите? Так оно и выходит: ты здесь, милочек мой, посиди, а я там хвостом подмахну!.. Ха-ха!..

— Хе-хе-хе!..

— Какая панорама!— говорит писарь, рассматривая швейцарский вид.— Разные виды!..

— Тьфу!..— Надзиратель вскакивает и вдруг с ожесточением плюет.— Чем люди занимаются! Романы разводят!.. Амуры разные, сволочь жидовская, подпускают... А ты за них отвечай, тревожься... Па-а-ли-ти-ка!..

Он пренебрежительно щурит глаза и взволнованно шевелит усами. Потом снова садится и говорит:

— А только этот Козловский не стоит, чтобы ему письма давать... Супротивнее всех... Позавчера: «Кончайте прогулку»,— говорю, время уж загонять было.— «Еще, говорит, полчаса и не прошло!» — Крик, шум поднял... Начальник выбежал... А что,— меняет тон Иван Павлыч и сладко, ехидно улыбается,— ждет письма-то?

Писарь подымает брови.

— Не ждет, а сохнет!— веско говорит он.— Каждый день шляется в контору — нет ли чего, не послали ли на просмотр к прокурору...

— Так вы уж, будьте добры, не давайте ему, а? Потому что не заслужил, ей богу!.. Ведь я что... разве по злобе? А только что нет в человеке никакого уважения...

Писарь с минуту думает, зажав нос двумя пальцами и крепко зажмурившись.

— Чего ж? — роняет он, наконец, небрежно, но решительно.— Мо-ожно... Картинку себе возьму...

В камере палит зной. В решетчатом переплете ослепительно сверкает голубое, бесстыжее небо.

Человек ходит по камере и, подолгу останавливаясь у окна, с тоской глядит на далекие, фиолетовые горы, на голубую, морскую зыбь, где растопленный, золотистый воздух баюкает огромные, молочные облака.

Губы его шепчут:

— Катя, милая, где ты, где? Пиши мне, пиши же, пиши!..

ЛЮБИМЫЙ

I

Яков, или Жак, как мы звали его, пришел ко мне веселый, шумно распахнул дверь, со стуком поставил трость, игриво отбросил шляпу, энергично взмахнул пышной, каштановой шевелюрой, улыбнулся, жизнерадостно засмеялся, вздохнул, сел на стул и сказал:

— Поздравь!

— Поздравляю! — с любопытством ответил я. — Что? Выиграл?

— Хуже!

— Дядя умер?

— Хуже!

— Тогда не знаю. Расскажи.

— Женюсь! — выпалил он и расхохотался. — Влюблен и женюсь! Вот тебе!..

Я развел руками и пристально посмотрел в его лицо. Жак, мой приятель Жак, завсегдатый увеселительных мест, театров и кафе, был трезв, глядел на меня ясными, голубыми глазами и вовсе не обнаруживал стремления закричать петухом. В таких случаях принято говорить: «рад за тебя, дружище», или — «ну, что же, дай бог». Я предпочел первое и сказал:

— Очень радуюсь за тебя.

— Еще бы ты не радовался, — самоуверенно заявил он, переворачивая стул и усаживаясь на него верхом. — Ты должен — слышишь? — ты обязан с ней познакомиться... Она — чудо: ангел, добрая, милая, хорошенькая, — прелесть, а не женщина! Восторг, а не человек!..

— Хм!..

— Да! Но сознаешь ли ты, почему я выхожу за... то есть почему я женюсь? Я смертельно ее люблю! Я обожаю ее... ах, Вася!.. Ну, ты увидишь, увидишь!..

В его захлебывающихся словах звучало искреннее чувство, а глаза сделались влажными, и от этого в моей душе, душе старого холостяка, что-то заняло. Не то грусть, не то зависть; может быть, также сожаление о Жаке, терявшем с этого дня для меня свою ценность, как непоседы и собутыльника. Вздыхнув, я побарабанил пальцами и спросил:

— Как же это так скоро? Ведь еще на прошлой неделе мы ночевали у этой очарова...

— Ах, да молчи! — Жак зажмурился и сжал губы. — Пожалуйста, не вспоминай... Я стараюсь не думать больше о... о... этом... Нет, решено: я люблю и буду порядочным человеком!

— Да? — сказал я. — Я в восторге от тебя, Жак. Но расскажи же, как, что?.. Все это так неожиданно.

Жак воодушевился и в пылких, бессвязных словах изложил мне историю своей любви. На прошлой неделе у знакомых он встретился с удивительным и т. д. существом, остоленел с первого взгляда, стал ухаживать при лунном свете, говорить о сродстве душ, вздыхать, таить, забывать есть, словом, проделывать все то, что принято в таких случаях. А через пять дней упал на колени, рыдая, целовал ее ноги и получил согласие.

«Что же? — размышлял я, — Жак не очень глуп, красивый, богат, с добрым сердцем... Дай ему бог».

— Она, — рассказывал Жак, — дочь состоятельного чиновника, кончила гимназию, а теперь мечтает поступить в консерваторию. Ведь это хорошо — в консерваторию? — вспотев и блаженно улыбаясь, спрашивал он меня. — В консерваторию! Ты подумай.. Поедет в Петербург, слава, оvation, ну... Одним словом!

— Хм!

— Ты увидишь, Вася!.. Ах, слушай, ну, ей богу же, это удивительно... это ангел... Вася, милый!..

— Милый Жак, — грустно сказал я. — Я... растроган... я... будь счастлив... будь...

Нервы Жака не выдержали. Он вскочил со стула, опрокинул курительный столик, бросился мне на шею и выпустил лишь минут через пять, оглушенного и полузаду-

шенного. На щеке моей еще горели следы его поцелуев, слез, а жилет и усы запахли бриллиантином. Я отдышался, пришел в себя и вытер лицо платком.

— Бегу! — Жак стремительно сорвался и затрепетал. — Бегу к ней... опоздаю... Ну... — он схватил мою руку и стал калечить ее... — Ну... ты понимаешь... я не могу... я... прощай!

— Слушай, — сказал я, — когда же я увижу...

— Ах, да... Какой я дурак! Дорогой Вася... сегодня, в театр, мы там, то есть я... и она, конечно, с мамой и дядей... Ну, жму тебя... руку... прощай!..

В одно мгновение он схватился за ручку двери, отдал мне ногу; шляпа как-то сама вспрыгнула ему на голову, и Жак исчез, оставив после себя опрокинутый столик, рассыпанные сигары и забытую трость.

II

Пробило восемь.

Что же еще взять с собой? Портсигар, бумажник, платок, анисовые лепешки — все здесь. Ах, да! Маленький цветок в петлицу. Жак будет этим доволен. Приятно видеть желание друга понравиться моей избраннице. Я выдернул из букета камелию, и она вспыхнула на сюртуке. Итак — еду. Некоторые говорят, что грустно быть холостяком... Д-да... с одной стороны...

Кучер быстро доставил меня к подъезду театра. В ярко освещенном зале я увидел Жака; он сиял в третьем ряду кресел, и его ослепительный жилет ярко оттенял розовое, счастливое лицо своего владельца. Рядом две дамы, но трудно разглядеть издали. Я подошел ближе и раскланялся.

Да — она хороша, бесспорно. У Жака есть вкус. Маленькая, золотистая блондинка, матовая кожа овального личика и темные, грустные, как вечерние цветы, глаза. Нежные губы озарены тихой, приветливой улыбкой.

Она медленно поправила маленькой, гибкой рукой трэн белого, с кружевной отделкой платья, и села удобнее, переводя взгляд с Жака на меня и обратно.

Скверно, что мамаша была тут, рядом с ней, в противном случае я мог бы присесть ближе к фее и незаметно поволноваться. О, эта мамаша с двойным подбородком, крикливая и пестрая, как попугай! Этот острый мате-

ринский взгляд!.. Но дядя показался мне крайне милым человеком. Он молчал, блестел лысиной, бриллиантовыми перстнями и приятно улыбался.

Когда я был представлен, рассмотрен и усажен, то сказал вполголоса, но довольно внятно:

— Жак! Завидую тебе... Счастливчик!..

Она улыбнулась радостно, вспыхнув и дрогнув углами глаз. Он — самодовольно, с оттенком пошлости. Дядя сказал:

— Когда я был в Бухаре...

После этого он приятно улыбнулся и смолк, потому что Жак начал рассказывать нечто необъяснимое. Из его слов я мог лишь понять, что есть погода, театр, что он любит всех людей и завтра купит новую лошадь. Когда он кончил, дядя сказал:

— Я, видите ли, был в Бухаре и...

Но ему помешал оркестр. Грянул залихватский марш, и дядя, приятно улыбнувшись, окаменел в задумчивости. Мамаша крикнула, томно закатывая глаза:

— Ах, я обожаю военную музыку! Это моя слабость!..

— А вы,— спросил я девушку,— вы любите драму?

Фея повернулась ко мне, и было видно, что она не понимает вопроса. Мысли ее были не здесь, а в пространстве, где плавают розовые будуары, усы, резные буфеты и любовь. Я повторил вопрос.

— Да... люблю... конечно,— серьезно сказала она и тихо повторяла, смотря на занавес:

— Люблю...

К театру ли относилось последнее слово? Не знаю.

III

Прежде чем случилось несчастье и сознание хлынувшего ужаса потрясло мозг,— что-то больно зазвенело в груди и дрогнуло там острым, разбившимся криком. Это наверху, с галерей, раздался шум, треск скамеек и пронзительный остервенелый вопль:

Гори-и-им!!

Что-то быстро и звонко переломилось в душе,— граница между сознанием и паникой. Казалось, рухнули стены и знойный вихрь всколыхнул воздух.

Бешеное стадо с ревом заколебалось вокруг, топча и опрокидывая все на пути. Оно бессмысленно лезло во все

стороны, цепляясь с плачем и проклятиями, за рампу, мебель, стены, волосы женщины, царапаясь и кусаясь, прыгая сверху с грохотом и воплями. И так же ярко, ровно горело электричество, заливая уютным светом мятущуюся толпу фраков, мундиров, причесок, голых плеч и белых, безумных лиц. Хохот помешанных летел в уши, слезливый и бессильный. Все трещало и стонало, как роща в напоре ветра.

Фея бросилась к Жаку и, теряя сознание, вцепилась пальцами в складки его жилета. Жак грузно подвигался вперед, задыхаясь от тяжести. Лицо его мертвело; одной рукой он отбрасывал прочь девушку, другую протягивал вперед и каждый палец этой руки кричал о помощи.

У меня закружилась голова. Я закрыл глаза и через мгновение открыл их, оглушенный, удерживая изо всех сил свое тело, готовое помчаться с воем по головам других. Пальцы мои впились в бархатную отделку барьера и разодрали ее. Девушка лежала в двух шагах от меня, скованная обмороком, руки стиснуты в кулачки, грудь замерла. Кто это — дядя? Нет, это сумасшедший. Он стоит, топает ногами и сердится, а скулы его дрожат, прыгает нижняя челюсть, и одной рукой он трет себя по спине...

— Где Жак?

В хаосе звуков далеким воспоминанием мелькнули длинные руки Жака, с бешенством отбросившие прочь маленькое, кружевное тело. Тело стукнулось, а лицо окаменело в испуге. Потом закрылись глаза, сознание оставило ее.

Забыв о маме и дяде, я схватил фею на руки и кинулся вперед. В тылу плотно сбившихся, обезумевших затылков, в самом водовороте животной драки я столкнулся с Жаком и взглянул на него. Это было не лицо... Отвратительный, трясушийся комок мяса, и слюни, текущие из раскисшего рта... о! Я плюнул в этот комок и с бешенством страха ударил Жака ногой в живот. Взгляд его скользнул, не узнавая, по мне. Он прыгал, как курица, на месте, стараясь вылезть на плечи других, но каждый раз обрывался и всхлипывал.

Все — паника и давка — кончилось после нескольких упорных звонких, умышленно-ленивых окриков сверху: — Господа, стыдно! Пожара нет!..

КИРПИЧ И МУЗЫКА

I

Звали его — Евстигней, и весь он был такой же растрепанный, как имя, которое носил: кудластый, черный и злой. Кудласт и грязен он был оттого, что причесывался и умывался крайне редко, больше по воскресеньям; когда же парни дразнили его «галахом» и «зимогором», он лениво объяснял им, что «медведь не умывается и так живет». Уверенность в том, что медведь может жить, не умываясь, в связи с тучами сажи и копоти, покрывавшей его во время работы у доменных печей, приводила к тому, что Евстигнея узнавали уже издали, за полверсты, вследствие оригинальной, но мрачной окраски физиономии. Определить, где кончались его волосы и где начинался картуз, едва ли бы мог он сам: то и другое было одинаково пропитано сажей, пылью и салом.

Себя он считал добрым, хотя мнение татар, катавших руду на вагонетках и живших с ним вместе в дымной, бревенчатой казарме, было на этот счет другое. Скуластые уфимские «князья», голодом и неурожаем брошенные на заработки в уральский лес, всегда враждебно смотрели на Евстигнея и всячески препятствовали ему варить свинину на одной с ними плите, где, в жестяных котелках, пенился и кипел неизменный татарский «махан»¹. Это, впрочем, не мешало Евстигнею регулярно каждый день ставить на огонь котелок с варевом, за-

¹ Лошадиное мясо. (Прим. автора.)

прещенным кораном. Татары морщились и ругались, но хладнокровие, в трезвом виде, редко изменяло Евстигнееву.

— Кончал твоя башка, Стигней! — говорили ему. — Пропадешь, как собака!

Евстигней обыкновенно молчал и курил, сильно затягиваясь. Татарин, ворчавший на него, садился на нары, болтал ногами и улыбался тяжелой, нехорошей улыбкой.

— Зачем так делал? — снова начинал противник Евстигнеева, часто и хрипло дыша. — Мой закон такой, — твой закон другой... Чего хочешь?

Евстигней мешал в котелке и, наконец, говорил:

— Жрать я хочу, знаком, и боле никаких... Вопрос: кто ты? Ответ: арбуз. А это ты, знаком, слышал: Алла мулла чигирит в углу?

— Анна секим! — вскрикивал татарин. Потом ругался русской и татарской бранью, плевался и уходил. Евстигней доканчивал варку, садился на нары, поджав ноги по-татарски, и долго, жадно ел горячее, жирное мясо. Потом сморкался в рукав и шел к домне.

Впрочем, он и сам не знал — зол он или добр. По воскресеньям, пьяный, сидя в трактире среди знакомых хищников и «зимогоров», он громко икал, обливаясь водкой, нелепо таращил брови и говорил:

— Я — добер! Я — стр-расть добер! В сопатку, к примеру сказать, я тебе не вдарю — ты не можешь стерпеть... Другие, которые пером (нож) обходятся... Этого я дозволить, опять же, не могу... Если ты согласишься совладать — завсегда в душу норови, пока хрип даст...

Пьяный, к вечеру он делался страшен, бил посуду, бил кулаками по столу, кричал и дрался. Его били, и он бил, захлебываясь, долго и грузно опуская огромные жилистые кулаки в тело противника. Когда тот «давал хрип», то есть попросту делался полумертвой, окровавленной массой, Евстигней подымался и хохотал, а потом снова пил и кричал диким, нелепым голосом.

Ночью, когда все затихало, и в спертom, клейком воздухе казармы прели вонючие портянки и лапти; когда смутные, больные звуки стонали в закопченных, бревенчатых стенах, рожденные грудями тел, разбитых сном и усталостью, Евстигней вскакивал, ругался, быстро-быстро бормоча что-то, затем бессильно опускал голову,

скреб волосы руками и снова валился на твердые, гладкие доски. А когда приходил час ночной смены, и его будили сонные, торопливые руки рабочих,— подымался, долго чесал за пазухой и шел, огромный, дремлющий, туда, где дышали пламенем бессонные, черные печи, похожие на сказочных драконов, увязших в сырой, плотной земле.

II

Наступал праздник; двенадесятый или просто воскресный день. Евстигней просыпался, брал железный ковш, шел на двор, черпал воду из водосточной кадки и, плеснув изо рта на ладонь, осторожно размазывал грязь на лице, всегда оставляя сухими черную шею и уши. И тогда можно было разглядеть, что он молод, крепок и смугл, хотя его широкому, каменному лицу с одинаковой вероятностью хотелось дать и двадцать и тридцать лет. Потом надевал городской, обшмыганный пиджак, тяжелые, «приисковские» сапоги с подковами и шел, по его собственному удачному выражению — «гулять».

«Гулянье» происходило всегда очень нехитро, скучно и заключалось в следующем: Евстигней садился на крыльце трактира, рядом с каким-нибудь мужиком, молчаливо грызущим семечки, и начинал ругаться со всеми, кто только шел мимо. Шла баба — он ругался; шли парни — он задевал их, смеясь их ругательствам, и ругался сам, лениво, назойливо. Он был силен и зол, и его боялись, а пьяного, поймав где-нибудь на свалке,— молча и сосредоточенно били. И он бил, а однажды проломил доской голову забойщику с соседнего прииска; забойщик умер через месяц, выругав перед смертью Евстигнея.

— Стой, ядреная, стой! — кричал Евстигней с крыльца какой-нибудь молоденькой, востроглазой бабенке в ярком цветном платке. — Стой! Куда прешь!

— Вот пса посадили, слава те господи! — отвечала, вздыхая баба. — Хошь вино-то цело будет... Лай, лай, собачья утроба!..

— Куда те прет? — кричал Евстигней. — В зоб-то звони, эй! слышь? Зобари проклятые...

— Лай, лай — дам хлеба каравай! — отругивалась баба, оборачиваясь на ходу. — Зимогор паршивый! Галах!

— Валял я тебя с сосны, за три версты,— хохотал Евстигней.— Зоб-то подыми!..

Мужик, грызший семечки, или одобрительно ухмылялся даровому представлению, или говорил сонным, изнемогающим голосом:

— Охальник ты, пра... Мотри — парни те вышибут дно.

— Ого-го! — Евстигней тряс кулаком.— Утопнут!..

Если в поле его зрения появлялась заводская молодежь, одетая по-праздничному, с гармониями в руках — он набирал воздуха, тужился и начинал петь умышленно гнусавым, пискливым голосом:

Ма-а-мынька-а р-роди-мая-а,
Свишша-а неу-гасимая-а!..
Когда-а сви-шша-а по-га-сы-нет,
Тог-да д'милка при-ла-сы-не-ет!..

И кричал:

— Чалдон! Сопли где оставил?

Парни угрюмо, молча проходили, продолжая играть. И только на повороте улицы кто-нибудь из них оборачивался и, заломив шапку, говорил спокойным, зловещим голосом:

— Ладно!

Улица пустела, солнце подымалось выше и нестерпимо жгло, а Евстигней сидел и смотрел вокруг злыми, скучающими глазами. Затем подымался, шел в трактир и, долго сидя в сумрачной, отдающей спиртом прохладе свежеобтесанных стен, пил водку, курил и бушевал.

III

Был вечер, и было тихо, жарко, и душно.

Багровый сумрак покрыл горы. Они таяли, тускнея вдали серо-зелеными, пышными волнами, как огромные шапки невидимых, подземных великанов. На дворе, где стояла казарма, сидели татары и громко, пронзительно пели резкими, гортанными голосами. Увлечшись и краснея от напряжения, смотря и ничего не видя, они вздрагивали, надрываясь, и в вопле их, монотонном, как скрип колеса, слышалось ржание табунов, шум степного ветра и неприятный верблюжий крик.

Пужинав, сытый и уже слегка пьяный, Евстигней вышел на двор, долго, неподвижно слушал дикие, жа-

лобные звуки, и затем осторожно ступая босыми ногами в колючей, холодной от росы траве, подошел к поющим. Те мельком взглянули на него, продолжая петь все громче, быстрее и жалобнее. Евстигней цыркнул сляуной в сторону и сказал:

— Корова вот тоже поет. Слышь, князь? — Молодой татарин, бледный, с добродушным выражением черных, глубоко запавших глаз, обернулся, улыбнулся Евстигнею бессознательной, мгновенной улыбкой и снова взвыл тонким жалобным воплем. Евстигней сел на траву и закричал:

— Эй, вей-вей-ве-е! И-ий-вае-вае-у-у! Что вы кишки тянете из человека? Эй?!.

Пение неохотно оборвалось, и татары взглянули на неприятеля молчаливо-злыми, сосредоточенными глазами. Прошло несколько мгновений, как будто они колебались: рассердиться ли на этого чужого, мешающего им человека или обратиться в шутку его слова. Наконец один из них, пожилой, толстый, с коричневым лицом и черной тубетейкой на голове, громко сказал:

— Ступай себе — чего хочешь? Не любишь — сам пой. Добром говорю.

— Христом богом прошу! — не унимался Евстигней, оскаливая зубы и притворно кланяясь. — Живот разболелся, как от махана. Одна была у волка песня — и ту...

Он не договорил, потому что вдруг встал маленький, молодой, почти еще совсем мальчик и близко в упор подошел к Евстигнею. Татарин тяжело дышал и закрывал глаза, а когда открывал их, лицо его пестрело красными и бледными пятнами. Он шумно вздохнул и сказал:

— Стигней, моя терпел! Месяц терпел, два терпел! Ступай!

Остальные молчали и враждебно, с холодным любопытством ожидали исхода столкновения. Евстигней вскочил, как ошпаренный, и выругался:

— Анан секим! Ты што, — бритая посуда?!

— Слушай, Стигней! — продолжал татарин гортанным, вздрагивающим голосом и побледнел еще больше. Глаза его сузились, под скулами выступили желваки. — Слушай, Стигней: я терпел, мольчал, долга мольчал... Ты знай: богом тебя клянусь, — пусть я помирал, как собака... Пусть я матери своей не увижу — если я тебя

тут на месте не кончал... Слышал? Ступай, Стигней, уходи...

Узкий, острый нож блеснул в его руках, и глаза вспыхнули спокойной, беспощадной жестокостью. Евстигней смотрел на него, соображал — и вдруг почувствовал, как быстро упало, а потом бешено заколотилось сердце, выгнав на лицо мелкий, холодный пот. Он осунулся и тихо, оглядываясь, отошел. Татарин, весь дрожа, сел в кружок, и снова скрипучий, тоскливый мотив запылал в тишине вечера.

IV

Евстигней вышел со двора и часто, тяжело отдуваясь, обогнул забор, где за казармой чернел густой таинственный лес. Злоба и испуг еще чередовались в нем, но он скоро успокоился и, шагая по тропинке среди частого мелкого кедровника, думал о том, какую пакость можно устроить татарину в отместку за его угрозу. Но как-то ничего не выходило и хотелось думать не об Ахметке и его ноже, а о влажном, тихом сумраке близкой ночи. Но и здесь мысли вились какие-то нескладные и сумбурные, вроде того, что вот стоит уродливое, корявое дерево, а за ним черно; или — что до полочки еще далеко, а денег мало, и в долг перестали верить.

Тьма совсем уже вошла в чащу, и становилось прохладно. Со стороны завода вставал густой, дышащий шум печей, звяканье железа, бранчливые скучные выкрики. Тропа вела вверх, на подъем лесного пригорка, круто извиваясь между стволами и кустарником. Кедровая хвоя трогала Евстигнея за лицо, а он бесцельно шел, и казалось ему, что мрак, густеющий впереди, — это татарин, отступающий задом, по мере того, как он, Евстигней, грудью идет и надвигается на него. Пугливый шорох и плавный шепот вершин таяли в вышине. Небо еще сквозило вверх синими, узорными пятнами, но скоро и оно потемнело, ушло выше, а потом пропало совсем. Стало черно, сыро и холодно.

И вдруг, откуда-то и, как показалось Евстигнею со всех сторон, упали в тишину и весело разбежались мягкие, серебряные колокольчики. Лес насторожился. Колокольчики стихли и снова перебежали в чаще мягким, переливчатым звоном. Они долго плакали, улыбаясь, а

за ними вырос низкий, певучий звон и похоронил их. Снова наступило молчание, и снова заговорили звуки. Торжественно-спокойные, кроткие, они ширились, уходя в вышину и, снова возвращаясь на землю, звенели и прыгали. Опять засмеялись и заплакали милые, переливчатые колокольчики, а их обнял густой звон и так, обнявшись, они дрожали и плыли. Казалось, что разговаривают двое, мужчина и девушка, и что одна смеется и жалуется, а другой тихо и торжественно утешает.

Евстигней остановился, прислушался, подняв голову, и быстро пошел в направлении звуков, громче и ближе летевших к нему навстречу. Ради сокращения времени, он свернул с тропы и теперь грудью, напролом, шагал в гору, ломая кусты и вытянув вперед руки. Запыхавшись, мокрый от росы, он выбрался, наконец, на опушку, перевел дух и прислушался.

Это была широкая, темная поляна, и на ней, смутно белея во мраке, стоял новый, большой дом «управителя», как зовут обыкновенно управляющих на Урале. «Управителя» все считали почему-то «французом», хоть он был чисто русский, и имя носил самое русское: Иван Иванович. Окна в доме горели, открытые настежь, и из них выбегал широкий, желтый свет, озаряя густую, темную траву и низенький, сквозной палисад. В окнах виднелась светлая, просторная внутренность помещения, мебель и фигуры людей, ходивших там. Кто-то играл на рояле, но звуки казались теперь не пугливыми и грустными, как в лесу, где они бродили затерянные, тихие, а смелыми и спокойными, как громкая, хоровая песня.

Евстигней подошел к дому и стал смотреть, облокотившись на колья палисада. Сбоку, недалеко от себя, у стены, разделявшей два окна, он видел белые, прыгающие руки тоненькой женщины в красивом, голубом платье, с высокой прической черных волос и бледным, детским лицом. Она остановилась, перевела руки в другую сторону и снова, как в лесу, засмеялись и разбежались колокольчики, прыгая из окон, а их догнал густой, певучий звон и, обнявшись, поплыл в темноту, к лесу.

— Ишь ты! — сказал Евстигней и, переступив босыми ногами, снова стал смотреть на проворные, тонкие руки женщины. Она все играла, и казалось, что от этих бегающих рук растет и ширится небо, вздыхая, колыхается воздух и ближе придвинулся лес. Евстигней на-

валился грудью на частокол, но дерево треснуло и закрипело, отчего звуки сразу угасли, как пламя потушенной свечи, а к окну приблизилась невысокая, тонкая фигура, ставшая загадочной и черной от темноты, вищей снаружи. Лица ее не было видно, но казалось, что оно смотрит тревожно и вопросительно. С минуту продолжалось молчание, и затем тихий, неуверенный голос спросил:

— Кто там? Тут есть кто-нибудь?

Евстигней снял шапку, мучительно покраснел и выступил в пятно света, падавшее из окна. Женщина повернула голову, и теперь было видно ее лицо, тонкое, капризное, с широко открытыми глазами.

Евстигней откашлялся и сказал:

— Так что — проходя мимо... Мы здешние, с заводу...

— Что вам? — спросила женщина громче и тревожнее. — Кто такой?.. Что нужно?

— Я с заводу, — повторил Евстигней, осклабяясь. — Проходя мимо...

— Ну, что же? — переспросила она, уже несколько тише и спокойнее. — Идите, любезный, с богом.

— Это вы — на фортупьяне? — набрался смелости Евстигней. — Очень, значит, — того... Я... проходя мимо...

Женщина пристально смотрела, с тревожным любопытством разглядывая огромную, всклокоченную фигуру, как смотрят на интересное, но противное насекомое. Потом у нее дрогнули губы, улыбнулись глаза, запрыгал подбородок и вдруг, откинув голову, она залилась звонким, неудержимым хохотом. Евстигней смотрел на нее, мигая растеряннo и тупо, и неожиданно захохотал сам, радуясь неизвестно чему. От смеха заушал и насторожился мрак. Было сыро и холодно.

Она перестала смеяться, все еще вздрагивая губами, перестал смеяться и Евстигней, не сводя глаз с ее тонкой, тонкой фигуры. Женщина поправила волосы и сказала:

— Так, как же... Проходя мимо?

— То есть, — Евстигней развел руками, — я, значит, — шел... Слышу это...

— Ступай, любезный, — сказала женщина. — Ночью нельзя шлаться...

Евстигней замолчал и переступил с ноги на ногу. Окно захлопнулось. Он постоял еще немного, разглядыв-

вая большой новый дом «француза» Ивана Ивановича, и пошел спать, а дорогой видел светлые комнаты, освещенную траву, и думал, что лучше всего будет, если он испортит татарину его новый жестяной чайник. Потом вспомнил музыку и остановился: показалось, что где-то далеко, в самой глубине леса — поет и звенит. Он прислушался, но все было темно, сыро и тихо. Слабо шурша, падали шишки, вздыхая, шумел лес.

V

Следующий день был воскресный. Когда наступало воскресенье или еще что-нибудь, Евстигней надевал сапоги, вместо лаптей, шел в село и напивался. Пьяному ему всегда было сперва ужасно приятно и весело, жизнь казалась легкой и молодцеватой, а потом делалось грустно, тошнило и хотелось или спать, или драться.

Жар спадал, но воздух был еще ярок, душен и зноен. С утра Евстигней успел побывать везде: в церкви, откуда, потолкавшись минут десять среди поддевок, плисовых штанов и красных бабьих платков, вышел, задремавший и оглушенный ладаном, у забойщиков с соседнего прииска, где шла игра в короли и шестьдесят шесть, и, наконец, в лавке, где долго разглядывал товары, купив, неизвестно зачем, фунт засохших, крашенных пряников. Скука одолевала его. Послonyaвшись еще по улицам и запыхав добела свои тяжелые подкованные сапоги, Евстигней пошел в трактир, лениво переругиваясь по дороге с девками и заводскими парнями, сидевшими на лавочках. Он был уже достаточно пьян, но держался еще бодро и уверенно, стараясь равномерно ступать свинцовыми, непослушными ногами. Рубаха его промокла до нитки горячим клейким потом и липла к спине, раздражая тело. Пот катился и по лицу, горящему, красному, мешаясь с грязью. Добравшись до трактира, Евстигней облегченно вздохнул и отворил дверь.

Здесь было сумрачно, пахло пивом и кислой капустой. У стен за маленькими, грязными столами сидели посетители, пили, ели, целовались, стучали и быстрыми, возбужденными голосами разговаривали непрерывно, не слушая друг друга. Сизый туман колебался вверху, касаясь голов сидящих неясными зыбкими очертаниями. В углу хором, нестройно и пьяно пели «Ермака».

Евстигней остановился посредине помещения, поворачивая голову и тоскливо блуждая глазами. Сам он плохо понимал, чего ему хочется — не то сесть на пол и не двигаться, не то разговаривать, не то выпить еще так, чтобы все зашаталось и завертелось вокруг, одевая последние крохи сознания тяжелым, черным угаром. Низенький мужик в новом картузе стоял перед ним и, беспрестанно потягивая козырек, что-то говорил, сгибаясь от смеха.

— Как он—на яво!..— прыгали в ушах громкие, икающие слова, обращенные, по-видимому, к нему, Евстигнейю.— Ты, грит, сына свою куда девал? Снохач ты! А он-то, милая душа, без портов. Трусится... Ты сякая, ты такая... Не-ет! Стой! По какому праву? Где в законе указание есть?

— Го-го! — гоготал Евстигней.— Без портов? На что лучше.

— Как он—на... яво, то-ись! Пшел, хрен! Ха-ха-ха! Вот ведь что антиресно!

Низенький мужик в картузе куда-то исчез, а в стороне послышались слова: «Как он—на яво... Вот ведь!»

Черный квадратный столик, за который уселся Евстигней, был пуст. Он потребовал водки, соленых грибов, налил в пузатый граненый стаканчик и выпил. Вино обожгло грудь, захватило дыхание. Как будто стало светлее. Он налил еще и еще, медленно вытер усы и устался в стену тяжелым, бессильным взглядом.

Кто-то сел рядом — один, другой. Евстигней что-то спрашивал, рассудительно и толково, но не зная что; ему отвечали и хлопали его по плечу. Принесли еще водки, и все качалось кругом и вздрагивало, темное, мерзкое. Вспыхнул огонь. Трактир суживался, растягивался, и тогда Евстигнейю казалось, что лица сидящих перед ним где-то далеко мелькают и прыгают желтыми бледными кругами, а на кругах блестят точки-глаза. Потом стали кричать, икая и ласково переругиваясь скверной бранью, и опять Евстигней не знал, что кричат и зачем ругаются, хотя ругался сам и смеялся, когда смеялись другие. И от смеха становилось еще горче, тошнее, и все тянулось изнутри его мутными, зелеными волнами.

Крик и шум усиливался, рос, бил в голову, звенел в ушах. Пели громко, нестройно, пьяно, и все пело вокруг, плясали стены; потолок то падал вниз, то уходил вверх, и тогда качалась земля. Вдруг Евстигней приподнялся,

подпер голову кулаками и с трудом огляделся вокруг. Потом открыл рот и начал кричать долгим пронзительным криком:

— У-ы-ы! У-ы-ы! У-ы-ы!

Кто-то тряс его за плечо, кто-то сказал:

— Нажрался, сопля.

— А ты — татарская морда! — заявил Евстигней, смотря в угол. — Я нажрался... а ты, гололобый арбуз, м-мать твою растак!.. — И вдруг прилив бешеной тоскливой злобы вошел в него и растерзал душу. Он встал, покачнулся и наотмашь ударил в сторону. Хрястнуло что-то мягкое, кто-то ахнул и злобно вскрикнул, чем-то тяжелым ударили сзади, и больно заныл череп. Кто-то бил его, он бил кого-то, потом земля ушла из-под ног, и тело, ноющее от ударов, поднялось и пошло, бессильное, тяжелое. Кто-то тащил его, и он кого-то тащил, упираясь и захлебываясь криком и руганью. Потом хлопнула дверь, стало сыро, темно и холодно. Ветер пахнул в лицо; застучали колеса. Евстигней медленно поднялся и тихо, шатаясь и держась за голову, пошел прочь.

VI

На воздухе дышалось легче, и хмельной угар понемногу выходил, но все еще было смутно и тяжело. Сперва ноги ступали в мягкой пыли, холодной от свежести вечера, потом зашумела трава, и густая сырость заклубилась вокруг. Жалобно пели комары, навстречу шли кусты, черные, строгие, как тишина. Евстигней все шел, изредка спотыкался, останавливался и затем снова устремлялся вперед, икая и размахивая руками. Ему было немного жутко, казалось, что вот вдруг растает земля, мрак повиснет над пропастью, и он, Евстигней, упадет туда в холодную, черную бездну, и никто, никто не услышит его крика. Иногда дерево вставало перед ним, невидимое; он обнимал его, ругался и опять двигался, кряхтя, медленным, черепашьям шагом. Ему казалось, что он забыл что-то и должен отыскать непременно сейчас, иначе придет татарин и зарежет его или прибежит низенький мужик в картузе, расскажет про снохача и ударит. Беспокойно оглядываясь вокруг, он шел в темноте и бормотал:

— С-с ножом? Я-те дам нож! Махан проклятый!

Иногда чудилось, что кто-то бежит в кустах, невидимый, мохнатый, грозный и дышит теплым, сырým паром. Евстигней вздрагивал, торопливо вытягивал руки, останавливался, слушая смутный, далекий шорох, и снова двигался, с трудом, неловкими, пьяными движениями продирая кусты. Когда же впереди блеснул огонек и расступился лес — он удивился и прислушался: ему показалось, что где-то поет и переливается тонкий, протяжный звон. Но все молчало. Лес ронял шишки, гудел и думал.

Теперь были освещены два окна, а третье, откуда вчера Евстигней вежливо предложили уйти — тонуло в мраке и казалось пустым, черным местом. В окнах сверкала мебель, картины, висящие на стенах, и светлые, пестрые обои. Евстигней подумал, постоял немного, и, как вчера, тихими, крадущимися шагами перешел от опушки к палисаду. Сердце ударило тяжело, звонко, и от этого зазвенела тишина, готовая крикнуть. Окно загадочно чернело, открытое настежь, а в глубине его тянулась узкая, слабая полоска света из дверей, притворенных в соседнюю комнату.

Он стоял долго, облокотившись о палисад, решительно ничего не думая, сплевывая спиртную горечь, и ему было скучно и жутко. Где-то в лесу поплыли слабые отзвуки голосов и, едва родившись, умерли. Вдруг Евстигней вздрогнул и восторженно вскрикнул: прямо из окна крикнули сердитым, раздраженным голосом:

— Кто там?!

— Эт-то я,— опомнившись, так же громко сказал Евстигней пьяными, непослушными губами.— Потому, к-как, я всеконечно пьян и не в состоянии... Предоставьте, значит, тово... Проходя мимо.

Он прислушался, грузно дыша и чувствуя, как нечто тяжелое, полное дрожи, растет внутри, готовое залить слабый отблеск хмельной мысли угаром слепой, холодной ярости. Секунды две таилось молчание, но казалось оно долгим, как ночь. И вслед за этим в глубине комнаты крикнул дрожащий от испуга женский голос; тоскливое, острое раздражение слышалось в нем:

— Коля! Да что же это такое? Тут бог знает кто шляется по ночам! Коля!

Дверь в соседнюю, блестящую полоской света комнату распахнулась. Из мрака выступили мебель, стены и неясная, тонкая фигура женщины. Евстигней крикнул, быстро на-

гнулся и выпрямился. Кирпич был в его руке. Он размахнулся, с силой откинувшись назад, и стекла с звоном и дребезгом брызнули во все стороны.

— Стерва! — взревел Евстигней. — Стерва! Мать твою в душу, в кости, в тряпки, в надгробное рыданье, в гробовую плиту растак, перетак!

Лес ожил и ответил: «Гау-гау-гау!»

— Стервы! — крикнул еще раз Евстигней и вдруг, согнувшись, пустился бежать. Деревья мчались ему навстречу, цепкая трава хватала за ноги, кусты плотными рядами вставали впереди. А когда совсем уже не стало сил бежать и подкосились, задрожав, ноги — сел, потом лег на холодную, мшистую траву и часто, быстро задыхал, широко раскрывая рот.

— Стерва, сукина дочь! — сказал он, прислушиваясь к своему хриплому, задыхающемуся голосу. И в этом ругательстве вылилась вся злоба его, Евстигней, против светлых, чистых комнат, музыки, красивых женщин и вообще — всего, чего у него никогда не было, нет и не будет.

Потом он уснул — пьяный и обессиленный, а когда проснулся, — было еще рано. Тело ныло и скулило от вчерашних побоев и ночного холода. Красная заря блестела в зеленую, росистую чащу. Струился пар, густой, розовый.

— Фортупьяны, — сказал Евстигней, зевая. — Вот те и фортупьяны! Стекла-то,ставишь, небось...

Стукнул дятел. Перекликались птицы. Становилось теплее. Евстигней поднялся, разминая очоленевшие члены, и пошел туда, откуда пришел: к саже, огню и устали. Его страшно томила жажда. Хотелось опохмелиться и выругаться.

ГОСТЬ

I

Я пришел по делу к товарищу и застал его читающим свежий номер революционного журнала «Красный Петух». Он сидел перед столом, грыз ногти, обдумывая кипучую аргументацию автора передовой статьи, направленной против социал-демократов, и был так погружен в это занятие, что не заметил моего прихода. Я хлопнул его по плечу, он вскочил, уронил очки и сейчас же успокоился.

— Чего вы ходите, как кошка?! Смотрите, что пишут мерзавцы социал-демократы! Идиоты! Туполобые марксисты! Антиколлективистические черепа! Вороны! Кукушки!

Он, вероятно, еще долго бы ругался, огорченный поведением друзей из марксистского лагеря, если бы я кротко не заметил разгоряченному и вспотевшему человеку:

— Не стоит волноваться, Ганс. Бросьте их.

— Вы думаете? Ведь что возмутительно...

— Ганс, как быть с забастовкой? Нужно собраться еще раз. Дело в том, что социал-демократы не желают бастовать одновременно с нами! А это может внести раскол. Если мы назначим завтра — они забастуют послезавтра; если решим бастовать послезавтра — они бросят работу завтра. Все это с целью представить нас партией, не имеющей реальной силы. Очень интересно!..

Ганс вытянул на столе свои мускулистые, волосатые руки и сморщился. Потом, откладывая в сторону «Красного Петуха», сказал:

— Я же говорил, что они мерзавцы! В № 00 «Искры», страница пятая...

— Отложите на время «Искру». Что сейчас делать, а?

— Что делать? А... знаете, мы соберемся и... вот, все это обсудим.. Но, ведь, еще Каутский в «Аграрном воп...»

— Ганс?!

— А? Да... Но, видите ли, я не могу равнодушно... Третий том «Капитала»...

— Слушайте, ведь это же из рук вон! Я уйду, или давайте говорить о деле!..

В комнате было сумрачно и прохладно, а в окна глядел июль, жаркий, пыльный, грохочущий. Я ожесточенно доказывал, что нужно устроить собрание комитета сейчас же, немедленно, что мы не можем идти «в хвосте» и т. д. Ганс слушал и утвердительно кивал головой. Когда я кончил и перевел дух, он подвинул к себе пепельницу и, стряхивая папироску, сказал:

— Да-а... Между прочим: последняя статья в «Фабричном Гудке»... Читали вы? Проклятые социал-демократы пишут...

Я не успел рассердиться, так как за дверью раздались тяжелые, мерные шаги и незнакомый голос спросил:

— Позвольте войти?

Болван Ганс, вечный книжный червь Ганс сказал: — «Войдите!» — раньше, чем я успел спрятать злополучного «Красного Петуха». Он так и остался лежать на столе, в раскрытой книге, и на обложке его крупными буквами было напечатано черным по белому: «Красный Петух»...

Что ж? Пусть входят чужие и смотрят, как повергаются в прах основные законы конспирации. Если Ганс желает когда-нибудь попасть впросак таким образом,— его дело.

Когда отворилась дверь и тихо, конфузливо улыбаясь, вошел молодой полицейский офицер,—я быстро развернул альбом с photographиями и, глядя на усатое лицо какого-то господина, успел сказать:

— Что за пикантная женщина!

— Здравствуйте, г-н Гребин...— быстро, мельком оглядываясь, заговорил посетитель.— Собственно говоря, я вас побеспокоить пришел насчет маленького дельца...

Он нерешительно, неловким движением протянул руку, как бы опасаясь, что она повиснет в воздухе. Ганс густо покраснел и, растерявшись, пожал ее. В мою сторону полисмен ограничился чрезвычайно учтивым поклоном и продолжал:

— Видите ли — суть эта самая, так сказать, — такая... г-н пристав просят вас пожаловать к нему сегодня. Вот повесточка... Будьте так добры — расписаться.

— Садитесь, чего же вы стоите? — процедил Ганс.

Небрежно, стараясь казаться беззаботным и непринужденным, он подвинул стул, и полицейский со словами: «Благодарствую, воспользуюсь вашей любезностью», — боком присел к столу. Раскрытая книга с номером «Красного Петуха» лежала перед его глазами. Я стиснул зубы, мысленно обливая Ганса ушатом отборной брани, и стал разглядывать посетителя.

У него было худое, продолговатое лицо, рыжеватые усики, часто мигающие светлые глаза и белые, коротко остриженные волосы. Одной рукой он механически дергал португую шашки, выпячивая грудь, другой уперся в колено и застыл так, рассеянно оглядывая стол. Через мгновение глаза его остановились на развернутой книге, метнулись и замерли, прикованные крупным, ясным заглавием журнала.

Взволнованный Ганс ожесточенно ткнул пером в повестку и прорвал бумагу.

— Леший! — вскричал он, — перо не годится. Не пишет. Дайте-ка ваш карандашик... Есть у вас?

Он повернулся ко мне и, пока я вынимал из записной книжки карандаш, полицейский смущенно перебегал взглядом с затылка Ганса на обложку журнала. Потом медленно, осторожно закрыл книгу и вытянул ноги, рассматривая потолок комнаты.

— Карандашиком, знаете, неудобно... — виновато протянул гость. — Уж будьте добры — чернильцами...

— Не искать же мне сейчас перьев, — недоумевающе буркнул Ганс. — Да и не знаю, где они. Как же быть?

— А вы... того... — оживился полицейский, улыбаясь и взглядывая на меня, — карандашик в чернильца обмакните и таким манером распишитесь...

— А ведь в самом деле! — рассмеялся Ганс. Затем он спросил:

— Зачем меня просят в участок?

— А... так, пустяковина. Насчет подписки о невыезде.

— А-а... ну, вот-с, получите...

Полицейский встал.

— Так до свидания, — сказал он, надевая фуражку. — Будьте благополучны...

— Вам того же...

Он вышел, тихо притворив дверь.

— Вот дубина! — сказал Ганс, подмигивая мне и весело потирая руки, — ведь тут около него лежал номер «Красного Петуха»! Вы взяли его? Я думаю, что он не заметил, а?

II

На другой день началась забастовка. Я проснулся рано, с смутным предчувствием наступающих событий, но ни тревога, охватившая меня в первую же минуту пробуждения, ни сознание важности момента не могли уничтожить яркого, солнечного блеска и зеленого шума старых лип, смотревших в окно. Наскоро, обжигаясь, я выпил чай и вышел, охваченный жутью тревожной атмосферы.

Улицы, залитые светом, были пусты и тихи: лавки и магазины закрыты. Кое-где мелькали бледные, озабоченные лица блузников. С грохотом и звоном проскакала казачья сотня в белых, запыленных рубахах; прошел тяжелый, медленный взвод городских. В отдалении стонали гудки бастующих фабрик и заводов.

Путь мой лежал через городской сад. И здесь, как на улицах, было пусто. Оживленно щебетали птицы; пробежал мальчик, размахивая газетами, прошел сторож с лейкой. Вдруг, впереди, за крутым поворотом тенистой аллеи раздались крики, топот, и на площадку выскочил молодой бледный рабочий, без шапки, в синей, разорванной блузе, с окровавленным, вспотевшим лицом. Он, задыхаясь, бежал к кустам крупными, изнемогающими шагами. Голубые, отупелые от страха глаза беспомощно метались вокруг.

В двух шагах от него, размахивая обнаженной шашкой и заливаясь трелью полицейского свистка, бежал мой вчерашний знакомец, весь красный от злобы и напряжения. Он, видимо, нагонял рабочего. Еще далее, нелепо размахивая локтями и отставая, топали тяжелыми сапожищами двое городских.

Я посторонился. Рабочий, без сомнения, изнемогал. Пробежав еще несколько шагов, он вдруг остановился, прижимая руки к груди, шатаясь и выпучив глаза. В тот же момент полицейский подскочил к нему, размахнулся и наотмашь ударил кулаком в шею.

— Беги, сукин сын, беги! — зашипел он, замахиваясь шашкой.

Бедняга ткнулся в кусты и механически, полусознательно отбежал вперед. Потом судорожно вздохнул и, собрав последние силы, пустился бежать, что есть мочи, к выходу. Полицейский, обессиленный, крупными, быстрыми шагами шел следом, свистел и кричал протяжным, усталым голосом:

— Держи-и-и! Держи-и-и!..

Подоспели городовые. Предводитель остановился, вынимая носовой платок.

— Убежал, собака! — сказал он, снимая фуражку и вытирая вспотевшую голову.

КАРАНТИН

I

Сад ослепительно сверкал, осыпанный весь, с корней до вершушек, прозрачным благоуханным снегом. Зеленое озеро нежной, молодой травы стояло внизу, пронизанное горячим блеском, пламеневшим в голубой вышине. Свет этот, подобно дождевому ливню, катился сверху, заливая прозрачный, яблочный снег, падая на его кудрявые очертания, как золотистый шелк на тело красавицы. Розоватые, белые лепестки, не выдерживая горячей, золотой тяжести, медленно отделяясь от чашечек, плыли вниз, грациозно кружась в хрустальной зыби воздуха. Они падали и реяли, как мотыльки, бесшумно пестря белыми точками нежную, тихую траву.

Воздух, хмельной, жаркий и чистый, нежился, греясь в лучах. Яблони и черемухи стояли как завороженные, задремав под гнетом белого, девственного цвета. Мохнатые, бархатные шмели гудели певучим баском, осаждая душистую крепость. Суетливые пчелы сверкали пыльными брюшками, роясь в траве, и, вдруг сорвавшись, быстрой, черной точкой таяли в голубизне воздуха. Надсаживаясь, звонко и хрипло кричали воробьи, скрытые темной зеленью рябин.

Маленький сад кипел, как горный ключ, дробящийся червонным золотом в уступах гранита, и отражение этого веселого торжества сеткой теней и светлых пятен перебегало в лице Сергея, лежавшего под деревом в позе смертельно раненного человека. Руки и ноги его раскинулись как можно шире и свободнее, темные волосы мешались с тра-

вой, глаза смотрели вверх и, когда он закрывал их, свет проникал в ресницы красноватым сумраком, трогая веки. Сладкое бездумье, полное ленивой рассеянности, входило сквозь каждую пору кожи, нежа и расслабляя. Ни одна определенная, беспокойная мысль не гвоздилась в голове, и хотелось лежать так долго, спокойно, пока красный закат не встанет за черными углами крыш и не сделается темно, сыро и холодно.

Трудно было сказать, где кончается его тело и начинается земля. Самому себе он казался зеленью трав, пустивших глубоко белые нити корней в пьяную, рыхлую землю. Корни эти, извиваясь, убегали в самую толщу ее, в сырой и тесный мрак подземного царства червей, жучков и кривых, коричнево-розовых корней старых деревьев, пьющих весеннюю влагу. Растаяв, соединившись с зеленью и желтым светом, Сергей блаженно рассмеялся, крепко, сосредоточенно зажмурился и вдруг сразу открыл глаза. Прямо в них упала голубая зыбь, жаркая и светлая, а в нее, опрокинувшись, тянулись зеленые, трепетные листья.

Он повернулся на бок и стал смотреть в дремучую, таинственную чащу мелкого хвороста, бурых, прошлогодних листьев и разного растительного сора. Там кипела озабоченная суета. Продолговатые, черные жуки, похожие на соборных певчих, без дела слонялись во все стороны, то ропливо спотыкаясь и падая. Муравьи, затянутые в рюмочку, что-то тащили, бросали и вновь тащили, двигаясь задом. Закружилась и села бабочка. Сергей деловито нахмурился и вытянул пальцы, целясь к белым, медленно мигающим крыльям.

— Ах, вы! Пшш! Маленький!..

Всхлопнули руки, и зашумела трава. Сергей поднял брови и оглянулся.

— Чего вы, Дуня? Где маленький?

— Бабочку вашу спугнула! — объяснила девушка, и в ее нежном лбу и линиях губ дрогнули смеющиеся складки. — Ищу вас, а вы — вон он где... Маленький-то — это вы, должно быть, Сергей Иванович... Делать-то вам больше нечего.

— Ну, ладно! — хмуро улыбнулся Сергей. — Что ж такое... Поймал бы и отпустил, ибо сказано: «всякое дыхание да хвалит господа...»

Дуня потянулась, ухватила рукой за черный кривой сук и подняла вверх свое тонкое, правильное лицо, одетое

легким, румяным загаром. И в ее черных, спрашивающих глазах отразилось колыхание света, ветра и зелени.

— А вы думали — нет? Ясное дело, что хвалит,— протянула она.— Жарко. Я вам там письмо на столе положила, почтальон был.

— Неужели? — почему-то спросил Сергей.

Он встал, неохотно и сладко потягиваясь. Тонкая, цветная фигура девушки стояла перед ним, и согнутый сук дрожал и осыпался над ее головой мелким белым цветом. Там, откуда он приехал, не было таких женщин, наивных в естественной простоте движений, недалеких и сильных, как земля. Сергей опустил глаза на ее мягкую круглую грудь и тотчас же отвел их. Откуда это письмо?

Смутное, колющее чувство, странно похожее на зубную боль, заныло в нем, и сразу тоскливая, серая тень легла на краски зеленого дня. Каменный город взглянул прямо в лицо тысячами слепых, стеклянных глаз и пестрым гулом ударил в уши. Дуня улыбнулась, и он улыбнулся ей, машинально, углом губ. Раздражая, чирикали воробьи. Девушка отпустила сук, и он зашумел, устремившись вверх.

— Сегодня покатаюсь,— весело сообщила она.— Я, да еще Липа Горшкова, да столяриха, да еще канцелярщик один, Митрий Иванович... Запоем на всю ивановскую. Гребля только плоха у нас — некому. Кабы не это — далеко бы забрались!..

— Великолепно,— задумчиво сказал Сергей.— Кататься — хорошее дело...

— А...

Дуня слегка открыла рот, собираясь еще что-то сказать, но только положила руки на голову и вопросительно улыбнулась.

— Что — «а»? — подхватил Сергей.

— Вы, небось, ведь не захотите... А то вместех бы... Митрий Ваньч сыграет что... Новая гармонь у него, к весне купил. Трехрядка, басистая... Уж так ли играет — прямо вздохнешь...

Неприятное чувство тревоги наскоро заменилось мыслью, что письмо ведь может быть незначительным и несколько не страшным. Но идти в комнату медлилось и хотелось разговаривать.

— Ваша любезность, Дуня,— поклонился Сергей,— равняется вашему росту. Но...

Девушка смешливо фыркнула. Задорно блеснули зубы; на смуглых щеках проступили и скрылись ямочки.

— Но,— продолжал Сергей,— никак не могу. К моему величайшему сожалению... Буду писать письма, то да се... Так что спасибо вам за приглашение и вместе с тем — извините.

— Да ведь что ж, как знает! Я только насчет гребли... Наши-то кавалеры бессовестно обленились... Вози их, чертей эдаких!..

Она сердито улыбнулась, и ее хорошенькое лицо сделалось натянутым и неловким.

«А не поехать ли в самом деле? — подумал Сергей.— Что ж такое? Будут визжать, брызгаться водой, петь и щипаться. «Митрий Ваныч» разведет свою музыку. Еще стеснишь ведь, пожалуй. Нет, уж...»

Но тут же он увидел лодку, девушку, сидящую рядом, и мысленно ощутил близость ее стройного, дразнящего тела.

«Нет, как-то неудобно»,— сказал он себе еще раз и с тоской вспомнил письмо. И вместе с этим угасло желание чего-то бездумного и молодого.

— Пойти! — обронила Дуня.— Самовар поставить да мясо искрошить...

Девушка повернулась и удалилась быстрой, плавной походкой. В проломе старого, серого плетня, заменявшем садовую калитку, она обернулась и скрылась. Через минуту из белого, бревенчатого домика вылетел ее звонкий крик, раздались шлепки и отчаянный детский плач.

II

Сергей поднялся на крыльцо и ступил в сумеречную прохладу сеней. У дверей его комнаты, низеньких и обшмыганных, заслонив их своим телом, Дуня, согнувшись, удерживала за руки пятилетнюю сестренку Саньку, упорно желавшую сесть на пол. Ребенок пронзительно кричал, дергая во все стороны босыми, грязными ножками; платье его сплошь пестрело свежей, мокрой грязью. Заметив Сергея, Санька сразу утихла, всхлипывая и враждебно рассматривая фигуру «дяди» вспухшими, красными глазами. Дуня посторонилась, подымая напряженное, вспотевшее лицо.

— Гляньте, гляньте, что делает! Ишь ведь, ишь! Мука ты моя мученическая! Сладу никакого с ей нет... Просто наказание божеское!..

Торопливо подоткнув сбившуюся юбку, она мельком взглянула на Сергея и снова принялась возиться с Санькой, заголосившей еще громче и отчаяннее. Юноша отворил дверь и прошел в комнату.

После влажной, весенней жары и пестрого блеска глаза приятно отдыхали, встречая стены, и легче было дышать. Белая занавеска, колыхаясь, закрывала окно; сквозь ее узорчатую сеть смутно виднелась освещенная, пыльная дорога улицы и маленькие домики с кирпичными низами, в серых, похожих на шляпы крышах. Кое-где пестренькие, дешевые обои скрывались яркими олеографиями под стеклом, в черных, узких рамах. На зеленом ободранном сукне раскрытого ломберного стола лежали книги, привезенные Сергеем, и стоял письменный прибор, пестрый от чернильных пятен. Четыре желтых крашеных стула торчали вокруг стола и коричневого комода, а на полу тянулась запачканная холщевая дорожка.

Письмо синело на столе, в широком конверте. Сергей взял его и некоторое время с тревожным чувством досадливого нетерпения разглядывал резкий, безразличный почерк адреса. Старое желание выяснить себе и другим результат этих двух месяцев добровольного изгнания снова вспыхнуло и оборвалось чувством смутной, колеблющейся боязни. Слегка взволнованный, как будто простой, синий конверт донес и бросил ему в лицо старые, огненные мысли, забытые в городе, разбив несложную гамму весенних дней,— Сергей разорвал письмо и вынул тонкий, хрустящий листик. Нетерпеливо скомкав глазами неизбежный обывательский текст, маску настоящего смысла, он зажег свечку в медном, позеленевшем подсвечнике и поднес бумагу к огню, нагревая чистую, незаписанную сторону. Она коробилась, желтела и ломалась, но упорно молчала, как человек, не желающий поведать тайну, вверенную ему. И только тогда, когда пальцы Сергея зажали от огня и он хотел уже убрать их,— на бумаге выступили коричневые точки. Они ползли, загибались и, прежде чем последняя буква облеклась в плоть и кровь, Сергей уже знал, что завтра придет кто-то имеющий отношение к его судьбе, а потом надо будет уехать и умереть.

Сначала он прочитал ровные, твердые буквы совершенно равнодушно, машинально отмечая их мыслью и собирая в слова. Когда же они кончились и остановились во всей грозной наготе своего значения, он весь подобрался и стиснул зубы, готовый отразить грядущий удар. Только теперь совершенно ясно и определенно Сергей понял, что этого не будет и не могло быть. Там, где оглушенный, пылающий мозг дает обещания и падает грань между жизнью и смертью в тяжелом угаре судорожной борьбы, там есть своя правда и логика. А там, где хочется жить, где хочется есть, пить, целовать жизнь, подбирая, как драгоценные камни, малейшие ее крохи, там, быть может, нет ни правды, ни логики, но есть солнце, тело и радость.

В углу, где корбились порванные обои, показались далекая мостовая, люди, фонари, вывески. Толпятся лошади, экипажи. Кто-то едет... Кто-то бледный, с липким холодным потом на лице и грозой в сердце подымает руку, и все хохочет вокруг гремящим, страшным смехом и рушится...

Воробьи трещали за окном жадными, назойливыми глотками. Громыхали скачущие телеги, стучал топор. Далекий город встал перед глазами, окруженный лесом труб и стадами вагонов. Он шумно, тяжело дышал и смеялся в лицо Сергею звонким, металлическим смехом, весь пропитанный мрачным, фанатическим налетом горения мысли.

Там, в центре кипучей, бешеной лихорадки нервов, огромный механизм жизненных сплетений неустанно ковал в сотнях и тысячах сердец волны чувств и настроений, окружая Сергея немой, загадочной силой порыва. Но как тогда измученный дух рвался к расплате с палачами жизни, так теперь было понятно и просто, что умирать он не собирался, не хотел и не мог хотеть.

Он никогда не забывал о яркой, лицевой стороне жизни, и жадность к ней росла по мере того, как отъедалось и отдыхало его обессиленное, издерганное тело, полное сильной, горячей крови. Шли дни — он жил. Вставало солнце — он умывался и улыбался солнцу. Дышал свежим, пьяным воздухом, пьянел сам, и все казалось веселым и пьяным. Земля обнажалась перед ним день за днем, пахучая, сильная, и зеленела. Тяжелело и росло тело, полное смутных желаний.

Было просто и хорошо, и хотелось, чтобы всегда было так: ясно, хорошо и просто.

Друзья и знакомые или те, кого он считал друзьями и знакомыми — походили теперь на маленьких, смешных и крикливых воробьев. Жизнь пела вокруг них, красивая, трепетная, а они шумели и прыгали, стараясь перекричать жизнь. Рядом с этой картиной сверкнули бледные, измученные, издерганные лица, голодные глаза, вечно голодные мозги, вечно окаменевшие в муках сердца. Теперь он уже ясно видел полчища голов, горы книг и скупые, неуютные квартиры, похожие на лица старых девушек. Ставил прошлое на шаткие, слабые ноги и смотрел. Краски стерлись, погасли тона, но контуры те же, резкие и угловатые. Кровью, своей и чужой, вписаны они. Только образы женщин и девушек, ясные и светлые, смягчали фон, как цветы — иконостас храма. Так строки великого поэта, взятые эпиграфом к труду ученого, оставляют свой душистый след в кованых, тяжелых страницах...

И ревность к своей вере, неутомимая, гневная, тяжело дышит, готовая обрушиться всем арсеналом отточенной, жалящей и ранящей аргументации. А дальше, в углах, скрытых мраком, ползают гады и гудит тоскливый плач, сливая в одном потоке слезы бессилия, вздохи раба, тупую, скотскую злобу и детское, кровавое непонимание...

Сергею вдруг стало тяжело, противно и жалко. Взволнованный, слушая торопливый, таинственный шепот крови — он стоял и все еще не решался давно уже и бессознательно готовым решением порвать бег мысли. И, наконец, подумал то, что таилось внутри, быть может, там, где крепкое, цветущее тело возмущенно отвергало холод смерти. Коротенькая, в три слова была эта мысль: — «Ни-за-что!»

И хотя после этого стало спокойнее и беззаботнее, все же было досадно на себя и чего-то жаль. Досадно потому, что и он, как многие, оказался способным создавать мысленно красивые, смелые дела. В периоды острых, нервных подъёмов воображаемого подвига так приятно умирать героем и вместе с тем радоваться, что ты жив.

За окном по-прежнему, неугомонно и настойчиво кричали воробьи, и в крике их слышалось:

— Здесь есть один воробей — я! Чир-рик!..

Сергей вздохнул, открыл глаза и поднялся со стула. Потом усмехнулся, сладко зажмурился, зевнул и, спохватившись, быстро сжег письмо. Оно вспыхнуло и упало легким серым пеплом. Затем повернулся на каблуке, снял со стены старенькое одноствольное ружьецо и вышел из комнаты.

У ворот он встретился с черными спрашивающими глазами Дуни. Она сидела на лавочке, подогнув ноги, и ловко, быстро лущила семечки. Черные, с блеском, волосы ее были заплетены в тугую, длинную косу и украшены желтым бантом, а розовое лицо на фоне серого, дряхлого забора казалось цветком, припиленным к сюртуку лавочника.

— На охоту, Сергей Иванович? — спросила она, сплевывая шелуху. — Вот уж Митьки Спиридонова-то нет. Уж он бы вас в такие ли места свел! Сам ходил, бывало, — весь птицей обвешан, страсть что полевал!..

— Здорово! — сказал Сергей, разглядывая пестрый ситец Дуниной кофточки, плотно обтянувший тонкое, круглое плечо. — А где же он?

— Далеко — отселе не видать! — рассмеялась девушка. — В солдатах, в Костроме.

— Здорово! — повторил Сергей и улыбнулся. Отчего-то стало смешно, что Митя Спиридонов ушел в солдаты и, остриженный, скрученный дисциплиной по рукам и ногам, делает разные вольты.

— А вы, Дуня, пойдемте со мной! — пошутил он. — С вами вдвоем, я думаю, мы много настроаем.

— Чего ж я? — хладнокровно сказала Дуня и, помолчав, добавила: — Да и нельзя. Тетка звала подомовничать. Ребята у ней сорванцы, того гляди — дом сожгут... Выдумали тоже!

— А кататься ведь поедете?

— Так ведь то кататься, а не по болоту, юбки задрав, кочкарник месить! — с живостью возразила девушка. — Какой вы, Сергей Иванович, смешной, право!

И она весело, со смехом блеснула ровными, белыми зубами. Сергей стоял, улыбаясь ее веселью, здоровью и солнцу, бросавшему жаркие тени в углы заборов, поросшие густой, темно-зеленой крапивой.

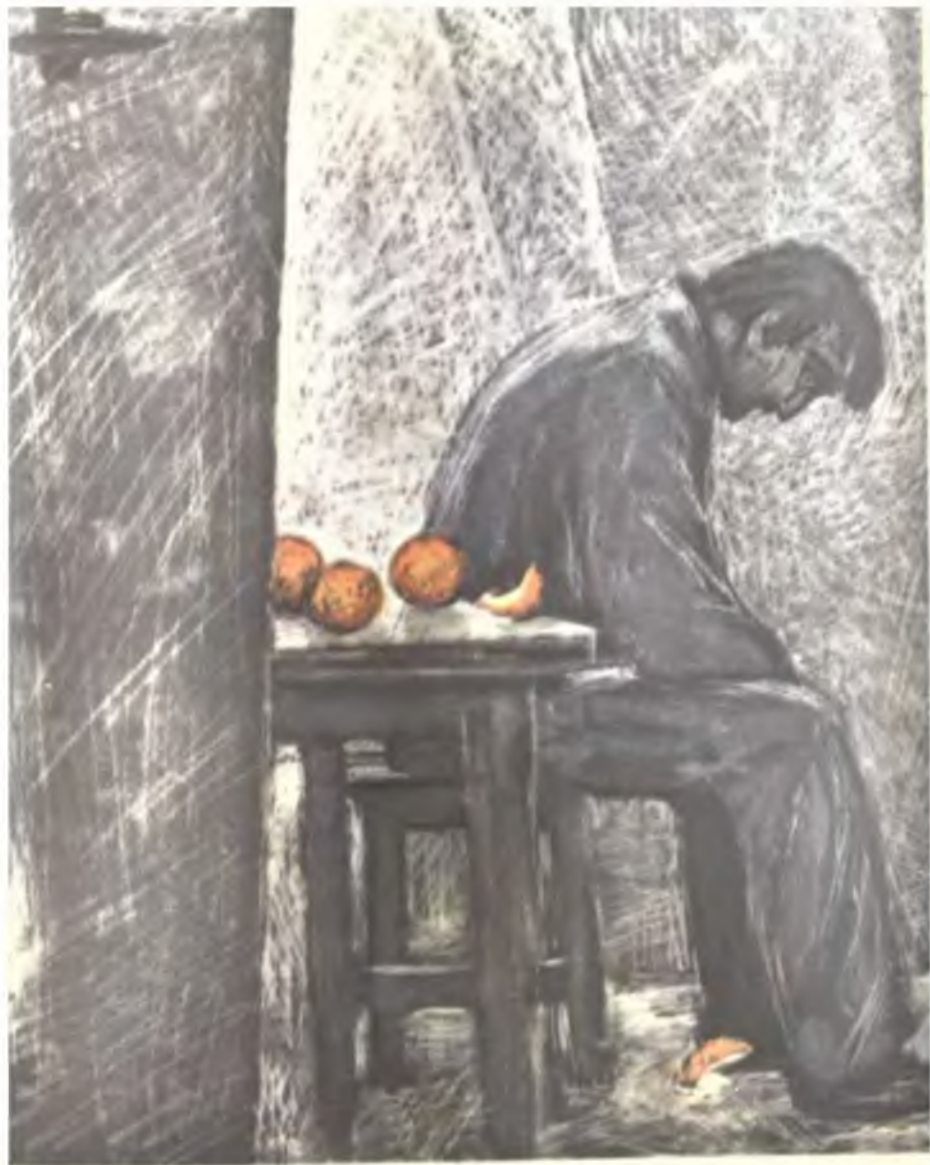
— Ну, до свидания!

— Обедать-то придете?

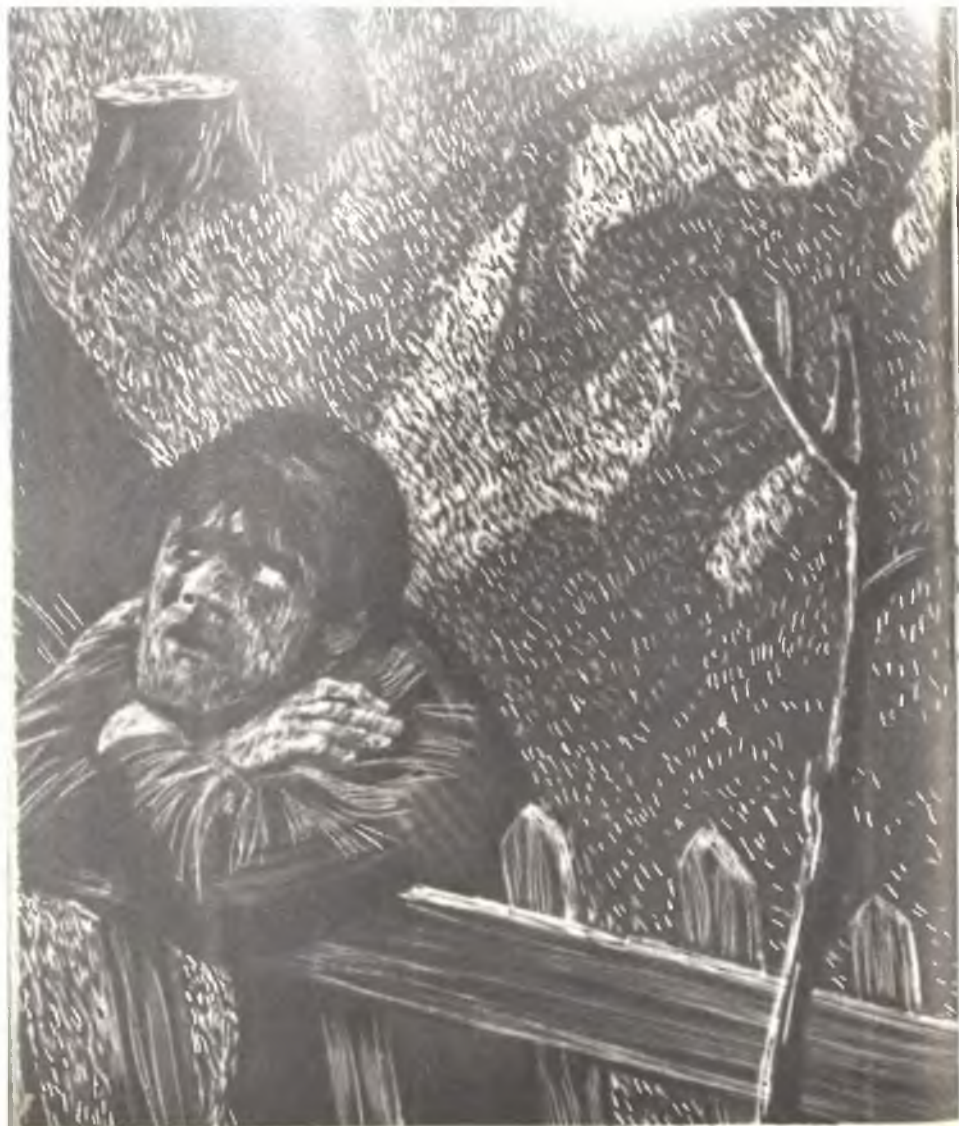
— Не знаю... Вы оставьте мне что-нибудь, — если не приду.

Он медленно пошел, вздымая тяжелыми сапогами густую, стоячую пыль дороги и чувствуя за спиной пристальный женский взгляд. Обернуться ему не хотелось.

— Чепуха какая! — с улыбкой зевнул он, завертывая за угол и направляясь к реке.



«АПЕЛЬСИНЫ»



«КИРПИЧ И МУЗЫКА»

Сергей ушел далеко, верст за семь, и шатался долго, до одурения. Переходя волнистый, зеленый луг, неровно изрезанный тенистыми зигзагами речки, окаймленной кудрявыми купами ивняка, он вспомнил апрель. Тогда здесь было еще сыро, холодно и неудобно. Нога противно чмокала в жидкой, размокшей почве, залепленной блеклой, прошлогодней травой и сгнившими прутьями. Талый снег гнезвился в ямках, предательски закрывая лужи и рывины, в холодную воду которых неожиданно проступали озябшие ноги. Солнце тускло блестело, скрытое испарениями. Ивняк стоял голый, ободранный, нелепо кривя сучья. Речка еще спала, и лед ее, в черных преющих берегах вздувался грязно-белым горбом, истыканный сетью звериных и птичьих следов. У обрывов, там, где скупно блестели грязные лужицы весенней воды, уныло качались ранние кулики и, завидев человека, с пугливым свистом летели дальше.

Теперь природа казалась женщиной, нарядной, умывшейся после долгой, хмельной ночи. Льющийся звон стоял в траве, сплетаясь дикой, монотонной мелодией с криками птиц. Зеленая и синяя краски рябили в глазах, пестрея лилово-розовым узором цветов. Воздух обливал разгоряченное лицо то сухью жары, то нежными, прохладными волнами.

Далеко-далеко, за сизой полосой леса пронесся слабый, жалобный свисток паровоза, и снова огромный, тысячеглазый город взмахнул перед глазами Сергея закопченными железными крыльями. Но теперь видение потеряло свою остроту и быстро отлетело в прозрачную, хрустальную даль. Меж цветов, кочек, густо поросших красноголовым кукушкиным мхом, кустами шиповника и малины, оно казалось безжизненным и бледным, как давно виденный сон. Здесь ему не было места. Кудрявый щавель и лаковая зелень брусники взяли Сергея под свою защиту. Он поправил ремень дробовика и хитро, молодо улыбнулся кому-то притаившемуся в глубине кустов.

Прыгали желтенькие трясогузки, кокетливо покачивая длинными прямыми хвостиками. Где-то лениво дергал коростель. Жажда томила Сергея, и он, нырнув в затрепавшие кусты, спустился по крутому, осыпчатому берегу к мел-

кой струистой речке. У берега вода стояла тихо, пронизанная осокой и водорослями, на дне блестела крупная галька. Наклонившись и промочив колени, Сергей увидел в сумрачном зеркале воды голубое, светлое небо, ушедшее куда-то вниз, далеко под берег, свое темное лицо, спутанные волосы и жилы, вздувшиеся на лбу. Напившись, он еще раз, немного разочарованный, посмотрел на себя. В лице водяного двойника, мужественном, красивом, не было и следа борьбы. Оно глядело спокойно, беспечно, устало и слегка, по обыкновению — насмешливо.

Он вытер платком мокрые губы, надел фуражку и, лениво хватаясь за траву, взобрался наверх, чувствуя, как вязкое, нудное беспокойство ходит с ним, преследуя, держит, не спуская с него глаз и отравляя воздух своим дыханием. Оно было похоже на чужой надоедливый груз, который, однако, нельзя бросить, не дотащив до известного места. Вся досада и недоумение выражались в сознании неизбежности завтрашнего дня. А вместе с тем казалось оскорбительным, что люди, которых он в тайниках души всегда почему-то считал стоящими ниже себя, теперь станут, быть может, и даже наверное, презирать его и сострадательно смеяться над ним, хотя он и теперь несколько не хуже их. Но всего досаднее то, что они, люди эти, как будто получали право отнестись к нему так или иначе. И — что уж совсем являлось смешным и нелепым, а в действительности как будто так и выходило — что право это давал он.

Эта вспугнутая мысль тревожно билась и ерзала некоторое время, вздымая целый ворох грязного белья, накопленного в душе. За ней двинулись другие, лениво вспыхивая и сучая, враждебные зеленой, тысячеглазой жизни, напиравшей со всех сторон. Сррые и однообразные, давно и сотни раз передуманные, стертые, как старые монеты, они назойливо толклись, неуклюжие и заспанные. Обрывки их, складываясь в слова о свободе, героизме и произволе, ползали, как безногие, жалкие калеки.

Смеркалось, а он все ходил, перебирая четки прошлого, пока не захотелось пойти домой. Мыслям его нужны были стены. Там, свободные от воздуха и усталости, прямые и голые, давно знакомые и надоевшие друг другу, они могли текуще звучать до завтра, пока между ним и ними не упадет широкое лезвие незримого топора и не сделает его, Сергея, открыто самим собой.

Когда он подходил к околице городка, было уже темно, грустно и сонно. В дворах глухо мычали коровы, прыгали сердитые женские голоса. Где-то кричали пьяные. Светились окна. Натруженные ноги горели, словно обваренные кипятком. Хотелось есть, потом лечь и сладко отдохнуть. Сергей нажал брякнувшую калитку и вошел во двор.

Окон не было видно в темноте, и он сначала решил, что все уже спят. Но, подымаясь на заскрипевшее крыльцо, услышал в черноте дремлющего, парного воздуха сдержанные звуки разговора и женский смехок. Сергей прислушался. Мужской голос, довольный и вместе с тем мечтательный, медленно плыл в глубине садика:

— Вот видите — вы и не в состоянии этого постигнуть... А это, ей-богу — бывает... Вроде как просияние. И это объяснено даже во многих философических книгах.

— Вот уж я бы на этакое не согласна, — быстро заявил женский, Дунин, голос. — Вы подумайте! Червями весь прокипишь... Стой, как дурак, целую жисть. А вдруг все даром пропадет?

— Как дурак? — обиженно возразил мужчина. — Это вы совсем напротив. Наоборот — душа особый дар приобретает и все ей известно... Например... Забыл вот только, как его звали... один старец стоял на столбе тридцать лет и три месяца. И до того, представьте себе, дошел, что звериный и скотский образ мыслей понимать стал!

— Вот стой, — продолжала девушка, и плохо скрытый смех дрожал в ее грудном, певучем голосе, — стой так-то; все богу молись да молись, все о божественном думай да думай, голодай да холодай — а вдруг в мыслях что согрешишь — и поминай как звали все твои заслуги. Не очень приятно.

И, помолчав, добавила:

— Нет уж. Я, например, хоть в аду кипеть буду, так все равно. Вы думаете — там скучно, в аду-то? А я думаю, что все народ очень веселый. И вас, к одному уж, захватить. Митрий Ваныч!! Ха-ха!

Сергей стоял на крыльце, прислушиваясь, и улыбался. Ему хотелось пойти в сад, вести мирный, дурашливый разговор, не видя глаз и лиц, и дышать теплым, сонным мраком. Но идти не решался, а в душе было смутное, вер-

ное чувство, что с его приходом разговор оборвется, и всем станет вдруг неловко и скучно.

— Я, Дунечка,— сладко, поучительным тоном возразил Дмитрий Иванович,— хотя и готов, конечно, проследовать за вами даже на край света, до самых отдаленных берегов Тавриды, но душу свою, извините, в смоле кипятить не желаю, хе-хе... Как это вы так говорите — ровно у вас огромное беремя грехов!

Прозвенели несвязные, отрывистые переборы гармонии.

— Я — большая грешница,— смеясь заявила девушка.— Ух! Мне никакого спасения нет. Я все грешу. Вот вы божественное говорите, а мне смешно. Сажу вот с вами тут — чего ради? Тоже грех.

— Если бы вы... — вздохнул Дмитрий Иванович,— знали те мои чувства... которыми...

— Отстаньте, пожалуйста. И никаких у вас чувств нет... Сыграйте лучше что ненабудь.

— О жестокая... гм... сирена! Для вас — навсегда и что угодно! Что прикажете? Хороший есть вальс, вчера выучил — мексиканский.

— Н-нет,— протянула задумчиво девушка.— Вы уж лучше тот... «Душистую зелень».

Несколько секунд стояла тишина, и вдруг сильно и певуче заговорила гармоника. Бойкие пальцы игрока быстро переливали грустные, звонкие трели, рывками басами и дрожали густыми, протяжными вздохами. Трепет ночи и теплый мрак дробились и звенели мягкими, округленными тактами, и звуки вальса не казались ни пошлыми, ни чуждыми захоластью жизни. Понграв минут пять, Дмитрий Иванович бурно прогудел басами и умолк.

— Очень хорошо! — сказала, помолчав, девушка.— Научите меня, Митрий Ваньч, вальсы плясать!

— Почту себя счастливым услужить вам,— галантно ответил кавалер.— Это, между прочим, самый пустяк... Ну, как ваш жилец-то?

— Что ж жилец? — неохотно протянула Дуня.— Ничего... живет.

— Фигура заметная,— продолжал Дмитрий Иванович.— И большой гордец... На грош амуниции, а на целковый амбиции. Третьего дня встретился я тут с ним как-то... ну известно — разговор, то да се... Так нет — «до свиданья».

ния,— говорит,— мне некогда»... А между тем, как это говорится — человек интеллигентный...

— Вы-то уж хороши! — недовольно возразила девушка. Он даже очень вежливый и совсем простой. С Санькой вон вчера возился, как маленький.

— Ну да,— обидчиво заметил уязвленный Дмитрий Иванович,— это для вас он, конечно, возможно, что и вполне хороший... как он у вас живет два месяца... конечно...

— Вы — пожалуйста! — задорно перебила Дуня.— Не выражайтесь! Живет и живет — что ж тут такое?..

Воцарилось натянутое молчание, и затем гармоника обиженно заголосила пеструю, прыгающую польку. Сергей самодовольно улыбнулся и, пройдя сени, отворил дверь своей комнаты. В лицо пахнула душная, черная пустота. Нашарив спички, он зажег лампу, с жадностью съел холодный обед, разделся и, усталый, сладко потягиваясь на кровати, закурил папиросу. Усталость и сонливость делали теперь для него совершенно безразличным — приедет ли кто-нибудь завтра или нет; просто хотелось спать.

Погасив лампу и повертываясь на бок, он расширил глаза, стараясь представить себе, что мрак — это смерть и что он, Сергей, бросил бомбу и умер. Но ничего не выходило, и самое слово «смерть» казалось пустым, ничего не значащим звуком.

И, совсем уже засыпая, увидел крепкое, стройное тело девушки. Может быть, это была Дуня, может быть — кто другой. От нее струилось волнующее, трепетное тепло крови. И всю ночь ему снились легкие, упругие руки женщин.

V

Когда — после, спустя много времени — Сергей вспоминал все, что произошло между ним и товарищем, приехавшим на другой день для окончательных переговоров, ему всегда казалось, что все это вышло «как-то не так» и что тут произошла какая-то ошибка. Какая — он сам не мог определить. Но несомненным было одно: что причина этой ошибки лежит не в нем — Сергее, и не в товарище Валерьяне, а там — за пределами доступного ясному и подробному анализу. Как будто обоим стало тяжело друг перед другом не за свое личное отноше-

ние к себе и людям, а за то огромное и слепое, имя которому — Жизнь и которое ревниво охраняло каждого из них от простого и спокойного понимания чужой души. Сознать это было тяжело и неприятно еще потому, что и в будущем могло повториться то же самое и снова оставить в душе след больной тяжести и бьющей тоски.

Сергей не знал, что придет именно Валерьян. Когда на другой день утром вертлявый, смуглый и крикливый революционер шумно ворвался в комнату и начал тискать и целовать его, еще сонного и подавленного предстоящим, — Сергей сразу почувствовал, что объяснение будет тяжелое и злое. Столько было уверенности в себе и в своем знании людей в резких, порывистых движениях маленького кипучего человека, что в первое мгновение показалось невозможным сознательно отступить там, где давно было принято ясно и твердо выраженное решение. А потом сразу поднялось холодное, твердое упрямство отчаяния и стало свободнее двигаться и легче дышать.

И вместе с этим кислое, нудное чувство отяготило душу, зевая и морщась, как заспанный кот. Все казалось удивительно пресным, бестолковым, совершенно потерявшим смысл. Пока Сергей умывался и одевался, рассеянно и невпопад подавая реплики, Валерьян суетился, присаживался, вскакивал и все говорил, говорил без умолку, смеясь и взвизгивая, — о «текущем моменте», освобожденцах и эсдеках, «Революционной России» и «Искре», полемике и агитации, — говорил быстро, пронзительно, без конца.

Черный, кудластый и горбоносый, в пенсне, закрывающем выпуклые близорукие глаза, стремительный и взбуряженный, он казался комком нервов, наскоро втиснутым в тщедушное, жилистое тело. Ерзая на стуле, ежеминутно вскидывая пенсне, хватая Сергея за руки и пуговицы, он быстро-быстро, заливаясь детским самодовольным смехом, сыпал нервные, резкие фразы. Даже его одежда, умышленно пестрая, южной полуприказчицей складки, резко заслоняла обычную для Сергея гамму впечатлений и, казалось, принесла с собой все отзвуки и волнения далеких городских центров. Сергея он знал давно и относился к нему всегда с чувством торопливой и деловой снисходительности.

Когда, наконец, Сергей убрался и вышел с товарищем в сад, где смеющееся солнце золотилось и искрилось в зе-

лени, как дорогое вино, и оглушительно кричали воробы, и благоухал пушистый снег яблонь, он почувствовал, что тревога и раздражение сменяются в нем приливом утренней бодрости и выжидательного равнодушия ко всему, что скажет и сделает Валерьян. А вместе с тем понимал, что с первых же слов о деле станет больно и тяжело.

Они сели на траве, в том месте, где густая рябина закрывала угол плетня, примкнувший к старому сараю. Слегка передохнув и рассеянно вскидывая вокруг близоруками глазами, Валерьян начал первый:

— А вы ведь меня не ждали, дядя, а? Ну — рассказывайте — как, что, — иное и прочее? Все хорошо? А? Ну, как же?

— Да вот... — Сергей принужденно улыбнулся. — Как видите. Приехал я, и поселился, и живу... как видите — в благорастворении воздухов...

— Да! Да?! А? Ну?

— Ну, что же... ем, толстею... пища здесь дешевая. Я здорово отъелся после сидения. Можно сказать — воскрес. Вы ведь видели, какой я тогда вышел — вроде лимона...

— Вроде выжатого лимона, ха-ха! Ну, а это, как его — вы чистый здесь? Слежка есть, а?

— Тише вы... — Сергей оглянулся. — Слежки нет, конечно, какая же здесь может быть. Приехал я... Я сперва думал объявиться ищущим занятий, но потом отбросил эту мысль, потому что это даже не город, а скорее слобода.

— Да, да!.. Ну?

— Ну — так вот... поселился здесь — просто под видом больного на отдыхе. И прекрасно. Знакомств никаких не заводил, да и не с кем... Да и не нужно...

— Да, да, да!.. И знаете ли, что вы, дяденька, — еще счастливейший из счастливых!.. Другие, — он понизил голос, — перед актом держали карантин по пять, по шесть, по девять месяцев! Ничего не поделаете! Нужно! Нужно, понимаете ли, человеку очиститься так, чтобы ни синь-пороха, ни одного корня нельзя было выдрать... А я ведь, знаете, откровенно говоря, сомневался, что у вас хватит выдержки сидеть в этой... ха-ха! — келье под елью. Вы того, человек живой. Хм...

Он уронил пенсне, подхватил его, оседлал нос и таинственно спросил:

— А кто ваши хозяева? А?

— Глава семейства и владелец этого домишки,— кузнец, здесь в депо. Человек смирный и, как говорится,— богобоязненный. По вечерам, когда придет с работы, долго и шумно вздыхая, пьет чай, по воскресеньям напивается вдребезги и говорит какие-то кроткие, умиленные слова. Плачет и в чем-то кается... А вот жена у него — целый базар: рябая, толстая, сырая, и глотка у нее медная. С утра до вечера ругает весь белый свет. Есть у них еще две дочки: одна — крошка и плакса, а старшая — ничего себе...

Маленький человек слушал, одобрительно хохотал и хлопал Сергея по плечу, вскидывая пенсне.

— Ну, ну? Да? — повторял он беспрестанно, думая в то же время о чем-то другом. И когда Сергей кончил, Валерьян как-то совсем особенно, растроганно и грустно взглянул ему в глаза.

— Ну, так как? — тихо сказал он. — Когда же выезжать вам, как думаете, а?

И как бы опасаясь, что слишком скоро и неделикатно задел острый вопрос, быстро переспросил:

— Скучно было здесь, да?

Кольцо, схватившее горло Сергею, медленно разжалось, и он, стараясь быть равнодушно-твердым, сказал:

— Н-нет... не очень... Я охотился, читал... Страшно люблю природу.

— Природа, да... — рассеянно подхватил Валерьян, и сосредоточенное напряжение легло в мускулах его желтого смуглого лица. — Ну... это — приготовились вы?

Он понизил голос и в упор смотрел на Сергея задумчивым, меряющим взглядом. Сразу почему-то слиняло все забавное в его манерах и фигуре. Он продолжал, как бы рассуждая с самим собой:

— Я думаю — вам пора бы, пожалуй, двинуться... Штучку я привез с собой. Она в комодке у вас. Слушайте. — осторожнее, смотрите!.. Если ее не бросать об пол и не играть в кегли — можете смело с ней хоть на Камчатку ехать. Вот первое. Затем — деньги. Сколько их у вас?..

Вопрос повис в воздухе и, замерев, все еще звучал в ушах Сергея. Стало мучительно стыдно и жалко себя за всю ложь этого разговора, с начала до конца бесцельную, убого прикрывшуюся беспечностью и спокойствием товари-

щеской беседы. Он глупо усмехнулся, деланно просвистал сквозь зубы и сказал тонким блуждающим голосом:

— Валерьян! Ужасно скверно... То, что вы ведь в сущности... совсем напрасно, то есть... я хочу сказать... Видите ли — я.. раздумал. Только...

С тяжелым, мерзким чувством Сергей повернул голову. В упор на него взглянули близорукие, черные, растерянно мигающие глаза. Валерьян криво усмехнулся и, подняв брови, вопросительно поправил пенсне. В его тонкой желтой шее что-то вздрагивало, подымаясь и опускаясь, как от усилий проглотить твердую пищу. Он сказал только:

— Как?! Да подите вы!..

Звук его голоса, странно чужой и сухой, делал излишними всякие объяснения. Он сидел, плотно закусив нижнюю губу, и тер ладонью вспотевший, выпуклый лоб. И весь, еще минуту назад уверенный, нервный, он казался теперь усталым и жалким.

— Валерьян! — сказал, помолчав, Сергей. — Во всяком случае... Валерьян — вы слышите?

Но, пристально взглянув на него, он с удивлением заметил, что Валерьян плачет. Крупные, неудержимые слезы быстро скатывались по смуглым щекам из часто мигающих, близоруких глаз, а в углах губ сквозила нервная судорога усмешки. И так было тяжело видеть взрослого, закаленного человека растерявшимся и жалким, что Сергей в первую минуту опешил и не нашелся.

— Слушайте, ну что же это такое? — беспомощно заговорил он после короткого, тупого молчания. — Зачем, ну, зачем это?

— Ах, оставьте! Оставьте! Ну, оставьте же! — раздраженно взвизгнул Валерьян, чувствуя, что Сергей трогает его за плечо. — Оставьте, пожалуйста...

Но тут же, быстрым усилием воли подавил мгновенное волнение и вытер глаза. Затем вскочил, укрепил пенсне и заторопился неровным, стихшим голосом:

— Мы с вами вот что: пойдете-ка! Слышите? Нам нужно с вами побеседовать! Куда пойти, а? Вы знаете? Или просто — пойдете в поле! Просто в поле, самое лучшее...

Они вышли во двор, жаркий после прохлады садика; зеленый, в белой кайме бревенчатых строений. На крыльце стояла Дуня, в ситцевом, затрапезном платье и Гла-

которые он высказал сейчас Валерьяну — были тоже его, настоящие мысли, но они мало имели отношения к тому, чего он хотел сейчас. Вместо всего этого сложного лабиринта мелких разочарований, остывшего увлечения и недовольства людьми — просился на язык властный, неудержимый голос молодой крови: — «Я хочу не умирать, а жить; вот и все».

— Удивительное дело, — сказал Валерьян, повыше скидывая пенсне и с любопытством рассматривая разгоревшееся лицо товарища. Вы рассуждаете, как женщина. — В вас, знаете, сидит какая-то декадентщина... Не начитались ли вы Макса Штирнера, а? Или, ха... ха!.. — Ницше? Нет? Ну, оставим это. Деньги-то у вас есть?

— Нет, Валерьян, не то, — снова заговорил Сергей, сердясь на себя, что хочет и не может сказать того простого и настоящего, что есть и будет в нем, как и во всяком другом человеке. — Вы знаете — я вышел из тюрьмы издерганный, нервно-расстроенный, злой... Я был, как пьяный... Впечатления подавляли, — и вот — созрел мой план... Нервы реагировали болезненно быстро... Но — я уже сказал вам: быть героем я не могу, а винтиком в машине — не желаю...

— Нет! — рассмеялся Валерьян, — вы мне еще ничего не сказали!.. А? Конечно, — вам, как и всякому другому — хочется жить, но при чем тут бронзовые статуэтки? Какие-то обличения? И зачем вы... Ах, ах! Я ведь, в вас, знаете — ни секунды не сомневался!..

Он недоумевающе поднял брови и замедил шаг. Поле дышало зноем, городок пестрел в отдалении серыми, красными и зелеными крышами.

— Вы надоели центральному комитету! Вы всем уши прожужжали об этом! Вы чуть ли не со слезами на глазах просили и кланчили... Ведь были же другие? Эх вы! Все скачки, прыжки... Впрочем, теперь что же... Но — хоть бы вы отсюда написали, что ли? А?

Сергей молчал. Раздражение подымалось и росло в нем.

— Во-первых, я не ожидал, что так скоро... — жестко сказал он... — А теперь — я вам сказал... Там уж как хотите.

— Ну, ну... Что же вы теперь намерены?

— Не знаю... Да это неважно.

— Д-да... пожалуй, что так... Дело ваше.. Ну, ладно. Так прощайте!

— Куда же вы?— удивился Сергей.

— А туда!— Валерьян махнул рукой в сторону, где, далеко за рощей, краснело кирпичное здание станции.— На поезд я поспею, багаж сдан на хранение... Ну, желаю вам.

Он крепко пожал Сергею руку и пристально взглянул на него сквозь выпуклые стекла пенсне черными, быстрыми глазами.

— Да!— встрепенулся он,— я ее оставил там у вас, в комнате. Она мне теперь не нужна... Вы ее бросьте куда-нибудь, в лес хоть, что ли, где-нибудь в глушь...

— Хорошо,— грустно сказал Сергей. Ему было жаль Валерьяна и хотелось сказать что-то теплое и трогательное, но не было слов, а была тревога и отчужденность.

Маленький, черный человек быстро шел к станции, размахивая руками. Сергей долго смотрел ему вслед, пока худая, низенькая фигурка совсем не превратилась в черную, ползущую точку. Через мгновение ему показалось, что Валерьян обернулся, и он быстро махнул платком, смотря в зеленую пустоту. Ответа не было.

Черная точка еще раз приподнялась, переходя пригорок, и скрылась. Солнце беспощадно палило сухим, желтым светом, и зелень молодой травы сверкала и нежилась в нем. Вдали дрожал и переливался воздух, волнуя очертания тонких, как линейки нотной бумаги, изгородей. За рощей вспыхнул белый, клубчатый дымок и тревожно крикнул паровоз.

Идя домой, Сергей вспоминал все сказанное Валерьяну. И жаль было прошлого неясной, смутной печалью.

VI

Ходить взад и вперед по маленькой комнате, задевая за угол стола и медленно поворачиваясь у желтенькой, низенькой двери, становилось скучно и утомительно. При каждом повороте Сергей прислушивался к упругому скрипу сапожного носка и снова шел, механически отмечая стук шагов. Думать, расхаживая, было удобнее.

Он привык к этому еще в тюремной камере, которую чем-то, должно быть, своим размером, странно напоминала его комната.

Волнение давно улеглось, и осталось чувство, похожее на чувство человека, посетившего дневной спектакль: вечерний свет, музыка, игра артистов... Несколько часов он видит и слышит прибранный, поэтический уголок жизни... А потом белый, назойливый день снова царит и грохочет, и снова хочется обманного, золотистого вечернего света.

Плоские, самодовольные обои пестрели вокруг нама-
леванными, грязными цветочками. Ветер вздувал занавеску, и она слабо шуршала на столе, шевеля клочки бумаги и обгрызанный карандаш. Заглавия книг кидались в глаза, вызывая скуку и отвращение. Серьезные, холодные и нестерпимо надоевшие, они рождали представление о монотонной жизни фабричного мира, бесчисленных рядах цифр, пеньке, сахаре, железе; о всем том, что бывает, и чего не должно быть.

День гас, убегая от городка плавными гигантскими шагами, и следом за ним стлалась грустная тень. Где-то размеренно и сочно застучал топор; перебивая его, быстро заговорил молоток, и два стука, тяжелый и легкий, долго бегали один за другим в затихшем воздухе. Сергей сладко, судорожно зевнул, хрустнул пальцами и остановился против стола.

Между книгами и письменным прибором лежала небольшая, металлическая коробка, формой и тускло-серым цветом скорее напоминавшая мыльницу, чем снаряд. Было что-то смешное и вместе с тем трагическое в ее отвергнутой, ненужной опасности, и казалось, что она может отомстить за себя, отомстить вдруг, неожиданно и ужасно.

Он вспомнил теперь, что, войдя в комнату, сразу ощутил в ней присутствие постороннего, почти живого существа. Существо это лукаво глядело на него и щупало взглядом, безглазое, — сквозь стенки комода, покорное и грозное, как вспыхивавший раб, готовый выйти из повиновения. Теперь оно лежало на столе, и Сергей смотрел на квадратную стальную коробку с жутким, любопытным чувством, как смотрят на зверя, беснующегося за толстыми прутьями клетки. Хотелось знать, что может выйти, если взять эту скучную с виду вещь и бросить об стену. Острый, тре-

вожный холод пробежал в нем при этой мысли, зазвенело в ушах, а домик, в котором он жил, показался выстроенным из бумаги.

Сумерки вошли в комнату неслышными, серыми тенями. Скука томила Сергея и нетерпеливым зудом тревожила тело. Стараясь прогнать ее, он вспомнил грядущий простор жизни, свою молодость и блеск весеннего дня. Но темного густела за окном, и скованная ею мысль бессильно трепетала в объятиях нудной, тоскливой неуверенности. От этого росло раздражение и робкая тихая задумчивость. И вдруг, сначала медленно, а затем быстро и яснее зародилась и прозвенела в мозгу старинная мелодия детской, наивной песенки:

...Да-ца-арь, ца-арь, ца-арев сын,
Наступи ты ей на но-жку-да ца-арь, ца-арь,
Ца-арев сын,
Ты прижми ее к сердеч-ку, да-ца-арь, ца-арь,
Ца-арев сын...

Слабое воспоминание детства колыхнулось как смутный, древний сон и резко заслонилось черной, прыгающей спиной Валерьяна. Она таяла, удаляясь. Сергей стиснул зубы и тупо уставился в стену. И стена, одетая сумраком, смотрела на него, молча и сонно.

«У меня дурное настроение,— подумал он.— Это приходит так же, как и уходит. Оно пройдет. Тогда станет опять весело и интересно жить. В самом деле — чего мне бояться?»

— Сергей — чего тебе бояться? — сказал он вполголоса.

Но мозг не давал ответа и не зажигал мысли, а только грузно и медленно перекачивал камни прошлого. Там были всякие: большие и маленькие, темные и светлые. Темные — сырые и скользкие, торопливо падали на старое место, и больно было снова тревожить их.

Он будет жить. Каждый день видеть небо и пустоту воздуха. Крыши, сизый дым, животных. Каждый день есть, пить, целовать женщин. Дышать, двигаться, говорить и думать. Засыпать с мыслью о завтрашнем дне. Другой, а не он, придет в назначенное место и, поблуднев от жути, бросит такую же серую, холодную коробку, похожую на мыльницу. Бросит и умрет. А он — нет; он будет

жить и услышит о смерти этого, другого человека, и то, что будут говорить о его смерти.

За стеной пили чай, кто-то ворочался на стуле и тяжело скрипел. Бряцали блюда, смутный гул разговора назойливо лез в уши. В сенях хлопнула дверь, и затем в комнату тихо постучали.

— Что там? — встряхнулся, вздрогнув, Сергей.

За дверью женский голос спросил:

— Лампу зажечь вам?

— Зажгите, Дуня. Войдите же!

Девушка, не торопясь, вошла и остановилась темной, живой тенью. Сергей несколько оживился, точно звуки молодого, звонкого голоса освобождали душу от когтей вялого беспредметного уныния.

— Ничего-то ровнешенько не вижу, — сказала Дуня, шаря в темноте. — Где лампа?

— Без керосина совсем, вот здесь — нате!

Он подал ей, осторожно двигаясь, дешевую лампу в чугунной подставке, и пальцы его коснулись тонких, теплых пальцев Дуни.

— Я заправлю, — сказала она. — Сию минуту.

— Ничего, я подожду... Слушайте, Дуня: ну как — катались вчера?

— Ничего мы не катались, — досадливо протянула девушка. — Лодок-то не было. Все, как есть, поразобрали, такая уж досада... А своя еще конопатчика просит... Я сию минуту...

Она бесшумно скользнула в мрак сеней, хлопнув дверью. Сергей заходил по комнате, насвистывая старинную песенку о царе — цареve сыне и видел горячую, курчавую головку мальчика, сонно шевелящего пухлыми губками. Он ли это был? Как странно. Но уже становилось веселее и тверже на душе, захотелось уютного света, чаю, интересной книги. То, что думает Валерьян, принадлежит ему и таким, как он; то, что думает Сергей, принадлежит Сергею. В этом вся штука. Не нужно поддаваться впечатлениям.

Далекий призрак каменного города пронесся еще раз слабым, оторванным пятном и растаял, спугнутый шагами прохожих. Шаги эти, тяжелые и неровные, смутно раздались под окном и замерли, встревожив тишину.

Вошла Дуня, и желтый свет прыгнул в комнату, обнажив стены и мебель, закрытые тьмой. Стало спокойно и весело. Девушка поставила лампу на комод и слегка прикрутила огонь.

— Вот так,— сказала она.— Что вы?

— Я ничего не сказал,— улыбнулся Сергей, подымаясь со стула. Заложив руки в карманы брюк, он остановился против Дуни.

— Так-то,— сказал он.— Ну — как вы?

Ему хотелось говорить, шутить и казаться таким, каким его считали всегда: ласковым, внимательным и простым. Никаких усилий это ему никогда не стоило, а сознавать свои качества было приятно и давало уверенность.

Девушка стояла у дверей в ленивой, непринужденной позе, касаясь косяка волосами устало откинутой головы. Сергей смотрел на ее крепкое, стройное тело с завистливым чувством больного, наблюдающего уличную жизнь из окна скучной, бесцветной палаты.

— Что подельывали сегодня? — спросил он, заглядывая в ее темные, смущающиеся глаза.

— Вот спать скоро пойду! — рассмеялась девушка и зевнула, закрыв рот быстрым движением руки.— Уж так ли я устала — все суставчики болят.

— Разве ходили куда?

— Ходила... В лес за шишками.— Дуня снова протяжно зевнула и потянулась ленивым, томным движением.— За шишками еловыми для самовара... Целый мешок приволокла...

«Красивая... — подумал Сергей.— Выйдет за какого-нибудь портного или лавочника. Будет шить, стряпать, нянчить, много спать, жиреть и браниться, как Глафира».

— А вы, небось — опять, поди, за книжку сядете? — быстро спросила Дуня.— Хоть бы мне когда какой-нибудь роман достали... Ужась как люблю, которые интересные... А Пушкина бы вот, — тоже!..

— Дуня-я-а! Ле-ша-ай! — закричала в сенях Глафира привычно сердитым голосом.— К Саньке ступай!..

— А ну тебя! — тихо сказала девушка, прислушиваясь и смотря на Сергея.— Сейчас! — крикнула она громким, озабоченным голосом и, шумно распахнув дверь, быст-

рым, цветным пятном скрылась из комнаты. После ее ухода в тишине слышался еще некоторое время шелест ситцевой юбки, а в воздухе, у дверного косяка, блестела розовая улыбка.

И вдруг, как это бывает на улице, когда какой-нибудь прохожий пристально посмотрит сзади, и человек безотчетно оборачивается, чувствуя этот взгляд,— Сергей неожиданно, вспомнив что-то, повернулся к столу. Маленький металлический предмет, похожий на мыльницу, безглазый, тускло смотрел на него серым отблеском граней. Собравший в своих стальных стенках плоды столетий мысли и бессонных ночей, огненный клубок еще не родившихся молний, с доверчивым видом ребенка и ядовитым телом гремучей змеи,— он светился молчаливым, гневным укором, как взгляд отвергнутой женщины. Сергей пристально глядел на него, и казалось, что два врага, подстерегая и затаив дыхание, собирают силы. И человек усмехнулся с чувством злорадного торжества.

— Ты бессильна,— тихо и насмешливо сказал он.— Ты можешь таить в себе ужасную, слепую силу разрушения... В тебе, быть может, спрессован гнев десятка поколений. Какое мне дело? Ты будешь молчать, пока я этого хочу... Вот — я возьму тебя... Возьму так же легко и спокойно, как поднимают репу... Где-нибудь в лесу, где гложет человеческий голос, ты можешь рывкнуть и раздробить сухие, гнилые пни... Но ты не сорвешь мою кожу, не спалишь глаза, не раздавишь череп, как разбивают стекло... Ты не обуглишь меня и не сделаешь из моего тела красное месиво...

Он взял ее, тяжелую, гладкую и холодную. Потом достал полотенце, тщательно и осторожно укутал в него ряд, надел шапку, положил в карман клубок бечевы, погасил лампу и вышел из комнаты.

VIII

Ночь торжествовала и ширилась, полная тишины и слабых, замирающих звуков. Звезды ярко жгли черное пространство. Земля терялась в мраке, и ноги ступали ощупью в сырой, невидимой траве. Дул ровный, спокойный ветер, изредка замирая, и тогда дышало теплом. Холмики и канавы прятались, медленно выступая темными, уснувшими

очертаниями. На горизонте, как далекий пожар, краснел узор месячной полосы.

Шаг за шагом, осторожно подвигаясь вперед, стараясь не запнуться, Сергей обходил кочки и рытвины. Черные, молчаливые кусты шли навстречу неровными, густыми рядами и когда он встречал их — медленно открывали узкие, извилистые проходы, полные лиственного, сырого шороха. Казалось, что они спали днем, ослепленные светом, а теперь проснулись и думают таинственную, старинную думу. Трава подымалась гуще и выше, и ноги ступали в ней с мягким, влажным хрустом. Когда Сергей раздвигал руками кусты, ветви их упорно и быстро выпрямлялись, стегая его в лицо холодными, мокрыми листьями.

Он шел, и казалось ему, что он спит и во сне движется вперед с тяжелым, жутким металлом за пазухой, стерегушим каждый его шаг, каждое сотрясение тела, готовым украсть и разомчать его, одинокого, затерянного, в сонной равнине, полной тайны и безмолвия. Бывшее раньше — вставало теперь длинным, бесконечным сном, и все вокруг — ночь, мрак, сырость и кусты — казалось продолжением этого, одного и того же, вечного, то яркого, то смутного сна.

Ночь шла, бесшумно двигаясь в вышине, и он шел, напряженный, слушающий. Казалось ему, что смерти нет и что он, Сергей, всегда будет жить и чувствовать себя, свое тело, свои мысли. Будет всходить и заходить солнце, леса сгниют и обратятся в прах; исчезнут звери, птицы; одряхлеют, рассыплются горы; моря уйдут в недра земли, а он никогда не умрет и вечно будет видеть голубое небо, золото солнца и слушать ночной мрак...

В стороне затрещало, всхлопнуло, и тонкий писк невидимой птицы сонной жалобой скользнул в кусты. Мрак впереди поднялся черной, зубчатой пастью и задышал холодком. Это близился лес; огромное уснувшее тело его печально гудело и шепталось вершинами. Еще несколько шагов, и деревья потянулись вперед слабо различимыми очертаниями, открывая ряды черных, таинственных коридоров. Кусты отступили, сомкнувшись за спиной.

Сергей вошел под хвойные, нависшие своды. Хворост трещал под ногами; впереди темной толпой выходили и расступались деревья. Наверху скрипело и вздыхало, как будто кто-то огромный, мшистый ворочался там, роняя шишки, падавшие вниз с легким, отчетливым шелестом.

Нервная жуть, похожая на робость вора, хватала его, когда трещали прутья, сломанные ногой, и, казалось, вздрагивала тишина. Все спало вокруг, сырое, огромное. Мокнатые лапы елей висели вниз, задевая голову, корявые пни торчали, как уродливые гномы, вышедшие на прогулку. Корни бурелома, вывороченные с землей, чернели узловатыми, кривыми щитами, и за каждым из них кто-то сидел, притаившийся и дикий. Где-то ухало и стонало. Изредка хлопала ночная птица, с шумом усаживаясь повыше и затихая вновь.

Он выбрался на поляну, где было еще печальнее и глуше от темных, ползающих вверх туч, и остановился. Затем бережно положил сверток на землю, развернул полотно и крепко обмотал бечевками крест-накрест металлический предмет. Потом выбрал дерево с высокими сучьями и, затаив дыхание, привстал на цыпочки, заматывая бечеву от снаряда вокруг сучка так высоко, как только мог достать руками. Привязав к тому же сучку конец другой бечевки, более толстой, он стал разматывать ее, пятясь задом к другой стороне поляны.

Бечевы хватило шагов на тридцать. Когда она кончилась, Сергей лег за огромный, высокий пенёк, плотно втянув голову в плечи, и, замирая от ожидания, медленно потянул конец. Бечева упруго натягивалась, дрожала, и вдруг, оробев, Сергей отпустил ее, и сердце его заколотилось.

Но пенёк был надежен и расстояние достаточно. Тогда он закрыл глаза и, похолодев, дернул изо всех сил.

В ушах болезненно зазвенело. Тишина лопнула огромным, паническим гулом, и мрак прыгнул вверх, ослепив и обнажив зазвеневшим блеском лесную глубину. Взрыв загредел тысячами звонов, тресков и протяжных, хохочущих криков. Шум иступленно заплясал вокруг, растягиваясь беглым, замирающим кругом. Эхо завздыхало, плача тонкими голосами, и сгибло вдали.

Оглушенный и ослепленный ярко-молочным блеском, Сергей поднялся, пошатываясь, с судорожно бьющимся сердцем. В глазах его еще плыл зеленый, вырванный из мрака ударом взрыва, уголок леса. Уши ломило, и в них дробился отчетливый, переливчатый звон. Казалось, пройдет еще мгновение, и тайна тьмы, оскорбленная святотатством, ринется на него всем ужасом лесной, хитрой жути.

Он глубоко вздохнул и выпрямился. Сверху еще падали, дергая за платье и руки, обломки сучьев, комья зем-

ли, какие-то палки. Сергей прислушался. Но было тихо, словно ничто не потревожило глушь.

Он торопливо бросился к тому месту, где, минуту назад, на сучке висела плоская, тяжелая коробка. Дерево лежало, разбитое вдребезги у корней, дерн и сырая, взрытая земля громоздились вокруг. На самом месте удара образовалась неровная, продолговатая яма. Он постоял, успокоился и пошел домой.

И снова жадная тьма шла за ним, забегая вперед, а ноги ступали теперь легко и быстро. Снова шли навстречу деревья, раздвигаясь узкими, кривыми проходами. Тишина обнимала пространство, тянулась вверх и кивала темной, неясной зыбью.

IX

Соборный, далекий колокол мягко прогудел одиннадцать раз, когда Сергей, усталый и взвинченный, отворял калитку, пролезая под загремевшую цепь. Спать ему совсем не хотелось, и он несколько секунд стоял у крыльца, задумчиво вытирая ладонью влажный, вспотевший лоб.

Теплое звездное небо дышало покоем, и в его черной пропасти стояли волнистые купы деревьев сада, словно града туч, севших на землю. Замирая в тишине, стучали где-то шаги, и казалось, что их родит сам воздух, пустой и черный. Стукала колотушка сторожа мягкой деревянной трелью. Трава слабо шелестела под ногами. Сергей вошел в сад, охваченный ароматной, пряной духотой растительной гущи. Листва молчала, как вылитая из железа, и вдруг, оживая в мягком, печальном вздохе, шумела трепетной, переливчатой дрожью. И казалось Сергею, что кудрявые, лиственные волны темными объятиями смыкаются вокруг, стремясь поглотить его ленивое, истомленное тело. В черной глубине деревьев красным узором светились окна соседнего домика, как яркие угли, тлеющие в золе.

Где-то, должно быть, во дворе, скрипнула дверь и слегка прошумело. Сергей машинально прислушался, ему показалось, что там ходят. Быть может — Дуня. Но все молчало, и окна спали. Мысли его ушли в комнату хозяйской дочери, где она теперь, вероятно, спит, ворочаясь в жаркой, нагретой постели белым, гибким телом. Так думалось безотчетно и потому приятно. А через мгновение захотелось разговаривать и передать другому сдержанное кипение ду-

ши, настроенной взволнованно и как-то особенно грустно-хорошо. Сырые тяжелые запахи струились из земли и хмельным паром бродили в голове. Пахло черемухой, яблонью, тмином и гнилостью мокрых пней.

Кусты шарахнулись и замерли легким, упругим треском. Кто-то живой, дышащий стоял в темноте, спрятанный черными тенями сада. Сергей встрепенулся и насторожился.

— Кто это?! — негромко спросил он, всматриваясь.

— Кто тут?! — вздрогнул в ответ тонкий, испуганный возглас.

Сергей узнал и улыбнулся.

— Как же это вы, Дуня, не спите? — подзадоривающе протянул он. — Шишек-то, шишек-то что насобирали сегодня! Чай, умаялись ведь?!

— Ох, господи! Перепугали только, аж сердце заколотилось!.. Потому вот и не сплю, что я вам не спрос, а вы мне не указ. — Девушка успокоилась, и уже насмешливые нотки зазвенели в ее голосе. — А вы чего полунощничаете? Может — клад заговариваете?

Она засмеялась тихим, вздрогнувшим смехом. И Сергей подумал, что здесь, вероятно, скрытая мраком, она чувствует себя увереннее и свободнее, чем тогда, когда приходит с лампой, или подметать, неловко поддерживая обрывки разговора.

— Не сплю... — сказал он. — Не спится. Хожу и думаю. Здесь у вас хорошо, в садике.

— Мне-то бы спалось, — лениво отозвалась девушка, — да что-то неохота...

Она помолчала и бросила, усаживаясь на землю:

— Вы вот — ученый... Зачем люди спят?..

— Затем, что сон восстанавливает силы, потраченные в течение дня, — привычно-поучительным тоном сказал Сергей. — Это необходимо...

— Та-ак... — задумчиво протянула Дуня. — Не спится. А голова вот — как кадушка, пустая... Буду сидеть тут, пока сон сморит...

Сергей подошел ближе к девушке. В темноте слышалось ее дыхание, неровное, длинное.

— Так принести вам Пушкина? — спросил он, опускаясь рядом с ней на траву, и вздрогнул, задев рукой отодвинувшуюся Дунину ногу. — А почему вам непременно хочется Пушкина?

— Он стихи пишет,— вздохнула девушка.— Я страсть люблю, ежели хороший стишок... А вы?

— Да, и я,— рассеянно сказал Сергей.

Наступило молчание. И, чем дольше тянулось оно, тем напряженнее подымалось в душе Сергея сладкое, щемящее волнение, тесня дыхание и мысль. Кровь медленно прилиwała в голову. В темноте он видел только смутную белизну женского лица и рук, опущенных на колени. Дуня сидела, слегка подняв голову. Молчание росло, и было сладко и жутко прервать его.

— Дуня!— вдруг отрывисто сказал Сергей, и свой голос, сдавленный, дрогнувший, показался ему чужим. Тревожная жуть выросла в жаркое, расслабляющее волнение, от которого тело сделалось легким, а дыхание — тяжелым и частым.

— Что вы? — поспешно ответила девушка и сейчас же продолжала деланно-беззаботным голосом: — Ах, смотрите! Звездочек-то што! Так и плавают!

Снова настало чуткое, напряженное молчание. Его невидимая нить трепетно протянулась между ними, мешая думать и разговаривать.

— Дуня! — повторил Сергей. Ощупью протянув руку, он коснулся ее пальцев и вздрогнул, чувствуя мягкое, горячее тело. Тяжелый ком рос в его груди, дыша короткими, глубокими сокращениями. Девушка сидела не двигаясь, как сонная. Тогда он сильно сжал ее руку, и неловко, краснея в темноте, потянул к себе. Рука упруго сопротивлялась, дрожа в его сильных, горячих пальцах. Заторопился слабый конфузливо-взволнованный шепот:

— Оставьте, ну же... Оставьте... что это?!

Она стала вырывать руку резкими движениями, но видя, что Сергей уступает, вдруг сильно сдавила его ладонь тонкими, влажными пальцами. Пьяная волна кинулась ему в лицо. Он схватил девушку за руку выше локтя, а другой обнял спереди, сжимая ее упругую грудь и быстро целуя пахучие, пушистые волосы. Дуня слабо вздохнула и затихла, вздрагивая. Сергей торопливо, путаясь, жадными, неловкими движениями расстегнул ее кофту и затрепетал, коснувшись жаркого, влажного тела.

Вдруг она вскочила, отчаянно вырываясь и вытягивая руки вперед. На темном изгибе ее стана судорожно колыхалась белая, смятая рубашка. Отуманенный Сергей бро-

сил к ней, и две тонкие женские руки уперлись ему в грудь, с силой толкнув назад.

— Дуня... милая,— слушайте... что вы?!

— Нет, нет, нет! — зачастила девушка глухим, умоляющим шепотом, покачиваясь и шумно дыша.— Нет, нет!.. Сергей Иванович, голубчик, не надо!.. Завтра... вам... Завтра скажу!..

Слова ее, как птицы, порхнули мимо Сергея пустыми, бессмысленными звуками. И он снова, волнуясь и торопясь, потянул ее к себе, ломая тонкую мягкую руку.

Дуня рванулась последним, решительным движением, и кусты, прошумев треском и быстрыми шагами — стихли. Через мгновение в глубине двора хлопнула дверь и все смолкло, но Сергею казалось еще, что в темном, сыром воздухе часто и громко стучит испуганное сердце девушки. Иллюзия была так сильна, что он инстинктивно вытянул руку вперед. Рука коснулась пустоты и опустилась. Это стучало его собственное тревожное сердце.

Он сел на землю и, весь дрожа от неостывшего еще возбуждения, приложил к пылающему лицу сырые, холодные листья. Сердце все еще стучало, но уже тише и ровнее. Сад молчал.

Дуня, Валерьян, стальная коробка, взрыв, фальшивый паспорт, снова Дуня — мелькало и путалось в голове неровными, пестрыми скачками. Завтра он уедет из тихого, сонного городка, уедет жить другой, неясной жизнью.

— Жить! — сказал он негромко, прислушиваясь.— Хорошо...

РУКА

I

За окнами вагона третьего класса моросил тусклый, серенький дождь, и в запотелых дребезжащих стеклах окон зелень березовых рощиц, плывущих мимо в тревожном полусвете раннего утра, казалась серой и хмурой. Струились линейки телеграфных проволок, то поднимаясь, то падая вниз медленными ритмическими взмахами. Сонный и сосредоточенный, Костров провожал взглядом их черные линии, изредка закрывая глаза и стараясь определить в это время по стуку рельсов, когда нужно взглянуть снова, так, чтобы белые чашечки изоляторов пришлись как раз против окна. После бессонной, неуютно проведенной ночи это доставляло некоторое развлечение.

Забиться он старался от самой Твери, но безуспешно. Хлопали двери, и тогда струйки ночного холода ползли за шею, раздражая, как прикосновение холодных пальцев. Или в тот момент, когда Костров начинал засыпать, шел кто-нибудь из кондукторов, задевал ноги Кострова и уходил, тяжело стуча сапогами. А за ним убегала и легкая испуганная дрема.

Кроме этого, бессонное настроение, овладевшее Костровым, поддерживалось и росло в нем той смутной, тревожной боязнью не уснуть, которая с каждым звуком, с каждым движением тела усиливается все больше, пугая бессилием человеческой воли и досадным сознанием зависимости от внешних и чуждых причин. Он долго ворочался, курил, считал до ста, с раздражением замечая,

что это еще более сердит и волнует его, и, наконец, решил, что уснуть в эту ночь вещь для него немислимая. Неизбежность, осознанная им, несколько успокоила расходившиеся нервы. Поднявшись со скамьи, он сел у окна и, глядя в холодную темноту ночи, стал курить папиросу за папиросой, тщательно отгоняя дым от женщины, лежавшей против него.

II

Когда она села в вагон, Костров не заметил. Должно быть, в то время, когда неверный, капризный сон на мгновение преникал к его изголовью, чтобы затем снова растаять в певучем стуке и ропоте вагонных колес. Она лежала, плотно укрытая шалью, в спокойном, крепком сне, милая и грациозная, как молодая кошечка. Лицо и фигура ее дышали нежной детской доверчивостью существа юного в жизни телом и духом. От сонных движений слегка растрепались темные, пушистые волосы, закрывая змейками прядей висок с прозрачной голубоватой жилкой на нем и маленькое покрасневшее ушко. Грудь дышала ровно и глубоко, а руки, сложенные вместе, лежали под щекой на белой кружевной наволочке высокой пышной подушки.

Костров некоторое время с завистью и уважением смотрел на человека, сумевшего так безмятежно забыться в сутолоке и неудобствах третьего класса. Папиросу он держал правой рукой, а левой настойчиво отгонял дым, ползущий мутными струйками к тонкому чистому профилю маленькой девушки, лежащей перед ним. Что она — девушка, Костров решил сразу и перестал думать об этом.

Она спала, спала крепко, но дым от папиросы мог потревожить ее и разбудить. Поэтому, не решаясь, с одной стороны, лишиться себя удовольствия, а с другой — причинить неприятность юному существу, Костров, торопливо и сильно затягиваясь, дососал папиросу, потушил ее и бросил на пол.

Вагон, стремительно раскачиваясь, неся вперед, дребезжали стекла, дождь барабанил в железо крыши, но кругом, в красноватой полутьме грязного помещения, спали все, кроме Кострова. Спал толстый купец в шерстяном английском жилете и сапогах бутылками; спал, свернувшись калачиком, железнодорожный чиновник, отчего зеленые

канты его тужурки казались ненужными и бесполезными украшениями; спала женщина в ситцевом платке, с корзиной под головой, спала девушка.

III

Было бы странно и сложно, если бы в городе, в шаблоне и устойчивости человеческих отношений, около спящей, незнакомой женщины очутился бодрствующий, незнакомый ей мужчина и, сидя в двух шагах расстояния, пристально смотрел в лицо спящей. Но здесь, в дороге, теплое, немного сентиментальное чувство к молодому сну девушки-полурбенка, такое естественное, несмотря на искусственно созданную близость, казалось Кострову только хорошим и нежащим. Молодой, сильный мужчина непременно воспрепятствует всему, что могло бы нарушить покой женщины, уже в силу того только, что она спит, а он нет. И сознание этого, логичное в данном положении, тоже было приятно Кострову. Тем более приятно, что девушка симпатична и привлекательна.

Он ласково усмехнулся и закинул ногу на ногу, стараясь не ударить сапогом о скамейку; отяжелевшие, полузакрытые глаза его с удовольствием отдыхали на мягких линиях маленького сонного тела, такого милого и спокойного в стремительном шуме ночного поезда. Одиноким и полусонным, Костров размышлял о том, что он женат и едет с молодой женой в далекое путешествие. Жена его — вот эта самая девушка; она тихо спит, счастливая близостью любимого человека. Пройдет минута, две; в сонных движениях раскроется ее шея, шаль будет скользить все ниже, на пол, открывая ночной свежести шею и грудь. А он подойдет и тихо, стараясь не разбудить ее, поднимет шаль и снова укутает милое спящее существо, греясь сам от заботы и нежных, ласковых движений своей души. А когда она проснется, открывая сперва один, потом другой глаз, — солнечный свет ударит в них и засмеется в глазах, добрых, знающих его, верных ему.

Девушка спала, изредка шевеля губами, пухлыми и влажными, как росистые бутоны. Взгляд Кострова остановился на них, и что-то детское усмехнулось в нем, как струна, задетая веселой рукой.

Глубоко вздохнув и поджимая ноги, пассажирка выпростала одну руку из-под щеки, и она, медленно скольз-

нув по краю скамейки, тяжело свесилась вниз. Бессознательно избегая неловкого положения, рука согнулась в локте, но усилие было слабо и, уступая тяжести, она снова упала в воздух. Так повторилось несколько раз, но сон был, очевидно, слишком крепок, чтобы девушка могла протнуться немедленно и освободить руку.

IV

Костров с жалостью следил за беспомощными, сонными движениями соседки. Пройдет минута, две, усилятся чувство неловкости, и девушка проснется и, быть может, уже не заснет снова, а будет сидеть, как и он, с тяжелой, неотдохнувшей головой, хмурая и раздраженная.

Осенняя ночь бежала, цепляясь за вагоны, дрожала в окнах черным лицом и блестела таинственными, мелькающими огнями. Костров нерешительно нагнулся и тихо, бережно, ладонью приподнял руку девушки. Она была тяжела и тепла. Но, когда он хотел согнуть ее и уложить на скамейку, непонятное, стыдливое чувство остановило его и выпустило руку девушки. Она могла проснуться, по-своему истолковать его услугу и, быть может — обидеться. Теплота ее — чужая теплота, он не имел права заботиться.

«В чем дело? В чем, в сущности, тут дело? — сказал себе Костров, закуривая новую папиросу и усиливаясь понять ту, несомненно существующую между ним и ею преграду, которая мешала оказать маленькую дружескую услугу сонному человеку. — Я вижу, что ей неловко так. Я хочу избавить ее от этого — прекрасно. Но почему это плохо? Почему это может вызвать недоразумение и, в худшем случае, появление обер-кондуктора? Для меня ясно одно: что сделать этого я не вправе, да и она, несомненно, не думает иначе. Но почему?»

Ответ сам просился на язык, ответ, заключающий в себе слова: «это было бы странно»... а за ними глупую и подлую логику жизни. Но Костров сознательно гнал его и думал только о данном положении. А здесь мысль загонялась в тупик и вертелась, как мельничное колесо — на месте.

«Когда она проснется — ей-богу, спрошу... Это любопытно... Спрошу: приятно ли было бы вам, что незнакомый человек поправит какую-нибудь неловкость в вашем положении во время сна?»

Он смотрел на ее свесившуюся, со вздувшимися на кисти жилами, руку, и в душе его шевелилось прежнее желание: уложить ее удобно и прочно. Помявшись еще несколько мгновений, Костров вдруг покраснел и, чувствуя, что сердце забилось сильнее, спокойно и твердо взял в свою большую сильную руку теплые сонные пальцы девушки, положил их на подушку и слегка прикрыл шалью. И, сделав это, испуганно оглянулся; но все спали.

Теперь он уже хотел, чтобы соседка его проснулась, и с уверенностью ожидал этого. Она проснулась в ту же минуту. К лицу Кострова поднялся взгляд широко раскрытых, карих, еще не соображающих глаз. Костров нагнулся и, спокойно выдерживая взгляд, сказал:

— Сударыня, я...

— А? Что? Зачем?..— сонно и тревожно заговорила девушка, слегка приподнимаясь и сясь понять, что хочет от нее этот большой, серьезный человек.

Костров повторил, не торопясь, твердым голосом и стараясь вложить как можно больше искренности в свои слова:

— Сударыня, я заметил, что во время сна ваша рука приняла неудобное положение, и поправил ее... Если вы рассердитесь на меня за это — я буду глубоко опечален, потому что я хотел только сделать вам удобнее и больше ничего...

Он перевел дух.

— Вот пустяки,— сказала девушка, успокаиваясь и снова кладя голову на подушку.— Стоило вам беспокоиться... Спасибо.

Через несколько мгновений она уснула опять. Костров сидел, курил, слегка стыдясь чего-то и чувствуя себя немного мальчишкой.

Серенький рассветный дождь царапал окно, тихо струилась, подымаясь и опускаясь, телеграфная проволока. На целый день у большого, бессонного человека явилась, рожденная счастливой случайностью, маленькая вера — вера в силу искренности.

«ОНА»

I

У него была всего одна молитва, только одна. Раньше он не молился совсем, даже тогда, когда жизнь вырывала из смятенной души крики бессилия и ярости. А теперь, сидя у открытого окна, вечером, когда город зажигает немые, бесчисленные огни, или на пароходной палубе, в час розового предраассветного тумана, или в купе вагона, скользя утомленным взглядом по бархату и позолоте отделки,— он молился, молитвой заключая тревожный, грохочущий день, полный тоски. Губы его шептали:

«Не знаю, верю ли я в тебя. Не знаю, есть ли ты. Я ничего не знаю, ничего. Но помоги мне найти ее. Ее, только ее. Я не обременю тебя просьбами и слезами о счастье. Я не трону ее, если она счастлива, и не покажусь ей. Но взглянуть на нее, раз, только раз,— дозволь. Буду целовать грязь от ног ее. Всю бездну нежности моей и тоски разверну я перед глазами ее. Ты слышишь, господи? Отдай, верни мне ее, отдай!»

А ночь безмолствовала, и фиакры с огненными глазами проносились мимо в щелканье копыт, и в жутком ночном веселье плясала, пьянея, улица. И пароход бежал в розовом тумане к огненному светилу, золотившему горизонт. И мерно громыхал железной броней поезд, стуча рельсами. И не было ответа молитве его.

Тогда он приходил в ярость и стучал ногами и плакал без рыданий, стиснув побледневшие губы. И снова, тоскуя, говорил с гневом и дрожью:

— Ты не слышишь? Слышишь ли ты? Отдай мне ее, отдай!

В молодости он топтал веру других и смеялся веселым, презрительным смехом над кумирами, бессильными, как создавшие их. А теперь творил в храме души своей божество, творил тщательно и ревниво, создавая кроткий, милосердный образ всемогущего существа. Из остатков детских воспоминаний, из минут умиления перед бесконечностью, рассыпанных в его жизни, из церковных крестов и напевов слagal он темный милосердный облик его и молился ему.

Миллионы людей шли мимо, и миллионы эти были не нужны ему. Он был чужой для них, они были для него — звук, число, название, пустое место. Один человек был ему нужен, один желанен, но не было того человека. Все многообразие лиц, походок, сердец и взглядов для него не существовало. Один взгляд был нужен ему, одно лицо, одно сердце, но не было того человека, той женщины.

Печальная ласка сумерек изо дня в день одевала его лицо с закрытыми глазами и голову, опущенную на руки. Вечерние тени толпились вокруг, смотрели и слушали мысли без слов, чувства без названия, образы без красок.

Открывались глаза человека, спрашивая темноту и образы, и мысли без слов толпились в душе его.

Тогда говорил он словами, прислушиваясь к своему голосу, но одиноко звучал его голос. А мысли без слов и образы опережали слова его и, клубом подкатывая к горлу, теснили дыхание. И тени сумерек слушали его жалобу, росли и темнели.

— Я один, родная, один, но где ты? Не знаю. Каждый день бегут мимо меня вагоны с освещенными окнами, люди видны в окнах, они поют, смеются или едят. Но тебя нет с ними, родная!

И пароходы, гиганты с бесчисленными глазами, пристают в гавани каждый день, там, где ослепительно горит электричество и движется плотная, черная толпа. Сотни людей идут по сходам, радуются и грустят, но тебя нет с ними, родная!

Грохочут улицы, вывески ресторанов сверкают, как диадемы, и катит людские волны безумный город. Молодые и старые, мужчины и женщины, школьники и проститутки, красавицы и нищие идут мимо, толкают меня и смотрят, но нет тебя с ними, родная!

Я ищу и хочу тебя, хочу ласки твоей, хочу счастья. Я уже не помню, как смеешься ты. Я забыл запах твоих волос, игру губ. Я найду тебя. Я бегу за каждой женщиной, по-

хожей на тебя, и, нагнав, проклинаю ее. Жажда томит меня, и высохла моя грудь, но нет тебя. Отзовись же, найдись. Сядь на колени ко мне, щекой прижмись к моему лицу и смейся как раньше, золотом солнца, радостью жизни. Я укачаю, убаюкаю тебя на руках, распушу твои волосы и каждый отдельный волосок поцелую. Я спою тебе песенку, и ты уснешь.

Шли минуты, часы, и звонко бегал маятник, отбивая секунды в живой, мучительной тишине. А он все сидел, очарованный страданием, качаясь из стороны в сторону. И вот из страшной, черной глубины души кто-то, на блоках и цепях, начинал подымать груз невероятной тяжести. От усилий неведомого существа кровь прилиwała к вискам, стучала и говорила торопливым, безумным шепотом. А тоска металась, острыми крыльями била в сердце, и с каждым ударом крыла хотело крикнуть, застонать сердце, готовое лопнуть, как гуттаперчевый шар. А груз подымался, скрипя, все выше, и медленно прессовал грудь, выгоняя воздух из легких, и ворочался там острыми гранями.

Он сжимал руками голову и, с дрожью напрягая тело, гнал прочь нечеловеческую тяжесть. А груз — воспоминание — все рос, двигаясь, как лавина, и звенел забытыми словами, розовым смехом, радостью смущенных ресниц.

Он кричал:

— Не хочу! Не надо!

Но каждый раз, обессиленный, снова и снова видел во весь рост то, что бывает однажды, что не повторится ни с ним, ни с другим, ни с кем, никогда...

II

В саду темно, сыро и хорошо. Три дня он не виделся с ней и теперь пришел трепещущий, довольный и робкий. Под их ногами хрустел песок, и казалось в темноте, что она улыбается, смеется над его любовью, видит ее и думает. От этого волнение еще больше мучило его, и тягостным становилось молчание.

Они сели; он отодвинулся от ее колен, боясь, что прикосновение взволнует его любовь и бессвязными, тяжелыми словами вырвется наружу. Тогда надо будет уйти. Кончится все, и нельзя больше будет видеть ее. Так думал он за пять минут перед самыми счастливыми минутами своей жизни.



«ТРЕТИЙ ЭТАЖ»



«МАЛЕНЬКИЙ ЗАГОВОР»

— Я вчера ждала вас, — сказала девушка, — и третьего дня ждала, и сегодня. Но вы не приходили. Разве так поступают с друзьями?

Ласковое ожидание слышалось в ее голосе, а ему оно казалось насмешкой, и от этого горькое, обидное чувство мешало дышать. Поборов волнение, он грубо и раздражительно сказал ей:

— Зачем ждали? Разве не все равно вам?

В темноте он почувствовал, как лицо девушки побледнело и сделалось замкнутым от его грубости, как глубокими и печальными стали глаза. Помолчав немного, она сказала с трудом:

— Если вы... я не знаю. Если вам все равно — конечно... Пройдетесь. Скучно сидеть.

Но уже жалость к себе, к ней, раскаяние и умиление перед своею любовью охватили его. Не зная сам, как — он взял ее руки — горячими и бесконечно милыми были маленькие, тонкие пальцы — и сказал, сперва мысленно, а потом вслух:

— Милая! Милая! Простите меня!

Настало молчание. Казалось, что ему не будет конца. Но уже близились могучее биение радости. Играла ли в это время музыка, пел ли кто — он не помнит. Кажется, стало светло и тягостно-сладко. Она не отняла своих рук, и он сам благоговейно и осторожно выпустил ее пальцы. Стучало ли его сердце, пел ли кто — он не помнит.

И девушка — его возлюбленная, его радость, встала, и он — без слов, понимая каждое ее движение, пошел за ней, в ее комнату, и там долго, со слезами смотрел, смотрел на ее покрасневшее лицо, ставшее вдруг близким-близким, бесконечно простым и добрым. Она смеялась и говорила, а кружево на ее груди трепетало, как бабочка.

— Скажите мне: «Я люблю вас!»

Он повторял, стыдливо и смущенно:

— Я люблю вас! Люблю вас! Нет — теб я люблю!..

Она засмеялась, отвернувшись, а он смотрел на ее плечи, вздрагивающие от смеха, на край розового, маленького уха, обвитого русой прядкой волос. Как-то он подошел к ней, обнял сзади за плечи и шею и вздрогнул от прикосновения теплого, трепетного тела. Она крепко прижалась маленьким, круглым подбородком к его руке и глядела прямо перед собой, в стену, счастливыми, нервно-блестящими глазами. А он спросил:

— Можно мне обнять тебя?

Она засмеялась еще сильнее неслышным, коротеньким смехом. Засмеялась оттого, что он такой смешной: сперва обнял, а потом уже спросил позволения...

III

Так сидел он часами, но груз страшной тяжести висел в его душе, груз с бледным лицом и шутивно-ласковым взглядом. Тогда он вставал и шел в темные, извилистые закоулки города, где пьяное мерцание красных фонарей с разбитыми стеклами освещает грязные булыжники и тонет в блестящих, вонючих лужах. За столиками, где пируют матросы со своими возлюбленными и хриплый хохот заглушает ругательства и женский плач, садился и он, пил вино, смотрел и слушал, как страшный груз опускается ниже, а лицо девушки с русыми волосами тонет в клубах едкого табачного дыма.

Вверху медленно двигалась ночь, звезды описывали полукруг с востока на запад, и розовый рассвет придвигал сонное лицо свое к разбитым, подслеповатым окнам кабака. Говор вокруг становился тише, ниже опускались к столам опьяневшие тела, и лохматые, рыжие головы ложились на плечи подруг. А его тело становилось чужим, и казалось ему, что голова живет отдельно от тела, бросая тупые крохи сознания в бледную полумглу.

Или он заходил в рестораны, где красивые, сверкающие зеркала неумоимо повторяли движения седого человека с молодым, загорелым лицом. На мраморных столиках белели девственно чистые скатерти, сверкая снежными изломами складок, румянец плодов ател в хрустальных вазах, и море яркого света дрожало и плыло в звуках бесшабашных мелодий огненными, острыми точками. Огромные, цветные шляпы женщин с нахальными улыбками колебались вокруг. А люди в черном целовали их руки, красные губы, полные плечи, вздрагивая и пьянея от удовольствия.

И снова сонный рассвет придвигал розовое лицо свое к матовым узорным окнам и восковыми, мертвенными тенями покрывал лица людей. В свете наступающего дня они казались призраками, обрывками сна, уродливыми и жалкими. Блестело последнее золото; последние посетители в смятых манишках, в шляпах, сдвинутых на затылок,

расплачивались и уходили, а он сидел, и пустым казался ему наступающий день, пустым и ненужным, как бутылки, стоящие на столе. Дыхание его было страдание, и молитвой была тоска его.

IV

С тех пор прошло пять лет.

Пять лет прошло с того дня, когда он в первый раз обнял ее и сказал: «Можно обнять тебя?» Пять лет.

Из крепости он вышел седой. Ни письма, ни привета он не получил за эти три года, ничего. Его содержали, как важного государственного преступника, и ни одно известие о ней не всколыхнуло его сердце. Людям, посадившим его в тюрьму, не было дела до его страданий; они служили отечеству.

О жизни своей в эти три года он всегда боялся вспоминать и с ужасом приговоренного к смерти вскакивал ночью с постели, когда снилось, что он снова в тюрьме. Помнил только, что с грустью мечтал о пытках тела, существовавших в доброе старое время, и жалел, что не может своим изорванным, окровавленным телом купить свидание с ней. Раньше это было можно, в то доброе старое время.

Когда его выпустили, оправданного, он стал искать ее. Огромность задачи не поставила его втупик. Но следы ее исчезли, и никто не мог сказать ему, где она. В мире людей, среди которых он жил, связи и знакомства непрочны, как самая жизнь этих людей. Приходят одни, уходят, приходят другие и снова бесследно теряются в шуме и холоде жизни. Исчезают, как ночная роса в утренний час.

Но упорно, неотступно, как мученик — смерть, как ученый — великую идею, он искал ее, день за днем, месяц за месяцем, разъезжая по городам, за границей, везде, где мог ожидать встретить ее. Но не было того человека, той женщины.

Он спрашивал ее везде, в отелях, гостиницах, адресных столах и клубах, библиотеках и союзах. Кельнеры и гарсоны, половые и чичероне вежливо выслушивали его, когда, стараясь казаться хладнокровным и рассеянным, он спрашивал их, прислушиваясь к ответу всем телом, с тоскою и ужасом:

— Скажите, здесь не останавливалась Вера N? Из России? Она из России, русская.

В лице людей, слушавших его, мелькало озабоченное, деловитое выражение. Они бежали куда-то, рылись в больших книгах с золотыми обрезами, в кипах листов и журналов, и каждый раз, бегая глазами по его загорелому лицу и седым волосам, говорили виновато-ласковым голосом:

— Вера N. Нет, мсье. Госпожи с этой фамилией у нас не было.

Чем дальше спрашивал он, тем труднее становилось говорить чужим, равнодушным людям имя, священное для него. И начинало казаться, что тайна его — уже не тайна, что выползла она из сокровенных тайников и неслышной тенью стелется по земле, из уст в уста, из мозга в мозг, передавая его муку, его любовь. С ненавистью смотрел он тогда в зеркало на свое лицо, проклиная измученные, угрюмые черты, не доверяя им, как скряга слугам, берегущим сокровище. Если б лицо его стало каменной маской — ему было бы легче. Тогда ни один мускул, ни одно дрожание век не выдали бы тоски его. Все труднее было ему спрашивать о ней, и казалось, что смех дрожит в глазах людей, отвечавших ему, что знают они его тайну и носят из дома в дом, хватая грязными пальцами, — сокровище, его любовь и молитву.

Шло время, весна пестрела цветами, лето синело и ширилось, желтела плакучая осень, стыла и серебрилась зима. Но не было того человека, той женщины.

— Где ты? Где ты? Я распушу твои волосы, я слезами омою их. Слезами чистыми, как любовь, как тоска моя. Я буду целовать следы ног твоих...

V

Иногда он приводил к себе женщину и запирался с ней. Являлись слуги, ставили на стол все, что требовала она, часто голодная и нетрезвая, и скромно уходили, неслышно ступая мягкими, дрессированными шагами. Он пил, оглушая себя, женщина садилась против него, охорашиваясь и оголяя локти. Снимала шляпу с цветными, красивыми перьями, трепала его по щеке и говорила:

— Давай чокнемся. Ты, душечка, сердитый? Отчего так?

Но он молчал, а женщина смеялась преувеличенно громко, думая, что не нравится ему. Садилась к нему на

колени и двигалась телом, стараясь зажечь кровь. Наливала ему и себе, он пил и слушал, как падают за окном дождевые капли. Иногда смотрел на нее и говорил:

— Зачем ты сняла шляпу? Она тебе к лицу.

— Я люблю рыбу под белым соусом,— говорила женщина.— Не надеть ли мне еще калоши, дружок? Я в комнате не ношу шляп.

Потом он брал ее за руки и долго молча целовал их. Она сидела тихо, но вдруг, вырываясь, вскрикивала, обиженным, визгливым голосом:

— Ревет! Вот дурак!

— Не нужно...— бормотал он, качая головой, полной кошмарного бреда.— Не нужно. Разве ты — она?

Шли минуты, часы; женщина, пьянея, прижималась к нему все крепче и болтала без умолку, хохоча, вскидывая вверх толстые ноги в ажурных чулках. Он становился перед ней на колени и просил робким, умоляющим шепотом:

— Погладь меня... Ну, погладь же... Приласкай... Крепче, крепче обними меня. Вот так. Еще крепче. Милый я,— милый, да?..

Она заливалась звонким неудержимым хохотом, сверкая зубами, и тормошила его, крепко стискивая полными, нагими руками шею человека с загорелым лицом. Слова ее прыгали по комнате, отскакивая от его сознания, возбужденные, громкие:

— Ах ты, мой старичок! Бедняжка! Есть же такие на свете, господи!..

Кто-то гасил свет: темнота обнимала их, и в темноте он покрывал голое, горячее тело поцелуями, безумными и нежными, как счастье. Прижимался к ней. Терся лицом о лицо, трепеща от тоски и боли. Зарывал лицо в темные, пахучие волосы и думал, что это она, его возлюбленная, его радость.

Ночь шла, и ширилась, и закрывала стыдливым покровом опустошенную душу пьяного человека, и несла отдых красивой, продажной женщине. И снова розовый рассвет придвигал сонное лицо свое к занавескам, одевая мертвенным светом спящих людей.

День идет равнодушный и шумный. День за днем рождается и умирает, но нет ее. Но нет того человека, той женщины.

Улицы становились пустынее, глуше; торопливо стучали шаги одиноких прохожих. Откуда-то и как будто со всех сторон двигался отдаленный грохот экипажей, катившихся на людных улицах. В окнах, блестящих скупым светом, скользили тени людей, и мир, скрытый стеклами, убогий внутри, с улицы казался таинственным и глубоким.

С тех пор, как он вышел из веселого и громадного подъезда, прошел, вероятно, час. Двигаясь во всевозможных направлениях, пересекая площади и пустыри, терпеливо проходя длинные улицы и угрюмые переулки, он изредка останавливался, соображая, что сбился с дороги, затем опускал голову и, моментально забывая, где он, — шел снова, без определенного плана, без цели, погруженный в глубокое раздумье. Прохожие уступали ему дорогу, так как он не уступал ее никому, даже женщинам, потому что не видел их. Ноги устали, болели ступни и сгибы колен, он чувствовал, но не сознавал этого. Нищий, попросивший у него милостыни, получил в ответ:

— Не знаю. Я забыл часы дома.

Неожиданно, поворачивая за угол, в безмолвии и темноте вечерней улицы, он заметил кучку людей, толпившихся на ярко освещенном тротуаре, и тут же забыл о них. Через несколько шагов ему крикнули прямо в лицо хриплым и назойливым голосом:

— Приглашаю господина взять билет! Франк, франк, только один франк! Все новости Америки и Парижа!

Как человек, разбуженный внезапным, грубым толчком, он вздохнул, поднял голову и осмотрелся.

Прямо перед ним, на шестах, украшенных лентами и флагами, висела холщовая вывеска, освещенная электрическим светом. На ней было написано красными, затейливыми буквами, по белому фону: «Театр». Слева и справа этого слова чернели грубо нарисованные руки в манжетах, с указательными пальцами, протянутыми к буквам вывески. У широких, распахнутых дверей дощатого здания, испачканного обрывками афиш, висел лист белой бумаги. Он подошел и стал читать.

«Неожиданное приключение». «Добывание мрамора в Карраре». «Индийцы и Ков-Бои»...

Кругом теснились мальчишки и толкали его, засматривая в лицо. Усталость одолевала его. Человек, кривой на один глаз, в рыжем котелке и клетчатом кашне ходил по тротуару, мокрому от дождя, выкрикивая безразличным гортанным голосом:

— Один франк! Только один франк! Начинается! Спешите и удивляйтесь! Все новости, все новости! Франк!

Колокольчик в его пальцах неумоимо дребезжал мелким, бессильным звоном. Человек с загорелым лицом подошел к прилавку и купил билет у сонной, толстой женщины с напудренными плечами. Отодвинув драпировки, он сделал несколько шагов и сел на стул.

Вокруг сидело десять — двенадцать человек, преимущественно рабочие и мелкий торговый люд. Они сидели согнувшись, зевая и усиленно рассматривая разноцветные плакаты, развешанные на стенах, обитых зеленой с красными полосами материей. Перед экраном сидел тапер, старик с красным носом и артистически-длинными серыми волосами. Его тщедушная фигура в изношенном сюртуке сотрясалась от ударов по клавишам, извлекая жалкие, прыгающие звуки танца.

За стеной еще раз продребезжал колокольчик и внезапно погас свет. Маленькая девочка с большими глазами громко и таинственно сказала матери:

— Мама, они хотят спать?

— Тсс! — сказала болезненная женщина, ее мать. — Сиди смирно.

— Петушки, — сказала девочка, увидя появившуюся на экране фабричную марку. — Мама, петушки?

Но петушки скрылись. Серая улица с серыми домами и серым небом встала перед глазами зрителей. Беззвучная, теневая, серая жизнь скользила по ней. Издалека двигались экипажи, конки, росли, делались огромными и пропадали.

Шли люди с корзинами, покупками, смеялись серыми улыбками, кивали, оглядывались. Бежали собаки и лаяли беззвучным лаем. Казалось, что внезапная глухота поразила зрителя. Двигается жизнь, но беззвучна она и мертва, как загробные тени.

Из кондитерской вышел мальчик и, весело подпрыгивая, направился с корзиной, полной пирогов, к поджидав-

шему его маленькому товарищу-трубочисту. Они идут, жадно уничтожая пироги заказчика, довольные и счастливые.

Едет автомобиль. Шофер не видит, что маленький сорванец уже примостился сзади между колес и весело болтает босыми ногами, вздымая пыль.

— Он поехал,— сказала девочка и тронула за плечо мать.— Мама, он поехал, тот мальчик!..

— Молчи,— сказала женщина.— А то придет трубочист и унесет тебя.

Идут люди, смотрят вслед уезжающему сорванцу и смеются. Женщина в большой соломенной шляпке с мешочком в руках остановилась, оглядывается и смотрит, как невидимый зрителю фотографический аппарат записывает биение жизни.

VII

Он вскочил, зарыдал, крикнул и бросился вперед, теряя сознание.

— Она!

Она — его солнце, его жизнь. Родная! Ее грустная, милая улыбка. Ее лицо, похудевшее, тонкое. Движения! Все!

Она — схваченная игрой света. Прямо в душу смотрят ее глаза, в его потрясенную, задышающую душу. Тень от шляпки упала на ее лицо. Остановилась! Пошла!

Долгий, пугающий крик убил тишину и потряс стены театра. Он бросился, побежал к ней, уронив шляпу, расталкивая прохожих, побежал, задыхаясь, с лицом, мокрым от слез. Десять, пятнадцать шагов расстояния...

— Вера! Вера!

Женщина обогнула решетку сада и остановилась, удивленная криком. Он догнал ее, сотрясаясь от плача, взял на руки, поднял как ребенка, поцеловал...

Она испугалась, поблднеала... Узнала! Узнала. Прижалась к нему. Безумие счастья, жгучего, как нестерпимая боль, развернуло свои крылья, осенив их. Все утонуло, пропало. Только они — их двое...

Кто-то схватил сзади и грубо потянул в сторону. Он обернулся, слепым, пораженным взглядом обвел улицу и

чужих перепуганных людей, отрывавших его от чуда, сокровища и молитвы.

Огненный снег завертелся перед глазами, и кто-то огромной, тяжелой гирей ударил в сердце. Стало темно. Два маленьких рыжих петуха выскочили по бокам, сверкнули красными, косыми глазами и исчезли. Поплыл тягучий, долгий звон, усилился, стих и замер.

Когда потащили к выходу тело, ставшее вдруг таинственным и враждебным для всех этих живых, перепуганных людей,— маленький, горбоносый субъект с грязным галстуком и черными глазами сказал человеку, звонившему в колокольчик:

— Я заметил его еще раньше... Он не взял сдачи — вы подумайте — с пяти франков!..

ТРЕТИЙ ЭТАЖ

Н. Быховскому

I

На улице зеленели весенние солнечные тени, а в третьем этаже старинного каменного дома три человека готовились умереть неожиданной, насильственной смертью. Весна не волновала их, напротив, они плохо сознавали даже, грезят или живут. А внимание каждого, острое до боли, сосредоточивалось на своем оружии и на том, что делается внизу, на каменном, веселом, солнечном тротуаре.

В обыкновенное время они, конечно, поразились бы тем, что вся улица, от вокзала до рынка, погружена в страшную, удушливую тишину, как это бывает во сне... Ни людей, ни собак. Везде наглухо закрыты испуганные окна, и фасады домов прислушиваются, как замкнутые, чужие лица. Немые деревья стелют сетки теней. Недвижна пыль мостовой, спит воздух.

И обратили бы еще они свое внимание на то, что тихая пустота улицы обрывается как раз у каменного старинного дома, обрывается с обеих сторон аккуратно, как по линейке, там, где на серых солнечных плитах шевелятся белые, строгие солдатские рубашки с красными погонами и, падая гулким эхом от веселых, солнечных стен, бухают торопливо и резко ружейные выстрелы.

Три человека не думали этого. Теперь казалось, что так и надо, что иначе и не бывает. И не слышали они тишины, а только выстрелы. Каждый выстрел летел в уши, как удар ветра, и кричал, кричал на весь мир.

Так страшно еще не было никогда. Раньше, думая о смерти и, с подмывающей радостью, с легким хохотком крепкого, живого тела оглядываясь вокруг, они говорили: «Э! Двум смертям не бывать!» Или: «От смерти не уйдешь!» Или: «Человек смертен». Говорили и не верили. Теперь з н а л и, и знание это стоило жизни.

Знали. Комната, где были они, служила жизни. Все кругом приспособлено для жизни: стол, накрытый скатертью, с небранной, веселой в солнечном свете посудой; маленькие, потемневшие картины, уютная мебель. А жизнь неудержимо уходит из пустых комнат. Под ногами валяется портсигар, растоптанные папиросы, лежит сорванная, смятая занавеска. И много, очень много пустых медных патронов. Они везде: на ковре, на стульях. Хрустит обувь, встречая обломки стекол, визгливо-хрупкие, скрежещающие. Стекла в рамах торчат зубцами. Они разбиты.

Дым туманом наполняет комнату, скользит в окно, страшно медленный, и удушливо, невкусно пахнет. Трах-трах!.. Выглянуть опасно. Ежеминутно чмокают пули, кирпич брызжет во все стороны красной пылью. Там, внизу, мало разговаривают и должно быть сердятся. Кто-то кричит возбужденно, коротко; наступает молчание и снова: «трах-трах!..»

После каждого выстрела жутко подступает мгновенная беспощадная тишина. И тянется она скучно, как столетие.

II

Три человека, засевшие в третьем этаже, не знали друг друга. Случайно сошлись они, преследуемые правительственным отрядом, в квартире одного знакомого, заперли двери, окна; мельком, с безразличием страха, осмотрели друг друга, бросили несколько проклятий и стали отстреливаться.

Сознание того, что стрельба эта бесполезна, что умереть все равно придется, что выходы заняты полицией, у них было, и по временам закипало в душе бессильными, протестующими взрывами ужаса. Но ожидать конца, суется, волнуясь и сопротивляясь, было все-таки легче, чем немая покорность неизбежному,— и они стреляли.

Два карабина было у них, два дальнобойных, охотничьих карабина с тонкой резьбой лож и витыми дамасскими стволами. Раньше они висели на стене среди другого оружия — живое воспоминание веселых, безопасных охот. А третий стрелял из револьвера, наудачу посылая пули, пока не свалился сам, раненный в ключицу, и не затих. Лежал он смирно, полный тоски, боясь шевельнуть отнявшейся рукой, чтобы не вскрикнуть. Видел высокий лепной потолок, ноги товарищей и думал о чуде.

Те двое стреляли из карабинов, бегая от окна к окну и прячась за подоконниками. Их резкие выстрелы звучали неуверенно, но били почти без промаха, и после каждого выстрела одна из белых, веселых рубаш с красными погонями, — такая маленькая, если смотреть сверху, — оживлялась, кружилась и, приседая, падала, звякнув штыком. А те двое стреляли, и каждый раз с тупой, радостной дрожью смотрели на дело своих рук.

Первого звали «Мистер», потому что он был в Англии и привез оттуда замкнутую сдержанность островитянина. Был он высокого роста, печальный и смуглый. Второй — плотный мужчина с окладистой бородой и кроткими глазами — называл себя «Сурком», потому что так называли его другие. А третий, раненный, носил кличку «Барон».

Каменное молчание пропитывало все этажи, кроме третьего. Казалось, что никогда никто, кроме мышей, не жил и не будет жить в этом доме, и что самый дом — огромное, сплошное недоразумение с каменными стенами, полными страха и тоски.

III

Отстреливались и судорожно, беспокойно думали. Растерянно думал Мистер. Наяву грезил Барон. Тяжело и сосредоточенно думал Сурок.

Там, за чертой города, среди полей и шоссежных дорог — его жена. Любимая, славная. И девочка — пухленькая, смешная, всегда смеется. Белый домик, кудрявый плющ. Блестящая медная посуда, тихие вечера. Никогда не увидеть? Это чудовищно! В сущности говоря, нет ничего нелепее жизни. А если пойти туда, вниз, где смеется веселая улица и стреляют солдаты, выйти и сказать им:

«Вот я, сдаюсь! Я больше не инсургент. Пожалейте меня! Пожалейте мою жизнь, как я жалею ее! Я ненавидел тишину жизни—теперь благословляю ее! Прежде думал: пойду туда, где люди смелее орлов. Скажу: вот я, берите меня! Я раньше боялся грозы—теперь благословляю ее!.. О, как страшно, как тяжело умирать!.. Я больше не коснусь политики, сожгу все книги, отдам все имущество вам, солдаты!.. Господин офицер, сжальтесь! Отведите в тюрьму, сошлите на каторгу!..»

Нет, это не поможет. Веселые белые рубахи станут еще веселее, грубый хохот покроет его слова. Поставят к стене, отсчитают пятнадцать,—или сколько там?..—шагов. Убьют слюнявого, жалкого, когда мог бы умереть с честью.

Значит, теперь уже все равно? Так кричим же!

И Сурок крикнул глухим, перехваченным тоской голосом:

— Да здравствует родина! Да здравствует свобода!

Как бы говоря сам с собой, ответил Мистер:

— Вот история!.. Кажется, придется сдохнуть.

Он в промежутках между своими и вражескими выстрелами думал торопливо и беспокойно о том, что умирает, еще не зная хорошенько, за что: за централизованную или федеративную республику. Так как-то сложилось все наспех, без уверенности в победе, среди жизни, полной борьбы за существование и политической агитации. Думать теперь, собственно говоря, не к чему: остается умереть. Воспоминание о том, что оружие случайно попало ему в руки, ему, желавшему бороться только с помощью газетных статей,—теперь тоже, конечно, ни к чему. Все брали. Сломали витрину и брали, дрались, хватали жадно, наперебой. Потом многие бросили тут же, едва отойдя несколько шагов, великолепные ружья и сабли, взятые ими неизвестно для чего.

Стиснуть зубы, закурить дрожащими пальцами папиросу и стрелять—это последнее.

И Мистер зачем-то спросил:

— Как вы думаете, который теперь час?

— Час? — Сурок посмотрел на него блуждающим, испуганным взглядом.— Я думаю, что этого не следует знать. Все равно.

И крикнул с остервенением, нажимая курок:

— Свобода! Ура-а!..

Звонкая, светлая тишина.

— Они окружают дом,— говорит Мистер, вздыхая.— И уморят нас.

— Они побоятся войти.

— Почему вы это думаете?

— Я чувствую... Привезут пушку и разнесут нас, как мышей.

— А-а! — удивленно говорит Барон, инстинктивно прижимаясь к стене. Пуля ударила в потолок, раздробила лепное украшение, и кусок гипса, с полфунта весом, упал рядом с его головой.

— А я думал, что спрятался!..

Мистер смотрит на него взглядом, выражающим представление о себе самом, раненном и лежащем врасстыжку так же, как этот костлявый, длинный юноша с голубыми глазами. Барон улыбается, закрывает глаза и сейчас же открывает их. Смотреть легче и не так страшно. Скоро ли спасут их? Несомненно, несомненно спасут, но кто? И когда? Вот этого-то никак нельзя понять.

Ттрах-та-тах! Бах!..

Как будто с налета воздушный молоток вбивает гвозди и падает вниз, оставляя на потолке и на стенах маленькие, глубокие дырки. Они, верно, еще теплые, если потрогать их.

— Досадно то...— начинает Барон.

Он ждет, но его не спрашивают, что досадно. Те двое отскакивают, прячась за подоконниками, и, трепеща от возбуждения, стреляют вниз. Глухие, смятенные звуки вырываются из горла. «Бах! Бах!» Должно быть, пришли еще солдаты.

А где же те, жившие здесь? Комнаты пусты, и от этого еще огромное, еще скучнее. Как Барон не заметил ухода квартирантов? Странно! Когда прибежали они трое, с белыми, перекошенными лицами,— оживленный шум смолк, кто-то заплакал горько, навзрыд, и вдруг стало пусто. Потом хлопнули двери, упало что-то и — тишина. Вот стакан с недопитым желтым чаем. Сейчас придут, расстреляют... Как досадно, что...

— Я не могу стрелять,— вслух доканчивает Барон начатую фразу.

Стрелять — это значит убивать тех, кто там, внизу, где солнце и теплый ветер. Но ведь и его могут ранить, убить, и опять он растянется тут, дрожа от жгучей, нарастающей боли. Значит, зачем стрелять?

Чепуха лезет в голову. А если притвориться мертвым и, когда ворвутся солдаты, затаить дыхание?

Детская, наивная радость пьянит голову Барона. Вот оно спасение, чудо!.. Его возьмут, бросят на фургон, отвезут в манеж. Но ведь его схватят за раздробленную руку. Разве он не закричит, как сумасшедший, лающим, страшным голосом?

— Да, черт побери, да! Все равно...

Слабость и туман, и жар. Чем-то колотят в голову: Бух! Бух!..

IV

— Товарищи! — говорит Сурок тонким, осекающимся голосом. — Час смерти настал!

Барон с усилием открывает глаза. Сурок присел на корточки и смотрит на юношу, пугливо улыбаясь собственным невероятным словам.

— А-а... — говорит Барон. — Да-а...

— Настал, — строго повторяет Сурок и, проглотив что-то, добавляет вполголоса: — Пушка.

— Ага! — сразу страшно возбуждаясь и цепenea, неистовым, не то веселым, не то молящим голосом подхватывает Барон. — Ага! Вот...

Неприятный, kloкочущий крик заглушает его голос. Сурок удивленно оборачивается нервным, коротким движением корпуса. Впрочем, это Мистер запел «Марсельезу». Вероятно он никогда не пел, потому что сейчас страшно фальшивит. Он увидел пушку и запел. А по временам, оставаясь, кричит:

— О, храбрые! Эй, вы! Моя грудь — вот! Грудь моя!..

Белая волосатая грудь. Барон морщится. Зачем кричать? Так тяжело, гадко.

— Перестаньте, прошу вас! Пожалуйста!..

Глубокая, светлая тишина. Шатаясь, подходит Мистер. Он потрясен, изумлен. Значит, все кончено?

— Все кончено, — говорит Сурок. — Зачем вы плачете?

— Как? — поражается Барон. — Я плачу? Чудак!..

Коснувшись щеки здоровой рукой, Барон убеждается, однако, что она мокра от слез. И начинает жалостно тихо рыдать, взвизгивая, как брошенный щенок.

Глубокая, нестерпимая жалость к себе сотрясает тело. А спасение, а жизнь, полная красивых случайностей? Пушка. Ведь это же смешное слово. Что-то кургузое, с мелкими старинными украшениями. Медный неповоротливый чурбан, позеленевший чурбан.

Тоскливый грохот внизу, там, за окном. Щелкнули, переступив, копыта. А они сидят здесь, трое, прижавшись к стене. Бесполезная стрельба кончена.

— Устанавливают орудие, — говорит Мистер. — Теперь держись!

Орудие — да, это не пушка, правда. Длинное, блестящее, отполированное, с круглым отверстием. Дальнбойная машина. Барон поднимает голову.

— Отчего я должен умереть? А! Отчего?..

— Оттого, что вы хнычете! — злобно обрывает Мистер. — А? А отчего вы хнычете? А? Отчего?..

Барон вздрагивает и затихает, всхлипывая. Еще есть время. Молчать страшно. Надо говорить, говорить много, хорошо, проникновенно. Рассказать им свою жизнь, скудную, бедную жизнь, без любви, без ласки. Развернуть опустошенную душу, заглянуть туда самому и понять, как все это вышло.

Революция — какое могучее слово! Конечно, он взялся за нее не потому, чтобы верил в спасительность республиканского строя. Нет! Люди везде скоты. Но ведь в ней так много жизни, движения, подъема. О смерти, разумеется, не было и мысли; напротив, мысли все были веселые, полные жизни, сладкие, поэтические мысли. Как все это запутано, сложно! Если бы он не хотел жить, не томился по яркой, интересной, сложной жизни, разве сделался бы он революционером? Да нет же, нет!.. И как сделать, чтобы жить, не умирая, всегда?

Сурук встал, подошел к окну, выглянул в него и присел, почти упал. Сейчас все кончится. Прямо на него снизу установилсь немигающим, слепым взглядом черные дула. Показал пальцем и сказал что-то солдату солдат. Но ведь там, дальше, за морем разноцветных крыш, где клубится дождливая пыль, стоит маленький белый домик, вьется плющ;

у окна сидит женщина и держит на коленях пухленькую забавницу. Значит, совершенно непоправимо?

Кончено! О, как тяжело, смертельно тяжело там, внутри! Ну, все равно!

На столе, среди посуды и газет, лежит ненужный, остывший карабин. Патронов нет. Да здравствует веселое безумие! Да здравствует родина!

Должно быть, последние слова он выкрикнул, потому что их повторил Мистер отчетливым, звонким криком. А если отдать родину, отдать все за маленький белый домик?

— Слушайте! Слушайте! — напрягает слабый голос Барон, дрожа от бессильной жалости и тоски. — Товарищи!..

— Будем бесстрашны, — говорит Сурок. — Мистер! Мы умрем, как честные граждане!..

— Конечно, — шепчет Мистер. — Руку!..

Они жмут друг другу холодные, сырые руки, бешено сдвигая пальцы. Глаза их встречаются. Каждый понимает другого. Но ведь никто не узнает ни мыслей их, ни тоски. Правда не поможет, а маленький, невинный обман — кому от него плохо? А смерть, от которой не увернешься, скрасится хриплым, отчаянным криком, хвалой свободе.

— Да здравствует родина!..

— О, они найдут только наши трупы, — говорит Мистер, — но мы не умрем! В уме и сердце грядущих поколений наше будущее!

Бледная, тоскливая улыбка искажает его лицо. Так когда-то начинались его статьи, или приблизительно так. Все равно.

Барон подымается на локте. Торжественный, страшный миг — смерть, и эти два глупца хотят уверить себя, что смерть их кому-то нужна? И вот сейчас же, сейчас отравить их торжественное безумие нелепостью своей жизни, ненужной самому себе политики и отчаянным, животным страхом! Как будто они не боятся! Не хотят жить?! Лгуны, трусы!..

Мгновение злорадного колебания, и вдруг истина души человеческой, острая, как лезвие бритвы, пронизывает мозг Барона:

Да... для чего кипятиться? Разве ему это поможет?

На улице плывут шорохи, ползают далекие голоса. Вот-вот... может быть, уже целят. Все равно!

Трусы они или нет, кто знает? Жизнь их ему неизвестна. А слова их — красивые, стальные щиты, которых не пробить истерическим криком и не добраться до сердца. Замирает оно от страха или стучит ровно, не все ли равно? Есть щиты, легкие, звонкие щиты, пусть!

И он умрет все равно, сейчас. А если, умирая, крикнет те же слова, что они, кто узнает мысли его, Барона, его отчаяние, страх и тоску? Никто! Он плакал? Да! Но плакал просто от боли.

— Да здравствует родина! Да здравствует свобода!

Три голоса слились вместе. И души, полные агонией смерти, в тоске о жизни и счастье судорожно забились, скованные короткими, хриплыми словами.

А на улице опрокинулся огромный железом нагруженный воз, громыхнули, содрогнувшись, стены, и дымные, уродливые бреши, вместе с тучами кирпичей и пыли, зазияли в простенках третьего этажа.

ЛЕБЕДЬ

I

Весной, в мае месяце, старая, почерневшая мельница казалась убогой, горбатой старушонкой, безнадежно шамкающей дряхлую песню под радостный шепот зеленой, водяной молодежи: кувшинок, камышей и осок. Спокойный зеленоватый пруд медленно цедил свою ленивую воду сквозь старые челюсти, грохотал жерновами, пылил мукой, и было похоже, что старушка сердится — умаялась.

Но только зима давала ей полный, близкий к уничтожению и смерти покой. Пустынная вьюга серебрила крышу, заносила окна, оголяла цветущие берега и изо дня в день, из ночи в ночь качала, напевая тоскливый мотив, вершинами сосен, гудела и плакала. А с первым движением льда начиналось беспокойство: колыхалась расшатанная плотина, вода бурлила и буйствовала, гомонили утки и кулики, в небе мчались бурные весенние облака, и старый, монотонный, как древняя легенда, ропот мельницы будил жидкое эхо соснового перелеска.

Водяные жители, впрочем, давно привыкли к этой чужой и ненужной им воркотне колес. Птицы жили шумно и весело, далекие от всего, что не было водой, небом, зеленой камышей, любовью и пищей. Дикие курочки, зобастые дупеля, красавцы-бекасы, турухтаны, кулики-перевозчики, мартышки, чайки, дикие и домашние утки — весь этот сброд от зари до зари кричал на все голоса, и радостный, весенний воздух слушал их песни, бледнея на рассвете, золотясь днем и ярко пылая огромным горном на склоне запада. Изредка, и то, бывало, преимущественно после

снежных, суровых зим,— появлялись лебеди. Аристократы воды, они жили отдельно, гордой, прекрасной жизнью, строгие и задумчивые, как тишина летнего вечера. Их гнездо скрывалось в густом камыше, и сами они редко показывались на просторе, но часто, в тихую радость утренних теней, врываются и таяли звуки невидимого кларнета; это кричали лебеди. Мельник редко выходил наружу, хотя и не был колдуном, как это утверждали некоторые. Но если вечером случайно проходящий охотник замечал его жилистую, сутуловатую фигуру, с непокрытой головой, босиком, и без пояса — ему непременно следовало смотреть вдаль, куда смотрит мельник: там плавали лебеди.

II

Все в жизни происходит случайно, но все цепляется одно за другое, и нет человека, который в свое время, вольно или невольно, не был бы, бессознательно для себя, причиной радости или горя других.

Сидор Иванович был лавочник. Профессия эта почтенна, но незначительна; Сидор Иванович думал наоборот. Быть купцом — почетно, лавочник меньше купца — значит...

Таков был ход его мыслей. Купечество составляло его идеал, но достигнуть этого в данное время было для него невозможно. Деньги приобретались трудно, мошенничеств не предвиделось. Сидор Иванович скучал и бил жену.

Начал он великолепно. Три года приказчиком — три года приличного воровства. Поторопился — ушел. Собственная лавка, открытая им, торговала слабо, и Сидор Иванович никогда не мог себе простить, что начал торговать не с субботы, а с пятницы.

По воскресеньям он пел на клиросе, потом, если дело было зимой, ходил в гости к другим лавочникам, где ел пирог с морковью и жаловался на плохие дела. Летом же удил рыбу.

К ужению он имел большую охоту и даже страсть. Это напоминало ему торговлю — даешь мало, а получаешь много. Насадишь червячка, да и то не целого, а поймаешь целого ерша, да еще и червяк не съеден. Совсем как в лавке: продашь сахару на три копейки, а возьмешь пять.

Ершей он облюбовал особенно и пылал к ним даже своеобразной торгашеской привязанностью: дура рыба. Окуней не любил и по этому поводу говаривал:

— Что окунь? — Чиновник! На книжку берет, а денег не платит. Приманку изгрызет и был таков...

Когда рыба ловилась хорошо, Сидор Иванович был доволен и варил уху. Но часто, поболтав в ведерке рукой и уколую ее о жабры пойманных ершей, замечал:

— Если бы эстолько... тыщ!

Лицо его омрачалось, главным образом оттого, что тыщу на червяка не поймает. Он был жаден. И зол: вместе с крючком старался всегда вырвать внутренности. Рыба билась и выкатывала налившиеся кровью глаза, а он говорил:

— Такс!

III

На берегу валялась доска. Сидор Иванович решил пойти поискать под ней червячков, — весь запас вышел. Он положил удочку и пошел вдоль камышей.

Жар спадал, в городе смутно трезвонили чуть слышные колокола, тени вытягивались и темнели. Золотые наклоны света дрожали меж ярких сосен. Кричали утки, пахло тиной, водой и лесом. Синие и зеленые стрекозы сновали над камышами, желтели кувшинки. Отражая темную зелень берегов, блестела вода. А под ней голубел призрак неба — оно ясноло вверху.

Шагах в двадцати от берега, из кустов, закрывающих сквозную, веселую чащу перелеска, — вился сизый дымок, слышались неясные голоса. Звенела посуда, басистый смех прыгал и дрожал низом над водой. Камыши дремали. Плавные круги ширились и умирали в зеленых отблесках воды: рыба или лягушка.

Сидор Иванович подошел к доске, нагнулся, приподнял ее тяжелый, насквозь промокший конец, и сказал:

— Чай пьют. Городская шваль — девки стриженные, али попы. Попы открытый воздух обожают: с ромом.

В камышах что-то зашевелилось; Сидор Иванович взглянул и увидел в просвете береговой заросли, на маленьком твердом мыске — двух людей: черный пиджак и синяя юбка. Так определил он их. Увидел он еще и два затылка: мужской гладкий и женский — отягченный русы-

ми волосами, но определять их не стал и услышал следующее:

— Как он тихо плавает.

— А правда: похоже на гуся?

— Сам вы гусь. Это царь, он живет один.

Сидор Иванович поднял доску и с треском бросил ее оземь. На оголенной земле закопошились белые и розовые черви.

— Кто ходит? — встрепенулась женщина.

— Кто-то зашумел.

— Медведь, — сказал черный пиджак. — Съест вас.

Лавочник обиделся и хотел выступить из-за прикрытия, но удержался, насупись и крикнул. Эти люди были ему не по душе — господишки: то есть что-то смешное, презренное и «с большим понятием» о себе. Разговор продолжался. Сидор Иванович поднял червяка и меланхолически положил его в банку из-под помады.

— Он очень симпатичный, — сказала девушка. — Его белизна — живая белизна, трепетная, красивая. Я хотела бы быть принцессой и жить в замке, где плавают лебеди — и чтобы их было много... как парусов в гавани. Лебедь, — ведь это живой символ... а чего?

— Эка дура принцесса, — сказал про себя лавочник, — юбку подшей сперва, пигалица!

— Чего? — переспросил черный пиджак. — Счастья, конечно, гордого, чистого, нежного счастья.

— Смотрите — пьет!

— Нет — чистится!

— Где были ваши глаза?

— Смотрел на вас...

Лавочник оставил червяков. Он был заинтересован. Кто пьет? Кто чистится? Кто «симпатичный»? И все его любопытство вылилось в следующих словах:

— Над кем причитают?

Он выступил из-за камыша и осмотрелся.

IV

Пруд был так спокоен и чист, что казалось, будто плывут два лебедя; один под водой, а другой сверху, крепко прильнув белой грудью к нижнему своему двойнику. Но двойник был бледнее и призрачнее, а верхний отчетливо белел плавной округлостью снежных контуров на фоне

бархатной зелени. Все его обточенное тело плавно скользило вперед, едва колыхая жидкое стекло засыпающего пруда.

Шея его лежала на спине, а голова протянулась параллельно воде, маленькая, гордая голова птицы. Он был спокоен.

— Никак лебедь прилетел! — подумал лавочник. — Вот мельник дурак, еще ружьем балуется: шкура — пять рублей!

— Я слышала, — сказала девушка, — что лебеди умирают очень поэтически. Летят кверху насколько хватает сил, поют свою последнюю песню, потом складывают крылья, падают и разбиваются.

— Да, — сказал черный пиджак, — птицы не люди. Птицы вообще любят умирать красиво... Например, зимородок: чувствуя близкую смерть, он садится на ветку над водой, и вода принимает его труп...

Сидор Иванович почувствовал раздражение: птица плавает и больше ничего. Что тут за божественные разговоры? Что они там особенного увидели? Почему это им приятно, а ему все равно? Тьфу!

Собеседники обернулись. Глаза женщины, большие и вопрошательные, встретились с глазами лавочника.

— Хорошая штука! — сказал он вслух и дотронулся до картуза.

Ему не ответили. Тон его голоса был льстив и задорен. Лавочник продолжал:

— Твердая. Мочить надо. Жесткая, значит, говядина.

Опять молчание и как будто — улыбка, полная взаимного согласия; конечно, это на его счет, он человек неученый. Что ж, пусть зубки скалят. Шуры-амуры? Знаем.

Он смолк, не зная, что сказать дальше, и озлился. Птица плавает, а они болтают! Шваль городская.

— Свежо становится, — сказала девушка и резко повернулась. — Пойдемте чай пить.

И вдруг Сидор Иванович нашел нужные слова. Он приятно осклабился, зорко бегая маленькими быстрыми глазами по лицам молодых людей, прищурился и процедил, как будто про себя:

— Этого лебедя завтра пристрелить ежели. Дома ружьишко зря болтается. Эх! Знатное жаркое, дурья голова у мельника!

Он видел, как вспыхнуло лицо девушки, как насмешливо улыбнулся черный пиджак,— и вздрогнул от радости. Он ждал вопроса. Инстинкт подсказал ему, чем можно задеть людей, не пожелавших разговаривать с ним — и не ошибся. Девушка посмотрела на него так, как смотрят на кучу навоза, и спросила у него звонким, вызывающим голосом:

— Зачем же убивать?

— На предмет пуха,— кротко ответил лавочник, радостно блестя глазами.— Для удовольствия значит. Как мы, то есть охотники.

Она медленно отвернулась и прошла мимо, шурша ботинками в сочной траве. Мужчина спросил:

— Вы любитель покушать? Брюшко-то у вас того...

Сидор Иванович побагровел и задохнулся от бешенства, но было поздно; оба быстро ушли. Лавочник нагнулся, задыхаясь от волнения, и рассеянно поднял двух червяков. У противоположного берега лениво и плавно двигался лебедь.

— То есть,— начал Сидор Иванович,— птица плавает, какая невидаль, скажите, ради бога...

И вдруг ему послышалось, что эхо воды отразило упавшее из леса, обидное, сопровождаемое смехом, слово «дурак»... Он выпрямился во весь рост, приложил руку ко рту и заорал во весь простор:

— От дурака и слышу-у!

Эхо повторило звонко и грустно... ура-ка... рака... ака... шу...у!!!

Было тихо. Звенели невидимые ложечки, вечерняя прелесть стлала над водой кроткие тени. Реял сизый дымок самовара, звучал смех. И плыл лебедь.

V

Ночью Сидору Ивановичу приснилось, что он убил лебедя и съел. Убил он его, будто бы длинной и черной стрелой, точь-в-точь такой же, какие употребляются дикарями, описанными в журнале «Вокруг Света». Раненый лебедь смотрел на него большими, человеческими глазами и держал клювом, а он бил его по голове и приговаривал:

— Шваль! Шваль! Шваль!

Утро взглянуло сквозь ситцевые занавески и разбудило лавочника. Проснувшись, он стал припоминать вкус съе-

денного им во сне лебедя и машинально сплюнул: горький был. Потом вспомнил, что благодаря вчерашней случайности испортилось настроение и пропала охота удить, а был самый клев. Потом стал размышлять: застрелить лебедя или нет. И решил, что не стоит: мельник ругаться будет. А это неприятно — пруд его — не даст рыбу ловить.

Все же он не мог отказать себе в удовольствии мысленно прицелиться и выстрелить: трах! Пух, перья летят, вода краснеет... Забился... сдох. Впрочем, — что же из этого? Ну, хорошо, этого он убил. А еще их осталось сколько! Плавают себе и плавают.

И перед его еще сонными глазами проплыл, колыхаясь в зеленой воде, белый спокойный лебедь.

Сидор Иванович раздраженно сплюнул, вспомнив тех господчиков, и повернулся к жене. Она крепко спала и в рыхлом, рябом лице ее лежала сытая скука. Он поднял одеяло и плотоядно ущипнул супругу за жирный бок.

— Эх ты... лебедь! — сказал он, проглотив сладкую судорогу. — Ну, вставай, что ли!..

ИГРУШКА

I

В один из прекрасных осенних дней, полных светлой холодной задумчивости, неяркого сияния солнца и желтых, бесшумно падающих листьев, я гулял в городском саду. Аллеи были пусты, пахло прелью, земляной сыростью; в багрянце листьев светилось чистое голубое небо. Это был старинный провинциальный сад, изрезанный вдоль и поперек неправильными тропинками; сад с оврагами, густо поросшими крапивой; с кирпичами, мостиками и полусгнившими ротондами. Огромные столетние липы и березы почти закрывали небо; в их влажной сочной тени было так хорошо прилечь, наблюдая маленьких красногрудых снегирей, прыгавших по земле.

Я шел, помахивая тросточкой, вполне довольный настоящей минутой, тишиной и легкими послеобеденными мыслями. Повернув с аллеи на узкую кривую тропинку, я заметил двух мальчуганов, присевших на корточки в густой высокой траве, и подошел к ним совсем близко.

Сейчас трудно припомнить, почему это так вышло. Я человек довольно замкнутый, и неохотно сталкивающийся с кем бы то ни было, даже с детьми; возможно, что меня привлекло сосредоточенное молчание маленьких незнакомцев, изредка прерываемое тихими напряженными возгласами.

Оба так погрузились в свое занятие, что я, незамеченный, очутился от них не далее десяти шагов и притаился

за деревом. Мальчики продолжали возиться, устраивая что-то свое, понятное им и никому более. Вытянув шею, я разглядел обоих. Один, постарше, лет, вероятно, двенадцати, круглоголовый и низенький, выглядел сильным, задорным крепышом, румяный и загорелый. Другой, тоненький, высокий, с бледным, истощенным лицом и оттопыренными ушами, производил более симпатичное впечатление; природа как будто пожалела его, наградив парой чудных выразительных глаз. Одеты были оба они в летние гимназические блузы и белые форменные фуражки. Крапива и лопухи мешали мне хорошенько рассмотреть странное сооружение, возведенное мальчиками. Я был уверен, что эта незаконченная постройка превратится со временем в уродливую глыбу земли и палок под громким именем «Крепости Меткой Руки» или «Форта Бизонов» — забава, которой увлекался и я в те блаженные времена, когда длина моих брюк не превышала еще одного аршина.

Пока я гадал, старший мальчик согнулся, стругая что-то перочинным ножом, и я увидел два невысоких кола, торчавших из земли очень близко друг к другу. Верхние концы их соединялись короткой, прибитой гвоздями перекаладиной. Тут же сзади бледного мальчугана валялась грязная скомканная тряпка.

Круглоголовый сунул руку за пазуху и сказал:

— Думал — потерял. А она здесь.

Он вытащил что-то зажатое в кулак и показал приятелю. Потом бросил на землю. Это была бечевка, сматанная клубком. А я услышал в этот момент тоненькие неопределенные звуки, выходившие, казалось, из-под земли.

Гимназистик кончил строгать и встал. В руках у него был толстый заостренный кусок дерева. Он воткнул его в землю между вертикально торчащими кольями, взял бечевку и крепко аккуратно завязал один ее конец вокруг только что воткнутого колышка. Другой конец спустил через перекаладину, и я увидел... петлю. Младший, упираясь руками в согнутые колени, внимательно следил за работой, старательно помогая товарищу бровями и языком, точь-в-точь как на уроке чистописания.

— Готово, Синицын! — сказал крепыш и, быстро оглянувшись, прибавил торжественным, сухим голосом: — Веди те преступника!

И тут я сделался свидетелем неожиданной отвратительной сцены. Грязная тряпка оказалась мешком. Синецын встряхнул его, и на траву, беспомощно расставляя крошечные дрожащие лапы, вывалился слепой котенок. Он шатался, тыкался головой в траву и жалобно, тонко скулил, дрожа всем телцем.

— Ревет! — сказал Синецын, любопытно следя за его движениями. Смотри, Буланов — на тебя пополз!..

— Он думает, что мы его оправдаем, — сердито отозвался Буланов, хватая котенка поперек туловища. — Знаешь, Синецын, ведь все преступники перед смертью притворяются, что они не виноваты. Чего орешь? У-у!

Я вышел из-за прикрытия. Мое появление смутило маленьких палачей; Буланов вздрогнул и уронил котенка в траву; Синецын испуганно расширил глаза и вдруг часто замигал, подтягивая ремешок блузы. Я приветливо улыбнулся, говоря:

— Чего переполошились, ребята? Валяйте, валяйте! Интересно!

Оба молчали, переглядываясь, и по сердитым вытянутым лицам их было видно, как глубоко я ненавистен им в эту минуту. Но уходить я не собирался и продолжал:

— Экие вы трусишки, а? Что это у вас? Качели?

Буланов вдруг неожиданно и громко прыснул, побагровев, как вишня. Сравнение с качелями, очевидно, показалось ему забавным. Синецын откашлялся и протянул тоскливым, умоляющим голосом:

— Это... это... видите ли... вот... виселица. Мы хотели поиграть... вот... а...

Он умолк, захлебнувшись волнением, но Буланов подержал его.

— Так, ничего, — равнодушно процедил он, рассматривая носки своих сапог. — Игруем. А вам что?

— Да ничего, хотел посмотреть.

— Вы, может быть, драться думаете? — продолжал Буланов, недоверчиво отходя в сторону. — Так не нарывайтесь, у меня рогатка в кармане.

— Ах, Буланов, — укоризненно сказал я, — совсем я

не хочу драться. А вот зачем вы хотели котенка повесить?

— А вам что? — торопливо заговорил Синицын. — Вам-то не все равно? Все одно, его утопить хотели... и еще троих... Я у кухарки выпросил... Вот...

— Ему все равно! — подхватил Буланов.

— Так ведь вы не умеете, — заметил я, — тут нужно знать дело.

Мальчики переглянулись

— Умеем! — тихо сказал Буланов.

— Ну, как же?

— Как? А вот как, — снова заговорил Синицын, и его бледное лицо мечтательно вспыхнуло, — а вот как: ставят его под виселицу... А стоит он на стуле... Потом палач петлю наденет и...

— Врешь! — горячо перебил Буланов. — Вот и врешь! Сперва еще балахон наденут... совсем... с головой... Ну? Не так, что ли?

— Балахон? Да, — покорно повторил Синицын. — А потом — раз! Стул из-под него вышибут — и вся недолга.

— Это кто же тебе рассказал?

— Кто? Вот он, — Синицын указал на Буланова. — А ему дядя рассказывал.

— И он весь бывает синий, — заявил Буланов, намазывая бечевку вокруг пальца.

— Котенка оставьте, — сказал я. — Жалко. Бросьте эту затею!

Дети молчали. Мое заявление, по-видимому, не было для них неожиданностью, они предчувствовали его и не обманулись моей смирностью. Наконец, сердясь и краснея, Буланов сказал:

— Людей можно, а котят — нет?..

— И людей нельзя.

— Дядя говорит — можно, — возразил мальчик, окинув меня критическим взглядом, и прибавил:

— Он умнее вас. Он за границей был.

Возражения становились бесполезными. Авторитет дяди окончательно уничтожал меня в глазах моих противников. И как уверять их, что не он, дядя, умнее, а я?.. Я ударил ногой миниатюрную виселицу, и она рассыпалась. Гимназистки, оторопев, пустились бежать со всех ног, бросив

на произвол судьбы котенка, мешок и неиспользованную бечевку. Зверек пищал и ползал, путаясь в высокой траве.

Я обратил их в бегство, но был ли я победителем? Нет, потому что они остались при своем ясном и логическом убеждении:

— Если можно людей, то кошек — тем более...

Быть может, впоследствии, когда жизнь ярко и выпукло развернет перед ними свою подкладку, Синицын и Буланов преисполнятся сочувствия к кошкам и начнут тщательно воспитывать откормленных сибирских котов, но теперь как отказаться от нового романтического удовольствия, приближающего их детские души к непонятному волнующему трагизму современности, захватывающему и интересному, как роман из индийской жизни? «Там» — вешают... И мы...

Впечатления детства... Какова их судьба?

МАЛЕНЬКИЙ КОМИТЕТ

I

Геник приехал поздно вечером и с вокзала отправился прямо на явочную квартиру.

Его интересовала мысль: получено ли письмо о его приезде? Правда, он чуть-чуть поторопился, но в крайнем случае некоторые сакраментальные слова должны были выручить из затруднения. Вообще формалистику долой! Дело, дело и дело!

Этот большой город, сквозивший разноцветными огнями, шумный, пышущий неостывшим жаром каменных стен, взволновал его и наполнил боевым, трепетным настроением. Правда, это значило только, что Генику двадцать лет, что он верит в свои организаторские таланты и готов померяться силами даже с Плехановым. А романтическое и серьезное положение «нелегального» заставляло его еще плотнее сжимать безусые губы и насильно морщить гладкий розовый лоб. Кто думает, что он, Геник, еще «зеленый», тот ошибается самым роковым образом. Люди вообще имеют скверную привычку считать возраст признаком, определяющим опытность человека. Но здесь этого быть не может. Раз он приехал с специальными поручениями укрепить и поправить дело, подкошенное частыми провалами, ясно, что на лице его лежит некоторая глубокомысленная тень. Тень эта скажет сама за себя, коротко и ясно: «Опытен, отважен, хотя и молод. Зачем вам усы? И без усов все будет прекрасно»...

Такие и похожие на них мысли прекратились вместе со стуком извозчичьих дрожек, доставивших Геника туда,

куда ему нужно было попасть. Он вынул тощий кошелек, заплатил вознице и, поднявшись в третий этаж, нажал кнопку звонка.

Дверь отпер молодой человек с угрюмым и непроницаемым выражением лица. Не глядя на Геника, он повернулся к нему боком и, смотря в пол, холодно ответил на вопрос приезжего:

— Да, Варвара Михайловна живет здесь. Вот идите сюда, направо... еще... потом... и — вот сюда!

Он провел Геника по коридорчику и распахнул двери небольшой темной комнаты.

— А где же она? — сказал Геник, с недоумением смотря в темноту и не решаясь войти. — Быть может, скоро придет?

Юноша ничего не ответил на это, но, видя затруднение Геника, прошел вперед, зажег лампу на маленьком столике у стены и, по-прежнему боком, не глядя на посетителя, двинулся к выходу. Геник нерешительно спросил:

— Может быть, она... по делу ушла, товарищ?

Свирепый и подозрительный взгляд, исподлобья брошенный юношей, ясно дал почувствовать Генику неловкость своего вопроса. В самом деле, разве он знает, кто такой Геник? Оставшись один, приезжий с наслаждением растянулся на коротком диванчике и стал разглядывать комнату.

Здесь стояло два стола, один круглый, с цветной скатертью, — у дивана, другой, письменный, — у стены. На нем лежали книги, брошюры, разный бумажный хлам, блокноты, «нелегальщина». На светлых обоях смотрели прищипленные булавками Бакунин, Лавров, террористы и Надсон. В углу, у шкафа, белела кровать снежной чистоты, закрытая пикейным одеялом. Нигде ни пылинки, все прибрано и аккуратно.

— Вот явочная квартира, — сказал себе, усмехаясь, Геник. — Идиоты! Они совсем потеряли голову из-за провалов. Явочная квартира у комнатного жильца — что может быть нелепее? Как только познакомлюсь с местным комитетом, сейчас же обращу на это внимание. Явка должна быть там, где ходит много народа. Например: зубной врач, адвокат, библиотека... Эх! И отчего это мне так хочется есть?

Он внимательно обвел взглядом комнату, но нигде не было даже малейших признаков съестного. Это еще более

разожгло в Генике желание съесть что-нибудь и во что бы то ни стало. Он поднялся, порылся на окнах, в столе, но там не оказалось даже крошек.

— Если бы она была кисейная барышня,— сказал себе Геник,— то и тогда не могла бы питаться лунным светом. Сказано: «ищите и обрящите»!

Он походил немного взад и вперед, грызя ногти, потом решительно отворил нижнее отделение шкафа и вздрогнул от удовольствия: там лежали четыре яйца в бумажном мешочке, грецкие орехи, две груши. Груши исчезли, как сладкое воспоминание, но яйца оказались сырыми, и поэтому Геник сперва поморщился, а потом решительно разбил их и выпил, без соли, в один момент. Голод, однако, продолжал еще глухо ворочаться и брюзжать в желудке. Недовольный Геник уселся на полу и стал дробить орехи, ущемляя их дверцей шкафа.

— Конечно,— рассуждал он вслух,— я совершаю некоторое преступление. Но что такое частная собственность?

II

Треск раскалываемых орехов заглушил шаги девушки, вошедшей в комнату. Сначала она сконфуженно остановилась, затем покраснела и сказала:

— Ах, кушайте, пожалуйста! Я терпеть не могу орехов!

Геник вскочил с полным ртом, побагровел от мучительного усилия проглотить ореховую кашу и поклонился. Существо, стоявшее перед ним, ободрительно улыбнулось и сняло шляпу с маленькой русой головы. Геник протянул руку, бормоча:

— «Поклон от Карла-Амалии Грингмута».

— И вам «от князя Мещерского»,— ответила девушка.— Да вы садитесь, пожалуйста! Конечно, не на пол,— рассмеялась она,— а вот сюда хоть, что ли! Вы давно приехали?

Говоря это, она прошла по комнате, бросила взгляд на письменный стол, села против Геника и устремила на приезжего утомленные голубые глаза. Геник окинул взглядом ее маленькую, хрупкую фигурку и решил, что надо «взять тон».

— Приехал я недавно, сейчас,— сказал он протяжно, подымая брови, точь-в-точь так, как один из его знакомых

«генералов». — Но прежде всего простите меня за то, что я съел у вас яйца и груши: я был голоден, как сто извозчиков.

— Ну, что за пустяки! — проводя рукой по лицу и глубоко вздыхая, сказала девушка. — Вот я вас попозже отправлю ночевать к одному товарищу из сочувствующих. Он богатый и угостит вас отличным ужином.

— Я приехал сейчас, с вечерним поездом, — продолжал Геник. — А что, в комитете получено письмо обо мне?

— Да, я получила это письмо, — задумчиво произнесла девушка. — Вы, значит, приехали устраивать?

— Да, — важно сказал Геник, вспомнив слова одного областного, — знаете, периферия всегда должна звучать в унисон с центром. А здесь, как нам писали, нехватка работников. Поэтому-то я и поторопился к вам, в надежде, что вы меня сегодня же сведете с каким-нибудь членом комитета, и мы выясним положение. Так нельзя, господа! Это не игра в бирюльки.

Он уже совершенно оправился от смущения и взял небрежно-деловую интонацию. Девушка улыбнулась.

— Вы давно работаете?

Геник вспыхнул. Проклятые усы, и когда они вырастут?

— Я думаю, что это не относится к делу, — нахмурился он. — Итак, как же мы будем с членом комитета?

— Ах, простите, — застенчиво извинилась девушка, кусая улыбающиеся губки, — я вас спросила совсем не потому, что... а просто так. А с членом комитета — уж и не знаю. Они ведь все в тюрьме.

Геник подскочил от удивления и опешил. Этого он ни в каком случае не ожидал.

— Как — в тюрьме? — растерянно пробормотал он. — А я думал...

— Да уж так, — грустно сказала девушка. — Вот уже три недели. А я прямо каким-то чудом уцелела. И, представьте, одно за другим: типография, потом архив, потом комитет.

— Но что же, что же осталось? — допытывался Геник.

— Что осталось? Осталась печать... и потом — гектограф. Кружки рабочие остались.

В ее усталых больших глазах светились раздумье и нетерпение. Утомление, как видно, настолько одолевало ее, что она не могла сидеть прямо и полулежала на столе, подпирая голову рукой. Геник смутился и взволновался. Ему

показалось, что эта крошка смеется над ним или, в лучшем случае, желает отделаться от не внушающего доверия «устраивателя». Но, поглядев пристальнее в голубую чистоту мягких глаз девушки, он быстро успокоился, чувствуя как-то внутренне, что его опасения излишни.

— Так что же,— спросил он, закуривая папироску и снова невольно приосаниваясь,— вы, значит, не работаете, товарищ?

Девушка шире открыла глаза, очевидно, не поняв вопроса, и встряхнула головой, с трудом удерживаясь от зевоты.

— Я страшно устала,— тихо, как бы извиняясь, сказала она,— и больше не могу. Поэтому-то я и написала вам. У меня ведь адреса были... и все. Ожидая обысков, мне передали.

— Я ничего не понимаю,— с отчаянием простонал Генник, ероша волосы и чувствуя, что потеет.— Мы получили письмо от комитета здешнего...

— Да, да!— с живостью воскликнула девушка.— Это же я и написала, как будто от комитета; разве вы не понимаете? Ведь комитета же нет!

Геник облегченно вздохнул. Он понял, но тем не менее продолжал сидеть с вытаращенными глазами. И, наконец, через минуту, улыбаясь, спросил:

— И печать приложили?

— И печать приложила. Я, может, виновата, знаете, во всем, но иначе я не могла, уверяю вас, я не вру... Ведь о н и мне ничего не давали, ну, понимаете, решительно ничего не давали... А я все на побегушках да разная этакая маленькая чепуха... А когда о н и сели...

Она оживилась и выпрямилась. Теперь глаза ее блестели и сияло лицо, как у ребенка, довольного своей хитростью.

— Когда о н и сели, я была как пьяная... и долго... пока не устала. С утра до вечера вертишься, вертишься, вертишься... Восемь кружков, ну, я их разделила по одному в неделю и... мы очень хорошо и приятно разговаривали... А потом, понимаете, чтобы полиция не возгордилась, что вот, мол, мы всех переловили, я стала на гектографе... А теперь я уж не могу. Ночью вскакиваю, кричу отчаянным голосом... Господи, если бы я была мужчиной!

Она вздохнула, и печальная тень легла на ее светлое лицо. Потом смешные и милые морщинки досады вы-

ступили между тонких бровей. Геник смотрел на нее и чувствовал, что лицо его неудержимо расплывается в заботливую улыбку. Помолчав немного, он спросил:

— А потом написали в «центр»?

— Да.. Ну, конечно, вы понимаете, не могла же я уж сама, кто меня знает? А когда получается письмо от комитета, это совсем другое дело...

Но Геник уже не слушал ее. Он хохотал, как одержимый, закрывая руками прыгающий рот, хохотал всем нутром, всем заразительным весельем молодости. Минуту спустя в комнате было уже двое хохочущих людей, позабывших усталость, опасности и темное, жуткое будущее... И один был серебристый и ясный смех, а другой — бурный и неистовый.

Потом усталость и заботы взяли свое. Девушка сидела молча; голубой взгляд ее скрашивал черную ночь, стоявшую за окном. Геник поборолся еще немного с сонливостью и сказал:

— Так вы отведете меня к буржую?

— Нет,— встрепенулась она.— Я расскажу вам. Вы найдете сами. Я не могу, простите... Я разбита, вся разбита, как ломовая лошадь.

На другой день вечером Геник сел писать подробнейшую реляцию в «центр». Между прочим, там было написано и следующее:

«Комитет ходит в юбке. Ему девятнадцать лет, у него русые волосы и голубые глаза. Очень маленький комитет».

У Геника, видите ли, была юмористическая жилка.

ЕРОШКА

I

Ерошка ходил всегда в длинной рубахе без пояса и считался мужиком слабоумным, лядащим. Вихры рыжих волос, смешно торчавших из-под маленького, приплюснутого картуза, придавали его одутловатому, веснушчатому лицу выражение постоянного беспокойства и нетерпения. Глаза у него были голубые, загнанные, а борода белесоватая и остроконечная.

Впрочем, особенно его не трогали и, если когда дразнили — то так, мимоходом, скорее по привычке, без того особенного, злобного упорства, каким отличается русский человек. Даже прозвище Ерошки было «блажной», а не «чудной». Ерошка не задумывался. Капризы его были не сложны и заключались, с одной стороны, в какой-то необыкновенно длинной и хитрой дудке, сделанной им самим; с другой — в любви к скандалам и происшествиям. Удивительно, что сам он был нрава смирного, но страшно любил смотреть всякую драку, буйство, даже грызню собак. О драках он мог говорить долго и обстоятельно, размахивая руками и захлебываясь от восторга.

— Ка-эк двинет! Ка-эк двинет, братец ты мой! — говорил он, прищелкивая языком. — Зуб выхлестнул, — добавлял он, помолчав. — Скулу всю разворотил!

Разговор переходил на другое; о драке уже забывалось, но вдруг Ерошка вставлял снова и неожиданно:

— Себе лоб раскровянил!

На дудке он играл больше весной, забравшись куда-нибудь в огород, между кучей сухого навоза и кустом ре-

пейника. Сидел на корточках, свистел заунывно и нескладно, часто останавливаясь и прислушиваясь к тихим вечерним отголоскам, полным мирной грусти и жалобы. Бежали мальчишки, покрикивая:

— Ерошка-дергач!

Он, вероятно, не слышал их. Случалось, что какой-нибудь, особенно назойливый парень, перегнувшись через изгородь и ухарски заломив шапку, начинал подвывать пьяным голосом, но и тогда Ерошка ограничивался одним кратким замечанием:

— Будя забор подпираты! Брысь, нечистая!

II

Хозяйство у Ерошки было маленькое, нищенское. Но когда умерла жена, один сын ушел на заработки, а другой в солдаты, Ерошка не голодал и даже изредка пьянствовал. Жила с ним еще одна девочка, сирота; ей было тринадцать лет и звали ее Пашей.

Когда Ивана брали на службу,— Ерошка плакал, ставил свечи угодникам. Более всего он был огорчен тем, что не успел женить сына и теперь оставался без работников, что было тяжело, особенно летом. Со службы Иван писал часто и слезливо, просил денег, а однажды сообщил, что произведен в унтеры и имеет две нашивки. Это было написано его собственным, ужасным почерком на открытке, изображавшей какого-то великолепного гвардейца в ярком, цветном мундире, с красными погонами и белым околышем. У гвардейца были розовые, круглые щеки. Открытку эту Иван предупредительно заклеил в конверт и послал заказным, чтобы не затерялась.

Ерошка рассматривал картинку очень долго, улыбаясь и щурясь собственным, новым мыслям. В грязной, закопченной избе появилось яркое, маленькое пятно, полное какой-то бодрой радости, знак неизвестной жизни, связанной с городом и со всеми туманными представлениями Ерошки о службе, блеске и музыке.

Ерошка был чрезвычайно доволен. Он поднес картинку к окну, рассмотрел ее на свет и вдруг, неожиданно, проследил, растерянно мигая покрасневшими веками. Потом схватил шапку и кинулся вон из избы, к кабатчику, постоянному чтецу деревенской корреспонденции. К вечеру

гвардеец был рассмотрен всей деревней, одобрен и запачкан многочисленными прикосновениями.

Картинка разбудила в Ерошке новую страсть. Часами он выпытывал у мужиков, побывавших на службе, все тонкости обмундировки и строевой службы, которые неуклюжего парня делают ловким молодцом. Быть может, он носил в сердце мечту о новом сыне, прекрасном, как Иван-царевич, в лаковых сапогах, удачливом и навсегда освободившемся от забитой деревенской жизни, с ее непосильной работой и смертельной тоской.

Он вдруг точно что-то понял и, поняв, глубоко затаил в себе. Лицо его постепенно приняло оттенок кроткого достоинства и невинного хвастовства. В минуты же одиночества он крепко и тяжело стал задумываться над тем, как живут «там», откуда приходят письма с картинками.

III

Наступила осень. В ближайшем уездном городе начались маневры, и в деревне, где жил Ерошка, остановилась на ночлег рота солдат.

Это были все плохо одетые люди, с усталыми и раздраженными лицами. В избе Ерошки ночевали четверо. Он ухаживал за ними, бормоча что-то себе под нос, тормозил девочку, гонял ее то на погреб, то к соседям — выпросить кусок сахара для «воинов». А когда солдаты наелись и напились, и задымились махорочные цыгарки, Ерошка, откашлявшись, приступил к беседе. Ухмыльнувшись и бегая глазами из угла в угол, он нерешительно произнес:

— А што, служивые... дозвольте вас этак, примерно...

— Дозволяем, папаша! — сказал бойкий парень, с глазами навывкате. — Ежели угостить нас хочешь, то это солдатам завсегда полезно. Эй, братцы! — повернулся он к остальным, — вот хозяин нас водочкой обнести хочет. Угощаешь, что ли, старик?

— Денег нету, — забормотал Ерошка, — вот истинный бог — нетути... Я бы кавалерам с полным удовольствием... Сам пью, намедни четверть втроем вылакал, прости господи! Вот дела-то каки. А нет денег, вот поди ж ты!

— Сыновья есть? — спросил строгий унтер. — Чай, кормить бы должны.

— Сын-то служит у меня, — с гордостью заявил Ерошка. — Ундером. Когда посылаю ему, когда нет. Денег нетути.

— А где он служит? — спрашивал унтер.

— Где служит-то? Надысь, в Баке... В Баку его спровадили. У моря, бают. Другое-от сын с подрядчиками пугается, на заработках... непутевый, вишь ты, слова не напишет. Да-а... Ундер, батюшка, весь, как есть, в полном облачении. Старается. А намеднись патрет прислал — ерой, право слово! Такой леший — как быдто и не похож совсем.

— А ну, покаж! — заинтересовался бойкий солдат. — Покаж!

Ерошка вспыхнул, заволновался и принялся старательно шарить за пазухой, отыскивая драгоценную картинку. Через минуту она очутилась в руках солдат, переходя от одного к другому. Ерошка сидел и молчал, выжидательно задерживая дыхание.

— Так разве это портрет? — пренебрежительно сказал унтер. — Это, братец ты мой — открытое письмо. Понял? Печатают их с разными картинками, а между прочим — и нашего брата изображают.

Ерошку взяло сомнение.

— Ой ли? — недоверчиво спросил он, скребя пятерней лохматый затылок.

— Ну, вот еще. Говорят тебе! И я такую могу купить, все одно, трешник она стоит!

— Вре?!

Солдаты зычно расхохотались.

— И чудак же ты, как я погляжу! — через силу вымолвил унтер, задыхаясь от смеха. — Кака нам корысть тебе врать?

Ерошка виновато улыбнулся и заморгал. Потом взял картинку из рук унтера и начал ее пристально разглядывать, стараясь вспомнить лицо сына, каким оно было три года назад.

Солдаты зевали, чесались и лениво перекидывались короткими фразами. В мозгу Ерошки неясно плавали отдельные человеческие черты лиц и фигур, виденных им в течение жизни, но лицо сына ускользало и не давалось ослабевшей памяти. Его не было, и как ни усиливался старик, а вспомнить сына не мог.

Сын был рыжий,— это он твердо помнил, а здесь, на картинке, молодец как будто потемнее, да и усы у него черные.

Солдаты завозились, укладываясь спать. Маленькая лампа коптила, освещая потемневшие бревна стен. Шуршали тараканы, ветер дребезжал окном. Ерошка лежал уже на полотах, свесив вниз голову, и думал.

— Вспомнил! — вдруг сказал он твердо и даже как будто с некоторым неудовольствием. — Вот она, штука-то кака! Ась?

— Чего ты? — осведомился сонный унтер, закрываясь шинелью.

— Сына вспомнил, — засмеялся Ерошка. — Таперича как живой он.

— Спи, трещотка, — огрызнулся один из воинов. — Ночь на дворе.

— Я удавиться хотел, — просто заявил Ерошка, болтая в воздухе босыми ногами. — Скучно мне это жить, братики. Ванька-то мне пишет: того нет, того нет, табаку нет, пища плоха... А я думаю — где это врать приобьют? Сам, гляди, как раздобыл, белый да румяный, что яблочко во Спасов день. Врешь, — думаю, — всего у тебя довольно, не забижают. Жисть твоя, — думаю, — сыр да маслице. Девки тоже, чай, за ним бегают. А теперь в голову ударило: ежели эта морда не твоя, на письме-то, может и в самом деле худой да заморенный? Я, братики, погожу давить-ся-то, все хоть целковый когда ни-на-есть, от меня получи. А со службы придет — непременно удавлюсь. Потому — скушно мне стало.

Ерошка умолк, зевнул во весь рот, перекрестился и стал укладываться.

МАТ В ТРИ ХОДА

Случай этот произошел в самом начале моей практики, когда я, еще никому не известный доктор, проводил приемные часы в унылом одиночестве, расхаживая по своему кабинету и двадцать раз перекладывая с места на место один и тот же предмет. В течение целого месяца я имел только двух пациентов: дворника дома, в котором я жил, и какого-то заезжего, страдавшего нервными тиками.

В тот вечер, о котором я рассказываю, произошло событие: явился новый, третий по счету пациент. Еще и теперь, закрыв глаза, я вижу его перед собой как живого. Это был человек среднего роста, лысый, с важным, слегка рассеянным взглядом, с курчавой белокурой бородкой и острым носом. Сложение его выдавало склонность к полноте, что составляло некоторый контраст с резкими, порывистыми движениями. Заметил я также две особенности, о которых не стоило бы упоминать, если бы они не указывали на сильную степень нервного расстройства: конвульсивное подергивание век и непрерывное шевеление пальцами. Сидел он или ходил, говорил или молчал, пальцы его рук неудержимо сгибались и разгибались, как будто их спутывала невидимая вязкая паутина.

Я притворился совершенно равнодушным к его визиту, сохраняя в лице холодную, внимательную невозмутимость, которая, как мне казалось тогда, присуща всякой мало-мальски серьезной профессии. Он смутился и сел, краснея, как девушка.

— Чем вы больны? — спросил я.

— Я, доктор...

Он с усилием взглянул на меня и нахмурился, рассматривая письменные принадлежности. Через минуту я снова услышал его вялый, смущенный голос:

— Вещь, изволите видеть, такая... Очень странная... странная. Странная вещь... Можно сказать — вещь... Впрочем, вы не поверите.

Заинтересованный, я пристально посмотрел на него; он дышал медленно, с трудом, опустив глаза и, по-видимому, стараясь сосредоточиться на собственных ощущениях.

— Почему же я вам не поверю?

— Так-с. Трудно поверить,— с убеждением возразил он, вдруг подымая на меня близорукие, растерянны улыбающиеся глаза.

Я пожал плечами. Он сконфузился и тихонько кашлянул, по-видимому, приговарываясь начать свой рассказ. Левая рука его несколько раз поднималась к лицу, теребя бородку; весь он, так сказать, внутренне суетился, что-то обдумывая. Это было особенно заметно по напряженной игре лица, горевшего попеременно отчаянием и смущением. Я не торопил его, зная по опыту, что в таких случаях лучше выждать, чем понукать.

Наконец, человек этот заговорил и, заговорив, почти успокоился. Голос его звучал ровно и тихо, лицо перестало подергиваться, и только пальцы левой руки по-прежнему быстро и нервно шевелились, освобождаясь от невидимой паутины.

— Удивлять, так удивлять,— сказал он как будто с сожалением.— Вы меня только... очень прошу-с... не перебивайте... Да-а...

— Не волнуйтесь,— мягко заметил я.— Удивление же — это удел профанов.

Намекнув ему таким образом на свою предполагаемую опытность в области психиатрии, я принял неприужденную позу, то есть заложил ногу за ногу и стал постукивать карандашом по кончикам пальцев. Он замаялся, вздохнул и продолжал:

— Пожалуйста, не будете ли вы так добры... если можно... каждый раз, как я руку подыму... прошу извинить... побеспокойтесь сказать, пожалуйста: «Лейпциг... Международный турнир-с... Мат в три хода»? А? Пожалуйста.

Не успел я еще изобразить собой огромный вопросительный знак, как снова посыпались страстные, убеждающие, тихие слова:

— Не могу-с... Верите ли? Не сплю, не ем, идиотом делаюсь... Для отвлечения от мыслей это мне нужно, вот-с! Как скажете эти слова, так и успокоюсь... Говоришь, говоришь, а она и выплывает, мысль эта самая... Боюсь я ее: вы вот извольте послушать... Должно быть, дней назад этак восемь или девять... Конечно, все думаем об этом... Тот помрет, другой... То есть — о смерти... И как оно все происходит, я вам доложу, как одно за другое цепляется — уму непостижимо... Сидел я этак у окошка, книгу читал, только читать у меня охоты большой не было, время к обеду подходило. Сижу я и смотрю... Ведь вот настроение какое бывает, — в иной момент плюнул бы, внимания не обратил... А тут мысли рассеянные, жарковато, тихий такой день, летний... Идет это, вижу, женщина с грудным младенцем, платок на ней кумачовый, красный... Потом девочка лет семи пробежала, худенькая девчонка, косичка рыжая это у ней, как свиной хвостик торчит... Позвольте-с... Вот вижу, следом гимназистка проходит, потом дама, и очень хорошо одетая, чинная дама, а за ней, извольте видеть, — старушка... Вот... понимаете?

Я с любопытством посмотрел на его руки: они быстро, мелко дрожали, расстегивая и застегивая пуговицу сюртука. В том, что он рассказывал мне, для него, по-видимому, укладывалась целая цепь каких-то пугающих умозаключений.

— Нет, не понимаю, — сказал я, — но продолжайте.

Он был сильно бледен и смотрел куда-то в сторону, за портьеру. Я ободрительно улыбнулся, он сморщился, подумал и продолжал:

— Как старушка прошла, мне и вступи в голову такая история: одной ведь теперь похоронной процессии не хватает... отошел от окна я, а все думаю: и ты, брат, померешь... ну, и все в этаким роде. А потом думаю: да кто мы все такие, живые, ходящие и говорящие? Не только, что трупы созревающие, вроде как яблоки на сучке, а и есть еще во всем этом какая-то страшная простота...

Перед двумя последними словами голос его пресекся от возбуждения. Я напряженно слушал.

— Все это, — продолжал он, — аппетита моего не испортило. Пообедав, с наслаждением даже в гамаке лежал... А как подошла ночь, хоть караул кричи, — схожу с ума, да и все тут!..

Жалкая улыбка застыла на его судорожно сосредоточенном, вспотевшем лице. Вытащив носовой платок и сморкаясь, он продолжал смотреть мне в лицо тем же пристальным, остолбеневшим взглядом.

Я невольно улыбнулся: эта маленькая деталь, носовой платок, вдруг разрушила немного жуткое впечатление, произведенное на меня странным, чего-то испугавшимся человеком. Но он стал рассказывать дальше, и скоро я снова почувствовал себя во власти остро, болезненного любопытства. Еще не зная в чем дело, я, кажется, уже готов был поверить этому человеку, оставляя под сомнением его ненормальность.

Он спрятал платок и продолжал:

— До вечера был я спокоен... Веселый даже ходил... ну, отправляясь спать, в садик вышел по обыкновению, посмотреть, папироску выкурить. Тихо, звезды горят как-то по-особенному, не мягко и ласково, а раздражают меня, тревожат...

Сиюю, думаю... О чем? О вечности, смерти, тайне вселенной, пространстве... ну, обо всем, что в голову после сытного ужина и крепкого чаю лезет... Философов вспоминаю, теории разные, разговоры... И вспомнилась мне одна вещь, еще со времен детства... Тогда я сильно гордился тем, что, так сказать, собственным умом дошел. Вот как я рассуждал: бесконечное, количество времени прошло, пока «я» не появился... Ну-с, умираю я, и допустим, что меня совсем не было... И вот — почему в пределах бесконечности я снова не могу появиться? Я немного сбивчиво, конечно... но пример... такой... чистый лист бумаги, скажем, вот. Беру карандаш, пишу — 10. А вот — взяла и стираю совсем, начисто... И что же! Беру карандаш снова и снова «10» пишу. Понимаете — 1 и 0.

Он замолчал, перевел дух и вытер рукавом капли пота, мирно блестевшие на его измученном лысом черепе.

— Продолжайте, — сказал я, — и не останавливайтесь. В таких случаях лучше рассказать сразу, это легче.

— Да, — подхватил он, — я... и... ну, не в этом дело... Так вот. Мысли мои вертелись безостановочно, как будто вихрь их какой подхватил... И вот здесь, в первый раз, мне пришла в голову ужасная мысль, что можно узнать все, если...

— Если? — подхватил я, видя, что он вдруг остановился.

Он ответил шепотом, торжественным и удрученным:

— Если думать об этом безостановочно, не боясь смерти.

Я пожал плечами, сохраняя в лице вежливую готовность слушать далее. Пациент мой судорожно завертелся на стуле, очевидно, уколотый.

— Невероятно? — воскликнул он. — А что, если я вам такую перспективу покажу: вы, вот вы, доктор, сразу, вдруг, сидя на этом кресле, вспомните, что есть бесконечное пространство?.. Хорошо-с... Но вы ведь мыслите о нем со стенками, вы ведь стенки этому пространству мысленно ставите! И вдруг нет для вас ничего, стенок нет, вы чувствуете всем холодом сердца вашего, что это за штука такая — пространство! Ведь миг один, да-с, а этот самый миг вас насмерть уложить может, потому что вы — не приспособлены!..

— Возможно, — сказал я. — Но я себе не могу даже и представить...

— Вот именно!.. — подхватил он с болезненным торжеством. — И я не представил, но чувствую, — и он стукнул себя кулаком в грудь, — вот здесь ношу чувство такое, что, как только подумаю об этом пристально, не отрываясь, — пойму... А поняв — умру. Вот давеча я просил вас слова «мат в три хода» крикнуть, если я руку подыму... Все это оттого, что вы мне этими самыми словами в критический момент, когда оно начнет уже подступать, — другое направление мыслям сразу дадите.

А задачу эту в три хода я выудил, когда еще журналичик один выписывал. Я ее, голос ваш услышав, — и начну с места в карьер решать... Так вот-с... сижу я, вдруг, слышу, жена меня с крылечка зовет: «Миша!». А я слышу, что зовет, но отвечать ей, представьте себе, не могу, — сковало мне язык, и все тут... Потом уж я догадался, в чем тут штука была: настроение у меня было в момент этот, так сказать, самое неземное, редкое даже настроение, а тут нужно о деле каком-нибудь домашнем разговаривать, пустишь разные. Молчу я. Второй раз зовет: «Миша-а! Уснул, что ли, ты?» Тут я разозлился и сказал ей, извините, вот эти самые грубые слова: «Пошла к черту!» Хорошо-с. Ушла она. И так мне грустно стало после этого, что и не расскажешь. Пойду, думаю, спать. Разделся, лег, а все не спится мне, круги разные мелькают, мухи светящиеся бегают... А сердце, надо вам сказать, у меня давно не в порядке... Вот и начало оно разные

штуки выделывать... То остановится, то барабанным боем ударит, да так сильно, что воздуха не хватает... Страх меня взял, в жар бросило... Умираю, думаю себе... И как это подумал, поплыла кровать подо мной, и сам я себя не чувствую... Ну, хорошо. Прошло это, опомнился... однако спать уже не могу... Мысли разные бегут, бегут как собаки на улице, разные образы мелькают, воспоминания... Потом, вижу, девочка идет утренняя, за ней барышня, потом старуха... вся эта процессия, как живая, движется... И только знаете, мысль моя на этой старухе остановилась, как задрожал я и закричал во весь голос: чувствую, один поворот мысли, и пойму, понимаете,— пойму и разрешу все, всю загвоздку смерти и жизни, как дважды два — четыре... И чувствую, что, как только пойму это, в тот же самый момент... умру... не выдержу.

Он замолчал, и показалось мне, что сама комната вздохнула, шумно и судорожно переводя дыхание. Белый, как известь, сидел передо мной испуганный человек, не сводя с моего лица стеклянных, вытаращенных глаз. И вдруг он поднял, вытянув вверх руку, старательным, неуклюжим движением,— знак подступающего ужаса,— руку с крахмальной манжеткой и бронзированной запонкой.

И было, должно быть, в этот момент в комнате двое сумасшедших — он и я. Его паника заразила меня, я растерялся, забыв и «мат в три хода», и то, что значила эта беспомощная, выброшенная вверх рука с желтыми пальцами. Без мыслей, с одним нестерпимо загоревшимся желанием вскочить и убежать, смотрел я в его медленно уходящие в глубь орбит глаза,— маленькие, черные пропасти, потухающие неудержимо и бесцельно...

Рука опускалась. Она лениво вогнулась сначала в кисти, потом в локте, потом в предплечье, всколыхнулась и тихо упала вниз, мягко хлопнув ладонью о сгиб колена.

Испуг возвратил мне память. Я вскочил и крикнул размеренным, твердым голосом, стараясь не показаться смешным самому себе:

— Лейпциг! Международный турнир! Мат в три хода!

Он не пошевелился. Мертвый, с успокоившимся лицом, залитый электрическим светом,— он продолжал неподвижно и строго смотреть в ту точку над спинкой моего кресла, где за минуту перед этим блестели мои глаза.

МАЛЕНЬКИЙ ЗАГОВОР

I

— Садитесь, поговорим,— ласковым голосом сказал Геник, подвигая стул очень молодой девушке, на вид не старше семнадцати лет.— Мне поручено объяснить с вами и, что называется,— во всех деталях.

Гостью застенчиво улыбнулась, села, оправляя коричневую юбку тонкими, слегка задрожавшими пальцами, и устремила на Геника пристальные большие глаза, темные, как вечернее небо. Геник мысленно побарабанил пальцами, оседлал другой стул и спросил:

— Как меня нашли?

— Я вас отыскала скоро... Хотя вы живете в таком глухом углу... Я даже улицы такой раньше не знала.

— Улицу эту выстроили специально для меня!— пошутил Геник.— Смею вас уверить.

— Еще бы! — слабо улыбнулась она.— Для нас с вами другие места приготовлены.

— Каркайте, каркайте... Что же — улицу через прохожих отыскали?

Девушка отрицательно покачала головой.

— Нет,— поспешно сказала она,— мне объяснил Чернецкий, что улица эта выходит в числе прочих на Армянскую. Я ее всю и прошла, в самый конец.

Геник сделал серьезное лицо.

— Это хорошо! — заявил он, одобрительно кивая.— Всегда нужно стараться, как можно меньше расспрашивать прохожих. Особенно в деле особой важности.

Девушка с уважением окинула глазами небрежно оседлавшую стул, худую и коренастую фигуру Геника. Даже и эту тонкость он считает важной — должно быть, замечательный человек.

— Ваше имя — Люба? — спросил юноша.

— Да.

Наступило короткое молчание. Девушка рассеянно оглядывала комнату, пустую и неудобную, где, кроме пунцовой розы, алевшей на столе в дешевом запыленном стакане, не на чем было остановиться и отдохнуть глазу. В широкое, настежь отворенное окно, вместе с теплым ветром и шелестом цветущей черемухи, плыл солнечный свет, щедро заливая грязные обои голых стен пыльно-золотистыми пятнами, на фоне которых, беззвучно и неуловимо, как ночные бабочки в свете лампы, — трепетали мелкие, пугливые тени ветвей и листьев, глядевших в окно.

Стол был пуст — ни книг, ни брошюр. Видимый печатный материал валялся на полу, в образе скомканной газеты. В углу — чемодан, койка более чем холостого вида и тяжелая дубовая трость. Зато пол был щедро усеян окурками и спичками.

— Нам, пожалуй, серьезно придется сейчас беседовать... — сказал Геник, рассматривая девушку. — Вы, конечно, против этого ничего не имеете?

Люба расширила глаза и нервно повела плечами. Странно даже спрашивать об этом.

— Что же я могу иметь? — тихо и вопросительно проговорила она. — Чем серьезнее, тем лучше.

Последние слова прозвучали просьбой и, отчасти, задором молодости. Лицо Геника стало непроницаемым; казалось, оно потеряло всякое выражение. Он сильно затянулся папиросой, окружая себя голубыми клубами дыма, и сказал уже совсем другим, твердым и отчетливым голосом:

— Хорошо.

Люба ждала, молча и неподвижно. Глаза ее прямо, с покорностью ожидания, смотрели на Геника.

— Хорошо! — повторил он медленнее и как бы в раздумьи. — Так вот что, Люба, для удобства и большей продуктивности разговора, мы сделаем так: я буду спрашивать, а вы отвечать... Идет?

— Все равно,— сказала девушка, напряженно улыбаясь.— Это как на допросе.

— Ну, да... Видите ли — это, по некоторым соображениям, важно для меня.

Люба молча кивнула головой.

— Да. Так вот: скажите, пожалуйста,— сколько вам лет?.. Это нескромно, но, надеюсь, вам не более двадцати, так что,— мы, конечно, не рассоримся.

— В августе будет восемнадцать...— слегка покраснев, сказала девушка.— А что?

— Хм...

Новые клубы дыма и новый окурочок на полу. Геник достал и зажег свежую, третью по счету, папиросу.

— Я так боялась этого! — тихим, срывающимся голосом заговорила Люба, и ее лицо, правильное и нежное, внезапно покрылось розовыми пятнами.— Того.... что.... может быть... моя молодость... может там... помешать, что ли... но...

Геник досадливо махнул рукой.

— Что молодость?— с неудовольствием перебил он.— Не в молодости дело... А в вас самих... Но, однако, мы уклонились... Скажите — сколько человек в вашем семействе? И кто они?

— Четверо,— неохотно, удивляясь тому, что ее спрашивают о таких, совершенно посторонних вещах, сказала девушка.— Мама... я... папа, потом сестры две...

— Старше вас?

— Нет... где же старше... Еще гимназистки...

— И вы ведь, Люба, учились в гимназии?

— Я? Училась...

— Д-аа...— Геник вздохнул и уставился через открытое окно в сад: — Все мы вкушали когда-то от этой премудрости. У меня есть братишка, маленький глупый человек. Так вот он пришел однажды из класса и начал с чрезвычайно сосредоточенным и мрачным видом колотить ногами о дверь. Я его и спрашиваю: «Ты, Петька, что делаешь?» А он скорчил свирепое лицо и говорит: «Прах от ног своих отрясаю».

Люба задумчиво улыбнулась, не сводя с Геника больших, наивно-серьезных глаз, и медленно наклонила вперед голову, как бы приглашая говорить дальше. Геник обождал несколько мгновений и перешел в деловой тон.

— Ко мне вас направил Чернецкий? — спросил он, сосредоточенно грызя ногти.

— Да...

— Он рассказал мне о вас все! — заявил Геник, отрываясь взглядом от ровного, чистого лба девушки. — По общему мнению... у нас, видите ли, было совещание... вам решено не препятствовать и... помогать...

Люба заволновалась и нервно покраснела до корней волос. Краска быстро залила маленькие уши, высокую, круглую шею и так же быстро отхлынула назад к сильно забившемуся сердцу.

Она так боялась, что ее заветная мечта не исполнится. Но грозный момент, очевидно, придвигался и теперь стал перед ней лицом к лицу в этой убогой, обыкновенной на вид и жалкой комнате.

Геник встал, шумно отодвинул стул и зашагал от стола к двери. Люба механически следила за его движениями, желая и не решаясь спросить: что дальше?

— Не связаны ли вы с кем-нибудь? — быстро и немного смущаясь, спросил Геник. — Нет ли для вас чего-нибудь дорогого?... Семья, например... — Он не пожалел о своих словах, хотя мгновенная неловкость и боль, сверкнувшие в глазах девушки, сделали молчание напряженным. Геник повторил, тихо и настойчиво:

— Так как же?

— Я, право... не знаю... — с усилием, краснея и ежась, как от холода, заговорила она. — Нужно ли это... спрашивать... Я же сама... пришла.

— Вы вправе, конечно, недоумевать, — сказал, помолчав, Геник, — но, уверяю вас... Хотя, впрочем... Вам отчего-то трудно говорить об этом... хорошо, но скажите мне, пожалуйста, только одно: у вас нет близкого человека, кроме... ваших родных?

Он остановился посредине комнаты, ожидая ответа с таким видом, как если бы от этого зависело все дальнейшее течение дела. Люба подняла на него растерянный взгляд, снова покраснела и смешалась. По дороге сюда мечталось о чем угодно, кроме этого непонятного и мучительного вопроса.

— Я потому спрашиваю, — сказал Геник, желая вывести девушку из затруднения, — что нам нужно знать, будет ли у вас кому ходить в тюрьму, в случае... Если «да», то кивните, пожалуйста, головой.

Кивок этот, хотя Люба его и не сделала, он угадал по опущенным, неподвижно застывшим ресницам. Через мгновение она снова подняла на него свои темные, с ясным голубым отливом глаза.

Ветер мягко стукнул оконной рамой и шевельнул брошенную на пол газету. Геник подошел к окну и сейчас же отошел прочь. Люба вздохнула, нервно стиснула хрустнувшие пальцы и выпрямилась.

— Так, значит, вам не жалко жизни? — равнодушно, полуспрашивая, полуутверждая, сказал Геник. — А?

Люба облегченно рассмеялась углами рта. Слава богу, — вопросы о домашних делах покончены. Хотя странный, немного торжественный в своем равнодушии тон Геника по-прежнему держал ее настороже... Она отбросила за ухо темные непокорные волосы и сказала:

— Как жалко? Я не знаю... А вам разве не жалко?

Девушка нетерпеливо задвигалась на стуле, и меж тонких бровей ее мелькнула легкая, досадливая складка. Если Геник желает болтать, может выбрать другое место и время. А ей тяжело и совсем не до разговоров.

Он же, казалось, вовсе не спешил удовлетворить ее нетерпение. Широкая спина Геника неподвижно чернела у окна, загораживая свет, и только дым шестой папиросы, улетаая в сад, показывал, что это стоит живой, задумавшийся человек.

В комнате напряженно бились две мысли, и маятник дешевых стенных часов, казалось, равнодушно отбивал такт неясным, упорным словам, таинственно и быстро мелькавшим в мозгу. Наконец Геник отошел в глубину комнаты, снова уселся верхом на стул и спросил громким, неожиданно резким голосом:

— Твердо решаетесь?

— Да! — безразлично, с поспешностью утомления сказала девушка.

Глаза ее встрепенились и загорелись. Казалось — новая волна внутреннего напряжения поднялась в этот пристальный, ждущий взгляд и нервным толчком хлестнула в лицо Геника.

— Теперь вот что... — заговорил он, смотря в сторону. — Вы, значит, поедете за сто верст отсюда в ***ск...

Лицо Любы отразило глубокое недоумение.

— Простите, я не понимаю... — нерешительно сказала она, понижая голос. — Ведь... Мне Чернецкий сказал,

что все здесь... что все готово и... завтра вечером... Также, что от вас я узнаю все инструкции и получу...

Геник с досадой бросил папиросу.

— Вы слушайте меня! — резко, почти грубо перебил он и, заметив, что Люба вспыхнула, добавил более мягко: — Положение изменилось. Фон-Бухель уехал сегодня утром и придет только через месяц.

Девушка молча, устало кивнула головой.

— Этот месяц вы проживете там и будете держать карантин. Что такое карантин — вы знаете или нет?

— Да, я слышала что-то... изоляция, кажется?

— Вот... Жить будете по чужому паспорту... Я вам его сейчас дам. Никаких знакомств. Переписываться нельзя...

— А если...

— Постойте... Вот вам адрес; запомните его и не записывайте ни в каком случае: Тверская, дом 14, квартира 15. Марья Петровна Кунцева.

Она подняла глаза к потолку и по гимназической привычке зашевелила губами, стараясь запомнить. Потом слабо улыбнулась и сказала:

— Ну, вот. Готово...

— Прекрасно, Люба. Так вот, я даже не буду вас наставлять разным конспиративным тонкостям. Там вам все расскажут, устроят и прочее. Приехав, вы скажете лично, самой Кунцевой, следующее: «Я от Геника».

— «Я от Геника», — с уважением к человеку, имя которого отворяет двери, прошептала девушка. — Только... ради бога... зачем я должна ехать?

— Видите ли, — с сожалением пожал плечами Геник, — так решено комитетом... Вы здешняя, и всякие следы ваших с нами сношений должны быть уничтожены. Поняли?

— Да. — Люба весело кивнула головой. — Значит, все-таки выйдет. Я так счастлива...

Геник неопределенно крикнул и хотел сказать что-то, но раздумал. Глаза девушки, блестящие странным, тихим светом, удержали его.

— Поезд идет сегодня вечером в 10 часов, — сказал он, помолчав, усталым и решительным голосом. — Видеться вам с кем-нибудь перед отъездом решительно нет никакой необходимости...

— Так сегодня? — удивилась Люба. — Так скоро?..

— Ну, вот что! — рассердился Геник. — Если вы хотите, то знайте, что от того, уедете ли вы сегодня или нет — зависит все... Я вам сказал.

— Я еду, еду! — поспешно, с растерянной улыбкой сказала девушка. — Хорошо...

Наступило молчание. Портсигар Геника опустел. Он с треском захлопнул его и встал. Люба тоже встала и сделала движение к столу, где лежала ее шляпа.

— Постойте! — вспомнил Геник. — А деньги? Вот, берите деньги.

Он вынул кошелек и протянул, не считая, несколько бумажек. Девушка спокойно спрятала их в карман. Она брала их не для себя, а для «дела».

— Вот и паспорт...

— Спасибо... вам...

Голос ее слегка дрогнул, а затем Люба сделала маленькое усилие, сжала губы и спокойно посмотрела на Геника.

Нет, он решительно не в состоянии выносить этот напряженный голубой взгляд. Стукнуть стулом, что ли, или прогнать ее? Геник деланно зевнул и сказал, холодно улыбаясь:

— Ну, вот и все. Так идите теперь и... постарайтесь не опоздать на поезд.

— Спасибо! — повторила девушка и, схватив тяжелую руку Геника, слабо, но изо всех сил стиснула ее маленькими, теплыми пальцами.

— Ну, что там! — пробормотал Геник, опуская глаза и чувствуя, что начинает злиться. — Всего хорошего...

Люба направилась к двери, но у порога остановилась, провела рукой по лицу и спросила:

— А... как вы думаете... удастся... или нет?

— Удастся! — резко крикнул Геник, толкнув ногою стул так, что он перевернулся и с треском ударился в стену. — Удастся! Вас избьют до полусмерти и повесят... Можете быть спокойны.

Он поднял злые, заблестевшие глаза и встретился с грустным, сконфуженным взглядом. Люба не выдержала и отвернулась.

— Мне не страшно, — услышал Геник ее слова, обращенные скорее к себе, чем к нему. — А вы, кажется, в дурном настроении.

Он стоял молча, засунув руки в карманы брюк и разглядывая носки своих собственных штиблет с упорством помешанного. Люба подошла к двери, отворила ее и, уходя, бросила последний взгляд на мрачную фигуру.

Теперь глаза их снова встретились, но уже иначе. Генник улыбнулся так ласково и задушевно, как только мог. Что-то ответное тепло и просто блеснуло в лице девушки. Она тихо, молча поклонилась и ушла, небрежно встряхнув длинной, русой косой.

II

Когда стало темнеть, Чернецкий зажег лампу и посмотрел на часы. Было ровно десять. С минуты на минуту должен придти Генник: он аккуратен, как аптечные весы, между тем никого еще нет. Это довольно странно. Шустеру и другим следовало бы знать, что дело касается всех.

Он хотел еще как-нибудь, сильнее выразить свое неудовольствие, но в этот момент пришел Маслов. Скинув летнее пальто и шляпу, Маслов осторожно погладил свою черную, иноческую бородку, прошелся по комнате, нервно потирая руки, и сел. Чернецкий вопросительно посмотрел на него, удержал беспричинную, судорожную зевоту и выругался.

— Что такое? — тихо спросил Маслов.

Голос у него был грудной, но слабый, и каждое слово, сказанное им, производило впечатление замкнутого, трудного усилия.

— Не люблю опозданий! — ворчливо заговорил Чернецкий. — Это провинциализм и, кроме всего, — неуважение к чужой личности.

— Что же, — меланхолично заметил Маслов, — ведь Геника еще нет. К тому же публика стала осторожнее, избегает, например, подходить кучкой.

— Все равно... Чаю хотите?

— Чаю! — вздохнул Маслов, отрываясь от своих размышлений. — Что? чаю? Ах, нет... Сейчас нет... Разве, когда все...

— Вы о чем, собственно, думаете-то? — громко спросил Чернецкий, вставая с дивана и усаживаясь против товарища. — А?

Маслов сморщил лоб, отчего его бледное, цвета пожелтевшего гипса, лицо приняло старческое выражение, и рассеянно улыбнулся глубокими, черными глазами.

— Думаю-то? Да вот, все об этом же...

Он пошевелил губами и прибавил:

— Не выйдет...

— Что — не выйдет? А ну вас, каркайте больше! — равнодушно сказал Чернецкий. — Выйдет.

— Не выйдет! — с убеждением повторил Маслов, усмехаясь кротко и жалостно, как будто неудача могла оскорбить Чернецкого. — Есть у меня такое предчувствие. А впрочем...

— Гадать здесь нельзя, не поможет! — хмуро сказал Чернецкий. — Я вот верю в противное.

Вошел Шустер, толстый, рябой и безусый, похожий на актера человек. Сел, тяжело отдуваясь, погладил себя по колену и захрипел:

— Областника нет?

— Геника ждем с минуты на минуту! — сказал Чернецкий. — Что грустишь?

Шустер механически потрогал пальцами маленький, ярко-красный галстук и хрипнул, досадливо дергая шеей, втиснутой в узкий монополь:

— Дело дрянь.

Чернецкий вздрогнул и насторожился.

— Что «дрянь»? — спросил он быстро, пристально глядя на Шустера.

— Да... там... — Толстяк махнул рукой и поднял брови. — Выходит путаница с забастовкой... Уврие сами хотят... свой комитет и автономию...

— Скверно слышать такое, — сказал Чернецкий, — и как раз... Ну, что слышно все-таки?

— Ничего не слышно! — прохрипел Шустер. — Вчера фон-Бухель кутил в загородном саду. На эстраде пьянствовал с офицерами и женой.

— Кутил? — почему-то удивился Маслов, покусывая бороду.

Никто не ответил ему, и он снова впал в задумчивость. Чернецкий заходил по комнате, изредка останавливаясь у окна и круто поворачиваясь. Шустер вздохнул, насторожился, услышав быстрый скрип отворяемой двери, и сказал:

— Вот и Геник.

Геник вошел спокойными, отчетливыми шагами, как человек, вообще привыкший опаздывать и заставлять себя дожидаться. Одет он был слегка торжественно и даже как

будто с ненужной излишней чопорностью в черный, щегольской костюм. Загорелое, невыразительное лицо Геника от яркой белизны воротничка, стянутого черным галстуком, сделалось задумчивее и строже. Впрочем, менялся он каждый день, и нельзя было определить, отчего это. Но почему-то всегда казалось, что сегодняшний Геник — только копия, и непохожая, с его наружности в прошлом.

Все оживились, как будто с приходом нового человека исчезла неопределенность и пришла ясная, полная уверенность в успехе дела, о котором говорилось до сих пор шепотом, с глазу на глаз, говорилось с огромным напряжением и подозрительной пытливостью ко всем, даже к себе.

Геник встал, неопределенно и замкнуто улыбаясь, но, когда сел, улыбка исчезла с его лица. Он вынул платок, без нужды высморкался и громко спросил:

— Хозяин, а чаю для благородного собрания дадите?

— Дам,— поспешно ответил Чернецкий,— но не лучше ли сперва, Геник, выяснить положение... т. е., чтобы вы нам рассказали,— как и что... а потом уже все мы занялись бы, так сказать, общими разговорами...

— Ну, все равно... Рассказ мой, хотя будет невелик...— Геник положил одну ногу на другую и закурил.— Вот что, товарищи: дело, что называется,— в шляпе...

Серые глаза Шустера мельком остановились на слегка вздрагивающих пальцах Геника, неуловимо прыгнули и перешли к сухим, полузакрытым губам, сдерживающим нервное, частое дыхание. Он взял его, полусутия, полусерьезно за руку, зажмурился и сказал:

— Какие мы нервные, однако. Вроде салонной барышни. Что, Геник, конспирация — чугунная вещь, а? Как ты думаешь?

Шустер был со всеми на «ты», даже с женщинами. Геник неохотно рассмеялся и отнял руку.

— Ну, это потом...— сказал он и прибавил другим, тихим, слегка сдержанным голосом: — Так вот. Дело это представляется в таком виде...

Тишина сделалась полной и жадной. Казалось, что в трех головах сразу остановилась работа мысли и вспыхнуло напряженное нетерпение услышать слова, фразы и бешено поглотить эту новую, еще неизвестную пищу так же полно и ненасытно, как пересохшая июльская глина впитывает неожиданную влагу дождя.

Маслов закрыл глаза ладонью и застыл так, слушая. Генник продолжал:

— Мне понравилась эта девушка, Люба. Я нашел, что она человек, подходящий во всех отношениях...

Чернецкий удовлетворенно наклонил голову.

— Да! — вздохнул Генник, потирая лоб. — По крайней мере — я так думаю. Это — из потрясенных натур.

— Она верит! — убежденно сказал Чернецкий. — Когда я познакомился с ней, мы долго беседовали... Даже странно и неожиданно было — такая глубокая, мучительная жажда подвига, рыцарства... Но, впрочем, сейчас не в этом дело.

— Вот именно! — подтвердил Генник, рассматривая стену. — Глубокая и тихая натура. Из тех, что переживают в себе. В ней много, вообще, полезных качеств и...

— Пощади уши нашего терпения! — захрипел Шустер, беспокойно ворочаясь на стуле. — Ты расскажи нам, как вышло...

— Пусть уши твоего терпения подрастут немного! — сердито улыбаясь, перебил Генник. — Я не нуждаюсь в поноуканиях.

Шустер вопросительно посмотрел на Маслова и неловко замолчал. Генник побарабанил пальцами по столу.

— Да, — сказал он, — так вот. Девуца во всех отношениях подходящая. Во-первых, послушна, как монета...

Его пристальный взгляд обошел товарищей и вернулся в глубину орбит. Никто не пошевелился; напряженное молчание заражало Генника смутным, тяжелым беспокойством. Но, задерживая объяснение и от этого раздражаясь еще больше, он продолжал:

— Во-вторых — у нее есть конспиративный инстинкт, что тоже очень выгодно...

— Да, это хорошо, — сказал Маслов.

— В-третьих — девушка с характером...

Снова молчание. За окном выросли пьяные голоса и затихли, шатаясь в отдалении унылыми, скучными звуками.

— В-четвертых, — продолжал Генник, — она твердо и бесповоротно решила...

— Да? — спросил Чернецкий, и в голове его зазвучало радостное, нервное оживание. — Вы сумели на нее подействовать, быть может? Хотя нет, я ее достаточно знаю... А все-таки — решающий момент... это ведь... Многие отступали.

Геник внимательно выслушал его и, рассматривая кончики пальцев, сказал медленно, но ясно:

— Я разговорил ее.

Маслов опустил руку и недоумевающе смигнул. Шустер задержал дыхание и насторожился, думая, что ослышался. Но Чернецкий продолжал спокойно сидеть, и по лицу его было видно, что он еще далек от всякого понимания.

Геник молчал. Глаза его сощурились, а левая бровь медленно приподнялась и опустилась.

— Что вы сказали? Я вас не понял, — сдержанно заговорил Чернецкий. — От чего вы ее разговорили?

— Я отговорил ее от стрельбы в фон-Бухеля! — неохотно, с блуждающей улыбкой в углах рта, повторил Геник. — Я, надеюсь, достаточно понятно сказал это.

— Да что вы! — вскрикнул Чернецкий с тонким, растерянным смехом. — Проснитесь. Что вы сказали?

— Ну, Геник, ерундишь, брат! — захрипел Шустер, краснея и тяжело дыша. — Какого черта, в самом деле!..

Все трое в упор, широко раскрытыми, готовыми улыбнуться шутке глазами смотрели на Геника, и вдруг маленькая, хмурая складка между его бровей дала понять всем, что это факт.

Сразу, после тишины, нарушаемой только сдержанными, спокойными голосами, поднялся беспорядочный, крикливый и возбужденный шум. Маслов махал руками и пытался что-то сказать, но ему мешал Чернецкий, кричавший высоким, удивленным голосом:

— Дикая вещь!.. Вы в здравом рассудке или нет? Придти и говорить нам, да еще с каким-то издевательством?! Это... Кто вас просил за это браться, скажите на милость? Возмутительно! Что вы — диктатор?!

— Господи! Чернецкий! — вставил Маслов раздраженно зазвеневшим голосом, болезненно морщась от крика и общего возбуждения. — Да дайте же Генику... да Геник... Это что-нибудь не то, слушайте...

— Да послушайте вы меня! — Геник встал и сейчас же сел снова. — Слушайте, и во-первых, и во-вторых, и в-третьих, и в-четвертых — я Аверкиеву отговорил. Да. Я ее отговорил. Вот и все. Но что же из этого? А, впрочем, мне все равно... Это ясно. Если хотите сердиться, — пожалуйста...

— Да что ясно? — вскипел Чернецкий, волнуясь и дергаясь всем телом. — Что вам все равно? Действительно! Но каким образом? Зачем?

— Постойте же! — отмахнулся рукой Маслов и встал. — Почему вы, Геник, взяли на себя труд за нас решить этот вопрос? И ответили. Вот, объясните нам, пожалуйста, это... — добавил он глухим, настойчивым голосом.

Геник молчал, и казалось, что он колеблется — говорить или нет. Странное, беспорядочное молчание сделалось общим и напряженным, как будто каждый из трех в упор смотревших на Геника людей ждал только первого его слова, чтобы зашуметь, возразить и высказаться. Наружно Геник сохранил полное равнодушие и, подумав, холодно сказал:

— Я объясню. Я объясню... Конечно... Странно было бы, если бы я не объяснил...

Он курил, подбирая слова и, наконец, с хорошо сделанной небрежностью начал:

— Эта маленькая...

Но сбился, внутренне покраснел и умолк. Потом вздохнул, подавил мгновенное, колющее ощущение неловкости, как если бы собирался раздеваться в присутствии мало-знакомых людей, и заговорил чужим, негромким и неуклюжим голосом.

И первые же его слова, первые же мысли, высказанные им, наполнили трех революционеров тем самым чувством неловкого, колющего недоумения, которое за минуту перед этим родилось и угасло в душе Геника. Впечатление это было родственно и близко ощущению человека, пришедшего гостем в хороший, фешенебельный дом и вдруг увидевшего среди других гостей и знакомых уличную проститутку, приглашенную к обеду, как равная к равным. То же смешливое, досадливое и бессильное сознание неуместности и ненужности, любопытства и подозрительности. Чем дальше говорил Геник, тем более росло недоумение и сарказм, глубоко запрятанный в сердцах маской застывшей, холодной и деланно-внимательной полуулыбки. Каждый из трех, слушая Геника, судорожно хватался за возражения и неясные, всполохнутые мысли, вспыхивающие в мозгу, бережно держался за них и с нетерпением, доходящим до зуда в теле, ожидал, когда кончит Геник, чтобы разом, рванувшись мыслью, затопить и обезоружить его новую, странную и неуместную логику. Маслов слушал и понимал Геника, — но не соглашался: Чернецкий понимал, — но не верил; Шустер просто недоумевал, бессознательно хватаясь за отдельные слова

и фразы, внутренне усмехаясь чему-то неясному и плоскому.

— ...Но ей восемнадцать лет... Я не знаю, как вы смотрите на это... но молодость... то есть, я хочу сказать, что она еще совсем не жила... Рассуждая хорошенько, жалко, потому что ведь совсем еще юный человек... Ну... и как-то неловко... Конечно, она сама просилась и все такое... Но я не согласен... Будь это человек постарше... взрослый, даже пожилой. Определенно-закостенелых убеждений... Человек, который жил и жизнь знает,— другое дело... Да будет его святая воля... А эти глаза, широко раскрытые на пороге жизни,— как убить их? Я ведь думал... Я долго и сильно думал... Я пришел к тому, что — грешно... Ей-богу. Ну хорошо, ее повесят, где же логика? Посадят другого фон-Бухеля, более осторожного человека... А ее уже не будет. Эта маленькая зеленая жизнь исчезнет, и никто не возвратит ее. Изобьют, изувечат, изломают душу, наполнят ужасом... А потом на эту детскую шею веревку и — фюнт. А что, если в последнее мгновение она нас недобрым словом помянет?

Геник замолчал и поднял на товарищей блестящие, полузакрытые глаза. Он был взвинчен до последней степени, но сдерживался, стараясь говорить ровно и медленно. Оттого, что сказанное им скользило лишь на поверхности его собственного сознания, не вскрывая настоящей, яркой и резкой сущности передуманного, в груди Геника запылало глухое бешенство и хотелось сразу отбросить всякую осторожность, сказать все.

— Ну-ну!.. — Чернецкий широко развел руками и насмешливо улыбнулся. — Ну, батенька, — завинтили!.. Фу, черт, даже и не сообразишь всего, как следует... Да вы кто такой? Позвольте узнать, кто вы такой, в самом деле? Ведь я, — он повысил голос, — ведь я думал, представьте, что вы партийный человек, революционер!.. Но тогда, нам не о чем разговаривать! Да, наконец, не в этом дело, черт возьми! Зачем вы сами, зачем вы выскочили с вашим посредничеством? Кто вас просил, а? Вас совесть замучила, — так предоставьте другим делать свое дело. Соломон Премудрый!.. А вы идите себе с богом в монахи, что ли... или в толстовскую общину... да!..

— Вы сдерживайтесь, Чернецкий... — сказал Маслов. — Геник, ваши взгляды — это ваше личное дело и нас не касается. Но почему все это сделано под сурдинку? Почему

это тайно, не по-товарищески, с какой-то заранее обдуманной задней мыслью?

Геник упорно молчал, постукивая ногой. Все равно, если и объяснить, ничего не будет, кроме нового взрыва неудовольствия. Шустер задумчиво улыбался и тер колено рукой, исподлобья поглядывая на Геника. Чернецкий подождал немного, но, видя, что Маслов молчит, заговорил снова, резко и быстро:

— Вы думаете, что раз вы представитель областного комитета, так вам все позволено? Нет! А по существу... смешно даже!.. Мы в осаде, мы на позиции, мы вечно должны бороться с опасностью для жизни за наше собственное существование... За то, чтобы напечатать и распространить какую-нибудь бумажку... Вы знаете, что сказал вчера фон-Бухель? Нет? А он сказал вот что: что он нас задушит, как мышей, сгноит, голодом уморит в тюрьме! Что же, ждать? А эти корреспонденции из деревень — ведь их без ужаса, без слез читать нельзя! Боже мой! Все было на чеку, были люди... Вы говорите, что ее могут повесить... Да это естественный конец каждого из нас! То, что вы здесь наговорили, — прямое оскорбление для всех погибших, оскорбление их памяти и энтузиазма... Всех этих тысяч молодых людей, умиравших с честью! А то — скажите пожалуйста!..

Чернецкий воодушевился и теперь, стоя во весь рост, гибкий и красивый, как молодое дерево, трепетал от сдержанного напряжения и бессильной, удивительной злости. Он был душою, инициатором этого маленького, провинциального заговора и говорил сейчас первое, что приходило на язык, чтобы только дать выход неожиданно загоревшемуся волнению.

Геник слушал, невинно улыбаясь. Чернецкий может говорить, что ему угодно. Нет, в самом деле! Недоставало еще, чтобы грудные младенцы ходили начиненные динамитом. Геник откинулся на спинку стула, стиснул зубы и решительно усмехнулся.

— Я слушаю, Чернецкий, — холодно сказал он. — Или вы кончили?

— Да, я кончил! — отрезал юноша. — А вот вы, очевидно, продолжать еще будете?

— Нет, я продолжать не буду, — спокойно возразил Геник, пропуская иронию товарища мимо ушей. — Я буду молчать. А потом... может быть, скажу... когда-нибудь...

— Жаль! — захрипел Шустер, вдруг краснея и грузно ворочаясь. — А нам интересно бы сейчас послушать тебя!

— Маслов! — удивленно и как-то обиженно воскликнул Чернецкий. — Вы что же? Что же вы молчите?

— Да что ж сказать? — болезненно усмехнулся Маслов. — Теоретически — наш товарищ Геник, конечно... прав. А практически — нет. Жизнь-то ведь, господа, — жестокая, немилостивая штука... Как ты ни вертись, а она все вопросы ставит ребром... Жалко; это верно, что жалко... Но почему же тогда каждого человека не жалко? Играя на жалости, мы можем зайти очень далеко... И крестьян жалко, и рабочих жалко, и невинно пострадавших тоже жалко... Почему же такое предпочтение? Потому, что это женщина? Геник, скажите откровенно — если бы эта девушка была вам не симпатична, вы тоже так поступили бы?

Шустер неловко усмехнулся и сейчас же глаза его приняли деланно серьезное выражение. Чернецкий взглянул на Геника, но тот равнодушно сидел, сохраняя каменную, безразличную неподвижность лица и тела. Маслов продолжал:

— На молодости-то ведь и жиждетсЯ все. Именно молодые-то порывы тем и хороши, что они безумны... Геник нелогичен. Ни для кого не секрет, что наше участие в движении ведет ко многим разорениям, застоям в промышленности, к голоданию и обнищанию целых семейств... Отчего же здесь нет у нас жалости? Да потому, что это печальная необходимость... И как ни грустно, — приходится сказать, что одной необходимостью больше, одной меньше — все равно...

Маслов разгорячился, и его истомленное, бледное лицо покрылось беглым, лихорадочным румянцем, а глаза, пока он говорил, смотрели попеременно на всех присутствующих, как бы приглашая их кивком головы выразить свое сочувствие.

— А играя на необходимости, — возразил Геник, — мы можем зайти еще дальше. Там, где для вас «все равно» — должна прекратиться молодая, хорошая и светлая жизнь... Одно дело, когда результаты необходимых действий находятся где-то там... в тумане. И другое — когда сам присутствуешь при этом.

Тоска давила его. Он неожиданно шумно встал, надел шляпу и направился к выходу. Три пары глаз холодно и с недоумением следили за его движениями. Шустер сказал:

— Геник, ну это же непорядочно, наконец,— уйти, ничего не объяснив... Расскажи хоть, что она говорила,— Геник!..

Геник остановился, открыл рот, собираясь что-то сказать, но раздумал, толкнул дверь ногой и вышел.

Наступило длинное, гнетущее молчание, и казалось, что на лица, движения и предметы опустилась невидимая, вязкая паутина. В хорошо налаженную машину, в сцепления ее колес, зубцов и ремней попало постороннее тело, и механизм, пущенный в ход, остановился. Так чувствовалось всеми, сидевшими в этой комнате.

Первый нарушил молчание Чернецкий. То, что сказал он, было как будто и ненужно, и слишком поспешно, но раздраженная мысль подозрительно и упорно хваталась за все, что могло бы объяснить происшедшее не в пользу Геника. Чернецкий сказал:

— Дело это... сомнительное...

Удивления не последовало. Слишком каждый привык быть настороже и определять значение факта по тому, ясны его источники или нет. Но в данном случае думать так было неприятно. Маслов пожал плечами и заговорил, отвечая скорее на свои собственные мысли, чем на слова Чернецкого:

— Выходит, что я еще совсем не знаю людей... А ведь он три недели здесь и все время в работе. Кажется, уж можно было определить степень его уравновешенности. Одно из двух: или крайняя впечатлительность, или... полное внутреннее неряшество... какой-то вызов... Зачем? Тяжело все это...

— Что ж кукситься? — захрипел Шустер. — Нужно сходить к Любе Аверкиевой и попросить ее сюда. Мы по крайней мере узнаем суть дела. А?

— Да! — сказал Чернецкий, бросаясь к вешалке. — Вы подождите... Я скоро...

Он ушел и пришел назад через полчаса, расстроенный и усталый. Люба уехала сегодня, не объяснив, куда и зачем, на десятичасовом поезде.

III

Шустер открыл дверь и удивился: в комнате было темно. Едва уловимые контуры обстановки выступали неровными, черными углами, а в глубине, против двери, синели

квадраты оконных стекол, слабо озаренные огнем уличного фонаря.

Он постоял некоторое время, держась за ручку отворенной двери, шагнул вперед и, предварительно крякнув, спросил хриплым, неуверенным голосом:

— Геник здесь?

Мгновение тишины, и затем резко и коротко скрипнула невидимая кровать. Шустер насторожился, подвигаясь ближе. Кровать заскрипела еще громче, и на еле заметном пятне подушки приподнялась темная человеческая фигура.

— Геник, ты? — повторил Шустер, подходя на цыпочках с расставленными руками, чтобы не задеть стул. — Темно у тебя...

— Ты зачем пришел? — раздался вдруг холодный грудной голос, и вошедший вздрогнул. — Что тебе надо?

Шустер опешил: такого приема он не ожидал. Подавив мгновенное неудовольствие, он сделал в темноте обиженное лицо и сказал:

— Если так, то я, конечно... уйду... Ты, конечно, впра- ве... но...

— Не болтай глупостей! — резко оборвал Геник, ворочаясь на кровати. — Говори толком: что?

— Как — «что»? — сказал Шустер, помолчав. — Я пришел к тебе от всех... Будет сердиться, Геник... Мы же товарищи и... и... Вообще...

— Ступай! — зевнул Геник, скрипя кроватью. — Ступай.

— Да погоди же ты, чужак. Ведь... Это оскорбительно.

Он замолчал, совершенно сбитый с толку. Геник тоже молчал, и тишина таилась только вокруг напряженного молчания двух людей. Шустер ободрился немного и продолжал:

— Ведь нельзя так, совершенно... без объяснения... Тут...

— Ты, я вижу, не хочешь уйти... — медленно, как бы обдумывая что-то, сказал Геник. — Значит, придется уйти мне.

— Геник, ради бога! — взволновался Шустер. — Ты пойми... Ну что же тут такого... Ну, произошло недоразумение... конечно, мы отчасти... то есть... но ведь и ты сам горячо принимаешь к сердцу... все это... эту историю... Конечно, мы были все немного увлечены и...

— Врешь! — жестоко возразил Геник. — Ты, толстый Шустер, врешь. Вы не упустили случая сделать мне не-

приятность, потому что я пошел против вас всех. Только это мелочно, Шустер, мелочно и некрасиво.

Шустер внутренне съежился, но все же пробормотал:

— Ну, слушай, это простая случайность, что...

— Извини, пожалуйста! — рассердился Геник. — Письмо было адресовано именно мне и никому другому. Чернецкий — грамотный человек. Он не имел права читать его сам и показывать всем другим. Это не случайность, а нахальство.

— Я не знаю, видишь ли... — откашлялся Шустер. — Как сказать? Конечно, неосторожно... но... тебя не было и... мы не могли... то есть он, вероятно, подумал, что что-нибудь экстренное... да. И не нужно долго сердиться за это, Геник. Мало ли чего бывает, ведь...

— Не вертись! — злобно отрезал Геник. — «Мы, вы, я, он» — как это на тебя похоже. Каковы бы ни были личные отношения между нами, — читать чужие письма все же недопустимо. Хотя бы вы, черт вас подери, потрудились заклеить его! Или вложить в новый конверт. А теперь я это не могу рассматривать иначе, как вызов мне, да! И после этого они еще посылают тебя, дипломата с медвежьими ухватками! Даже смешно.

— Да ну же, — простонал Шустер, — плюнь ты на Чернецкого. Он знаешь... того... человек самодушный... План этот весь принадлежал ему... Конечно, — заторопился Шустер, услышав новый, чрезвычайно громкий скрип кровати, — он легкомысленно... это верно... но... так, все-таки... это было непонятно... отъезд Любы... твоё молчание... что он... так сказать... в порыве раздражения... гм...

— Так что же, — иронически спросил Геник, — ты извиняешься, что ли, предо мной? И что вам вообще от меня угодно?

— Мы все, — важно сказал Шустер, — желаем сохранить товарищеские отношения... Вопрос этот с твоей стороны странный... Я пришел, Геник, позвать тебя к... туда, где сейчас все... нужно же, наконец, выяснить и прекратить это... положение... Мы ведь не обыватели, которые... Иди, Геник! Право! Я уверен, что все уладится...

Геник поднялся с кровати и зашагал по комнате. Темная фигура его мелькала, как ночная птица, бесшумно и легко мимо Шустера, стоявшего у стены с тупым недовольством в душе. Он усиленно напрягал зрение, но лица Геника не было видно, и Шустеру уже показалось, что раз-

дражение товарища улеглось, как вдруг тот остановился против него и, наклонившись так близко к лицу гостя, что было слышно возбужденное, усиленное дыхание двух людей, сказал тихим, сдавленным голосом:

— Одно письмо я простил бы. Но я, Шустер, видел вчера твой красивый галстук на соборной площади, когда ты шел за мной от рынка до завода.

Шустер вздрогнул и насильно засмеялся. Потом в замешательстве сунул руку в карман, снова вытащил ее и погладил волосы. Но тут же сообразил, что в комнате темно и что Геник не мог заметить внезапной краски, залившей шею и уши. Пожав плечами, он спрята! руки за спину и сказал:

— Я, право, перестаю тебя понимать... Кто шел за тобой? Я? Что за чепуха? Да и зачем, куда? Ты бредишь, что ли?

— Шустер... — протянул Геник, качая головой. — С твоей фигурой и опытно!стью в деле шпионажа лучше бы не брать!ся за такие дела. Эх ты, тюлень!

— Ну, ей-богу же! — возмутился Шустер, оправляясь от смущения. — Это черт знает, что ты говоришь... Это свинство, наконец!

— Ступай вон! — вспыхнул Геник, и в голосе его дрогнула новая, резкая струна. — Пошел отсюда!

— Я? — растерялся Шустер, отступая назад. — Что ты?

— Убирайся к черту, я тебе говорю! — закричал Геник. — Прочь!

— Геник...

— Вон!

— Но ты... послушай же, черт... Я...

— Если ты не уйдешь сию же минуту, я тебя вытолкаю! — дрожа от напряженного, тоскливого бешенства, заговорил Геник. — Мы с тобой объяснились достаточно, нам больше нечего говорить. Пошел!

— Да я же...

— Слушай! — вздохнул Геник, чувствуя, что теряет над собой всякую власть. — Если ты сию же минуту не уйдешь, я всажу тебе в брюхо вот все эти шесть пуль.

Он вытащил из кармана револьвер и навел холодное, темное дуло прямо в грудь Шустера. Курок торопливо, звонко щелкнул и замер. Жаркий туман стыда, испуга и озлобления хлынул в голову Шустера, и через две-три се-

кунды острого, тяжело дышащего молчания, он сказал, чуть не плача:

— Хорошо, товарищ... хорошо... Я...

— Раз! — сказал Геник, нажимая собачку.

— Ну... — Шустер отворил дверь и снова повторил, растерянно улыбаясь: — Ну... я...

— Два!..

Темная фигура бросилась в сторону, и через мгновение торопливый стук шагов затих в глубине коридора. Геник слышал, как резко и быстро хлопнула, завизжав, выходная дверь. Он вздохнул, вздрагивая, как от озноба, сунул револьвер под подушку, подошел к столу, зажег свечку и сел на стул.

Дрожащие, зыбкие тени бросились прочь от вспыхнувшего огня и притаились в углах, неслышно двигаясь под стульями и кроватью, как мыши. Желтый, неровный свет падал на опущенную голову Геника и руки, вытянутые на столе. Так сидел он долго, попеременно улыбаясь и хмурясь быстрым, назойливым мыслям, бегущим монотонно и ровно, как шум поезда.

Окно, чернея, глядело на Геника темной пустотой ночной улицы. Неопределенные шорохи, крадущиеся шаги ползли в тишине, мешаясь с отдаленным глухим стуком колес и звуками мгновенного разговора, вспыхивающими и угасающими во тьме, как спичка, задутая ветром. Геник отодвинул стул, открыл ящик стола и, пошарив среди бумаг, вытащил небольшой узкий конверт. На нем стояло название города, улицы, дома и надпись: — «Ю. Г. Чернецкому, для Геника». «Для Геника» было подчеркнуто два раза и самые буквы этих слов выведены особенно старательно.

Вытащив письмо, Геник развернул его и в третий раз, самодовольно улыбаясь, прочел торопливые, женские строки.

Люба писала:

«Дорогой товарищ Геник. Не знаю вашего адреса и пишу на Чернецкого. Скажите пожалуйста, зачем я сюда приехала? М. И. ничего не знает и очень удивлена, но говорит, что если вы меня послали, то значит так надо. Объясните пожалуйста — что мне делать дальше? Люба А.»

Даже подпись поставлена. Неужели он ошибся относительно ее конспиративности? Впрочем, теперь все равно, и это наивное письмо будет только лишним воспоминанием.

Делать ей там, разумеется, совершенно нечего, поэтому пусть едет обратно. Он ей ответит и пошлет денег на обратный проезд.

Неровные, размашистые буквы так живо напоминают руку, писавшую их. Маленькая, гибкая рука, скромно заправленная до кисти в длинный рукав шерстяного коричневого платья.

Дальше — узкие детские плечи, тонкая шея, коса, упавшая на грудь, и молодая, горячая голова с ясным, пристальным взглядом. Брови сдвинуты досадливо и тревожно. Она пишет ему это письмо. Сидела она, кажется, вот на этом стуле. Даже теперь, как будто, в воздухе блестит улыбка, полная затаенного трепета молодости.

Геник напряженно думал, стараясь уловить что-то сложное, но бесспорное, мелькавшее вокруг образа этой девушки, как неуловимые тени листвы, и вдруг прямая, стройная мысль обожгла его мозг, расцветилась, вспыхнула и выпукло, простыми, отчетливыми словами проникла в сознание. Геник беспокосно заерзал на стуле, улыбаясь тому, что стало таким значительным и ясным. Сидеть теперь здесь, одному, было нельзя. Шустера жаль, лучше бы поговорить с ним. Хотя, что ни говори, его следовало проучить, человек он дельный, но глупый. А теперь Геник пойдет к ним, скажет самое настоящее и объяснит все: это необходимо.

Одно мгновение ложный стыд шевельнулся в нем. Явилось опасение, что не поверят его искренности, но, утвердившись на той мысли, что надо же это все когда-нибудь кончить, смягчить отношения и ехать работать в другой город, — Геник встал, оделся, погасил свечку и, сунув револьвер в карман пальто, вышел на улицу.

IV

Теплая, весенняя ночь окутывала город душным, пыльным сумраком. За рекой небо еще трепетало и вспыхивало последним румянцем, но выше зажглись звезды, сияя над черными горами крыш и в просветах темных деревьев, как маленькие небесные светляки. Из окон выбегал широкий желтый свет, местами озаря тротуары и деревянные, покосившиеся тумбы. Пыль немощеных улиц, поднятая за день, еще не улеглась и невидимо насыщала воздух, густая и душная. За темными, покосившимися заборами, как жи-

вые, склонялись деревья, одетые сумраком, шумели и думали.

Геник шел спокойно, не торопясь, обдумывая возможные результаты предстоящего объяснения. От недавнего столкновения с Шустером и жаркой истомы ночи кровь разволновалась, тело требовало усиленного движения, но Геник намеренно сдерживал шаги, не желая еще более возбуждать себя быстрой ходьбой. За ним прислали Шустера, уж, конечно, не для одного примирения. Очевидно, там ожидают его объяснений по поводу письма и отъезда Любы. Если будут приставать к нему с вопросами относительно мотивов,— то он, конечно, скажет им все, хотя бы это повело к форменному разрыву. Лучше об этом сейчас даже не думать. Ход разговоров покажет сам, где и когда можно будет сказать то, что уже сложилось и окрепло в его душе готовым убеждением.

Он вспомнил красный галстук Шустера, нахмурился и свистнул, а пройдя несколько шагов, обернулся, не переставая подвигаться вперед. Та часть улицы, которую мог охватить глаз, скованный темнотой, была совершенно пуста. Но, несмотря на отсутствие прохожих, тишины не было. Неясные, темные звуки роились, замирали и гасли вокруг, и казалось, что сам уснувший воздух в бреду родит их, грезя эхом и напряженностью дневной суеты.

Геник перешел огромную пустую площадь, в конце которой, на фоне сумеречного неба, рисовались черные колокольни собора, свернул влево и углубился в один из кривых базарных переулков, вымазанный лужами и разным рыночным сором. Днем здесь стоял несмолкаемый шум, звонко кричали бабы, торговки овощами и яйцами; шныряли кухарки и повара, жулики в калошах на босую ногу, торговцы в синих картузах и поддевах; пестрели огромные, пахнущие сырьем, кучи репы, моркови, капусты. Теперь было тихо, темно; навесы лабазов, подобно огромным, продырявленным зонтикам закрывали переулок, а запертые полупудовыми замками лари, темнея неправильными рядами, казались ненужными, большими ящиками, неизвестно почему окованными ржавым железом.

С угла, навстречу Генику, поднялся задремавший сто-рож и быстро застучал колотушкой, выбивая скучную, монотонную дробь. Геник прошел мимо него; колотушка трещала еще некоторое время, потом стукнула один раз особенно громким, упрямым звуком и умерла.

Кажется, в переулке раздавалось эхо, потому что шаги Геника стучали по дереву узких дрянных досок тротуара двойным, разбросанным шумом. Он остановился, не решаясь оглянуться, но эхо раздалось еще три раза и стихло. Сердце у Геника забилося усиленным темпом, и он, не двигаясь вперед, стал топтаться на месте, покачиваясь и размахивая руками, как быстро идущий человек.

Эхо приблизилось, замедлилось, как будто в нерешительности, и сгибло в темноте переулка. Геник повернулся и быстро, бегом, бросился назад. Кто-то побежал перед ним изо всех сил, метнулся в сторону, присел за ларь, выскочил снова, но Геник уже держал его за ворот пальто, смеясь от бешенства и удивления.

— Пусти!.. — крикнул Шустер, задыхаясь от беготни и тяжелого, злого стыда. — Пусти... ну!

Он сильно барахтался, стараясь вырваться, но Геник коротким усилием повалил его на землю и сел, крепко держа руки противника. Шляпа Шустера откатилась в сторону и оторопелые, налившиеся кровью глаза упирались в лицо Геника.

— Так! — гневно сказал Геник. — Так вот как, Шустер!.. Ну, хорошо. Я шел сейчас к Чернецкому, и ты напрасно трудился. Впрочем, не советую приходить туда... Может быть, ты мне объяснишь что-нибудь?

— Нечего объяснять... — сказал Шустер хриплым, дрожащим голосом. — Сам ты виноват...

Геник встал, поставил товарища на ноги и, размахнувшись, ударил его в плечо. Шустер охнул и отлетел в сторону, еле удержав равновесие.

— Вот так! — сказал, смеясь, Геник, хотя к горлу его подкатился тяжелый, нервный комок обиды и отвращения. — Теперь мы квиты. Прощай.

Он повернулся и, прежде чем Шустер оправился, пошел прочь ровными, быстрыми шагами. А вдогонку ему летела громкая, беспокойная дробь колотушки ночного сторожа.

V

— Вот и вы! — сказал Чернецкий вежливо-ироническим тоном, бегая глазами по комнате. — Садитесь, пожалуйста.

Геник вошел, не снимая шляпы, быстро осмотрел комнату, не поклонившись Маслову, сидевшему в тени лам-

пы, и подошел к Чернецкому. Тот поднял глаза и встретился с бледным, осунувшимся лицом.

— Ну, что же? — устало спросил Геник. — Вам угодно было меня видеть?

— Да, — сказал Маслов, предупреждая ответ Чернецкого. — Знаете, это тяжело, наконец... Мне хочется лично, например, поговорить с вами... прямо и откровенно. Садитесь, товарищ, — мягко добавил он, видя, что Геник стоит. — Садитесь и снимите вашу шляпу.

— Дело не в шляпе! — вспыхнул Геник. — Я не устал и шляпы снимать не буду.

Чернецкий криво усмехнулся, шагая из угла в угол. Лицо Маслова стало неловким и напряженным. Он покраснел, сделал над собою усилие и заговорил, не повышая голоса:

— Вы хотите ссориться, Геник, но предупреждаю, что со мной это невысказано. Отчего вы такой? Мы работали вместе, дружно, целых три недели прошло уже, как вы приехали... На юге встречались с вами, я помню... Да... А теперь что же? Какая-то тяжелая туча спустилась над всеми... дело запущено, потеряны многие связи... Нас ведь очень мало, и если так пойдет вперед, можно с уверенностью сказать, что мы недолго протянем.

— Маслов, — сказал Геник и мгновенно побледнел, — может быть, Шустер хочет со мной ссориться?

— То есть? — отозвался Чернецкий, и красивое лицо его насторожилось. — Почему?

— Видите ли, — внутренне смеясь, объяснил Геник, — не далее как час тому назад я поколотил его в одном из рыночных переулков. Он был очень неосторожен, но все-таки убедился, что я в охранном отделении не служу.

— Что-то не понимаю вас... — жалко улыбаясь, сказал Маслов и вдруг тяжело задыхался. — Вы и Шустер подрались, что ли?

Чернецкий подошел к окну, растворил его и стал глядеть вниз на улицу. Геник не выдержал. Звонкий туман хлынул в его голову, и через мгновение, ударив кулаком по столу, он закричал, вздрагивая от бешенства:

— Еще недостает, чтобы вы мне лгали в глаза!.. Он шпионил за мной, говорю я вам! Чьи это шутки, а?..

— Ну знаете, Геник, — овладев собой, сказал Маслов ненатурально-возмущенным голосом, — я на такие вещи от-

казываюсь отвечать... И говорить их оскорбительно, прежде всего для вас самих...

— Да,— с холодным упрямством подхватил Чернецкий,— вы начинаете болтать глупости!..

— Хорошо! — сказал, помолчав, Геник, стараясь удержать расхолодившееся волнение.— Я молчу об этом. Доказать это трудно, и вы можете с ясными глазами отпираться сколько вам угодно... Все-таки шел я сюда, к вам... не с враждой... А после того, как поймал Шустера... Кстати, он побойлся придти при мне, будьте спокойны...

Все молчали, и молчание это было тягостнее самых оскорбительных и злых слов. Улица заинтересовала Чернецкого; он пристальнее, чем когда-либо, смотрел в нее. Маслов напряженно тербил бороду, и его серьезные, черные глаза ушли внутрь, а тонкие губы беззвучно шевелились под жидкими усами.

— Кто читал письмо? — спросил Геник.

— Я... — сказал Чернецкий развязно, но не отрываясь от окна.— Видите ли, это все-таки случайно вышло... Письмо было адресовано ко мне и... могло быть деловым... наконец,— какие секреты могут быть между нами... Относительно же вас, после того разговора... Я не знал даже, придете ли вы еще хоть раз. Поэтому я, после долгого колебания... решил его вскрыть... тем более, что оно могло быть очень нужным... спешным...

— Нет, это великолепно! — расхохотался Геник.— Ну, ну,— что же дальше?

Чернецкий пожал плечами, отошел от окна и, нахмурившись, сел. Как и все люди, он считал себя правым, а Геника нет, и смех товарища оскорбил его. Готовилось разразиться новое, ненужное и болезненное молчание, как вдруг Маслов спросил:

— Ну, хорошо!.. Там, как бы ни было прочитано,— оно прочитано. А теперь, по существу этого письма — вы могли бы нам объяснить что-нибудь или нет?

Вопрос этот, поставленный ребром, снова зажег в Генике улегшееся было раздражение и наполнил его тоскливым острым желанием сразу высказать все и уйти.

— Да,— с расстановкой заговорил он, рассматривая потолок,— я могу объяснить вам... Раньше я, признаться, не хотел этого, но теперь, когда вы прочли и все-таки не понимаете, я из чувства человеколюбия должен прийти к вам на помощь...

— Очень польщены! — язвительно бросил Чернецкий, шумно вытягивая ноги. — С благодарностью выслушаем.

— Не знаю, — медленно продолжал Геник, и тонкие складки легли между его бровей, — не знаю будете ли вы польщены и благодарны потом... но факт тот, что я на этот раз договариваюсь до конца... Да и пора, не так ли?

— Именно! — сказал Чернецкий, грызя ногти. — Давно пора.

— Люба уехала отсюда потому, — с наслаждением продолжал Геник, — что я заставил ее уехать... Иначе она сделала бы то, от чего я ее удержал... правда, обманом удержал, против ее желания... Но вы ведь не замедлили бы исправить мою ошибку? Вот. А поступил я так потому, что человек, бросающий себя под ноги смерти ради фон-Бухеля, не имеет настоящего представления о... жизни. И нужно этому помешать... Теперь, когда этот самый фон уехал из нашего города, разумеется, ничто не препятствует ей вернуться обратно...

Геник умолк и вытер вспотевший лоб. Да, вот сидят они все трое так же, как сживали раньше, чеканя различные мелочи партийной работы, но отчужденность вошла теперь в глаза всех и светится там холодным, стальным блеском. Эти двое и он — враги.

— Здорово! — воскликнул Чернецкий, нервно потирая руки. — Однако вы, господин, не стесняетесь! Да-да! Герой, вызволяющий невинную жертву из рук злодеев!.. Прямо хоть мелодраму пиши, ха-ха!.. Стыдно вам, Геник! Какой же вы человек борьбы, вы — жалкая, слезливо сентиментальная душа?! Есть бог мести, Геник, — великий, страшный бог, и все мы служим ему!.. Но почему вы нам раньше не сказали того, что сделали? Ваших взглядов не развили почему? Или боялись, что слабы они окажутся?

— Ваша наивность равняется вашему росту, — усмехнулся Геник. — Оттого не сказал, что с первого слова об этом очутился бы в стороне...

— Бессовестный вы человек! — перебил Чернецкий. — Вы...

— Я не кончил еще! — в свою очередь, повышая голос, перебил Геник. — Теперь мне все равно, что вы думаете... Я только спрошу: отчего из вас никто не вызвался на это, так нужное в ваших глазах дело? А? Мы жили, люди мы взрослые, определенных убеждений... Почему свою жизнь вы цените дороже, чем чужую?

Геник встал. Последние слова, сказанные им, довели об-
щее возбуждение до последней степени. Маслов порыви-
сто дышал, судорожно опершись руками о стол, и, когда
Геник умолк, заторопился громким, страстным шепотом,
вздрагивая всем своим тщедушным больным телом:

— Это уже... это уже... Это обвинение... какое право...
вы... Оскорбляете нас... хорошо. Но я не говорю с вами
больше... я не скажу... только... одно... вы и сами знаете
это: каждый делает то, что может...

— О,— холодно сказал Геник,— вы могли и не тру-
диться говорить это. Все эти соображения о разделении
труда в партии я знаю... но все-таки мы — мужчины,
а она — женщина и... моложе нас... Поэтому я еще раз
спрошу: Чернецкий,— не желаете ли умереть благород-
ной смертью? Маслов не умеет стрелять, он слаб... А вы?
Отчего бы не попробовать? Это лучше, чем отряжать шпио-
нов за мной.

— Позер! — крикнул Чернецкий, шагнув к Генику.

Слово это вылетело из его горла гулкое и звонкое, как
упавшая пустая бочка. Геник пристально посмотрел на
юношу и обидно расхохотался, жалея уже о том, что при-
шел сюда. Кроме дальнейшей брани и шума, ничего не по-
лучится. Нужно уйти.

Чернецкий сразу остыл и с тупым удивлением смотрел
на Геника. Оттого, что презрительное оскорбление повисло
бессильно в воздухе, вдруг всем стало противно и скучно
смотреть друг на друга. Геник встал, подошел к двери, но,
подумав, остановился и сдержанно заговорил, обращаясь
к Маслову:

— Я уйду... а хотел бы все-таки, чтобы вы, вы имен-
но, поняли меня... Есть люди, смерть которых не прохо-
дит бесследно... Пока они живут — их не замечаешь... как
воздух, которым мы дышим... Эти маленькие, солнечные
жизни похожи на цветы, что растут при дороге... Они та-
кие милые, что даже глядеть на них приятно... Все, что
есть у нас лучшего и хорошего, поддерживается благода-
ря им, когда душа наша, Маслов, усталая и ожесточенная
сутолокой и грязью борьбы, отдыхает на них, освежается
и крепнет... Я говорю о молодых существах, чистых и тре-
петных, как весенние листья... Чем стала бы жизнь без
них? Пока они среди нас — нужно дорожить этим... По-
мните Пеньковского Илошу, Нину, с которыми мы по-
знакомились на лимане? Вот тоже Люба. Они нужны, бес-

конечно нужны, как нужна и дорога всякая поэзия, всякое тепло... И не в этом ли главное молодости? Так нужно беречь их, говорю я... Пусть молодость, сверкающая вокруг, певучая, ясная молодость помогает нам идти до тех пор, пока лицо не покроют морщины и тоскливый холод усталости не затянет сердца тоненькой, всего только очень тоненькой корочкой льда... Вот тогда... кто мешает умереть... если хочется?

Двое людей, слушавших Геника, смотрели в сторону, и странные, блуждающие улыбки сквозили на их лицах. Когда же Маслов поднял глаза, желая что-то сказать, Геника в комнате уже не было.

Снизу, по лестнице, поднималась девушка и, увидя Геника, радостно остановилась. Теперь-то, наконец, ей объяснят все.

— Я приехала...— сказала она.— Здравствуйте! Как я рада, ужасно рада, право!

Геник вздрогнул и слегка растерялся. Потом поздоровался и молча посмотрел в спокойные, ясные, ничего не знающие глаза. Но говорить было нечего, и он сказал только:

— А, вот как!.. Приехали, значит?

— Да.

Люба молча, вопросительно вздохнула, волнуясь и не зная, что делать. Наконец вопрос, вертевшийся все время на ее языке, сорвался с губ, нерешительный и тоскливый:

— Почему это так... вышло? Скажите мне... Я думала... и ничего не могла... Почему это так?

— Ей-богу,— пробормотал Геник, чувствуя, как странный, мучительно-жгучий, но чистый стыд заливает краской его щеки.— Это... вы к Чернецкому... Он все... он расскажет... я, видите, тороплюсь и...

— А вы... разве не могли бы? — сконфузилась девушка.— Я думала...

Она умолкла, и Геник окончательно растерялся, не зная, что сказать. Не может же он говорить то, что сказано там, наверху.

— Я тороплюсь...— вымолвил наконец он.— Вы простите меня — вот все, что я могу вам сказать. Прощайте...

Люба молчала. Мучительные слезы непонимания и тревоги блеснули в ее глазах.

— Простите,— повторил Геник, спускаясь вниз.

Он торопился уйти. Люба постояла еще немного, печально смотря на быстро удаляющуюся фигуру и, вздохнув, пошла выше.

VI

Геник пересек улицу, обернулся на освещенное окно конспиративной квартиры, остановился и с глухим нетерпением стал рассматривать подвижные тени людей, скользившие за стеклом. Кто-то ходил по комнате, потому что большой, заслоняющий все окно силуэт регулярно придвигался к раме, поворачивался и снова пропадал в глубине.— «Чернецкий! — подумал Геник.— Ходит и слушает... но кого?— Самая легкая тень тронула часть стекла, и Геник, сквозь мутножелтый свет, различил женщину.— Ну, этой плохо! — вслух сказал он.— Ей-богу, они снова уговорят ее».— Тень отодвинулась, пропала, и вдруг показалось Генику, что всякая связь между ним и теми людьми исчезла.

Это было минутное настроение, но в нем, как и в каждом движении души человека, скрывалась несознанная боль одиночества. Ночь, тишина и грусть замедляли шаги Геника. Он шел по траве, сбоку от тротуара, опустив голову, шаркая ногами в бурьяне, и мысленно представлял себе, что произойдет завтра. Комбинируя и усложняя факты, он тщательно проверял их, вспоминал сегодняшний разговор и снова приходил к выводу, что все случится именно так, как не хотел он.

Решение уже набегало, подсказанное тоскливой яростью неосуществленной правды, но тайный инстинкт жизни отвлекал мысль, заставляя прислушиваться к сонной тишине города. Над крышами шумели деревья; их волнообразный, тоскливый шум звучал хором безжизненных голосов, песней оцепенения. Геник подошел к перекрестку. На досках тротуара, обнажая засохшую грязь, желтел свет уличного фонаря. Мальчишески улыбаясь, Геник вытащил из жилетного кармана монету и бросил ее вверх, стараясь попасть на доску. Медный кружок, тяжело вертясь, брякнулся, перевернулся и лег.

Мучительное желание подразнить себя удержало Геника. Он не нагибался, стоял прямо и тупо смотрел вниз,

где лежала, обернувшись или орлом, или решкой, трехкопеечная монета.— «Решка!» — уверенно сказал Геник, крепко, до боли прикусил губу и вдруг, быстро нагнувшись, поднял медяк. Выпал орел.

Прошла минута, другая, но революционер все еще стоял, поглощенный натиском мыслей. Надо было идти домой, обдумать и сообразить дальнейшее.— «Все будут поражены! — сказал Геник.— Честное слово, они объяснят это моим упрямством. А что, если бы выпала решка?»

Он сунул руку в карман, ощутив странное удовлетворение, когда сталь револьвера коснулась вздрагивающей ладони, и подумал, что, в случае «решки», оставалось бы только перевернуть монету орлом вверх.

Он широко размахнулся, решительно стиснул зубы и бросил монету в спокойную темноту ночи.

КОШМАР

I

Каждый вечер, перед тем, как уйти в свою комнату и лечь спать, я с женой читал вслух какую-нибудь книгу. Чтение продолжалось обыкновенно до тех пор, пока утомленный глаз переставал различать буквы. Самые остроумные, художественные места казались тогда непонятными алгебраическими формулами, смертельно хотелось спать, и сон манил так неудержимо, что никакое интересное положение, описанное автором, будь это дуэль, раскрытие преступления, любовь с сомнительным исходом,— не могло заставить меня бодрствовать и прочесть главу до конца. Книга захлопывалась, я целовал жену, желал ей спокойной ночи и, захватив свечку, отправлялся к себе.

Раньше, год или два назад, пока жизненные заботы еще не расшатали наши нервы и не сделали нас типичными, раздражительными горожанами, чтения эти не были так регулярны и происходили тогда, когда мы чувствовали общий действительный интерес к какому-нибудь литературному или общественному явлению, новому роману, критическому этюду. Тогда часто мы долго спорили по поводу прочитанного, полные искреннего сожаления о том, что в книге слишком мало страниц. А когда стало скучно спорить и читать вместе, потому что вкусы и мнения другого были заранее известны, незаметно окрепшая привычка заставляла меня каждый вечер раскрывать книгу и читать, а жену слушать, пока чрез определенное, небольшое количество страниц не приходил крепкий, здоровый сон.

В тот вечер, о котором идет речь, мы долго не ложились: жена увлеклась разборкой платьев, выбирая те, которые, по ее мнению, можно было подарить прислуге; а я шагал по комнате, машинально останавливаясь около разбросанных юбок и кофточек и время от времени делая бесполезные замечания по поводу той или иной вещи. Ольга была в добродушном настроении и не сердилась на меня, как обыкновенно, если я мешался в ее, женское дело; но все же, когда я выразил сомнение в пользе длинных рукавов, она сказала мне, не отрываясь от сундука:

— Ну и ладно. Если ты ничего не понимаешь, то, сделай одолжение, замолчи.

— Однако я не раз давал тебе советы,— возразил я,— и ты соглашалась со мной. А сейчас я высказал свое мнение только принципиально.

— Держи его про себя, свое мнение,— отрезала Ольга, расправляя пожелтевшие кружева.— Вот.

— Милая,— сказал я, смеясь,— ты бы легла. Ты сонная и раздражаешься. А платья посмотришь завтра; торопиться, кажется, некуда.

— Ну, я уж не могу,— сказала жена, нерешительно рассматривая голубой шелковый лиф.— Начала, так надо кончить. А если скучаешь, почитай мне.

Я послушно сел к окну и раскрыл новую книжку журнала, приготовляясь прочесть рассказ известного, давно не писавшего литератора.

— Ну, слушай,— сказал я.— «Тяжелые дни», глава первая.

— Знаешь, Павлик,— встрепелась жена.— Я лучше завтра это сделаю. Надо будет и нафталином пересыпать. А?

— Конечно,— усмехнулся я,— ведь это же я и сказал тебе две минуты назад.

— Спасибо.

— Не за что.

Наступило короткое молчание.

— Крошка,— сказал я.— Ты, детка, капризничаешь. Бай-бай пора... Ложись-ка, ложись.

— Спа-ать...— зевнула Ольга.— Скучно. А ты мне почитай, пока я усну...

— Ну, разумеется.

Она стала раздеваться, и я, сидя спиной к ней, по шороху угадывал, какая часть туалета сейчас снимается Оль-

гой. Вот легкий, упругий треск — это расстегивается кофточка; неуловимый, интимный шум — падают юбки; мягкое волнение воздуха — распушены волосы. Стукнули отброшенные ботинки, и Ольга босиком подошла сзади ко мне, закрывая мои глаза маленькими, теплыми руками. Я поцеловал ее пальцы, встал и сказал:

— Пол холодный, и ты простудишься.

Она сонно улыбнулась прищуренными глазами и села на кровать. Потом юркнула под одеяло и выставила розовое, хорошо знакомое мне и милое лицо.

— Бр... вот холодище,— капризно протянула она.— Завтра с утра — все печи; слышишь, Павля?

— Слышу,— сказал я; разделся, поправил огонь свечки, развернул книжку и стал читать.

Ольга слушала, закрыв глаза, и дыхание ее постепенно делалось все ровнее и глубже. Читал я вяло, но одно место, довольно яркое и с претензией на философское обобщение, расшевелило меня. Я улыбнулся и тронул Ольгу за плечо.

— Оля. Не находишь ли ты, что автор врет? Оля...

Повернув голову, я убедился, что жена спит. Сладкое, медленное дыхание ее грело мои волосы. Жаль. Интересно было бы узнать, что она скажет.

Я мысленно повторил, снова улыбнувшись, строки, покававшиеся мне избитой чепухой:

— «Нет свободы; нет никакой свободы... Только мысль разве свободна, да и то, как подумаешь, что ничего-то мы не знаем,— так и в этом усомнишься. Так-то, Григорий Абрамович...»

— Нет, Григорий Абрамович,— мысленно обратился я к лицу, выведенному автором в образе юноши, жаждущего подвига,— врет ваш автор.

Мне сильно хотелось спать, и я, даже при большом усилии, не мог бы стройно продумать и высказать свое опровержение. Но казалось мне, что если я, скромный, среднелодаренный человек, бухгалтер большого банка, из мелкого, голодного ничтожества выбился повыше, к незаметному, но полезному интеллигентному труду, женат на хорошенькой доброй женщине и свободен в своем двухсотпятидесятирублевом бюджете,— то есть у меня некоторое право поспорить с автором рассказа. Я сам работал, сам прошел все стадии борьбы за право жить и быть сытым,— а никто другой.

Положив книгу на столик, я обвел глазами красивую, со вкусом выбранную обстановку жениной спальни, и мирная тишина теплой, уютной освещенной комнаты приятно отозвалась во мне спокойным, любовным сознанием трудности жизни и прочности своего места в ее сутолоке. Ольга крепко спала и смешно двигала сонными, розовыми пальцами, полузакрытыми шелком стеганого одеяла. Осторожно поднявшись, я оправил подушку, поцеловал жену в маленькое, оголившееся плечо, захватил свечку и вышел в свою, соседнюю комнату.

II

Очень хорошо помню, что за ужином в этот день не было съедено ничего тяжелого или сырого, ничего возбуждающего, что могло бы расстроить желудок или нервы. Но когда я лег, закурил папиросу и потушил огонь, то сразу неприятно убедился, что заснуть — по крайней мере сейчас — мне не удастся. Не было привычного, хорошо знакомого и приятного чувства усталости во всем теле, желания потянуться, закрыть глаза; напротив, я чувствовал себя странно легко и беспокойно, как будто теперь утро и я только что встал.

Тоскливое сознание этого было мне хорошо знакомо. Обыкновенно в подобных случаях я нетерпеливо двигался на кровати, без конца курил, думал в темноте о чем-то бессвязном, таинственном и неуловимом, чутко отмечая малейший шорох, малейший скрип потолка в уснувшей квартире. Потом тяжело засыпал и вставал поздно, с головной болью и скверным аппетитом.

Тьма, наполнявшая спальню, не была полной, напряженной чернотой ночи, настраивающей бессонного человека болезненным пугливым ожиданием неопределенных звуков и навязчивых мыслей. Поэтому я решил не зажигать огня и постараться задремать.

Слабый месячный свет падал в окно, и переплет рамы на фоне тускло-голубоватых стекол казался толстой, черной решеткой. Столы, стулья и предметы, висевшие на стенах, выделялись из сумрака тяжелыми пятнами, хмурыми и неподвижными. За стеной, в комнате жены, громко и пугливо, как беспокойное сердце, стучал маятник, и по временам, переставая думать, я с автоматической тупостью начинал мысленно повторять вслед за ним: «Ук... ук... ук...»

Не помню, сколько так прошло времени, но постепенно мною стала овладевать странная тяжесть, соединенная с беспокойством и желанием двигаться. Я высвободил руку из-под одеяла, вытянул ноги, но тело было свинцовым, жарким и, как я ни поворачивался, томление не проходило.

Человек я физически вполне здоровый, крепкий, не легко устающий, и если бы такой упадок сил, соединенный с почти полным отсутствием мысли, наступил после трудной, изнурительной работы или сильных тревожений, — это было бы в порядке вещей. Но в этот день я даже не выходил из дома, день был воскресный. Продолжая удивляться и досадовать на предстоящую бессонную ночь, я невольно стал прислушиваться к странному, незнакомому звуку, медленно и тихо проникшему в глубокую тишину ночи. Звук равномерно усиливался, рос, затихал и снова наполнял комнату своим одиноким, легким присутствием.

В темноте чувства обостряются. Думая, что меня, быть может, обманывают мои собственные, бессознательные движения, производящие легкий, незаметный днем шум, я закрыл ладонями уши и совсем замер, вытянувшись лицом вверх. Потом отнял руки и прислушался. По-прежнему глухо и сонно стучал маятник, углубляя царящую тишину, но так же, как минуту назад, ровный, легкий шум, похожий на шарканье калош за окном, вздыхал в темноте, таял, как притаившийся человек, и оживал вновь.

Тихонько, опираясь руками на кровать, я встал и, напряженно ступая босыми ногами, осмотрел стены и мебель. Луна скрылась за тучами, стало темнее. Комната молчала зловеще и хитро; казалось, тысячи невидимых, зорко натянутых струн пронизывали по всем направлениям воздух, проникая в мозг, тело; тысячи струн, готовых крикнуть и загреметь при малейшем стуке или резком движении.

Дверь в спальню жены, плотно закрытая мной, смутно выделялась из мрака огромным, расплывающимся четырехугольником. По-прежнему неуловимый, вздыхающий звук полз в темноте, и вдруг, как-то сразу, неожиданным сотрясением мысли, вспыхнувшим, подобно зажженной спичке, я понял, что звук этот — ровное, глубокое дыхание жены, крепко спящей за толстой стеной комнаты и плотной, ковровой драпировкой двери.

Еще не убедившись в реальности этого открытия, я поверил ему и испугался. Новый звук заворочался в темноте — биение моего собственного всколыхнувшегося сердца.

В самом деле, даже громкий, оживленный разговор был всегда плохо слышен из одной комнаты в другую и доносился лишь невнятным, слабым гулом. Теперь же легкое дыхание спящего человека раздавалось вполне ясно и так близко, что невольно казалось, будто человек этот дышит здесь, рядом со мной.

Испугавшись, я машинально схватил ручку и приоткрыл дверь. Холодное прикосновение меди слегка успокоило меня, а затем встревожило еще больше, так как, просунув голову в дверь, я убедился в правильности своего заключения; действительно, это было дыхание моей жены, наполнявшее теперь ее комнату едва слышными, ровными колебаниями.

Растерявшись и вздрагивая от холода, я затворил дверь, стараясь не скрипнуть, и вдруг весь затрясся в припадке дикого, животного ужаса. Мгновенное, сильнейшее сотрясение разбило все мое тело, разразившись тоскливым, неудержимым воплем. Я задыхался. В ужасе и тоске, хватаясь руками за горло, я старался хлебнуть воздуха и не мог. Потолок низко опустился надо мной, и все вокруг, черное, хмурое, кинулось прочь. Заплакав тихими, пугливыми взвизгиваниями, я стукнулся рукой о кровать, очнулся и сел.

III

Некоторое время мысли мои были так безобразно хаотичны, что я с трудом мог дать себе отчет, где нахожусь. Наконец сознание вернулось ко мне, но тело все еще было и содрогалось, как от противного, омерзительного прикосновения. В ушах носился далекий, плывущий звон, ноги дрожали от слабости, слегка подташнивало. Голубоватый свет месяца тусклой пылью озарял письменный стол и серебрил черные переплеты окна.

Мне было так страшно, так непонятно овладевшее мною состояние, что я ни минуты более не мог оставаться один. Но что же делать? Разбудить Ольгу и, быть может, испугать ее? Все равно. Я побуду немного с ней, приду в себя и усну. Остановившись на этой мысли, я встал с кровати, но тут же с крайним удивлением заметил, что ноги отказываются мне повиноваться. Они гнулись, как веревки, и тянули вниз. Опустившись на колени, я пополз к дверям, хватаясь за стулья и жалобно вскрикивая. Вместе с тем,

в голове бродила сонная и детская мысль, что если жена увидит меня стоящим на коленях, то не рассердится, а укутает и поцелует.

Дрожа от нетерпения и глухой, тяжелой тоски, я подполз к двери и вдруг легко и быстро поднялся на ноги. Произошло это без всякого усилия с моей стороны, словно посторонняя сила мягко встряхнула меня и подняла вверх. Страх исчез, сменившись ожиданием успокаивающей близости живого человека и смеха над своей развинченностью. Но когда я медленно отворил дверь, то сразу и с некоторым смущением увидел, что попал не в женину, а в чужую комнату.

IV

Или, вернее сказать, я не был еще уверен окончательно, чья это спальня — Ольги или посторонней, незнакомой мне женщины. Произошло какое-то неожиданное и странное перемещение хорошо известных предметов. Прежде всего — свет. Жена моя, засыпая, никогда не оставляла огня в комнате. Теперь же по стенам и потолку разливался слабый, желтоватый отблеск, проникавший из неизвестного источника. Большое зеркало из трех овальных стекол, висевшее раньше на стене, соединявшей обе комнаты, очутилось теперь вместе с маленьким мягким диваном против меня, и сбоку его висела прибитая булавками картинка, рисованная карандашом. Картинка изображала мельницу, еловый лес, плоты, и раньше этого рисунка, как я хорошо помню, у Ольги никогда не было. Все остальные предметы сохраняли прежнее положение.

Но больше всего удивило меня то обстоятельство, что Ольга или женщина, которую я принимал за Ольгу, хозяйка этой комнаты, лежала на диване, одетая и, по-видимому, крепко спала. Я сильно сконфузился, мелькнула мысль, что это действительно незнакомое мне лицо, что она может проснуться и испугаться, увидя у себя в поздний ночной час дрожащего, полусонного мужчину босиком и в нижнем белье. Однако неудержимое любопытство преодолело стыд и заставило меня подойти ближе к дивану.

Женщина спала, несомненно, и крепко. Кофточка на ее груди была расстегнута; из-за лифа вместе с кружевом рубашки просвечивало нежное, розоватое тело. Вглядев-

шись пристальнее, я убедился, что это действительно Ольга, подошел смелее и тронул ее за плечо.

Она зашевелилась, проснулась, но, прежде чем открыть глаза, хихикнула гадкой, хитрой, больно уколотившей меня улыбкой. И затем уже, медленно вздрогнув ресницами, подняла к моему лицу непроницаемый, омерзительный взгляд совершенно зеленых, как трава, лукавых, немых глаз.

Я вздрогнул от непонятного, таинственного предчувствия грядущего страха, непостижимого и панического. Взял ее за холодную, гибко поддающуюся руку и сказал:

— Пойдем, но не надо. Вставай, но не лежи.

Сейчас нельзя припомнить, зачем это было сказано. Но тогда я знал, что слова мои важны, значительны, имеют какой-то особый, понятный лишь ей и мне смысл. Она лежала неподвижно, гадко улыбаясь, и притягивающе глядела сквозь мою голову в дальний, закрытый тьмой угол комнаты.

Тысячи голосов, испуганных, захлебнувшихся ужасом, содрогнулись во мне звонкими, истерическими выкриками, подступая к горлу и сотрясая все тело той самой горячечной, туманящей сознание дрожью, которую я испытал во сне. Как будто молния ударила в комнату и, ослепив глаза, показала весь ужас, всю тайну творящегося вокруг. Тут только я заметил, что у Ольги не русые, как всегда, а неприятно-металлически золотистые волосы, что она — и она и не она.

Я бросился к ней, схватил ее на руки, зарыдал, прижался к ее груди мокрым от слез лицом, тискал, тормозил, а она легко, как кукла, поворачивалась в моих руках, по-прежнему зло, ехидно смеялась в лицо. Глаза ее стали больше и зеленее.

Без памяти, в состоянии, близком к помешательству, я потащил ее на кровать. Мне казалось, что стоит лишь бросить эту, так странно изменившуюся женщину на подушки и провести рукой по ее щеке, как она сейчас же станет прежним, хорошо мне известным близким человеком. Но, когда, шатаясь от тяжести, я подошел к кровати, то увидел на ней — другую, настоящую Ольгу, с милым и добрым лицом, спокойно спящую, как будто вокруг не было ни тайны, ни страха, ни тоски.

Я положил женщину с зелеными глазами на Ольгу и вдруг бессознательно ясным движением мысли понял, что

жена не проснется, пока я не задушу эту чужую, неизвестную женщину.

Я задушил ее быстро, нечеловеческим усилием мускулов и отбросил. Она стукнулась о пол, мертво улыбнувшись искаженным, почерневшим ртом.

— Оля,— сказал я, дрожа от тоски и бешенства,— Оля!

Жена спала. Я повернул ее голову, попытался открыть глаза. Веки вздрогнули, и был момент, когда, как показалось мне, она просыпается. Но лицо шевельнулось и приняло снова спящее, мучительно-спокойное выражение. Потом тихая улыбка тронула углы губ, и Ольга открыла глаза.

Они смотрели с горькой, страдальческой покорностью, пытаясь что-то сказать. Плача от невыразимой жалости к себе и к ней, я гладил ее по лицу и тупо повторял:

— Оля. Да встань же. Ведь я люблю тебя... Оля!

Нет, она не проснется. Я убедился в этом. А если... Еще, еще одно, самое главное усилие.

— Оля,— сказал я,— мы пришли, а ты лежишь. Если все будут лежать,— что же это в самом деле? Подожди!

И здесь я проснулся уже действительно, проснулся в состоянии, близком к отчаянию, с мокрым лицом и с горячечным пульсом.

V

Почувствовал я себя таким разбитым, таким немощным, что даже мой мозг, еще полный сонного бреда и диких, таинственно убежавших образов, не в состоянии был заставить тело вскочить и кинуться в соседнюю комнату, под защиту присутствия другого, живого человека. Чувствовал я себя так, как если бы, идя по обрыву горной кручи, упал, разбился, потерял сознание; а потом, открыв глаза, стал припоминать, что произошло.

Прошла минута, другая, и, когда безумно колотившееся сердце успокоилось, а грудь вздохнула ровнее, мною овладел детский, беспомощный страх и омерзительное, содрогающее воспоминание. Ясность пережитого была так реальна, что я, вскочив с кровати и направляясь в комнату жены, не был уверен, что не встречу там желтого света и женщины, задушенной мною. Организм мой вдруг потерял привычное равновесие, колеблясь между фантомами и ожиданием реальной, действительно существующей бессмыс-

лицы. Открыв дверь, я быстро подошел к жене и разбудил ее.

Должно быть, я весь дрожал и говорил странно, потому что, когда проснулась жена и увидела мой темный силуэт, в движениях ее и голосе скользнули сонная, испуганная растерянность и непонимание. Она приподнялась, а я жался к ней, щупал ее руки, плечи, целовал голову, стараясь убедиться, что это не сон, а живой человек, и все время повторял слабым, всхлипывающим голосом:

— Оля, милая. Это ты? Ты? Да?!. Ох, что я видел — Олечка, Оля!..

И вдруг маленький, колющий страх съежил меня. Что, если это не Ольга, а та женщина, и у нее зеленые глаза?

Она обнимала меня, называла нежными именами и успокаивала. Два или три раза я пытался рассказать ей свой сон — и не мог; при одном воспоминании об этом все тело знобила мерзкая, гадкая дрожь.

— Павлик,— сказала жена,— это оттого, что ты лежал на спине.

Сон прошел у нее, и она лежала с открытыми глазами.

— Да,— пробормотал я,— пожалуй, ты права.

— Выпей валерьянки, милый,— вспомнила Ольга.— Ну, зажги свечку и выпей.

Я и сам сознавал необходимость этого. Но тьма, окружавшая нас, и яркие воспоминания сонных видений, при одной мысли о том, что надо встать, двигаться в бесшумной, ночной пустоте, снова наполняли душу тупым, беспредметным страхом. Все вокруг, что не было мы, двое, казалось мне странно живым, враждебным, притаившимся только на время, готовым сойти со своих мест и зажить особой, таинственной жизнью, лишь только я закрою глаза.

В окнах тускло белели снежные крыши, светилась воздушная пустота, накрытая темным куполом. Там было тихо, так же странно тихо, как и везде ночью. Все, что раньше казалось нелепым и диким, теперь вдруг оживало передо мной, наполняя мир призраками, лохматыми лешими, домовыми с хитрыми, седенькими бородками, ночными кошками, черными, как чернила на белом снегу крыши; зелеными водяниками, там, далеко, за чертой города ведущими свою непостижимую, удивительную жизнь; оборотнями, маленькими мышами, которые, может быть, вовсе не мыши, а гномы. И, крепко прижавшись к жене, гладившей жёня по голове, как маленького мальчугана, я осторож-

но думал о том, что, может быть, и в самом деле, она — не она, что вдруг разольется в комнате странный свет и блеснет из-под одеяла гадкая, гнетущая улыбка ночного призрака.

Видя, что я лежу молча, притворяясь спящим, жена встала сама, зажгла свечку и налила мне в рюмку валерьяновых капель. Свет мало успокоил меня, и, принимая рюмку из рук Ольги, я с некоторым страхом посмотрел на ее лицо. Но это были ее, озабоченные голубые глаза и распущенные, русые волосы.

— Детка,— сказал я,— а ведь, ей-богу, мне кажется, что я все еще сплю.

Она засмеялась, и я тоже улыбнулся, думая про себя, что все-таки еще неизвестно — сплю я или нет.

Жена потушила свечку, легла на кровать и спрятала мою голову под одеяло, а я лежал там в душном, темном мраке, упираясь щекой в ее плечо, лежал, как бедный, загнанный дикарь, измученный бесчисленными фетишами, и глупо, блаженно улыбался, стараясь уснуть. Вскоре мне это удалось. Но последняя мысль, мелькавшая в засыпающем мозгу,— была та, что я — и солидный господин в золотых очках, проверяющий конторские счета, платящий свои долги и принимающий гостей по субботам,— что-то различное.

А что — я так и не мог решить.

Утром я вскочил свежий, бодрый, с душой такой ясной и радостной, как будто она умылась. Ольга еще крепко спала. Солнце торопливо бросало в сияющие стекла окон длинные зимние лучи.

ОСТРОВ РЕНО

Внимай только тому голосу,
который говорит без звука.
(Древнеиндусское писание)

I ОДНОГО НЕТ

Лейтенант стоял у штирборта клипера и задумчиво смотрел на закат. Океан могущественно дремал. Неясная черта горизонта дымилась в золотом огне красного полудиска. Полудиск этот, казавшийся огромной каплей расплавленного металла, быстро всасывался океаном, протягивая от своей пылающей арки к корпусу клипера широкую, блестящую золотой чешуей полосу отражения.

Лучей становилось все меньше, они гасли, касаясь воды, по мере того, как полудиск превращался в узкий, красный сегмент. За спиной лейтенанта, упираясь в зенит, бесшумно росли тени. Тянуло холодом. Мачтовые огни фонарей засветились в черной, как тихая смола, воде рейда, и Южный Крест рассыпался на небесном бархате крупными, светлыми брильянтами. Бледная даль горизонта суживалась, и лейтенанту казалось, что он смотрит из черной коробки в едва приоткрытую ее щель. Последний луч нерешительно заколебался на горизонте, вспыхнул судорожным усилением и погас.

Лейтенант закурил сигаретку, тщательно застегнул китель и повернулся к острову. Ночь скрадывала расстояние;

черная громада берега казалась совсем близкой; клипер словно прильнул бортом к невидимым в темноте скалам, хотя судно находилось от земли на расстоянии по крайней мере одного кабельтова. Ночной ветер тянул с берега прямой духотой и сыростью береговой чащи; там было все тихо, и хотелось верить, что остров населен тысячами неизвестных, хитрых врагов, следящих из темноты за судном, чтобы, выбрав удобную минуту, напасть на него, перебить экипаж и огласить воем радости тишину моря.

Лейтенант представил себе порядочную толпу дикарей, штук в двести, мысленно угостил их двойным зарядом картечи и пожалел, что вместо пиратов остров населен таким количеством обезьян, какого было бы вполне достаточно для всех европейских зверинцев. Военное оружие по необходимости должно миновать их. Нет даже захудалого разбойника, способного убить кого-нибудь из пятерых матросов, посланных три часа тому назад за водой. И действительно, шлюпка долго не возвращается. Кабаков здесь нет, а устье реки совсем близко у этого берега.

— В самом деле,— пробормотал лейтенант,— парни не торопятся.

Океан слабо вздыхал. Тяжелые, увесистые шаги приблизились к офицеру и замерли перед ним сутулой, черной фигурой боцмана. Слабое мерцание фонаря осветило морщинистое лицо с тонкими бритыми губами. Боцман глухо откашлялся и сказал:

— Наши не возвращаются.

— Да; и вам следовало бы знать об этом больше, чем мне,— сухо сказал офицер.— Четыре часа; как вам это нравится, господин боцман?

Боцман рассеянно пожевал губами, сплюнул жвачку. Он был того мнения, что волноваться раньше времени не следует никогда. Лейтенант нетерпеливо спросил:

— Так что же?

— Приедут,— сказал боцман,— ночевать на берегу они не останутся. Там нет женщин.

— Нет женщин, чудесно, но они могли утонуть.

— Пять человек, господин лейтенант?

— Хотя бы и пять. Не забывайте также, что здесь есть звери.

— Пять ружей,— пробормотал боцман,— это шутки для зверей... плохие шутки... да...

Он повернул голову и стал прислушиваться. Лицо его как бы говорило: «Неужели? Да... в самом деле... возможно... может быть...»

Тени штагов и вант перекрещивались на палубе черными полосами. За бортом темнела вода. Непроницаемый мрак скрывал пространство; клипер тонул в нем, затерянный, маленький, молчаливый.

— Что вы там слышите? — спросил офицер. — Лучше позаботились бы вперед отпускать не шатунов, а служак. Что?

— Веса, — кратко ответил боцман, сдвигая брови. — Вот послушайте, — добавил он, помолчав. — Это ворочает Буль. А вот хлопает негодяй Рантэй. Он никогда не научится грести, господин лейтенант, будьте спокойны.

Лейтенант прислушался, но некоторое время тишина бросала ему слабое всхлипывание воды в клюзах, скрип гафеля и хриплое дыхание боцмана. Потом, скорее угадывая, чем отмечая, он воспринял отдаленное колебание воздуха, похожее на отрывистый звук падения в воду камня. Все стихло. Боцман постоял еще немного, уверенно заморгал и выпрямился.

— Едут! — процедил он, сочно выплевывая табак. — Рантэй, клянусь сатаной, всегда ищет девок. Высадите его на голый риф, и он моментально влюбится. В кого? В то-то и весь секрет... А здесь? Пари держу, что для него черт способен обернуться женщиной... Да...

— Старина, — перебил лейтенант, — неужели вы слышите что-нибудь?

— Я? — Боцман неторопливо вздохнул и хитро улыбнулся. — Я, видите ли, господин лейтенант, еще с детства страдал этим. За милую, бывало, слышу, кто едет и в каком направлении. У меня в ушах всегда играет оркестр, верно, так, господин лейтенант, хоть будь полный штиль.

— Да, — сказал лейтенант, — теперь и я, пожалуй, начинаю различать что-то.

Из яркой черноты бежали ритмические всплески весел, неясные выкрики, скрип уключин; шлюпка вошла в полумрак корабельного света; лейтенант подошел к трапу и, наклонившись, громко сказал:

— Канальи!..

Шлюпка глухо постукивала о борт клипера. Один за другим подымались наверх матросы и выстроились на шканцах, лицом к морю.

Лейтенант стал считать:

— Один, два, три... и... Пойдите, Матью, сколько их было?

— Было-то их пять, господин лейтенант. Вот задача!

— Ну,— нетерпеливо спросил офицер,— где же пятый?

— Пятый?— сказал крайний матрос.— Пятый был Тарт.

И, помолчав, нерешительно объяснил:

— Он пропал... Извините, господин лейтенант, он находится неизвестно где. Его нет.

Наступило выразительное молчание. Матрос подождал немного, как бы не найдя слов выразить свое удивление, и прибавил, разводя руками:

— То есть пропал окончательно, словно сквозь землю провалился. Нигде его нет, из-за этого мы и опоздали. Рантэй говорит: — «Надо ехать». А я говорю: — «Пойдите, как же так? У Тарта нет шляпки... Да,— говорю я,— шляпки у него нет...»

Матрос добродушно осклабился и почесал за ухом. Лейтенант нервно пожал плечами и взглянул на боцмана. Морской волк озабоченно размышляя, шевеля сморщенными губами.

— Пойдите,— сказал лейтенант унылым голосом,— как так пропал? Где? Вы, может быть, брали с собой ром, и Тарт валяется где-нибудь под деревом?

Матрос задоволился от желания передать подробно-сти и еще долго бы переминался с ноги на ногу, набирая могучей грудью ночной воздух, если бы быстроглазый Рантэй не выручил его смущенную душу. Он сделал рукой категорический жест и плавно рассказал все.

В его изображении дело было так: никто не заметил, как Тарт ушел в сторону, отделившись от остальных. Когда наступило время возвращаться на клипер, стали беспокоиться и давать сигнальные выстрелы. Смерклось. Кое-кто выразил неудовольствие. Тогда решили ждать еще полчаса, а затем ехать.

Лейтенант стоял с озабоченным лицом, не зная, что делать. Матросы молчали. Боцман сплевывал табачную жвачку и хмурился.

Отправляясь с вечерним рапортом, лейтенант застал капитана погруженным в раскладывание пасьянса. В подтяжках, с расстегнутым воротом рубахи и вспотевшим одут-

ловатым лицом, он смахивал на фермера, раскрасневшегося за бутылкой пива. Перед ним стояли плотный кувшин и маленькая пузатая рюмка. Он то и дело наполнял ее и бережно высасывал, облизывая черные седеющие усы. Изредка поворачиваясь к лейтенанту, капитан останавливал на нем рассеянноподвижный взгляд красных, как у кролика, глаз и снова щелкал картами, приговаривая:

— Туз налево, дама направо, теперь нужно семерку. Куда запропастилась семерка, черт ее поберет?

Пасьянс не вышел. Капитан тяжело вздохнул, смешал карты, выпил и спросил:

— Так вы говорите, что этот бездельник пропал? Расскажите, как было дело.

Лейтенант рассказал снова. Теперь капитан слушал иначе, схватывая фразу на полуслове, и, не дав кончить, заявил, с размаху прикладывая ладонь к клеенке стола:

— Завтра, чуть свет, пошлите шесть человек, и пусть они пошарят во всех углах. Его хватил солнечный удар. Он с юга?

— Не знаю,— сказал лейтенант,— впрочем...

— Конечно,— перебил капитан, проникательно сощуривая глаза,— дело ясное. Они слабы на голову, северяне. За нынешнюю кампанию это будет десятый. Впрочем, что долго толковать; если он умер — черт с ним, а если жив — сотню линьков в спину!

Каюта наполнялась. Пришел доктор, старший лейтенант и фуражир. Проиграв в фараон четверть годового жалованья, лейтенант вспомнил белый чепчик матери, которой надо было послать денег, и ушел к себе. Раскаленная духота каюты гнала сон. Кровь шумела и тосковала, возбуждение переходило в болезненное нервное напряжение.

Лейтенант вышел на палубу и долго, без мыслей, полный тяжелого сонного очарования, смотрел в темные очертания берега, строгого и таинственного, как человеческая душа. Там бродит заблудившийся Тарт, а может быть, лежит мертвый с желтым, заострившимся лицом, и труп его разлагается, отравляя ночной воздух.

«Все умрем»,— подумал лейтенант и весело вздохнул, вспомнив, что еще жив и через полгода вернется в старинные низкие комнаты, за окнами которых шумят каштаны и блесит песок, вымытый солнцем.

Когда пять матросов высадились на берег и прежде, чем наполнять бочки, решили поразмять ноги, выпустив пару-другую зарядов в пернатое население,— Тарт отделился от товарищей и шел, пробираясь сквозь цветущие заросли, без определенного направления, радуясь, как ребенок, великолепным новинкам леса. Чужая, прихотливо-дикая чаща окружала его. Серо-голубые, бурые и коричневые стволы, блестя переливчатой сеткой теней, упирались в небо спутанными верхушками, и листва их зеленела всеми оттенками, от темного до бледного, как высохшая трава. Не было имен этому миру, и Тарт молча принимал его. Широко раскрытыми, внимательными глазами щупал он дикую красоту. Казалось, что из огромного зеленого полотнища прихотливые ножницы выкроили бездну сочных узоров. Густые, тяжелые лучи солнца торчали в просветах, подобно золотым шпагам, сверкающим на зеленом бархате. Тысячи цветных птиц кричали и перепархивали вокруг. Коричневые с малиновым хохолком, желтые с голубыми крыльями, зеленые с алыми крапинками, черные с фиолетовыми длинными хвостами — все цвета оперения шныряли в чаще, вскрикивая при полете и с шумом ворочаясь на сучках. Самые маленькие, вылетая из мшистой тени на острие света, порхали, как живые драгоценные камни, и гасли, скрываясь за листьями. Трава, похожая на мелкий кустарник или гигантский мох, шевелилась по всем направлениям, пряча таинственную для людей жизнь. Яркие, причудливые цветы кружили голову смешанным ароматом. Больше всего было их на ползучих гирляндах, перепутанных в солнечном свете, как водоросли в освещенной воде. Белые, коричневые с прозрачными жилками, матово-розовые, синие — они утомляли зрение, дразнили и восхищали.

Тарт шел, как пьяный, захмелев от сырого, пряного воздуха и невиданной щедрости земли. Буковые леса его родины по сравнению с островом казались головой лысого перед черными женскими кудрями. С любопытством и счастливым недоумением смотрел он, закинув голову, как стая обезьян, размахивая хвостами и раскачиваясь вниз головой на попутных сучках, промчалась с треском и свистом, распугав птиц. Зверьки скрылись из виду, певучая тишина ле-

са монотонно звенела в ушах, а он стоял, держа палец на спуске ружья и сосредоточенно улыбаясь. Потом медленно, смутно почувствовав на лице чужой взгляд, вздохнул и бессознательно осмотрелся.

Но никого не было. Так же, как и минуту назад, свисая над головой, громоздилась, загораживая небо, живая ткань зелени; перепархивали птицы; желтели созревшие большие плоды, усеянные колючками. Тарт перевел взгляд на ближайшие сплетения вогнутых, как зубчатые чашки, листьев и заметил маленькое, зеленоватое нечто, похожее на недозрелую сливу. Присутствие напряженной, внимательной силы сказывалось именно здесь, в трех шагах от него. Слива чуть-чуть покачивалась на невидимом стебле; матрос беспокойно зашевелился, бессильный объяснить свою собственную тревогу, центром которой сделался этот, почти незаметный, плод. Он протянул руку и быстро, с внезапной гадливой дрожью во всем теле, отдернул пальцы назад: маленькая, блестящая, как жидкий металл, змея, прорезав приплюснутой головой воздух, задвигалась в листьях. Тарт нахмурил брови и ударил ее стволom штуцера. Животное упало в траву, издав легкий свист; Тарт отпрыгнул и торопливо ушел дальше.

Откуда-то издалека донесся звук выстрела, за ним другой: товарищи Тарта охотились, по-видимому, серьезно. Матрос задумчиво остановился. Еще один отдаленный выстрел всколыхнул тишину, и Тарт вдруг сообразил, что он ушел дальше, чем следовало. Ноги устали, хотелось пить, но светлое, восторженное опьянение двигало им, заставляя идти без размышления и отчета. Иногда казалось ему, что он кружится на одном месте в странном, фантастическом танце, что все живет и дышит вокруг него, а он спит на ходу, с широко открытыми глазами; что нет уже ни океана, ни клипера и что не жил он никогда в мире людей, а всегда бродил тут, слушая музыку тишины, свое дыхание и голос отдаленных предчувствий, смутных, как детский сон.

Лес становился темнее, ближе придвигались стволы, теснее сплетались над головой Тарта зеленые зонтики, ноги проваливались в пышном ковре, затихли голоса птиц. Расплывчатые видения носились в сумеречных объятиях леса и жили мимолетным существованием. Бесчисленные глаза их, невидимые для Тарта, роились в воздухе, роняли на

его руки слезы цветов, сверкали зеленоватыми искрами насекомых и прятались, полные сосредоточенной думы, печали нежной, как грустное воспоминание. Все дальше и дальше шел Тарт, погруженный в тревожное оцепенение и тоску.

И, наконец, идти стало некуда. Глухая дичь окружала его, почти совершенная темнота дышала гнилой прелью, жирным, душистым запахом разлагающихся растений и сыростью. Протягивая вокруг руки, он схватывал влажные стебли, паразитов, хрупкую клетчатку листьев, мелкие гнущиеся колючки. Задыхаясь от духоты, тревоги и необъяснимого, томительного волнения, Тарт зажег восковую спичку, осветив зеленый склеп. Он был, как в ящике. Со всех сторон громоздились зеленые вороха, стволы тупо смотрели сквозь них, покрытые влажным блеском.

Тарт бросил спичку и, оглушенный темнотой, кинулся напролом. Это было отчаянное сражение человека с лесом, желания — с препятствием, живого тела — с цепкой, почти непролазной стеной. Он брал приступом каждый шаг, каждое движение ног. Тысячи могучих пружин хлестали его в грудь и лицо, резали кожу, ушибали руки, молчаливые бешеные объятия откидывали его назад. Бессознательно, страстно, ослепленный и задыхающийся, Тарт рвался вперед, останавливался, набирал воздуха и снова, как солдат, стиснутый неприятелем, шел шаг за шагом сквозь темную глушь.

Свет наступил неожиданно, в то время, когда Тарт всего менее ожидал этого. Измученный, но довольный, вытирая рукавом блузы исцарапанное, вспотевшее лицо, он выпрямился, открыл глаза и, вздрогнув, снова закрыл их. С минуту, трепеща от восторга, Тарт не решался поднять веки, боясь, что случайною сказкою мысли покажется неожиданное великолепие окружающего. Но сильный, горячий свет проникал в ресницы красным туманом, и нетерпеливая радость открыла его глаза.

Перед ним был овальный лесной луг, сплошь покрытый густой, сочной зеленью. Трава достигала половины человеческого роста; яркий, но мягкий цвет ее поражал глаз необычайной чистотой тона, блеском и свежестью. Шагах в тридцати от Тарта, закрывая ближайшие деревья, тянулись скалы из темнорозового гранита; оборванный круг их напоминал неправильную подкову, концы которой были

обращены к Тарту. В очертаниях их не было массивности и тупости; остроконечные, легкие, словно вылепленные тонкими пальцами из красноватого воска, они сверкали по краям изумрудной поляны коралловым ожерельем, брошенным на зеленый шелк. Радужная пыль водопадов дымилась у их вершин: в глубоком музыкальном однообразии падали вниз и стояли, словно застыв в воздухе, паутинно-тонкие струи.

Их было много. То рядом, теснясь друг к другу, лилась вниз их серебряная, неудержимая ткань, то группами, по два и по три, тихо свержались они с влажного каменного ложа в невидимый водоем; то одинокий каскад, ныряя в уступах, прыгал с высокого гребня и сеял в воздухе прозрачное, жидкое серебро; то ровная стеклянная полоса шумела, разбиваясь о камни, и пылила сверкающим градом брызг. Тропическое солнце миллиардами золотых атомов ликовало в игре воды. И все падали, падали вниз бисерным полукругом тонкие, тихие водопады.

Тарт глубоко вздохнул и засмеялся; тихая улыбка осталась в его лице, полном напряженного восхищения. Деревья, выросшие вокруг луга, также поразили его. Темнозеленые широкие листья их светлели, приближаясь к стволу, бледнели, прозрачно золотились и в самой глубине горели розовым жаром, тоненькие и розовые, как маленькая заря. Раскидистые, приподнятые над землей корни держали на весу ствол.

Снова Тарт перешел глазами на луг, так он был свеж, бархатно-зелен и радостен. Светлая пустота переливалась вдали, у скал, дрожью воздушных течений, однозвучную мелодию твердили тонкие водопады. И розовые горны темнозеленых куп открывали солнечному потоку первобытную прелесть земли.

Инстинктивно трепеща от вспыхнувшей любви к миру, Тарт протянул руку и мысленно коснулся ею скалистых вершин. Необъяснимый, стремительный восторг приковал его душу к безлюдному торжеству леса, и нежная, невидимая рука легла на его шею, сдавливая дыхание, полное удержанных слез. Тогда, окрыляя живую тишину света, пронесся крик. Тарт кричал с блестящими от слез глазами: голос его летел к водопадам, бился в каменные уступы и, трижды повторенный эхом, перешел в песню, вызванную

внезапным, мучительным потрясением, страстную и простую.

Кто спит на вахте у руля,
Не размыкая глаз?
Угрюмо плещут лиселя,
Качается компас,
И ждет уснувшая земля
Гостей веселых — нас.
Слабеет сонная рука,
Умолк, застыл штурвал;
А ночь — угроза моряка —
Тант зловещий шквал;
Он мчится к нам издалека,
Вскипел — и в тьме пропал.
Пучина ужасов полна,
А мы глядим вперед,
Туда, где знойная страна
Красотками цветет.
Не спи, матрос! Стокан вина,
И в руки — мокрый шкот!
Мы в гавань с песней хоровой
Ворвемся, как враги,
Как барабан — по мостовой
Веселые шаги!
Проснись, угрюмый рулевой,
Темно; кругом — ни зги!

Мелодия захватила его, долго еще, без слов, звучал его голос, повторяя энергичный грустный напев матросской песни. Без желаний, без дум, растроганный воспоминаниями о том, что было в его жизни так же прекрасно и неожиданно, как маленький рай дикого острова, стоял он на краю луга, восхищенный внезапной потерей памяти о тяжести жизни и ее трудах, о темных периодах существования, когда душа изнашивает прежнюю оболочку и спит, подобно гусенице, прежде чем сверкнуть взмахом крыльев. Праздничные, веселые дни обступили его. Руки любимых женщин провели по его щекам шелком волос. Охота в родных лесах и ночи под звездным небом воскресли, полные свободного одиночества, опасностей и удач. И сам он, Тарт, с новым большим сердцем, увидел себя таким, как в часы мечтаний, на склоне пустынных холмов, перед лицом вечерней зари.

Он снял ружье, лег на траву и с ужасом подумал о завтрашнем неизбежном дне: часть жизни, отданная другим...

Запах цветов кружил голову. От утомления дрожали руки и ноги, лицо горело, и розовый туман плыл в закрытых глазах.

Он не сопротивлялся. Глубокое, сонное оцепенение приласкало его и медленно погрузило в душистый, тихий океан сна, где бродят исполненные желания и радость, не омраченная человеком. Тарт спал, а когда проснулся — была ночь и темная, звездная тишина.

III

БЛЕМЕР НАХОДИТ ТАРТА

Тарт сидел у огня, поджав ноги, прислушиваясь и размышляя. Он не спал ночь: тяжелая задумчивая тревога собирала морщины на его лице, а руки, крошившие табак, двигались невпопад, рассеянно подбирая прыгающие из-под ножа срезки. Уверенность в том, что никто не подсматривает, придавала лицу Тарта ту особенную, непринужденную выразительность, где каждый мускул и взгляд человека рассказывает его настроение так же бегло, как четко переписанное письмо. Огонь вяло потрескивал, шипел, змеялся в гладкой стали ружья и бледным жаром падал в глаза Тарта. Кругом, в духоте полдня, дремал лес; глухой шум невидимой жизни трепетал в нем, бередя душу странным очарованием безлюдья, гигантской силы и тишины.

Матрос встал, ссыпал нарезанный табак в маленькую жестяную коробку, поднял ружье и долго молча стоял так, слушая голоса птиц. Иногда, на мгновение, прихотливый узор листья вспыхивал перед ним обманчивым силуэтом зверя, и рука Тарта бессознательно вздрагивала, колебля дуло ружья. Зеленые свет и мрак чередовались в глубине леса. Мысль тревожно летела к ним, отыскивая живое молчаливое существо с глазами из черной влаги, рогатое и стройное.

В певучем, томительном забытии окружал человека лес, насыщенный болотными испарениями, запахом гниющих растений и дикой, сказочной красотой. То ближе, то дальше трещал кустарник, невиданные, неизвестные существа двигались там, прислушиваясь друг к другу, и образы их, созданные воображением Тарта, принимали чудовищные, волнующие размеры или, наоборот, бледнели и съеживались, когда умолкал треск.

Резкий шарахнувшийся крик птицы вывел его из глубокого, торжественного оцепенения. Он поднял глаза вверх, но тотчас же инстинктивно опустил их, взвел курок и насторожился, раздвигая взглядом светлую рябь листвы.

Сначала было трудно определить, что это: маленькая застывшая тень или пятно шерсти; чье-то пытлиное, осторожное присутствие сказывалось не дальше, как в десяти шагах и путало мысли, убивая все, кроме жестокого, огненного желания встретить глаза зверя. Тарт тихо шагнул вперед и хотел крикнуть, чтобы животное выскочило из кустов, но вдруг, в самой глубине зеленой сети растений, поймал черный блеск глаза, выпрямился и вздрогнул от неожиданности. Штуцер нервно заколебался в его руках, дыхание стало глуше, и два-три мгновения Тарт не решился выстрелить — столько безграничного удивленья, наивности и любопытства сверкало в маленьком блестящем зрачке.

Глаз продолжал рассматривать человека, зашевелился, придвинулся ближе, к нему присоединился другой, и жадный, требовательный взгляд их стал надоедать Тарту. Казалось, его спрашивали: кто ты? Он поднял ружье, прицелился и опустил руку одновременно с запыхавшимся криком шумно обрадованного человека: — Тарт, сто чертей, здравствуй!

С тяжелым холодом в сердце Тарт повернулся к матросу. В кустах бешено затрещало, испуганно мелькнули и скрылись низкие, сильно закрученные рога. По щекам Блемера градом катил пот. Глаза, покрасневшие от утомления и жары, тревожно ощупывали лицо Тарта, а полные губы морщились, удерживая смех. Он снял фуражку, вытер рукавом блузы вспотевший лоб и заорал снова всей ширью здоровеннейших морских легких: — И ты мог заблудиться, чучело! Три мили длины и три ширины! Это дно от стакана, а не остров. Конечно, есть острова, где можно ходить порядочным людям. Цейлон, например, Зеландия, а не эта, с позволения сказать, корзина травы! Вообще мы решили, что ты съеден орангутангом или повесился. Но я искренне, дружище, чертовски рад, что это не так!

Он схватил руку Тарта и стал ворочать ее, ломая пальцы. Тарт пытливо смотрел на Блемера. Конечно, этот выдаст его — думать иначе было бы страшно легкомысленно. Прост и глуп, добр и жесток. Ко всему этому болтлив, не прочь выслужиться. И он уже смотрит на него, Тарта,

с видом собственника, облизывается и мысленно потирает руки, предвкушая пущенную сквозь зубы похвалу капитана.

Матрос снял ружье, облегченно повел плечами и безудержно заговорил снова, ободряя себя. Молчаливая неподвижность Тарта смущала его. Он громко болтал, не решаясь сказать прямо: «Пойдем!» — сбивался, потел и в десятый раз принимался рассказывать о тревоге, общем недоумении и поисках. Все неувереннее звучал его голос, и все рассеянное слушал его Тарт, то улыбаясь, то хмурясь. Казалось, что был он здесь и не здесь, свой, знакомый и в то же время чужой, замкнутый и враждебный.

— Превратились мы в настоящих собак, — захлебывался Блемер. — Чувствую я, что смок, как яблоко в сиропе. Уйти без тебя мы, понятное дело, не могли, нам приказали отыскать тебя мертвого или живого, вырыть из-под земли, вырезать из брюха пантеры, поймать в воздухе... Кок по ошибке вместо виски хватил уксусной эссенции, лежит и стонет, а завтра выдача жалованья настоящим золотом за четыре месяца! Сильвестр целится на мой кошелек, я должен ему с Гонконга четырнадцать кругляков, но пусть он сперва их выиграет, черт возьми! Кто, как не я, отдал ему в макао две совсем новенькие суконные блузы! А ты, Тарт, знаешь... вообще говорят... только ты, пожалуйста, не сердись... верно это или нет?

— Что? — сказал Тарт, ворочая шомполом в дуле ружья.

— Да вот... ну, не притворяйся, пожалуйста... Только если это неверно — все равно...

Блемер понизил голос, и лицо его выразило пугливое уважение. Тарт возился с ружьем; достав пыж, он медленно перевернул штуцер прикладом вверх, и на землю из ствола выкатились маленькие, блестящие картечины.

Блемер нетерпеливо ждал и, когда смуглая рука Тарта начала забивать пулю, звонко ударяя шомполом в ее невидимую поверхность, заметил:

— Ты испортил боевой заряд, к тому же какая теперь охота? Пора обедать.

Тарт вынул шомпол и поднял усталые, ввалившиеся глаза, но Блемер не различил в них волнения непоколебимой решимости. Ему казалось, что Тарт хочет поговорить с ним, и он, вздыхая, ждал удовлетворительного ответа. Но Тарт, по-видимому, не торопился.

Блемер сказал:

— Так вот... Ну, как — это правда?

— Что правда? — вдруг закричал Тарт, и глаза его вспыхнули такой злобой, что матрос бессознательно отступил назад. — Что еще болтают там обо мне ваши косноязычные тюлени? Что? Ну!

— Тарт, что с тобой? Ничего, клянусь честью, ей-богу, ничего! — заторопился матрос, бледнея от неожиданности, — просто... просто говорят, что ты...

— Ну что же, Блемер, — проговорил Тарт, сдерживаясь и глубоко вздыхая. — В чем дело?

— Да вот... — Блемер развел руками и с усилием освободил голос. — Что ты знаешь заговоры и... это... видел дьявола... понимаешь? Оттого, говорят, ты всегда и молчишь, ну... А я думаю — неправда, я сам своими глазами видел у тебя церковный молитвенник.

Матрос взволнованно замолчал; он сам верил этому. Живая тишина леса томительно напряглась; Блемеру вдруг сделалось безотчетно жутко, как будто все зеленое и дикое превратилось в слух, шепчется и глядит на него тысячами воздушных глаз.

Тарт сморщился; досадливая, но мягкая улыбка изменила его лицо.

— Блемер, — сказал он, — ступай обедать. Я сыт, и, кроме того, мне немного не по себе.

— Как, — удивился Блемер, — тебя ждут, понимаешь?

— Я приду после.

— После?

— Ну да, сейчас мне идти не хочется.

Матрос нерешительно рассмеялся; он не понимал Тарта.

— Блемер, — вдруг быстро и решительно заговорил Тарт, смотря в сторону. — Ступай и скажи всем, что я назад не приду. Понял? Так и скажи: Тарт остался на острове. Он не хочет более ни служить, ни унижаться, ни быть там, где ему не по сердцу. Скажи так: я уговаривал его, просил, грозил, все было напрасно. Скажи, что Тарт поклялся тебя застрелить, если ты не оставишь его в покое.

Тарт перевел дыхание, поправил кожаный пояс и быстро мельком скользнул глазами в лицо матроса. Он видел, как вздулись жилы на висках Блемера, как правая рука его, сделав неопределенное движение, затеребила воротник блузы, а глаза, ставшие растерянными и круглыми, блуждали, не находя ответа. Наступило молчание.

— Ты шутишь,— застывшим голосом выдавил Блемер,— охота тебе говорить глупости. Кстати, если мы двинемся теперь же, то можем захватить на берегу наших, вдвоем трудно грести.

— Блемер,— Тарт покраснел от досады и даже топнул ногой.— Блемер, возвращайся один. Я не уйду. Это не шутка, тебе пора бы уж знать меня. Так пойди и скажи: люди перестали существовать для Тарта. Он искренно извиняется перед ними, но решил пожить один. Понял?

Матрос перестал дышать и любопытными, испуганными глазами нащупывал тень улыбки в сосредоточенном лице Тарта. Сошел с ума! Говорят, в здешних болотах есть такие цветы, что к ним не следует прикасаться. А Тарт их наверное рвал — он такой... Вот чудо!

— Прощай,— сказал Тарт.— Увидишь наших, поклонись им.

Он коротко вздохнул, взял штуцер наперевес и стал удаляться. Блемер смотрел на его раскачивающуюся фигуру и все еще не верил, но, когда Тарт, согнувшись, нырнул в пеструю зелень опушки,— матрос не выдержал. Задохнувшись от внезапного гнева и страха упустить беглеца, Блемер перебежал поляну, на ходу взвел курок и крикнул в ту сторону, где гнулись и трещали кусты:

— Я убью тебя! Эй! Стой!

Голос его беспомощно утонул в зеленой глуши. Он подождал секунду и вдруг, мстительно торопясь, выстрелил. Пуля протяжно свистнула, фыркнув раздробленными по пути листьями. Птицы умолкли; гнетущая тишина охватила часть леса.

— Стой! — снова заорал Блемер, бросаясь вдогонку.— Каналья! Дезертир!

Спотыкаясь, взволнованно размахивая ружьем, он пробежал с десятков шагов, снова увидел Тарта и почувствовал, что возбуждение его вдруг упало,— Тарт целился ему в грудь, держа палец на спуске.

Инстинктивно, защищаясь от выстрела, матрос отступил назад и, медленно двигая руками, приложился сам. Волнение мешало ему, он не сразу отыскал мушку, злобно выругался и замер, ожидая выстрела. Тарт поднял голову. Блемер внутренне подался назад, вспотел, нажал спуск, и в тот же момент ответный выстрел Тарта пробил его насквозь, как игла холст.

То, что было Блемером, село, потом вытянулось, раскинуло ноги и замерло. Воздух хрипел в его простреленных легких, обнаженная голова вздрагивала, стараясь подняться и взглядом защитить себя от нового выстрела. Тарт, болезненно улыбаясь, присел возле матроса и вытащил из его стиснутых пальцев судорожно вырванную траву. Далее он не знал, что делать, и стоял на коленях, сраженный молчаливой тревогой.

Блемер повернул голову, глотая подступающую кровь, и выругался. Тарт казался ему страшным чудовищем, чуть ли не людоедом. Он посмотрел вверх и, увидев жаркую синеву неба, вспомнил о смерти.

— Подлец ты, подлец! — застонал Блемер. — За что?

— Перестань болтать глупости, — возразил Тарт, отдирая подол блузы. — Ты охотился за мной, как за зверем, но звери научились стрелять. Не ты, так я лежал бы теперь, это было необходимо.

Он свернул импровизованный бинт, расстегнул куртку Блемера и попытался удержать кровь. Липкая горячая жидкость просачивалась сквозь пальцы, и было слышно, как стучит слабое от испуга сердце. Тарт нажал сильнее, Блемер беспокойно вздрогнул и сморщился.

— Адская боль, — процедил он, хрипло дыша. — Брось, ничего не выйдет. Дыра насквозь, и я скоро подохну. Ты смеешься, сволочь, убийца!..

— Я не смеюсь, — с серьезной улыбкой возразил Тарт. — А мне тяжело. Прости мою невольную пулю.

Не отрываясь, смотрел он в осунувшееся лицо матроса. Вокруг глаз легли синеватые тени; широкий, давно небритый подбородок упрямо торчал вверх.

— Травы сырая, — простонал Блемер, бессильно двигаясь телом, — я умру, понимаешь ли ты? Зачем?

Равнодушно-спокойное и далекое, синело небо. А внизу, обливаясь холодным потом агонии, умирал человек, жертва свободной воли.

— Блемер, — сказал Тарт, — ты шел в этом лесу, отыскивая меня. Твое желание исполнилось. Но если я не хотел идти с тобой, как мог ты подумать, что силой можно сломить силу без риска проиграть свою собственную карту?

— К черту! — застонал Блемер, отплевывая розовую слюну. — Ты просто изменник и негодяй! — Он смолк, но скоро застонал снова и так громко, что Тарт вздрогнул. Раненый сделал последнее отчаянное усилие поднять го-

лову; глаза его подернулись влагой смерти, и был он похож на рыжего раздавленного муравья.

— Ты очень мучаешься? — спросил Тарт.

— Мучаюсь ли я? Ого-го-го! — закричал Блемер. — Тарт, ты дезертир и мерзавец, но вспомни, умоляю тебя, что на «Авроре» есть госпиталь!.. Сбегай туда... скажи, что я умираю!..

Тарт отрицательно покачал головой. Блемер вытягивался, то опираясь головой в землю и размахивая руками, то снова припадая спиной к влажной земле. По внезапно исхудавшему, тусклому лицу его пробежала быстрая судорога. Он ругался. Сначала тихое, потом громкое бормотанье вылилось сложным арсеналом отвратительных бранных фраз. Тарт смотрел, ждал и, когда глаза Блемера задернулись пленкой, — стал заряжать ружье.

— Потерпи еще малость, Блемер, — сказал он. — Сейчас все кончится.

Блемер не отвечал. Сквозь до крови закусенную губу матроса Тарт чувствовал легион криков, скованных бешенством и страданием. Он отошел в сторону, чтобы случайно Блемер не угадал его мысли, прицелился в затылок и выстрелил.

Раненый затрепетал, вздохнул и затих.

Теперь он был мертв. Сильное, цветущее тело его обступила маленькая зеленая армия лесной травы и, колыхаясь, заглянула в лицо.

IV

«ГАРНАШ, УЛИЦА ПЕТУХА»

На берегу, почти у воды, в тени огромного варингинового дерева, стоит крепкая дубовая бочка, плотно закрытая просмоленным брезентом. Она не запирается; это международная почтовая станция. Сюда с мимо идущих кораблей бросаются письма, попадающие во все концы света. Корабль, плывущий в Австралию, забирает австралийскую корреспонденцию; плывущий в Европу — европейскую.

Клипер готовился к отплытию. Медленно, упорно трещал брашпиль, тяжело ворочаясь в железном гнезде. Канат полз из воды, таща за собою якорь, сплошь облепленный водорослями, тинной и раковинами. Матросы,

раскисшие от жары, вяло бродили по накаленной смоле палубы, закрепляя фалы, или сидели на реях, распуская ссохшиеся паруса. В это время к берегу причалила шлюпка с шестью гребцами, и младший лейтенант клипера, выскочив на песок, подошел к бочке. Откинув брезент, он вынул из нее несколько пакетов и бросил, в свою очередь, пачку писем.

Потом все уехали и скоро превратились в маленькое, черное пятно, машущее крошечными веслами. Клипер преобразался. От рей до рей, скрывая стволы мачт, вздулись громоздкие паруса. Корабль стал похожим на птицу с замершими в воздухе крыльями, весь — напряжение и полет, нетерпение и сдержанное усилие.

Бушприт клипера медленно чертил полукруг с запада на юго-восток. Судно тяжело поворачивалось, вспенивая рулем полдневную бледную от жары синеву рейда. Теперь оно походило на человека, повернувшегося спиной к случайному, покидаемому ночлегу. Пенистая, ровная линия тянулась за кормой — клипер взял ход.

Его контуры становились меньше, воздушнее и светлее. Двигался он, как низко летящий альбатрос, слегка накренив стройную белизну очертаний. А за ним с берега цветущего острова следил человек — Тарт.

Он равнодушно ждал исчезновения клипера. Корабль увозил с собой земляков, привычное однообразие дисциплины, грошовое жалованье и более ничего. Все остальное было при нем. Он мог ходить как угодно, двигаться как угодно, есть и пить в любое время, делать, что хочется, и не заботиться ни о чем. Он стряхивал с себя бремя земли, которую называют коротким и страшным словом «родина», не понимая, что слово это должно означать место, где родился человек, и более ничего.

Тарт смотрел вслед уходящему клиперу, ни капли не сомневаясь в том, что именно его считают убийцей Блемера. Почему прекратили поиски? Почему не более как через шесть дней после ухода Тарта клипер направился в Австралию? Может быть, решили, что он мертв? Но в глазах экипажа остров был не настолько велик, чтобы потерять надежду отыскать человека или хотя бы его кости. Поведение «Авроры» немного раздражало Тарта; он чувствовал себя лично обиженным. Человек крайне самолюбивый, бесстрашный и стремительный, он привык, чтобы с ним и его поступками враги считались так же, как с не-

приятелем на войне. Но ведь не бежит же от него клипер, в самом деле!

Он вспомнил свое убежище — скалистый овраг, с гладким, как паркет, дном и кровлей из цветущих кустов. Ничего нет удивительного, что клипер ушел ни с чем. В глазах и х Тарт мог только утонуть; к тому же — кто особенно дорожил жизнью Блемера? На клипере сто матросов; двумя больше, двумя меньше — не все ли равно? Время горячее, китайские пираты вьются по архипелагу, как осы. Военное судно, несущее разведочную службу, не может долго оставаться в бездействии.

Тарт медленно шел вдоль берега, опустив голову. Собственное его положение казалось ему ясным до чрезвычайности: потянет в другое место — он будет караулить, высматривая проходящих купцов. И ночной сигнальный костер даст ему короткий приют на чужой палубе. Куда он поедет, зачем и ради чего?

Но он не думал об этом. Свобода, страшная в своей безграничности, дышала ему в лицо теплым муссоном и жаркой влагой истомленных зноем растений. Это был отчаянный экстаз игрока, бросившего на карту все и получившего больше ставки. Выигравший не думает о том, на что он употребит деньги, он далек от всяких расчетов, музыка золота наполняет его с ног и до головы дразнящим вихрем возможностей, прекрасных в неосуществимости своей желаний и бешеным стуком сердца. Может быть, не дальше, как завтра, судьба отнимет все, выигранное сегодня, но ведь этого еще нет?

Да здравствует прекрасная неизвестность!

Медленно, повинаясь любопытству, смешанному с предчувствием, Тарт откинул брезент и, став на камни, положенные под основание бочки, открыл ее. На дне серели пакеты. Их было много, штук двадцать, и Тарт тщательно пересмотрел все.

Ему доставляло странное удовольствие держать в руках вещественные следы ушедших людей, мысленно говорить с ними, в то время, когда они даже и не подозревают этого. Стоит захотеть, и он узнает их мысли, будет возражать им, без риска быть пойманным, и они не услышат его. Матросские письма особенно заинтересовали Тарта. Он пристально рассматривал неуклюжие, косые буквы, смутно догадываясь, что здесь, может быть, написано и о нем. Взволнованный этим предположением, Тарт береж-

но отложил несколько конвертов, на которых были надписаны имена местностей, близких к месту его рождения. Он искал самого тесного, кровного земляка, рылся дрожащими от нетерпения пальцами, раскладывая по песку серые четырехугольники, и вдруг прочел:

«Гарнаш, улица Петуха».

Гарнаш! Не далее как в десяти милях от этого городка родился Тарт. Он помнит еще возы с зеленью, пыльную дорогу, по которой бегал мальчишкой, и держит пари, что пишет не кто иной, как толстяк Риль!

Да, вот его имя, написанное маленькими печатными буквами. Тарт вынул нож и разрезал толстую бумагу пакета. Риль писал много, четыре больших листа сплошь перестрели каракулями, сообщая подробности плавания, события, свидетелем которых был Риль, и длинные, неуклюжие нежности, адресованные жене. Тарт торопливо разбирал строки. Пальцы его дрожали все сильнее, лицо потускнело; взволнованный, с блестящим, остановившимся взглядом, он бросил бумагу и инстинктивно схватил ружье.

Кругом было по-прежнему пусто, легкий прибор шевелил маленькие, круглые голыши и тихо шумел засохшими водорослями. В голове, как отпечатанные, стояли строки письма, скомканного и брошенного рукой Тарта: «...если бы он провалился, туда ему и дорога. А наши думают, что он жив. Мы вернемся через четыре дня, за это время должны его поймать непременно, потому что он будет ходить свободно. Шестерым с одним справиться — что плюнуть. Толкуют, прости меня, господа, что Тарт сошелся с дьяволом. Это для меня неизвестно».

— Надо уйти! — сказал Тарт, с трудом возвращая самообладание. Небывалым, невозможным казалось ему только что прочитанное. Все вдруг изменило окраску, притаилось и замерло, как молчаливая, испуганная толпа. Солнце потеряло свой зной, ноги отяжелели, и Тарт двигался медленно, напряженно, словно окаменев в припадке безвыходного, глухого гнева. Мысль утратила гибкость, сосредоточиваясь на пристальном, болезненном ощущении невидимых, враждебных людей. И немое отвращение к тайной опасности подымалось со дна души, вместе с нестерпимым желанием открытого, решительного исхода.

— Шесть? — сказал Тарт, останавливаясь. — Так вас шесть, да?

Кровь бросилась ему в голову и ослепила. Почти не сознавая, что он делает, он вызывающе поднял штучер и нажал спуск. Выстрел пронесся в тишине дробным эхом, и тотчас Тарт зарядил разряженный, еще дымящийся ствол, быстро, не делая ни одного лишнего движения.

По-прежнему царствовала тишина, жуткая, полуденная тишина безлюдного острова. Матрос прислушался, молчание раздражало его. Он потряс кулаком и разразился градом язвительных оскорблений. Обессиленный припадком тяжелый злобы, он шел вперед, ломая кусты, сбивая ударом приклада плотные, сочные листья. Сознавая, что все пути отрезаны, что выстрел кем-нибудь да услышан, Тарт чувствовал злобное, веселое равнодушие и огромную силу дерзости. Уверенность возвращалась к нему по мере того, как шли минуты, и зеленый хоровод леса тянулся выше, одевая пахучим сумраком лицо Тарта. Он шел, а сзади, догоняя его, бежали шестеро, изредка останавливаясь, чтобы прислушаться к неясному шороху движений затравленного человека.

— Тарт! — задыхаясь от бега, крикнул на ходу высокий черноволосый матрос. — Тарт, подожди малость, эй!

И за ним повторяли все жадными, требовательными голосами:

— Тарт!

— Эй, Тарт!

— Тарт! Тарт!

Тарт обернулся почти с облегчением, с радостью война, отражающего первый удар. И тотчас остановились все.

— Мы ищем тебя, — сказал черноволосый, — да это ведь ты и есть, а? Не так ли? Здравствуй, приятель. Может быть, отпуск твой кончился, и ты пойдешь с нами?

— Завтра, — сказал Тарт, вертя прикладом. — Вы не нужны мне. И я — зачем я вам? Оставьте меня, гончие. Какая вам польза от того, что я буду на клипере? Решительно никакой. Я хочу жить здесь, и баста! Этим сказано все. Мне нечего больше говорить с вами.

— Тарт! — испуганно крикнул худенький, голубоглазый крестьянин. — Ты погиб. Тебе, я вижу, все равно, ты отчаянный человек. А мы служим родине! Нам приказано разыскать тебя!

— Какое дело мне до твоей родины, — презрительно сказал Тарт. — Ты, молокосос, растяпа, может быть, скажешь, что это и моя родина? Я три года болтался на ва-

шей плавучей скорлупе. Я жить хочу, а не служить родине! Как? Я должен убивать лучшие годы потому, что есть несколько миллионов, подобных тебе? Каждый за себя, братец!

— Тарт,— сказал третий матрос, с круглым, тупым лицом,— дело ясное, не сопротивляйся. Мы можем ведь и убить тебя, если...

Он не договорил. Одновременно с клубком дыма тело его свалилось в кусты и закачалось на упругих ветвях, разбросав ноги. Тарт снова прицелился, невольное движение растерянности со стороны матросов обеспечило ему новый удачный выстрел... Черноволосый матрос опустил на четвереньки и судорожно открыл рот, глотая воздух.

И все потемнело в глазах Тарта.

Спокойно встретил он ответные выстрелы, пистолет дрогнул в его руке, пробитый насквозь, и выпал. Другою рукой Тарт поднял его и выстрелил в чье-то белое, перекошенное страхом лицо.

Падая, он мучительно долго не мог сообразить, почему сверкают еще красные огоньки выстрелов и новая тупая боль удар за ударом бьет тело, лежащее навзничь. И все перешло в сон. Сверкнули тонкие водопады; розовый гранит, блестя влагой, отразил их падение; бархатная прелесть луга протянулась к черным корням раскаленных, как маленькие горны, деревьев — и стремительная тишина закрыла глаза того, кто был — Тарт.

ВОЗДУШНЫЙ КОРАБЛЬ

Маленькое общество сидело в сумеречном углу на креслах и пуфах. Разговаривать не хотелось. Великий организатор — скука — собрала шесть разных людей, утомленных жизнью, опротивевших самим себе, взвинченных кофе и спиртными напитками, непредприимчивых и ленивых.

Степанов томился около пяти часов в этой компании; нервничал, бегло думал о сотне самых разнообразных вещей, вставлял замечания, смотрел в глаза женщин отыскивающим, откровенным взглядом и нехотя вспоминал о том, что скоро он, как и все, уйдет отсюда, неудовлетворенный и вялый, с жгучей потребностью возбуждения, шума, продолжения какого-то неначавшегося, вечного праздника. Нервы томительно напряглись, в ушах звенело, и временами яркая, тяжелая роскошь старинной залы казалась отчетливым до болезненности, тревожным и красочным полусном.

Когда закрыли буфет и Степанов, с тремя женщинами и двумя мужчинами, вошел сюда, чувство досадного недоумения поднялось в нем ленивым, издевающимся вопросом «зачем?». Зачем нужна ему эга ночная, воспламеняющая желания сутолока? Каждый занят собой и ищет в другом только покладистого компаньона, предмет развлечения, работу глаз и ушей. Не уйти ли? Чего ждет он и все эти люди, спянные бессонной, тоскливой скукой?

Степанов подошел к беллетристу, молча посмотрел в его тусклые, лишенные всякого выражения, глаза и тихо спросил:

— Что же теперь делать?

Беллетрист прищурился и, скромно улыбаясь, сказал:

— Да ничего. Поскучаем. Этот момент красив. Разве вы не чувствуете? Красива эта холодная скука, красива зала, красивы женщины. Чего же еще вам?

Лицо его приняло выражение обычного довольства всем, что он говорит и делает. Степанов хотел сказать, что этого мало, что этот красивый дом и женщины — не его, но, подумав, сел в кресло и приготовился слушать.

В холодную тишину зала ударились звонкие, мягко повторяемые аккорды. Играла Лидия Зауэр, томная блондинка, с холодным взглядом, резким голосом и удивительно нежным, особенно в свете ламп, цветом волос.

Лицо ее, освещенное сверху вниз бронзовым канделябром, мерно колебалось в такт музыке, совсем спокойное и чужое звукам рояля. Степанов закрыл глаза, долго вслушивался и, уловив, наконец, мелодию, перестал думать. Музыка волновала его, оставляя одно общее впечатление близости невозможной, плененной ласки, случайного обещания, нежной злости к невидимому, но прекрасному существу. Открыв глаза, Степанов понял, что Зауэр перестала играть.

— Когда музыка прекращается,— сказал он, присаживаясь поближе к черноволосой курсистке,— мне кажется, что все ушли и я остался один.

— Да,— рассеянно согласилась девушка, как-то одновременно улыбаясь и Степанову и беллетристу, сидевшему с другой стороны. Весь вечер она заметно кокетничала с обоими, и эта бесцельная игра женщины ревниво раздражала Степанова. Временами ему хотелось грубо подойти к ней и прямо спросить: «Чего ты хочешь?» Но вопрос гаснул, напряженное равнодушие сменяло остроту мысли, и снова продолжалась игра глаз, взглядов, улыбок и фраз.

Когда Зауэр, поднявшись из-за рояля, подошла к кучке умолкших, потускневших от бессонной ночи людей, всем показалось, что она скажет что-то, засмеется или предложит идти домой. Но женщина села молча, медленно улыбаясь глазами, и замерла. Молчание становилось тягостным.

— Чего все ждут?— уронила маленькая артистка, сидевшая рядом с Лидией.— Клуб закрывается... ехать сегодня, по-видимому, некуда. А все ждут чего-то. Чего, а?

— Ждут, что женщины начнут целовать мужчин и признаются им в любви,— засмеялся студент.— Мы слабы и нерешительны. Женщины! Освободитесь от предрассудков!

Масляная, осторожная улыбка приподняла его верхнюю губу, обнажив ряд белых зубов. Никто не засмеялся. Артистка, размышляя о чем-то, поправила волосы, Лидия Зауэр механически посмотрела на говорившего, и ее розовое, холодное лицо стало совсем чужим. Студент продолжал:

— Здесь почти темно, настроение падает, и я предлагаю зажечь электричество. Зажгите, господа, электричество!

— Никакое электричество не поможет вам увидеть себя,— съязвил Степанов, делая мистическое лицо.

Студент, вспомнив свою некрасивую, отталкивающую наружность, понял и отпарировал:

— Да здравствует общество трезвости!

От шутки, фальшиво брошенной в унылую тишину душ, стало еще скучнее. Три женских лица, слабо озаренные упавшими через тусклый паркет лучами зажженного канделябра, три разных — как разные цветы — лица, настойчиво, безмолвно требовали тонкого сверкающего разговора, непринужденного остроумия, изысканности и силы удачно сказанных, уверенно верным тоном звучащих фраз.

Но мужчины, сидевшие с ними, бессильно стыли в мертвенном ожидании чего-то, не зависящего от их усилий и воли, что властно стало бы в их сердцах и сделало их — не ими, а новыми, с ясной, кипучей кровью, дерзостью мгновенных желаний и звонким словом, выходящим легко, как утренний пар полей. Утомленные и оцепеневшие в раздражающей, бесплодной смене все новых и новых впечатлений, они сидели, перебрасываясь редкими фразами, тайно обнажающими ленивый сон мысли, усталость и отчужденность.

Беллетрист, помолчав минут пять, пробасил:

— В данный момент где-нибудь на другой половине земного шара начался день. Тропическое солнце стоит в зените и льет кипящую, золотую смолу. Пальмы, араукарии, бананы... а здесь...

— А здесь? — Артистка перевела свои сосредоточенно-кроткие глаза с кончиков туфель на беллетриста.— Продолжайте, вы так хорошо начали...

— М-м... здесь... — Беллетрист запнулся. — Здесь — мы — люди полуночной страны и полуночных переживаний. Люди реальных снов, грез и мифов. Меня интересует, собственно говоря, контраст. То, что здесь — стремление, т. е. краски, стихийная сила жизни, бред знойной страсти — там, под волшебным кругом экватора, и есть сама жизнь, действительность... Наоборот — желания тех смуглых людей юга — наша смерть, духовное уничтожение и, может быть, — скотство.

— Позвольте, — сказал Степанов, — конечно, интеллект их ленив... но разве вы ни в грош не ставите органическую цельность здоровой психики и красоту примитива?

— «Двадцать во-о-семь!» — донесся из угловой залы голос крупье, и тотчас же кто-то, поперхнувшись от жадности, крикнул глухим вздохом: «Довольно!»

— Да! — ненатурально взвинчиваясь, продолжал беллетрист, — мы, северяне, люди крыльев, крылатых слов и порывов, крылатого мозга и крылатых сердец. Мы — прообраз грядущего. Мы бесконечно сильны, сильны сверхъестественной чуткостью наших организаций, творческим, коллективным пожаром целой страны...

Степанов смотрел на студента и беллетриста и точно теперь только увидел их впалые лбы, неврастенически сдавленные виски, испитые лица, провалившиеся глаза и редкие волосы. Курсистка Антонова пристально смотрела на беллетриста, женским чутьем угадывая льстящее ей желание мужчины понравиться недурной женщине. Артистка невинно переводила глаза с одного лица на другое, делая вид, что все ей понятно и что сама она тоже принадлежит к крылатой северной породе людей.

И все остальные, сознавая насильно, чужими словами проникшую в их голову мысль о величии и ценности человека, задерживались на ней гордым утверждением, выраженным в коротком, слепом звуке «я», безотчетно думая, что только их жизнь таит в себе лучи будущих озарений, силы и мощи. Об этом говорили самодовольно застывшие взгляды и упрямо чуть-чуть склоненные головы. И холодно, странно, чуждо светилось между ними лицо Лидии Зауэр.

Беллетрист, поверив в свою искренность, говорил еще много и раздраженно о людях, потом незаметно перешел на себя и окончательно заинтересовал курсистку Антонову. Страстно, всю жизнь лелеемая ложь о себе давалась

ему легко. Все слушали. И каждому хотелось так же сказочно, похоже на правду, рассказать о себе.

Потом беллетрист смолк, закурил папиросу, рассчитанно задумался и стал смотреть невидящим взглядом на бронзовый узор двери. Прошла минута, и вдруг отчетливый, грудной женский голос пропел мягким речитативом:

По синим волнам океана,
Чуть звезды блеснут в небесах,
Корабль одинокий несется,
Несется на всех парусах.

Не гнутся высокие мачты,
На них паруса не шумят...

— Лидия,— сказал Степанов, когда женщина осторожно остановилась.— Прекрасно! Дальше, дальше! Мы ждем!

— Это не моя музыка,— сказала Зауэр, и ее маленькие, розовые уши чуть покраснели,— но я буду дальше... если не скучно...

— Браво, браво, браво! — зачистил, словно залаял студент.— Ну же, дорогая Лидия, не мучьте!

Розовое, холодное лицо вдумчиво напряглось и снова в томительной тишине зала, усиливаясь и звеня, поплыло великое о великом:

...Но спят усачи-гренадеры —
В равнине, где Эльба шумит,
Под снегом холодной России,
Под знойным песком пирамид.

Тяжелый холод чужой хлынувшей силы сдавлив грудь Степанова. Он неподвижно сидел и думал, как мало нужно для того, чтобы серая фигура в исторической треуголке, с руками, скрещенными на груди, и пристальным огнем глаз ожила в столетней пропасти времени... две-три строки, музыкальная фраза...

И маршалы зова не слышат:
Иные погибли в бою,
Иные ему изменили
И продали шпагу свою.

Голос Лидии вздрагивал почти незаметным, нежным волнением, но опущенные ресницы скрывали взгляд, и Степанову хотелось сказать: «Не мучьте! Бросьте страшное издевательство!»

Через мгновение он увлекся и, зараженный сам стихийной, трагической жизнью царственно погибшего человека, почувствовал, как защекотала горло невысказанная, умиленная благодарность живого к мертвому; смешное и трогательное волнение гуся, когда из-за досок птичника слышит он падающее с высоты курлыканье перелетных бродяг, бежит, хромая, и валится на распластанные, ожиревшие крылья в осеннюю, больную траву.

Стоит он и тяжело вздыхает,
Пока озарится восток,
И падают горькие слезы
Из глаз на холодный песок...

И, по мере того, как стихотворение подходило к концу, лица становились натянутыми, упрямыми, притворно скучающими. А Лидия Зауэр думала, по-видимому, не о них и не о том, в чьем образе неразрывно сплетено золото императорских орлов с грозной музыкой Марсельезы. Глаза ее оставались покойными, слегка влажными и холодными: человека стихийной силы здесь не было. Но в голосе ее так же, как в своей душе, Степанов чувствовал незримые руки мольбы, протянутые к плоской равнине жизни и к вечно витающему, вспыхивая редкими воплощениями, призраку человека.

Розовое лицо смолкло; тонкие, неторопливые пальцы стали поправлять волосы — обычное движение женщины, думающей о мыслях других людей. Кто-то встал, зажег электричество и сел на прежнее место.

Но лучше бы он не делал этого, потому что в безжалостном свете раскаленной проволоки еще жалче и бессильнее было его лицо маленькой твари, сожженной бесплодной мечтой о силе и красоте.

ШТУРМАН «ЧЕТЫРЕХ ВЕТРОВ»

Во всей той окрестности не было ни одного человека, который мог бы его услышать.

Сервантес

Шатаюсь, я придерживался за складки его плаща, изображая собой судно, буксируемое против ветра. Он неуклонно подвигался вперед и, как подобает морскому волку, тщательно рассматривал мрак. Ветер, проносясь со скоростью шторма, свистел нам в уши, словно стая обезумевших мальчишек. Выпитая водка кое-как согревала внутренности, предоставляя коже зябнуть и коченеть от ледяных брызг дождя. В голове мелькали воспоминания: хохочущие женские рты. Но если хоть раз в день было весело — это уже хорошо.

Неизвестно, куда мы шли, но в то время несколько не сомневались, что идти нужно именно в этом направлении. Зачем? Спросите об этом у штурмана. Он шагал так быстро, что я сам не успел задать ему этот вопрос; к тому же он мне тогда и не приходил в голову. Я брел, как слепой щенок, веселый, пьяный, мокрый и говорливый. Я говорил страшно много. В самый короткий срок, считая с того момента, когда мы показали тыл порогу «Свидания моряков», я выложил и вывернул наизнанку себя всего, как наволочку; рассказал все свои секреты, легкомысленно обнажил тайны, проявил все сомнения и вытряхнул столько убеждений, что их хватило бы иному на всю жизнь. Кроме того,

я клялся самой страшной божбой и, когда штурман начал одобрительно рычать, приходил в явно неистовый восторг.

Подвигаясь таким образом, мы очутились не далее, как в двух шагах от воды. Штурман втянул носом соленый запах и не допустил меня упасть с набережной, что я пытался сделать, принимая воздух за продолжение мостовой. Я сказал:

— Спасибо тебе за то, что не всякий бы сделал на твоём месте. Будь здесь мой дядюшка, он ласково улыбнулся бы мне с берега, даже не заботясь, способен ли я разглядеть сквозь эту тьму его дьявольскую улыбку.

— Я хочу пить! — захрипел штурман, хватая меня за бока. — Пить! — Или я ложусь в дрейф, и пусть меня слопают акулы, если я тронусь с места! Довольно! Я не греческая губка, но и не черепаха. Я не могу более. Я жажду.

— Не чего жаждать, — возразил я. — Морская вода с примесью апельсиновых корок — этого ли ты хочешь, бестыдник? Или тебе мало полубочонка имбирного пива, трех бутылок виски и полкварти персиковой настойки? Если мало — то «да», а если довольно — то «нет!».

— Да! — воскликнул он с одушевлением пророка. — Да! И идем, Билль, как можно скорее! Не может быть, чтобы все трактирщики легли спать. Право на борт, пьяница с гнилыми ногами, и держись за меня, иначе, клянусь копытами сатаны, ветер опрокинет тебя, как грудного младенца.

Здесь я принужден сделать маленькое отступление, чтобы познакомить со штурманом тех из моих читателей, кто не встречал его ни в «Свидании моряков», ни в «Черном олене» ни в «Рассаднике собутыльников». Он был в полном смысле слова — мужчина. Его рыжая грива была густа, как июльская рожь, а широкое, красное от ветра лицо походило на доску, на которой повар крошит мясо. Говорят, что и весь он исполосован шрамами в схватках на берегу из-за лишнего комплимента чужой красавице или нежелания уступать дорогу первому встречному, вроде джентльмена в кепи, — но этого подтвердить я не могу, так как никогда штурман при мне не снимал рубашку; а снимал он ее три раза в год, по большим праздникам. Рост его был немного пониже семи футов; глаза черные, как две хорошие маслины, а кулаки весили бы, вероятно, по шести фунтов каждый.

Если это вам нравится, то именно таков был его портрет в те времена. Прибавлю еще, что в правом ухе он носил серьгу, снятую им со своей покойной жены, когда ее положили в гроб. При этом, как передают, им были сказаны следующие знаменательные слова: «Не думай, милая моя Бетси, что я хочу тебя обокрасть или что я стал жаден, как нищий в пустой квартире; стоит тебе встать из гроба — и я куплю тебе сережки в четыре фунта, потолще моих пуговиц». Сказав это, он зарыдал и вытащил серьгу из уха покойницы — на память, по его объяснению.

За плащ этого человека я и держался, пока мы, тоскуя о невозможном, блуждали по спящим улицам. Не знаю — было ли еще когда-нибудь темнее, чем в эту ночь. Ветер бушевал, как дюжина цепных псов; слева и справа, сзади и спереди бросал он отчаянные толчки, рвал одежду и затруднял дыхание. Дождь поливал нас усерднее садовника, хотя мы и не были розами, ноги мои жулькали в сапогах, кочнели, и я, наконец, перестал их совсем чувствовать. Мы прошли одну улицу, другую; свернули, путались в переулках, но нигде, кроме искр своих собственных глаз, не видели никакого света. Наглухо закрытые ставни скрипели заржавленными болтами, из водосточных труб хлестала вода, и мрак, чернее мысли приговоренного к смерти, закрадывался в наши сердца, жаждущие веселья.

Наконец, штурман не выдержал. Стиснув зубы так, что они взвизгнули не хуже плохого флюгера, и топнув ногой, он утвердился на месте крепче принятовленной бочки. Я тщетно пытался сдвинуть его, все мои усилия повели только к взрыву проклятий, направленных против неба, ада, трактирщиков, моей особы и ни в чем не повинной шхуны «Четыре ветра», мирно дремавшей у мола в соседстве двух катеров.

— Ни с места! — громовым голосом рявкнул штурман, набирая как можно больше воздуха. Это служило признаком, что он намерен держать речь, как всегда — в подобных и иных критических случаях. — Ни с места, говорю я. Разбудим весь город или сами захрапим тут, не хуже каких-нибудь кухарок или обьевшихся лавочников! Как?!. Два джентльмена желают выпить и не могут этого сделать потому, что в этом дрянном городе живут сурки?! Эй, проживающие здесь (говоря это, он подошел к ближайшим воротам и ударил в них кулаком так крепко, что вздрогнула ночь) — эй, — говорю я, — вставайте! Мы желаем с вами

познакомиться. Если же вы не слышите, я буду барабанить здесь, как обезьяна на ярмарке, до тех пор, пока не свалюсь в грязь! Проснитесь, сухопутные крысы, кочни капусты, пучки сельдерея! Одну бутылку — и мы удалимся! Расчет наличными!

Беснуясь, он каждое слово свое сопровождал сокрушительными ударами. Сердце мое замерло. С минуты на минуту я ожидал, что нас окружит толпа потревоженных жителей, и тогда будет нехорошо. Но, к моему удивлению, царствовало глубокое безмолвие, нарушаемое лишь возгласами отважного штурмана и гулом ветра.

— Лазит в карман за словом тот, кто привык искать его везде, кроме собственной головы,— продолжал мой спутник, сделав маленькую передышку, так как уже охрип.— Или вы думаете, что мне с вами не о чем разговаривать? Дудки-с! Я буду кричать вам до рассвета, потому что нет ни одной гавани в мире, где я не менял бы золото на медяки, а серебро на свистульку! Кроме вас, есть еще желтые, черные и коричневые балбесы, а есть и такие, что блестят почище ваших медных кофейников! В Гаване рыбу ловят острогами, а в Судане крючками. А где лучший хлеб, знаете ли вы, каракатицы? Я знаю — в Лиссабоне; потому что он там бел и мягок, как девушка в восемнадцать лет! Я вам скажу, что в Индии есть слоны и дворцы, тигры и жемчужные раковины. В океане, где я живу, как вы под железной крышей,— вода светится на три аршина, а рыбы летают по воздуху на манер галок! Это говорю вам я, штурман «Четырех ветров», хотя ее и чинили в прошлом году! Попробуйте-ка прогуляться где-нибудь в Вальпарайзо без хорошего револьвера — вас разденут, как артишок. В море, говорю я вам, бывают чудеса, когда ваш собственный корабль плывет на вас, словно вы перед зеркалом! А где пляшут гейши — я вам и ходить не советую, потому что вы распустите слюни. Поросята! Я вам скажу, что есть места, где ананасы покупают корзинами, и они дешевле репы. Видали вы небо, под которым хочется хохотать с зари до зари, как будто ангелы щекочут в вашем носу концами своих крыльев? А леса, перед которыми ваши цветники — вроде огородной гряды перед облаками на закате? В Шанхае чай шесть пенни за фунт, и это первого сбора. Клянусь тетушкой черта, если она у него есть, что сам видел раковины больше корзины, и они пестрели, как радуга. Если б я не был пьян, я вас всех вытащил бы на палубу и дал бы

вам на первое время в месяц по двадцати шиллингов. Чего вы боитесь? Вы можете взять с собой все ваши кастрюли, кровати и горшки с душистым горошком, да в придачу еще пару гусей, если они у вас есть. Так я вам и позволил пакостить судно разным печным скарбом! Не плачьте, чулочники, сапожники, кузнецы, пивовары, лавочники и жулики! Ваше прошлое останется с вами, вы можете его пережевывать, как коза жвачку, сколько угодно. Эй, говорю я, прыгайте, прыгайте из окошек вниз! Я покажу вам новую бизань из самого сухого дуба на всей земле.

И так как по-прежнему никто не пожелал бросить теплую постель, чтобы выругать штурмана, он начал трясти ворота с остервенением, равным его жажде. Резкий грохот задребезжал в переулках. Я дернул штурмана за рукав, не обращая внимания на его брань, и сказал:

— Глотка из бирмингемского железа — или ты хочешь, чтобы нас избили ни за что, ни про что?

Но упорство его было велико. Он уже прискивал подходящий булыжник, как вдруг неизвестная личность, появившись из-за угла, помешала нашему объяснению. Это был ночной сторож.

— Куда вы ломитесь, бродяги? — закричал он, подходя ближе и направляя красный свет фонаря на наши головы. — Это пустой дом, и в нем нога человеческая не бывала еще с прошлого рождества! Нечего сказать, хорошее занятие — портить кулаки о ворота!

И я услышал из уст штурмана новую, но уже негодную для печати речь, которую он закончил следующими словами:

— Пусть рассыплется в порошок тот, кто, покидая этот сарай, не прибил к нему фонаря с надписью: «Здесь живут мыши!»

И мы пошли снова. Штурман быстро шагал к гавани, а я едва поспевал за ним, придерживаясь за складки его плаща.

ПРОИСШЕСТВИЕ В УЛИЦЕ ПСА

Похож на мекя, и одного роста; а ка-
жется выше на полголовы — мерзавец!

Из старинной комедии

I

Случилось, что Александр Гольц вышел из балагана и пришел к месту свидания ровно на полчаса раньше назначенного. В ожидании предмета своей любви он провожал глазами каждую юбку, семенившую поперек улицы, и нетерпеливо колотил тросточкой о деревянную тумбу. Ждал он тоскливо и страстно, с темной уверенностью в конце. А иногда, улыбаясь прошлому, думал, что, может быть, все обойдется как нельзя лучше.

Наступил вечер; узенькая, как щель, улица Пса туманилась золотой пылью, из грязных окон струился кухонный чад, разнося в воздухе запах пригорелого кушанья и сырого белья. По мостовой бродили зеленщики и тряпичники, заявляя о себе хриплыми криками. Из дверей пивной то и дело вываливались медлительные в движениях люди; выйдя, они сперва искали точку опоры, потом вздыхали, нахлобучивали шляпу как можно ниже к переносице и шли, то с мрачным, то с блаженным выражением лиц, преувеличенно твердыми шагами.

— Здравствуй!

Александр Гольц вздрогнул всем телом и повернулся. Она стояла перед ним в небрежной позе, точно остановилась мимоходом, на секунду, и тотчас уйдет. Ее смуглое, подвижное лицо с печальным взглядом и капризным изгибом бровей, избегало глаз Гольца; она рассматривала прохожих.

— Милая! — напряженно-ласковым голосом сказал Гольц и остановился.

Она повернула лицо к нему и в упор безразличным движением глаз окинула его пестрый галстук, шляпу с пером и гладко выбритый, чуть вздрагивающий подбородок. Он еще надеется на что-то; посмотрим.

— Я...— Гольц прошептал что-то и начал жевать губами. Потом сунул руку в карман, вытащил обрывок афиши и бросил.— Позволь мне...— Здесь его рука потрогала поля шляпы.— Итак, между нами все кончено?

— Все кончено,— как эхо, отозвалась женщина.— И зачем вы еще хотели видеть меня?

— Больше... ни за чем,— с усилием сказал Гольц. Голова его кружилась от горя. Он сделал шаг вперед, неожиданно для себя взял тонкую, презрительно-послушную руку и тотчас ее выпустил.

— Прощайте,— выдал он тяжелое, как гора, слово.— Вы скоро уезжаете?

Теперь кто-то другой говорил за него, а он слушал, парализованный мучительным кошмаром.

— Завтра.

— У меня остался ваш зонтик.

— Я купила себе другой. Прощайте.

Она медленно кивнула ему и пошла. Тумба оказалась крепче тросточки Гольца; хрупкое роговое изделие сломалось в куски. Он пристально смотрел в затылок ушедшей девушке, но она ни разу не обернулась. Потом фигуру ее заслонил угольщик с огромной корзиной. Кусочек шляпы, мелькнувшей из-за угла — это все.

II

Александр Гольц открыл двери ближайшего ресторана. Здесь было шумно илюдно; косые лучи солнца блестели в густом войске бутылок дразнящими переливами. Гольц сел к пустому столу и крикнул:

— Гарсон!

Безлично-почтительный человек в грязной манишке подбежал к Гольцу и смахнул пыль со столика. Гольц сказал:

— Бутылку водки.

Когда ему подали требуемое, он налил стаканчик, отпил и плюнул. Глаза его метали гневные искры, ноздри бешено раздувались.

— Гарсон! — заорал Гольц, — я требовал не воды, черт возьми! Возьмите эту жидкость, которой много в любой водосточной кадке, и дайте мне водки! Живо!

Все, даже самые флегматичные, повскакали с мест и кольцом окружили Гольца. Оторопевший слуга клялся, что в бутылке была самая настоящая водка. Среди общего смятения, когда каждый из посетителей отпивал немного воды, чтобы убедиться в правоте Гольца, принесли новую запечатанную бутылку. Хозяин трактира, с обиженным и надутым лицом человека, непроизвольно очутившегося в скверном, двусмысленном положении, вытащил пробку сам. Руки его бережно, трясясь от волнения, налили в стакан жидкость. Из гордости он не хотел пробовать, но вдруг, охваченный сомнением, отпил глоток и плюнул: в стакане была вода.

Гольц развеселился и, тихо посмеиваясь, продолжал требовать водки. Поднялся неимоверный шум. Восковое от страха лицо хозяина поворачивалось из стороны в сторону, как бы прося защиты. Одни кричали, что ресторатор — жулик и что следует пригласить полицию; другие с ожесточением утверждали, что мошенник именно Гольц. Некоторые набожно вспоминали черта; маленькие мозги их, запуганные всей жизнью, отказывались дать объяснение, не связанное с преисподней.

Задыхаясь от жары и волнения, хозяин сказал:

— Простите... честное слово, ума не приложу! Не знаю, ничего не знаю; оставьте меня в покое! Пресвятая мать божия! Двадцать лет торговал, двадцать лет!..

Гольц встал и ударил толстяка по плечу.

— Любезный, — заявил он, надевая шляпу, — я не в претензии. У вас бутылки, должно быть, из ткла, — не мудрено, что спирт выдыхается. Прощайте!

И он вышел, не оборачиваясь, но зная, что за ним двигаются изумленные, раскрытые рты.

III

Историк (со слов которого записал я все выше и ниже изложенное) с момента выхода Гольца на улицу сильно противоречит показаниям мясника. Мясник утверждал, что странный молодой человек направился в хлебопекарню и спросил фунт сухарей. Историк, имени которого я не назову по его просьбе, но лицо, во всяком случае, более

почтенное, чем какой-то мясник, божится, что он стал торговать яйца у старухи на углу улицы Пса и переулка Слепых. Противоречие это, однако, не вносит существенного изменения в смысл происшедшего, и потому я останавливаюсь на хлебопекарне.

Открывая ее дверь, Гольц оглянулся и увидел толпу. Люди самых разнообразных профессий, старики, дети и женщины толкались за его спиной, сдержанно жестикулируя и указывая друг другу пальцем на странного человека, оскандалившего трактирщика. Истерическое любопытство, разбавленное темным испугом непонимания, тянуло их по пятам, как стаю собак. Гольц сморщился и пожал плечами, но тотчас расхохотался. Пусть ломают головы — это его последняя, причудливая забава.

И, подойдя к прилавку, потребовал фунт сахарных сухарей. Булочная наполнилась покупателями. Все, кому нужно и кому не нужно, спрашивали того, другого, жадно заглядывая в каменное, строгое лицо Гольца. Он как будто не замечал их.

Среди всеобщего напряжения раздался голос приказчицы:

— Сударь, да что же это?

Чашка весов, полная сухарями до коромысла, не перевешивала фунтовой гири. Девушка протянула руку и с силой потянула вниз цепочку весов, — как припечатанная, не шевельнувшись, стояла другая чашка.

Гольц рассмеялся и покачал головой, но смех его бросил последнюю каплю в чашу страха, овладевшего свидетелями. Толкаясь и вскрикивая, бросились они прочь. Мальчишки, стиснутые в дверях, кричали, как зарезанные. Растерянная, багровая от испуга, стояла девушка-продащица.

Опять Гольц вышел, хлопнув дверьми так, что зазвенели стекла. Ему хотелось сломать что-нибудь, раздавить, ударить первого встречного. Пошатываясь, с бледным, воспаленным лицом, с шляпой, сдвинутой на ухо, он производил впечатление помешанного. Для старухи было бы лучше не попадаться ему на глаза. Он взял у нее с лотка яйцо, разбил его и вытащил из скорлупы золотую монету. «Ай!» — вскричала остоленевшая женщина, и крик ее был подхвачен единодушным — «Ах!» — толпы, запрудившей улицу.

Гольц тотчас же огошел, шаря в кармане. Что он искал там?

Публика, окружившая старуху, вопила, захлебываясь кто смехом, кто бессмысленными ругательствами. Это было редкое зрелище. Дряхлые, жадные руки с безумной торопливостью били яйцо за яйцом; содержимое их текло на мостовую и свертывалось в пыли скользкими пятнами. Но не было больше ни в одном яйце золота, и плаксиво шамкал беззубый рот, изрыгая старческие проклятия; кругом же, хватаясь за животы, стонали от смеха люди.

Подойдя к площади, Гольц вынул из кармана ни больше, ни меньше, как пистолет, и преспокойно поднес дуло к виску. Светлое перо шляпки, скрывшейся за углом, преследовало его. Он нажал спуск, гулкий звук выстрела оттолкнул вечернюю тишину, и на землю упал труп, теплый и вздрагивающий.

От живого держались на почтительном расстоянии, к мертвому бежали, сломя голову. Так это человек просто? Так он действительно умер? Гул вопросов и восклицаний стоял в воздухе. Записка, найденная в кармане Гольца, тщательно комментировалась. Из-за юбки? Тьфу! Человек, встревоживший целую улицу, человек, бросивший одних в наивный восторг, других — в яростное негодование, напугавший детей и женщин, вынимавший золото из таких мест, где ему быть вовсе не надлежит, — этот человек умер из-за одной юбки?! Ха-ха! Чему же еще удивляться?!

Надгробные речи над трупом Гольца были произнесены тут же, на улице, ресторатором и старухой. Первая, радостно взвизгивая, кричала:

— Шарлатан!

Ресторатор же злобно и сладко бросил:

— Так!

Обыватели расходились под ручку с женами и любовницами. Редкий из них не любил в этот момент свою подругу и не стискивал крепче ее руки. У них было то, чего не было у умершего, — своя талия. В глазах их он был бессилен и жалок — черт ли в том, что он наделен какими-то особыми качествами; ведь он был же несчастен все-таки, — как это приятно, как это приятно, как это невыразимо приятно!

Не сомневайтесь — все были рады. И, подобно тому, как в деревянном строении затапывают тлеющую спичку, гасили в себе мысль: «А может быть... может быть — ему было нужно что-нибудь еще?»

НОЧЛЕГ

I

Завидуя всем и каждому, Глазунов тоскливо шатался по бульвару, присаживался, нехотя выкуривал папиросу и делал надменное лицо каждый раз, когда гуляющие окидывали глазами его сильно изношенную тужурку.

Воскресная музыка играла румынский марш. Хороводы губернских барышень плыли мимо ярко освещенных киосков, где, кроме лимонада и теплой сельтерской, можно было купить пряников, засиженных мухами, и деревянную улыбку торговли. Отцы, обремененные многочисленными семействами, выставили напоказ запятнанные чесунчевые жилеты; гордо постукивая тросточками, изгибались телеграфисты, пара — другая взъерошенных студентов волочила за собой низеньких черноволосых девиц.

Вечер еще не охватил землю, но его мягкое, дремотное прикосновение трогало лицо Глазунова умирающей теплотой дня и сыростью глубоких аллей. Небо тускнело. Безличная грусть музыки покрывала шарканье ног, смех и говор. Иногда стройные, полногрудые девушки с косами до пояса и деревенским загаром щек бередили унылую душу Глазунова веянием беззаветной жизни; он долго смотрел им вслед, чему-то и кому-то завидуя; доставал новую папиросу и ожесточенно тянул скверный дым, тупо улавливая сознанием отрывки фраз, шелест юбок и свои собственные, похожие на зубную боль, мысли о будущем.

Так просидел он до наступления темноты, с чувством все возрастающего голода, жалости к своему большому исхудавшему телу и зависти. Жизнь как бы олицетвори-

лась для него в этом гуляньи. Глупо-торжественное, румяное лицо воскресенья торчало перед ним, довольное незатейливым весельем и сытым днем, а он, человек без определенных занятий, старательно прикидывался гуляющим, как и все, довольным и сытым. Никто не обращал на него внимания, но так было всю жизнь, и теперь, когда хотелось понуриться, вздыхая на весь сад, привычное лицемерие заставляло его держаться прямо, снисходительно опустив углы губ. Публика прибывала, сплошная масса ее тяжело двигалась мимо скамеек, задевая колени Глазунова ногами и зонтиками.

Он встал, бережно ощупал последний пятиалтынный и в то же мгновение увидел стойку буфета, блюда с закусками, влажные рюмки и вереницу жующих ртов. Глазунов сморщился: тратить пятиалтынный ему не хотелось, но, полный озлобленного протеста против всех и себя самого, дрожащего над бесполезной изменить будущее монетой, бессознательно ускорила шаги, соображая, что «все равно».

«Я съем пирожок,— думал он,— пирожок стоит пять копеек, еще останется десять. И... и... съем еще пирожок... а может быть, выпить одну рюмку? Какая, в сущности, польза от того, что завтра я буду в состоянии купить булку, когда нет ни чая, ни сахара? Все равно уж».

II

Оставшись без копейки, Глазунов почувствовал облегчение. Пятиалтынный целые сутки жег его карман, это была какая-то стыдливая надежда, тягостная мечта о деньгах, грустный упрек желудка, твердившего Глазунову: «Я пуст, а ведь есть еще пятнадцать копеек!» Теперь маленький жалкий Рубикон был позади, в выручке ресторана. Нежная теплота водки оживляла мускулы, вялые от усталости и тоски. Вкус пирожков щекотал челюсти. Глазунов пил мало, рюмка воодушевляла его. Он шел свободнее, смотрел добрее. Ночлега у него не было. Прошлая ночь, проведенная у знакомых,— с кислыми извинениями за грязную простыню, с натянутой вежливостью хозяйки и угрюмым лицом хозяина — вызывала в нем темную боль обиды. Он бесился, вспоминая себя — болезненно напрягавшего слух, чтобы уловить хоть слово из сердитого гула голосов за перегородкой, отделявшей хозяйскую спальню; ему казалось, что бранят непременно его, назойливого неудачника, стес-

няющего других. Это было единственное пристанище, куда его пустили бы и сегодня, но идти было тяжело. Оставались углы бульвара, собачий холод рассвета, сырость мха.

Но прежде, чем решиться променять унижение на покров неба, он подумал о репетиции и медленно повернул с аллеи в хвойную тьму. Шум стих, в отдалении кружился чуть слышный темп вальса; ритмичное «там-там» турецкого барабана неотступно преследовало Глазунова. Он брел, погружая стоптанные ботинки в скользкую от росы траву, ветви низкорослой рябины стегали его, тонко скулили невидимые комары, обжигая мгновенным зудом руки и шею, жуткая чернота манила идти дальше, в самую глубину, и этот, днем так хорошо знакомый пригородный парк теперь казался бесконечным и неизвестным.

«Вот тут лечь,— подумал Глазунов, удалившись от аллеи шагов на тридцать,— тут разве под утро будет холодно, а то ничего». Ему сделалось беспокойно весело: одиночество лесного ночлега оттапливало его комнатную душу, но таило в себе, несмотря на все, особую, острую привлекательность новизны. К тому же другого выхода не было. Он бросился в траву, перевернулся, вытянулся во весь рост. Было просторно, сыро и мягко. Нечто похожее на шушуканье раздалось сзади, но Глазунов не обратил на это никакого внимания. Он встал, встряхнулся и легонько свистнул, как бы говоря этим: «Вот я какой, ну-те!» Кто-то прыснул от сдержанного смеха и так близко, что Глазунов вздрогнул. В то же мгновение сотни, тысячи рук схватили его со всех сторон, теребя платье, бока, плечи; цепкие пальцы впились в локти, и странно испуганный Глазунов не успел открыть рот, как тьма наполнилась голосами, кричавшими на все лады:

— Петенька! Петя, сюда! К нам, к нам! Петунчик, не робей! Петушок!

— Пойдите,— пресекаясь голосом вскрикнул раздраемый на части Глазунов,— я ведь!..

Взрыв женского хохота был ему ответом. Его щипали, толкали, тянули во все стороны; невидимые теплые пальцы щекотали ладонь. Слева уверяли, что прятаться грешно и преступно; справа твердили, что Петеньку надо выдрать за уши, а сзади — просили достать спички, чтобы посмотреть на его, Петенькину, физиономию. Остальные кричали наперебой:

— Петька дрян! Петрушка-ватрушка! Петя блондин! Тащите Петю в аллею! Петя!

— Пойдите же,— заголосил Глазунов, покрывая своим криком девичий гвалт,— вы ошиблись, честное слово. Я — Глазунов! Простите, пожалуйста, но я не Петя, честное слово!

Дерганье прекратилось. Наступила такая глубокая тишина, что одно мгновение Глазунову все это показалось небывшим. Сердце отчаянно билось, он глупо улыбался, сился рассмотреть тьму. Сконфуженный шепот и глухой смех раздались где-то сбоку.

— Он Глазунов! — прыснул дискант. — Люба! Он не Петя! — насмешливо подхватила другая. — Он, может быть, Ваня! Это Глазунов! — хихикнула третья. — Извините, господин Глазунов! — Пожалуйста, извините! — Будьте добры! — До свидания, господин Глазунов! — А ведь сзади точь-в-точь Петя! — А спереди — ни дать ни взять — Глазунов!

Звонкий хохот сопровождал последнее замечание. В темноте затрещало, последние шаги девушек стихли, Глазунов стоял, как окаменелый, взволнованный смешной передрыгой и безжалостными щипками. Потом машинально, как будто возле него еще оставался кто-то, зажег спичку и осмотрелся.

Мрак отступил за ближайшие стволы, нижняя часть ветвей и смятая трава зеленели в тусклой дрожи случайного освещения — неподвижно, сонно, как лицо спящего. Белое пятно привлекло внимание Глазунова. Он нагнулся и поднял маленький измятый платок. Спичка погасла.

III

— А ведь я маху дал,— сказал Глазунов, прислушиваясь. — Вообще вел себя нелепо. Надо было полегче. Познакомиться, что ли... Петя — Петей, а я мог бы пошатаваться с этим выводком...

Он чувствовал себя усталым и грустным. Уверенность, что барышни были хорошенькие и молодые, наполнила его глухой неприязнью к «Пете». Глазунов довольно отчетливо представил его себе: плотный, ясноглазый парень в чистеньком пиджачке и фуражке с кокардой. У него прямые, светлые волосы, румяный загар, слегка вздернутый веснушчатый нос и непоколебимая самоуверенность. Начальник лю-

бит его за аккуратность и деловитость, товарищи за покладистость и веселый характер. Барышни от него в восторге.

— А и черт с ним! — пробормотал Глазунов, — я неудачник, голодный рот, может быть, сдохну под забором или сопьюсь, но все же я — не идиот Петя, не это машинное мясо, не этот будущий брюхан — Петя!

В глубокой задумчивости, сжимая чужой платок, Глазунов стоял в темноте, и ему до слез было жаль себя, унылого человека, без куска хлеба, без завтрашнего дня и приюта. Образ Пети преследовал его. Петя — начальник станции, Петя — инженер, Петя — капитан, Петя — купец. Неисчислимое количество Петей сидело на всех крошечных престолах земли, а Глазуновы скрывались в темноте и злобствовали. И хотя Глазуновы были умнее, тоньше и возвышеннее, чем Пети, последние успевали везде. У них были деньги, почет и женщины. Жизнь бросалась на Глазуновых, тормошила их, кричала им в уши, а они стояли беспомощные, растерянные, без капли уверенности и силы. Неуклюже отмахиваясь, они твердили: «Я не Петя, честное слово! Я Глазунов!» И тусклая вереница дней взвилась перед Глазуновым, бесчисленное количество раз отражая его нужду, болезненность и тоску. Он слабо усмехнулся, вспомнив репетицию лесного ночлега: здесь, как и всегда, он шел по линии наименьшего сопротивления. Кислое отвращение поднялось в нем: с ненавистью к музыке, к «Пете», к носовому платку, с болезненно-сладкой жаждой чужого, хотя бы позднего сожаления, Глазунов, еще не веря себе, нащупал ближайший сук, снял пояс и привязал его, путаясь в темноте пальцами, вплотную к коре. Посторонний человек, секретарь казенной палаты, пробираясь ближайшим путем в другую сторону, слышал на этом месте только шум собственных шагов. Тишина была полная.

ЦИКЛОН В РАВНИНЕ ДОЖДЕЙ

I

— На запад, на запад, Энох! Смотрите на запад! — прокричал Кволля, стремительно проносясь мимо. Его белый парусиновый пиджак вздувался на спине пузырями от ветра, с ровным, унылым гудением стлавшегося по полю. Дрожки Кволля подпрыгивали, как угорелые, и чуть не опрокинулись, зацепившись за глубокую колею.

Почти в тот же момент Кволля, дрожки и лошадь скрылись в облаках едкой, красноватой пыли, поднятой копытами. Энох вытер рукавом пот и поднял голову; то же, но быстрее его, сделали два сына его, работавшие с ним.

— Жип, — сказал фермер, — кто кувыркался тут по дороге и кричал, что надо смотреть на запад?

— Кволля, отец, — ответил Жип, бросая лопату. — И он прав, в другой раз за деньги не увидишь того, что теперь делается. О-ох! — вскричал он, — да, это плохие шутки!

Три пары широко раскрытых глаз устремились к закату, и три вдоха соединились в один.

Солнце стало неярким. Низко над горизонтом, тускло и мрачно смотрело оно на желтую кукурузу Эноха; невидимая тяжесть ложилась от его красного диска на струящееся море стеблей, и низкие, как отколовшиеся пласты неба, облака приняли красный оттенок меди. Западная часть неба покраснела и стала мутной, словно

за сто миль обрушились миллионы возов кирпичного щебня. Свет исчез: прямой, лучистый свет солнца превратился в прозрачную, красноватую муть, мгновенно лишая красок яркую зелень придорожных канав, ставших вдруг серыми, словно их облили купоросом. Затих ветер, земля, пропитанная удушьем, молчала. Отчаянно голося, хохлатый удод взлетел вверх, забил крыльями и пустился наперерез поля.

— Риоль! — сказал младшему брату Жип, — я как будто рассматриваю тебя сквозь красное стекло.

Энох, покрытый смертельной бледностью, с проклятием поднял руки и взмахнул сжатыми кулаками. Все кончено! Труды целого лета, постоянное беспокойство, мечты о покупке земли — все превратится в вороха смятой соломы и обломки изгородей. Ну-ну! Он не ожидал этого.

Закат неудержимо притягивал его гневные, испуганные глаза. Отвратительный, красный пожар неба напоминал чью-то огромную, поднятую для удара ладонь.

Риоль тяжело вздыхал, судорожно почесывая затылок. Ноздри у Жипа бешено раздувались, он пристально посмотрел на отца и коротко рассмеялся. Фермер побагровел.

— Идиот! — заревел он. — Улыбнись-ка еще!

Жип стиснул зубы. Трепет, похожий на зуд и смех, проникал во все его существо. Его горе, мучившее его бессонницей и тяжелыми ночными слезами, казалось, нашло себе выход в притаившемся неистовстве атмосферы. Он не боялся, а наоборот, замер в бессознательном ожидании немедленного и грозного разрешения.

— Марш домой! — проворчал старик. — С богом плохие шутки. Это за грехи, слышишь, Риоль?

Охваченный отчаянием, он сразу осунулся и медленно шагал с непокрытой головой по дороге, изредка останавливаясь, чтобы бросить на запад взгляд, полный тоски и страдания. Риоль шел следом, испуганный, молчаливый; Жип замыкал шествие.

В полях, заворачивая и свивая метелками верхушки кукурузных стеблей, уже крутились маленькие, сухие вихри. Восток тонул в ранних сумерках, и сумрачно скрипели деревья, кланяясь обреченным полям.

— Риоль, — сказал Жип, — ты, конечно, поспешишь к Мери? Передай ей, что я озабочен ее участью не менее, чем своей. Всем нам грозит смерть.

Юноша с тоской посмотрел на брата.

— Ее не тронет,— убежденно проговорил он.— Мы — другое дело. Мы, может быть, заслуживаем наказания. А она?

— Риоль,— быстро проговорил Жип,— ты знаешь — мне весело.

Риоль вспыхнул. Поведение брата казалось ему предосудительным.

— Веселись,— сдержанно сказал он, прибавляя шаг, потому что налетевший порыв ветра толкнул его в спину.— Мне жалко людей. Жип,— что будет с ними?

— Ничего особенного. Поотрывает головы, снесет крыши.

— Жип! Безбожник! — закричал Энох, оборачиваясь и потрясая заступом: — Я проломлю тебе череп и наплюю на то, что ты мне сын! Какой черт вселился в тебя?

— Бежим! — простонал Риоль. — Бежим. Слышите, слышите?!

Далекий ревущий гул обнял землю. Энох остановился, ноги его подкосились и задрожали. Ему казалось, что тысячи поездов летят из всех точек горизонта к центру, которым был он.

— Бежим! — подхватил он.

И все трое пустились стремглав к видневшейся невдалеке крыше фермы, дыша, как загнанные, очумелые лошади.

II

Первый удар циклона со стоном и лязгом рванул землю, замутив воздух тучами земляных комьев, сорванными колосьями и градом мелкого щебня. Ревущая ночь слепила, валила с ног, била в лицо. Жип лег на землю ничком и некоторое время пытался сообразить, в каком направлении лежит ферма. Затем, сдвинув на лицо шляпу, решил, что лучше и безопаснее остаться пока здесь, в поле, где нет стен и твердых предметов.

— Отец! Риоль! — вскричал он, пытаясь рассмотреть что-нибудь.

Разноголосый вой бешено прихлопнул его слова, точно это был не крик человека, а стон мухи. Крутящаяся тьма неслась над спиной Жипа. Он встал, повинаясь безумию воздуха и чувствуя, что неудержимое возбужде-

ние организма толкает его двигаться, кричать, что-то делать. Но в тот же момент, как подстреленный, хлопнулся в дорожную пыль и покатился волчком, инстинктивно защищая лицо. Идти было невозможно. Он лег поперек дороги, упираясь то ногами, то руками, в то время, как вихрь перебрасывал его по направлению к ферме.

Так прошло несколько минут, после которых все тело Жипа заняло от ссадин и ударов о почву. Временами он думал, что наступает конец мира, все умерли и только он, Жип, еще борется с безумием воздуха. Попад в канаву, Жип заметил, что циклон несколько ослабел. Быть может, то был случайный, ничего не значащий перерыв — трагедии, но ветер дул ровно, с силой, не угрожающей пешеходу смертью или полетом в воздухе.

Жип сделал попытку — встал и, с усилием, но устоял на ногах. Вихрь гнал его вперед, не давая остановиться. Он пробежал несколько сажень и с размаха ударился локтем о что-то твердое. Быстрее молнии другая рука Жипа обвилась вокруг невидимого предмета: это был столб или дерево.

— Улица, — сказал Жип, задыхаясь от вихря.

Теперь его самым мучительным желанием было отыскать Мери живую или лечь рядом с ее трупом. Жип побежал в сторону, тыкаясь о разрушенные стены; непонятная, почти ликующая ярость руководила его движениями. Это было временное безумие, восторг ужаса, но все совершающееся вокруг казалось Жипу давно ожидаемым и почему-то необходимым.

— Мери! — кричал он, падая и вскакивая, — Мери! Риоль!

III

Катастрофы полны неожиданностей, и крутящая сумятица ощущений в сердцах людей не дает им времени вспомнить впоследствии фактическую цепь событий, потому что все — земля и небо, и ум, потрясенный бешенством окружающего, — одно.

Тьма бледнела. Вся мелочь, весь земной мусор, труды людей, превращенные в грязный сор, пронеслись и очистили воздух, ставший теперь серым, как лицо больного перед лицом смерти. Прежняя сила воздуха густела над опустошенной равниной, и облака, не поспевая

за ветром, рвались в клочки, как паруса воздушного корабля, гибнувшего на высоте.

Жип перешагнул кучу бревен; помутившиеся глаза его остановились на лице Мери. Она сидела на корточках, прижавшись к уцелевшей части стены, Риоль сидел возле нее, прижавшись к коленям девушки, как зверь, ищущий защиты.

— Остатки людей, остатки имущества! — прокричал Жип, нагибаясь к Риолю. — Все кончено, не так ли, Мери? Все кончено.

— Все кончено! — как эхо отозвалась девушка.

— Мери, — продолжал Жип, — уйдем отсюда! Я пьян сегодня, пьян воздухом и не знаю, слышишь ли ты меня, потому что мой голос слабее бури! Брось этого размазню Риоля! Мы построим новый дом на новой земле.

— Ты — сумасшедший! — сказал Риоль, расслышав некоторые слова Жипа. — Пошел прочь!

— Мери! — продолжал Жип. — Я не знаю, что делается со мною, но я нисколько не стыжусь брата. Я при нем говорю тебе: когда он еще не целовал твоих рук, я любил тебя!

— Жип! — тихо сказала Мери, и Жип почти прижался щекой к ее губам, чтобы расслышать, что говорит девушка. — Жип, время ли теперь заводить ссору? Мы можем умереть все. Все разорены, Жип!

Жип прислонился к стене. Из груди его вырывалось хриплое, отрывистое дыхание; разбитый, осунувшийся, с кровавыми подтеками на лице, он был страшен. Но в душе его совершалось странное торжество: обойденный любовью, этот угрюмый парень радовался разрушению. В отношении его была явлена справедливость, — он понимал это.

— Кволли, Томасы, Дриббы и им подобные! — кричал он, приставляя руку ко рту: — Да, я давно знал, что пора это сделать по отношению ко всей этой дряни! Кто смеялся на похоронах Рантэя? Кто ограбил мать Лемма? Кто сделал подложные свидетельства на аренду Бутса и выудил у него процессами все денежки? Кто довел до чахотки Реджа? Послушайте, есть справедливость в ветре! Я рад, что смело всех, рад и радуюсь!

Он продолжал бесноваться, притопывая ногой в такт словам. Девушка плакала.

Риоль вынул револьвер.

— Жип,— сказал он,— уйди. Ты враг нам. Уйди или я застрелю тебя. Сегодня нет братьев — или друзья, или враги. Уйди же!

— Жип! Риоль! — воскликнула Мери.

Новая туча каменного града, сухих веток и стеблей кукурузы обрушилась на головы трех людей. Жип вынул револьвер, в свою очередь.

— Если это правда,— прокричал он,— то я ведь никогда не был неповоротливым! Сегодня все можно, Риоль, потому что нет ничего, и все стали, как звери! Прочь от этой девушки!

Мери встала, белая, как молоко.

— Убей и меня, Жип,— сказала она.

— О — ах! — вскричал Жип: — Люби мертвого!

И он выстрелил в грудь Риолю. Юноша повернулся на месте, затрясся и медленно упал боком. В тот же момент худенькая рука Мери с силой ударила Жипа по лицу и он взвыл от ярости.

— Пусти же, подлец! — сказала девушка.

Но он уже ломал ее руки, притягивая к себе, приведенный в неистовство кровью, лязгом циклона и беззащитным девичьим телом. И вдруг, как разбежавшийся тапир, сраженный ядом стрелы,— упал вихрь. В воздухе еще кружилась солома, пыль, щепки, но все это падало вниз подобно дождю. Настала гнетущая тишина.

Жип вздрогнул и выпустил девушку. Это было ощущение чужой руки, опущенной на плечо. Закачавшись, с внезапной слабостью во всем теле Жип выбежал на дорогу.

Он увидел взлохмаченные, исковерканные, обезображенные поля, снесенные крыши, жилища, развалившиеся по швам, как ветошь; домашнюю утварь, разбросанную в канавах, сломанные деревья; одинокие фигуры живых.

И только что пережитое хлынуло в его душу тоскливой жалобой небу, земле и людям.

ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙСТВА

I

За окнами караульного помещения бушевал резкий, порывистый ветер, потрясая крышу ветхого здания и нагоняя скучную, зевотную тоску. В самой караулке, у деревянного крашеного стола, кроме разводящего, сидели еще двое: рядовой Банников и ефрейтор Цапля. Разводящий, младший унтер-офицер, сумрачный, всегда печальный человек, лениво перелистывал устав строевой службы, время от времени кусая краюху ржаного хлеба, лежавшую на столе. Ему смертельно хотелось спать, но он пересиливал себя и притворялся погруженным в изучение воинской премудрости. К тому же минут через двадцать надо было вести смену. А кроме этого, он не решался вздремнуть из боязни караульного офицера, который каждую минуту мог заглянуть на пост и сделать ему, разводящему, строгий выговор, а то и посадить под арест. И хотя он завидовал часовым, имеющим возможность через каждые два часа стояния на посту спать целых четыре, но сознание своего служебного положения и превосходства заставляло его еще шире раскрывать сонные глаза и усиленно шевелить губами, запоминая неpretложные догматы строевой дисциплины.

Цапля взял листик махорочной бумаги и, вытащив из штанов огрызок карандаша, при свете жестяной лампы нарисовал, помогая себе языком и бровями, подобие порохового погреба и маленькую фигурку часового.

Часовой вышел кривым на один глаз и безногим, так что казалось, будто он стоит по колена в земле, но Цапля, тем не менее, остался весьма доволен рисунком. Он прищурился, захохотал, отчего вздрогнули его полные, мясистые щеки, потом сказал, протягивая бумажку Банникову:

— Смотри, Машка,— это кто?

Банников всегда служил предметом насмешек Цапли и теперь не сомневался, что ефрейтор изобразил его, Банникова, но не обиделся, желая угодить начальству, и сказал, ласково улыбаясь глазами, нежными, как у молодой девушки:

— На кого-то страсть похож. Никак Алехин?

Алехин был солдат, стоявший в это время на часах. Цапля помолчал немного, придумывая, что бы такое сказать поязвительнее Банникову, и вдруг прыснул:

— Это, Машка, ты! Вот ты эдак, расщеперившись, стоишь.

Банников молча улыбнулся, взял нож и отрезал кусок хлеба от каравая.

— Ужин-то не несут, кашу-то нашу,— сказал он.— Дай-кошь хлеба хошь пожую, что-то есть охота.

Разводящий поднял голову. У него было худое, загорелое лицо и маленькие черные усы. Он протянул руку к Цапле и сказал, зевая:

— Покажь!

Цапля подал рисунок унтеру и глупо захохотал.

— Машка, расщеперившись, стоит,— с трудом сказал он сквозь смех.— Не хочет признавать своего патрета.

— Вовсе не похож,— сказал разводящий.— Банников— парнишка румяный, как яблочко, а ты огородную чучелу изобразил.

Цапля надулся. Он ожидал, что унтер поддержит его, и они вдвоем подымут на смех молодого солдата, прозванного «Машкой» за скромность и застенчивость. Он пожевал губами и сказал:

— Сушая девка энтот Банников. Банников! А может, ты девка переряженная, а?

Унтер улыбнулся, жуя хлеб. От движений челюстей шевелились его маленькие, острые усы, и казалось, что они помогают жевать.

Довольный Цапля продолжал.

— Позавчера в газетах писали, будто Банников наш к ротному ночевать ходит. Правда, штоль, ась, Банников?

Банников смотрел в стену и конфузливо улыбался, ожидая, когда кончится у Цапли прилив веселости. Потом шмыгнул носом, покраснел и сказал, проглотив хлеб:

— А пускай их пишут! Попишут да и перестанут. Скоро, чай, сменяться. Смена-то моя ведь!

— Ну, так что? — спросил Цапля.

— Кашицу долго не несут, — зевнул Банников. — Без горячего скушно.

— Ишь ты, деревенский лапоть, — наставительно сказал унтер, хотя сам с удовольствием похлебал бы теперь горячей жидкой кашицы. — Солдат по уставу безо всякой кашицы должен обойтись. Терпеть и голод и холод.

— Да ведь это... оно... так, например... только словесность, — тихо произнес Банников. — А есть каждому полагается!

— На службе мамки и тятки нет, — зевнул разводящий. — Цапля, давай чай пить. Все равно эту кашицу приносят холодную. Вон Банников за кипятком сбегает. Давай копейку, Банников, на кипяток, будешь с нами чаевать.

— Сейчас бегу, — сказал Банников, вставая и откладывая в сторону недоеденный ломоть. — Только мне не поспеть уже чай пить — чичас на смену.

— Ну, на смену! Еще четверть часа тебе слободы, а коли што, Алехин обождет малость. Беги-ка, беги скоренько!

Банников вышел из-за стола, поправил ремень, оттянутый патронной сумкой, снял с гвоздя медный чайник и спросил:

— Куда идти-то? Чай, заперто везде.

— В Ерофеев трактир беги, Машка! — крикнул Цапля, часто моргая белыми ресницами серых навывкате глаз. — На Колпинской, возле часовни. Там дадут, не заперто.

— Ладно, — сказал Банников, отворил дверь и вышел.

II

Банников служил первый год и часто со страхом думал, что службы осталось еще три долгих, тяжелых года. Первые недели и даже месяцы службы нравились ему новизной обстановки, строгим, деловитым темпом. Потом, когда не осталось ничего нового и интересного, а старое сделалось заезженным, скучным и обязательным, его стала тяготить строгость дисциплины и общест-

во чужих, раздраженных и тяготящихся людей, согнанных в глухой уездный город со всех концов страны. Банников был грамотный, добродушный крестьянин, застенчивый и мягкий. Лицо его даже на службе сохранило какую-то женскую округлость и свежесть розовых щек, пушистых бровей и ресниц, что было причиной постоянных, скорее бессмысленных, чем обидных шуток и прозвищ, вроде «Машки», «Крали», «Анютки». С первых же дней службы, приглядевшись к отношениям людей, окружавших его, он понял, что молодому и неопытному солдату легче всего служить, угождая начальству. Он так и делал, но его никто не любил и не чувствовал к нему ни малейшей симпатии. Покорность и угодливость — козыри в жизненной игре. Но в покорности и угодливости Банникова слишком чувствовались и вынужденность и сознательная умеренность этих качеств. Когда он подавал сапоги или винтовку, вычищенные им, своему взводному или по первому слову бежал в лавочку, тратя свои деньги, у него всегда был вид и выражение лица, говорящие, что это он делает без всякой приятности, но и без злобы, потому что так нужно, потому что он в зависимости и знает, как сделать, чтобы жилось легче. Это чувствовалось, и хотя к Банникову не придирались так, как к другим, но всегда при удобном случае давали ему понять, что всякая провинность будет взыскана с него так же, как и с других. Но Банников был всегда молчалив, внимателен, исполнительен и сосредоточен.

Он купил в трактире чаю, сахару на две копейки, кипятку, вышел на улицу и почти бегом, придерживая на ходу чайник, направился через площадь в сторону порохового склада. Ветер свистел ему в уши и стегал лицо резкими вздохами. На ходу Банников заметил, что кипяток не горячий, а только теплый, и это обстоятельство было ему неприятно. «Еще ругаться будут за мои же деньги, — думал он, зажмуривая глаза от ветра и наклоняя голову. — Разводящий-то еще ничего, а вот Цапля проклятая начнет глупость свою выказывать». — Эта служба — ой, ой, ой! — вслух вздохнул он, обращаясь к невидимому слушателю. — Только бы отслужить как-нибудь, уж черт бы ее взял!

Когда перед ним в темноте скорее почувствовались, чем обрисовались черные силуэты погребов, а за ними мелькнуло освещенное окно караулки, Банникова остановил хриплый, простуженный голос Алехина. Часовой крикнул:

— Эй, кто идет?
— Свои, Банников.
— А смена скоро, не знаешь?
— Надо быть, скоро,— подумав, ответил Банников.—
Надо быть, эдак, с четверть часа, што ли, еще тебе стоять.
В ответ послышалось легкое насвистывание гопака.
Банников хотел уйти, как вдруг Алехин сказал:
— Караульный офицер был.
— Ну? Был? А что?
— Да ничего. Кабы не заметил, что ты был ушодчи.
— Ну-у! — с сомнением протянул Банников. Однако
смутная тревога охватила его и задержала дыхание. Он
подошел к караульному помещению и отворил дверь.

III

Когда Банников ушел, Цапля свернул папироску, лег на грязные, лоснящиеся доски нар, поднял ноги вверх и стал болтать ими в воздухе, постукивая каблуком о каблук. Он был в дурном настроении оттого, что его, ефрейтора, выпущенного из учебной команды, послали в караул часовым, как какого-то Банникова. Правда, это случилось из-за нехватки солдат, но все-таки мысль о том, что он должен, как простой рядовой, сменять Банникова или Алехина, которые чистят ему сапоги и винтовку, выводила его из душевного равновесия. С разводящим они одногодки, однако тот уже младший унтер, имеет две нашивки и получает три рубля жалованья, а он, Цапля, все еще ефрейтор. Непонятно и унизительно. От скуки ему захотелось подразнить разводящего, и он сказал, пуская табачный дым колечками к потолку:

— Петрович! А, Петрович!

— Ну,— отозвался унтер, закрывая устав. И так как Цапля молчал, придумывая, что сказать, добавил: — Я, брат, вот уже двадцать три года Петрович!

— А не зря ли мы Машку послали? — как бы рассуждая сам с собой, продолжал Цапля.— Зря, право, зря!

— А почему зря? — спросил разводящий, вынул карманное зеркальце и, боком поглядывая в него, раздавил прыщ около носа.— Почему, ты говоришь, зря?

— Как бы караульный офицер не пришел. Застанет на грех, да облает, а еще, того гляди, в карцер запрячет.

— Придет — скажу, что ушел часовой, мол, по своей надобности, — и вся недолга.

— Ой, придет, чуеет моя печенка, — продолжал Цапля. — Этот Циммерман имеет обнаковение спозаранку. Мне из его четвертой роты сказывали.

— И врешь же ты все, Цапля! — с досадой сказал разводящий. — Экий у человека брешливый язык!

— А вот с места не сойти! А ты маленький, что ли, не понимаешь, караулы-то они вон на каком расстоянии. Конечно, захчет ходить пораньше.

— Да будя тебе брехать, — сказал разводящий, отрезая новый ломоть хлеба. — Спи, околеи до чаю.

— А вот он идет! — вскричал Цапля, глядя в окно и нарочно приподнимаясь, чтобы разводящий поверил ему. На самом же деле он никого не видел, да и глубокий мрак, висевший за окном, не позволял ничего видеть.

В это время за дверью караульного помещения раздались медленно-приближающиеся шаги. Разводящий подумал, что идет Банников, но что Цапля принимает шаги солдата за приближение офицера. Поэтому он решил сам напугать Цаплю, встал из-за стола и запер дверь на крючок.

— Не пушу его, — сказал он, держа руку у крючка, — твоего Циммермана. Нехай тем же поворотом гардует обратно.

Кто-то дернул дверь, крючок брякнул и замер. Но Цапля уже действительно не на шутку испугался и вско-чил с нар.

— Эй, Петрович, отпирай ему! — крикнул он. — Ведь и в самом деле...

Разводящий заторопился, снимая крючок, сообразив, что Банников в самом деле не мог вернуться так скоро. Но железо как-то не слушалось его вдруг задрожавших пальцев и неловко скользило в петле.

— Вот дурака валяет! — взволновался Цапля. — Шутки шутками, а в самом де...

Сильный удар в дверь потряс стены ветхого здания караулки так, что задребезжали стекла и огонь испуганно затрепетал в лампе. Разводящий отпер. Раздалось энергичное ругательство, дверь с силой распахнулась настежь, и взбешенный офицер быстрыми шагами вошел в помещение.

Цапля уже стоял, вытянув руки по швам. Разводящий взял под козырек, крикнул: «Смирно!» и

побледневшими губами пытался пролепетать рапорт. Лицо его из грустного и сонливого сделалось вдруг жалким и растерянным.

— Ваше благородие, в карау...— начал было он, но Циммерман раздраженно махнул рукой.

— Чего запираешься, черт! — крикнул он, бегая серыми обрюзгшими глазами с разводящего на Цаплю.— С девками вы, что ли тут, сволочь?

— Простите, вашебродь,— сказал унтер голосом, пересекающимся от волнения.— От ветру... дверь. Ветром отводит... Я на крыю... хотел припереть... вашбродь!

Офицер смотрел на него в упор, засунув руки в карманы пальто и как бы ожидая, когда солдат кончит свои объяснения, чтобы снова разразиться бранью. Циммерман был невысок, сутуловат, с длинной шеей и брюзгливым, птичьим лицом. Он ударил ладонью по столу и сказал:

— Постовую ведомость!

Разводящий заторопился, вынимая бумагу из брюк. В это время офицер нагнулся и посмотрел под нары. Не найдя там никого, он немного успокоился и сказал:

— Где третий?

У разводящего захолонуло сердце, но он притворился спокойным и быстро проговорил:

— Банников... вашбродь... так что вышел за своей нуждой...

— Позови его! — сказал офицер утомленным голосом, разглядывая стены.— Позови его!

Цапля стоял, возбужденно переминаясь с ноги на ногу, и испуганно смотрел на разводящего. Унтер тоскливо вздохнул, откашливаясь и беспомощно глотая слюну. Ему хотелось заплакать. Прошло несколько томительных, долгих мгновений. Циммерман подписал ведомость и сказал:

— Ты слышал мои слова?

— Будьте великодушны, вашебродь! — плаксиво забормотал унтер.— Он вышел, вашебродь... У меня просясь... за кипятком, вашебродь... Сейчас обернется.

— Сволочь! — сказал офицер твердо и отчетливо, подняв брови.— Сволочь! — повторил он, уже раздражаясь и посапывая.— Ты в карцере сидел?

— Никак нет, вашебродь! — с отчаянием выдавил из себя разводящий.

— На первый раз скажешь своему ротному, чтобы посадил тебя на пять суток переменным. Понял?

— Так точно, ваш...

Циммерман повернулся к солдатам спиной и, толкнув ногою дверь, вышел. Когда дверь затворилась, разводящий стоял еще некоторое время на прежнем месте, уныло смотря вниз.

— Эх ты, господи! — вздохнул он, разводя руками. — Ну, что это? Почему такое?

— Я тебе говорил, Петрович, отопри! — заискивающе пробормотал ошеломленный Цапля. — Разве я зря? Когда мне из четвертой роты...

— Пошел ты к лешему! — сказал унтер, садясь за стол и с вытянутым лицом трогая книгу за углы. — Ты говорил? Ты лежал и брехал.

Он был сконфужен и разозлен печальным результатом своей шутки с Цаплей. Перспектива чаепития, такая заманчивая несколько минут назад, сделалась теперь безразличной и нудной.

— А, отсиджу! — вдруг ободрился разводящий, приходя в себя. — Пять суток — ишь, удивил солдата!

— Я вчера Лизку встрел, — сказал Цапля, стараясь перевести разговор на другую тему. — Убегла ведь от меня, стерва, не верит в кредит, ха, ха, ха!

— Ну, пять суток, так пять суток! — продолжал размышлять вслух разводящий. — Пять — не десять!

— Ведь как угадал, — удивлялся Цапля, тупо усмехаясь широким ртом. — Ровно знал, что придет. Прямо вот такое было у меня предчувствие.

— Рад, что накаркал, — огрызнулся унтер. — А вот он самый с кипятком идет.

IV

Банников поставил чайник на стол и весело улыбнулся, запыхавшийся и довольный тем, что не даром сходил. Сахар в бумажке он тоже вынул и сказал, подвигая его разводящему:

— Не больно горяч только кипяток-от. И то насилу достал. У буфетчика выпросил, он уже запирается хотел.

— А ну тебя с кипятком! — морщась, процедил сквозь зубы разводящий. — Тут из-за тебя такая неприятность была.

— А што? — спросил, недоумевая, Банников, переводя глаза с ефрейтора на унтера. — Кака неприятность?

— Кака, кака? — закричал Цапля, багровея и брызжа слюной. — Разиня вятская, черт бы тебя там дольше носил!

Он был взволнован недавним приходом офицера, и теперь, при виде спокойных, ясных глаз Банникова, испытывал непреодолимую потребность выместить на нем взбудораженное состояние своей души. Цапля был «отделенным» Банникова, начальством, и поэтому считал себя вправе кричать и браниться.

Недоумение в лице Банникова еще больше раздражало его. Он сплюнул в сторону и продолжал громким, злым голосом:

— Цаца эдакая! Смотрите, мол, на меня, какой я красивый!

— Чего же вы ругаетесь, господин отделенный? — тихо сказал Банников. — Я же ведь ничего...

— А чего ты два часа слонялся? Из-за тебя вон разводящий засыпался.

— На пять суток, — уныло сказал унтер, перелистывая устав. — Караульный тут был, тебя спрашивал, а как ты отлучился, так вот я и засыпался.

— Я не виноват, — вполголоса ответил Банников.

Он чувствовал себя глубоко обиженным, но поборол волнение и, сев с краю нар, принялся переобувать сапоги, натиравшие ногу портянками. Разводящий продолжал сидеть над уставом, шевеля губами и изредка подымая глаза к потолку. Лампа чадила, узкая струйка копоти вилась вверх, расплываясь в воздухе. В красноватом мигающем свете фигуры солдат и самые лица их казались деревянными, грубо раскрашенными манекенами. В бревенчатых стенах шуршали тараканы, изредка срываясь и падая; в углу, у кирпичной облупленной печи, блестели металлические части винтовок. Цапля, в глубине души чрезвычайно довольный несчастьем разводящего, стоял, заложив руки в карманы. Губы его, сложенные сердечком, насвистывали песню: «Крутится, вертится шар голубой...» Затем он поймал на стене таракана и оборвал ему усы. Таракан вырывался, но Цапля понес его к лампе, бросил в стекло и долго, ухмыляясь, смотрел, как коробится и трепещет от боли поджаренное насекомое. Повода придрататься к Банникову пока больше не было. Цапля скучал. Его беспокойный, дурашливый характер требовал суеты, кипения, брани. Он стал ловить другого таракана, но разводящий поднял голову и сказал:

— Руки поганишь, а потом будешь за сахар хвататься. Брось! Давай чай пить. Пить — так пить...

— А где кружки? — спросил Цапля, хотя знал, что они стоят на полке в углу; но ему хотелось, чтобы их принес Банников. Банников не шевелился, и острая неприязнь к молодому солдату снова шевельнулась в груди ефрейтора.

— Там, на полке, — сказал разводящий, отрываясь от устава и закрывая книгу.

Цапля помялся немного, потом достал две кружки, плеснул в них воды из чайника и вылил на пол. Затем налил себе и унтеру, взял кусочек сахара, бережно откусил и потянул из кружки бурую теплую жидкость. Чай показался ему слишком холодным, и Цапля крикнул:

— Ты что же, Машка, с погреба кипятку-то принес?

— Да, Банников, холодноват! — сказал и унтер, трогая чайник.

— Да не было, взводный, горячего-то! — ответил Банников. — Чуть было еще сахару не забыл купить.

Цапля принял эти слова на свой счет и вспыхнул. Ему показалось, что Банников хочет укорить его в том, что он, Цапля, пьет его чай и сахар, а все же недоволен и ругается. Он стукнул кружкой о стол и закричал:

— Сахару купил! Думаешь, сахар купил, так тебя, те-терю, завсегда по башке будут гладить? Ты чего коришь сахаром-то своим? Лапоть паршивый, а? Хошь, я тебе завтра пуд сахару в зубы воткну? Что я сахару твоего не видал, что ли?

Банников надел второй сапог и удивленно, оторопев, смотрел несколько секунд на расхोлившегося ефрейтора. Прошло еще мгновение, и на розовом, безусом лице его скользнула улыбка. Что было в ней, это знал только он сам, но Цапле в мягко улыбнувшемся рте солдата почудилось снисходительное сожаление и уверенность в своей правоте. Этого он не мог снести. Глаза его сузились, круглые, мясистые щеки запрыгали, как в лихорадке. Цапля поставил кружку на стол и вплотную подскочил к Банникову.

Неожиданно для самого себя он занес руку наотмашь и больно ударил Банникова по лицу концами пальцев. Сначала, в момент замаха, намерения ударить, у него не было. Но когда побледневшее лицо Банникова с испугом в глазах метнулось в сторону, уклоняясь от удара, у Цапли

вспыхнула острая жестокость к розовой, упругой щеке, и он конвульсивно дернул по ней пальцами.

— Эй, Цапля, не драться! — строго прикрикнул унтер. — В казарме — дело твое, а при мне не смей!

— Вот, смотри на него! — сказал Цапля глухим голосом, дрожа от волнения. — Цаца! Пальцем его тронуть не смей? Ишь, сволочь!

Банников встал и провел по щеке дрожащими пальцами. Лицо его попеременно вспыхивало красными и белыми пятнами. Он хотел говорить, но неведомое чувство сжимало ему горло. Наконец на темных глазах его заблестели слезы, и он сказал:

— За что вы меня бьете-то, отделенный? А? За что?..

Тоска и жалость к себе слышались в его голосе. Цапля притворился пьющим чай. Ему было уже совестно за вспышку, но не хотелось показать этого.

— За что вы меня ударили, отделенный? — тихо и настойчиво повторил Банников. — За что? Я же ничего.

— Чего мелешь? — сердито отозвался Цапля. — Кто тебя бил? Никто тебя не бил. Поговори еще!

Наступило неловкое молчание. Злая тяжесть обиды глухо ворочалась в Банникове. За что? Он купил для них за свои деньги чаю и сахару. Ему вдруг страстно захотелось уйти, уйти из опостылевшей караулки куда-нибудь в лес, лечь на траву и забыться.

Разводящий молча прихлебывал чай, чувствуя стеснение и неловкость от выходки Цапли. Желая нарушить тягостное молчание, он покрутил усы и сказал:

— Какой случай в пятой роте был. Приходит артельщик на базар за крупой, крупы купить. Ну, это самое, купил, на кухню принес, смотрит, а там, в мешке-то, шесть мышей подохших. Ей-богу! Целое гнездо. Так и бросили, дежурный по кухне велел...

Унтер мельком взглянул в сторону Банникова. Солдат сидел неподвижно, смотря в одну точку глазами, полными слез.

— Будет, Банников! — сказал разводящий, крикнув. — Он так, сдуру. Брось!

И, помолчав, добавил:

— В конвойной команде двоих избили прямо в лоск... Одному так пол-уха откусили.

— Разводящий! — сказал Цапля, прислушиваясь. — Никак Алехин свистит.

Действительно, за стеной караулки трещали короткие, раздражительные свистки. Унтер посмотрел на часы, отставил кружку и сказал:

— Банников, айда на смену! И так прозевали. Четверть часа лишка стоит человек.

Банников встал, молча надел поверх белой рубахи серую скатанную шинель, взял из угла винтовку и вышел... Вслед за ним вышел и разводящий и через несколько минут вернулся назад с Алехиным, рябым и курносый парнем.

V

Банников, заступив пост, осмотрел ружейный затвор, поставил его на предохранительный взвод и медленно обошел здание порохового склада, рассматривая, в целости ли замки, печати и двери. Убедившись, что все благополучно, он вскинул винтовку на плечо и стал ходить взад и вперед по узкой тропинке, проложенной часовыми. Дул по-прежнему холодный, упорный ветер, свистя в ушах, но Банников, расстроенный случившимся в караулке, не замечал ни ветра, ни холода. Раздражение против Цапли постепенно утихло, и он только с грустью думал о том, что за три оставшихся года службы придется, вероятно, еще много натерпеться подобных неприятностей. Понемногу в одиночестве и тишине уснувшей площади ему захотелось спать, но он, как и всегда, превозмогал усталость, расхаживая и высчитывая, когда придет письмо из деревни в ответ на его письмо, в котором он просил выслать холста для рубашек и яблочков.

Алехин между тем долго и основательно ругался, узнав, что ужин не принесли и что кипятку в чайнике почти не осталось. Унтер меланхолично рассказал ему о посещении караульного офицера и своем несчастье. Алехин на это заметил:

— Леший бы их всех дра! С солдата спрашивают, а чтобы куб поставить в караулке, так этого нет. Спать я хочу; утро вечера мудренее, а баба девки ядренее.

Он лег на нары, зевая во всю мочь, сунул под голову свернутую шинель, дососал окурков папиросы и скоро захрапел. Его пример нагнал сонливость и на разводящего, но так как унтер спал крепко и боялся проспать смену, то не лег на нары, а просто склонился на руки к столу и начал дремать.

Цапле не спалось. Он долго и отчаянно зевал, придумывая, чем бы убить время. Почему-то смуглая, побледневшая от удара щека Банникова вертелась перед глазами, вызывая раздражение против себя, солдата и вообще против всего неудачного дня. Кроме того, что пришлось идти в караул часовым, он проиграл еще утром в карты рубль шестьдесят копеек и остался без денег. Вытащив складной нож, Цапля принялся ковырять им дерево стола, отдирая пальцами щепки; потом плюнул в гирю стенных часов, но не попал и стал считать удары маятника. А досчитав до тридцати, заскучал, надел шапку и вышел из помещения.

VI

Небо выяснилось и, синяя, мерцало холодным узором звезд. От этого вверху, над черными массами зданий, было как будто светлее, а над землей по-прежнему расстилался унылый мрак, заставляя напрягать слух и глаза. Рубаха Банникова смутно белела шагах в двадцати от караулки, неподвижно и сонно. Цапля долго смотрел в его сторону, подрыгивая коленом и засунув руки в карманы брюк.

«Ишь, фря! — сказал он мысленно. — Тоже, выслужиться хочет. Фордыбачит. Очень мне твой сахар нужен!»

Но тут же вспомнил, что часто брал займы у Банникова и сахар и чай.

«Пойти вот, пугнуть тебя хорошенько, так будешь знать, что есть служба!»

Мысль эта мелькнула в его голове сначала просто словами, но потом Цапля стал думать, что в самом деле хорошо бы еще как-нибудь посмеяться над Банниковым. Ни то, что он ефрейтор и отделенный, ни то, что он ударил Банникова и ругал его, не давало ему сознания своего превосходства над ним. Напротив, как будто выходило, что он еще чем-то обязан Банникову, и тот знает это. Надо было сделать что-нибудь такое, чтобы молодой солдат почувствовал зависимость свою от него и признал ее.

«Выкрасть разве затвор у его? — сказал себе Цапля. — Пусть попросит Машка хорошенько, тогда отдам!»

Эта жестокая, но соблазнительная мысль сменилась другой — что такого аккуратного солдата, как Банников, трудно застать врасплох. Однако Цапля хотел попытаться. У него была надежда, что Банников уснул или задремал, в крайнем же случае ефрейтор решил тихонько подползти

к нему сзади, сразу выхватить из винтовки затвор и убежать. К тому же сильный, гудящий ветер, наверное, заглушил бы шаги и шорох. Окончательно взбудораженный возможностью интересного развлечения, Цапля уже представляла хохот разводящего и растерянность Банникова, когда он заметит свою оплошность и увидит, что затвора нет. Такие шутки часто выкидываются солдатами, и Цапля однажды уже с успехом проделал это.

Он вернулся в караулку, торопливо скинул летнюю рубашку с погонами и остался в темной, бумазейной. Фуражки он не надел потому, что она была тоже белая, парусиновая, и вышел за дверь. Белая рубаша часового смутно маячила в том же самом месте. Цапля осторожно, на дыпочках, затаив дыхание, прошел несколько шагов по направлению к пороховому складу, потом лег на живот и стал тихо ползти к углу здания, где, опираясь на пожарную кадку с водой, спиной к нему стоял Банников. Холодная, мокрая трава задевала и колола лицо Цапли, колола руки, а он, подползая все ближе и разглядев внимательнее позу часового, окончательно уверился в успехе своего предприятия и пополз энергичнее, тяжело раздвигая неуклюжим, коротким телом слабо шуршащую траву.

Теперь между ним и Банниковым оставалось пять-шесть шагов расстояния. Из-за высокой кадки Цапле виднелся белый чехол фуражки и темный силуэт плеч. Тонкое черное острие штыка шевелилось рядом с головой, как раз с левой стороны, с которой приближался Цапля. Улыбаясь в темноте, ефрейтор приостановился, рассматривая кадку и соображая, заползти ли совсем с левой стороны к Банникову, или сзади, из-за кадки, протянуть руку и нащупать затвор ружья.

Часовой тихо напевал какую-то заунывную песню и медленно покачивал головой из стороны в сторону. Цапля решил выползти из-за кадки, сообразив, что, пожалуй, из-за нее рукой ружья не достать. Он стал подыматься на четвереньки, подбирая ноги, и вдруг прижался к земле всем телом, как пласт. Банников зашевелился. Ему надоело стоять на одном месте, слипались глаза. Стараясь прогнать тягостное оцепенение, он поднял ружье, потоптался немного и медленными, мерными шагами двинулся в сторону Цапли.

Ефрейтор совсем прирос к земле, зарывая лицо в траву. Он лежал шагах в трех от стены здания, мысленно ругая Банникова и досадуя на свою неловкость. И в то мгнове-

ние, когда он хотел незаметно двинуться в сторону, Банников задел ногой о его сапог, почувствовал живую упругость человеческого тела и испуганно остановился.

Тишина вдруг сделалась зловещей и хитрой, со звоном бросилась в уши, ударила в сердце. Десятки различных мыслей, нелепых и смутных, разбежались в голове Банникова, как стая рыб. Вздрагивая, как струна, он взял ружье наперевес, осторожно склонился, разглядывая траву, и еще более испугался, различив немые очертания притаившегося человека. Что-то уперлось ему в грудь, сжало кольцом горло, завертелось в глазах.

— Кто тут? Встань! — с отчаянием сказал он нетвердым голосом, судорожно стискивая руками ложе ружья. — Эй!

Неизвестный молчал. Ефрейтор лежал сконфуженный, с слабой надеждой, что Банникову только почудилось, и он уйдет. Часовой нагнулся еще ниже, присел на корточки и с удивлением узнал Цаплю. Испуг сразу отхлынул, но сердце еще продолжало стучать громко и назойливо. Одно-два мгновения Банников стоял выпрямившись, с досадой и недоумением.

Цапля неподвижно лежал, и страх снова вернулся к Банникову. Не зная, что делать, и окончательно растерявшись, он перевернул винтовку прикладом вверх, приставил острие штыка к затылку ефрейтора и тоскливо затаил дыхание.

— Вставайте, отделенный! — твердо сказал он, со страхом вспоминая устав и преимущество своего положения. — Ну!

Но самолюбие и комичность результата проделки удерживали Цаплю на земле. Он упрямо, с ненавистью в душе продолжал лежать.

Мысль о том, что Банников, Машка, деревенский лапоть, приказывает ему, приводила его в бешенство. Цапля стиснул зубы и оцепенел так, чувствуя, как раздражительно и зло бьется его сердце.

— Вставайте, отделенный! — настойчиво повторил Банников и, пугаясь, сильнее нажал штык. Ефрейтор вздрогнул от холода стали и тоскливого сознания, что тяжелый, острый предмет колет ему затылок. Но у него еще оставалась тень надежды, что Банников ради будущего не захочет его унижения и уйдет.

Часовой тяжело дышал, бессознательно улыбаясь в темноте. И оттого, что орудие смерти упиралось в живое

тело, глухая хищность, похожая на желание разгрызть зубами деревянный прут, жарким туманом ударила в его мозг. А возможность безнаказанно убить неприятного, оскорбившего его человека показалась вдруг тягостно приятной и жуткой. Жаркая слабость охватила Банникова. Вздрыгнув мучительно сладкой дрожью, он поднял ружье и, похолодев от ужаса, ударил штыком вниз.

Хрустнуло, как будто штык сломался. Конец его с мягким упорством пронзил землю. И в тот же момент злоба родилась в Банникове к белому, сытому и стриженному затылку ефрейтора.

Тело вздрогнуло, трепеща быстрыми, конвульсивными движениями. Тонкий, лающий крик уполз в траву. Цапля стал падать в бездонную глубину и, согнув руки, пытался вскочить, но голова его оставалась пригвожденной к земле и смешно тыкалась лицом вниз, как морда слепого щенка, колебля ружье в руках Банникова. Солдат еще сильнее нажал винтовку, удерживая бьющееся тело, потом с силой дернул вверх, отчего голова ефрейтора подскочила и стукнулась о землю равнодушным, тупым звуком. Шея Цапли вздрогнула еще раз, вытянулась вперед и затихла вместе с неподвижным, притаившимся телом.

Выжидательно улыбаясь и чувствуя странную пустоту в голове, Банников потрогал пальцами теплый, липкий конец штыка, затем прислонил ружье к стене, достал коробочку спичек и стал зажигать их, опустившись на колена возле убитого. Ветер почти моментально задувал огонь. Желтые вспышки одна за другой на мгновение выхватывали из мрака восковой окровавленный затылок ефрейтора и гасли, сорванные ветром. Банников швырнул коробочку в сторону, потом встал и начал искать ее, чувствуя в теле и движениях тупую, пьяную легкость. Руки его были холодны и дрожали. Не найдя спичек, он вспомнил о винтовке, вскинул ее на плечо, хотел пойти куда-то, но остановился и сказал:

— А я почему знаю, кто он такой есть? Я по правилу. Я правильно!

Тяжелая, смертельная тревога сменила возбуждение. Банников поднес к губам свисток и свистнул долгой, пронзительной трелью, вызывая разводящего.

КОЛОНИЯ ЛАНФИЕР

Подобно моряку,
Плывущему через Юрский пролив,
Не знаю, куда приду я
Через глубины любви.

Иоситада, японец.

I

Три указательных пальца вытянулись по направлению к рейду. Голландский барок пришел вечером. Ночь спрята-ла его корпус; разноцветные огни мачт и светящиеся кру-жочки иллюминаторов двоились в черном зеркале моря; без-ветренная густая мгла пахла смолой, гниющими водорос-лями и солью.

— Шесть тысяч тонн,— сказал Дрибб, опуская свой палец.— Пальмовое и черное дерево. Скажи, Гупи, нужда-ешься ты в черном дереве?

— Нет,— возразил фермер, введенный в обман серьез-ным тоном Дрибба. — Это мне не подходит.

— Ну,— в атласной пальмовой жердочке, из которой ты мог бы сделать дубинку для своего будущего наслед-ника, если только спина его окажется пригодной для этой цели?

— Отстань,— сказал Гупи.— Я не нуждаюсь ни в каком дереве. И будь там пестрое или малиновое дерево,— мне одинаково безразлично.

— Дрибб,— проговорил третий колонист,— вы, кажет-ся, хотели что-то сказать?

— Я? Да ничего особенного. Просто мне показалось странным, что барок, груз которого совершенно не нужен для нашего высокочтимого Гупи,— бросил якорь. Как вы думаете, Астис?

Астис задумчиво потянул носом, словно в запахе моря скрывалось нужное объяснение.

— Небольшой, но все-таки крюк,— сказал он. — Путь этого голландца лежал южнее. А впрочем, его дело. Возможно, что он потерпел аварию. Допускаю также, что капитан имеет особые причины поступать странно.

— Держу пари,— сказал Дрибб,— что его маленько потрепало в Архипелаге. Если же не так, то здесь открывается мебельная фабрика. Вот мое мнение.

— Пари это вы проиграете,— возразил Астис. — Месяц, как не было ни одного шторма.

— Я, видите ли, по мелочам не держу,— сказал, помолчав, Дрибб,— и меньше десяти фунтов не стану мараться.

— Согласен.

— Что же вы утверждаете?

— Ничего. Я говорю только, что вы ошибаетесь.

— Никогда, Астис.

— Сейчас, Дрибб, сейчас.

— Вот моя рука.

— А вот моя.

— Гупи,— сказал Дрибб,— вы будете свидетелем. Но есть затруднение: как нам удостовериться в моей правоте?

— Какая самоуверенность! — насмешливо отозвался Астис. — Скажите лучше, как доказать, что вы ошиблись?

Наступило короткое молчание. Дрибб заявил:

— В конце концов, нет ничего проще. Мы сами поедем на барок.

— Теперь?

— Да.

— Стойте! — вскричал Гупи. — Или мне послышалось, или гребут. Помолчите одну минуту.

В глубокой сосредоточенной тишине слышались протяжные всплески, звук их усиливался, равномерно отлетая в бархатную пропасть моря.

Дрибб встрепенулся. Его любопытство было сильно возбуждено. Он топтался на самом обрыве и тщетно силился рассмотреть что-либо.

Астис, не выдержав, закричал:

— Эй, шлюпка, эй!

— Вы несносный человек,— обиделся Гупи.— Вы почему-то думаете, что умнее всех. Один бог знает, кто из нас умнее.

— Они близко,— сказал Дрибб.

Действительно, шляпка подошла настолько, что можно было различить хлюпанье водяных брызг, падающих с весла. Зашуршал гравий, слышались медленные шаги и разговор вполголоса. Кто-то взбирался по тропинке, ведущей с отмели на обрыв спуска. Дрибб крикнул:

— Эй, на шляпке!

— Есть! — ответили внизу с сильным иностранным акцентом.— Говорите.

— Лодка с голландца?

Колонист не успел получить ответа, как незнакомый, вплотную раздавшийся голос спросил его в свою очередь:

— Это вы так кричите, приятель? Я удовлетворю ваше законное любопытство: шляпка с голландца, да.

Дрибб повернулся, слегка оторопев, и вытаращил глаза на черный силуэт человека, стоявшего рядом. В темноте можно было заметить, что неизвестный плечист, среднего роста и с бородой.

— Кто вы? — спросил он.— Разве вы оттуда приехали?

— Оттуда,— сказал силуэт, кладя на землю порядочный узел.— Четыре матроса и я.

Манера говорить не торопясь, произнося каждое слово отчетливым, хлестким голосом, произвела впечатление. Все трое ждали, молча рассматривая неподвижно черневшую фигуру. Наконец Дрибб, озабоченный исходом пари, спросил:

— Один вопрос, сударь. Барок потерпел аварию?

— Ничего подобного,— сказал неизвестный,— он свеж и крепок, как мы с вами, надеюсь. При первом ветре он снимается и идет дальше.

— Я доволен,— радостно заявил Астис.— Дрибб, платите проигрыш.

— Я ничего не понимаю! — вскричал Дрибб, которого радость Астиса болезненно резнула по сердцу.— Гром и молния! Барок не увеселительная яхта, чтобы тыкаться во все дыры... Что ему здесь надо, я спрашиваю?..

— Извольте. Я уговорил капитана высадить меня здесь.

Астис недоверчиво пожал плечами.

— Сказки! — полувопросительно бросил он, подходя ближе.— Это не так легко, как вы думаете. Путь в Европу лежит южнее миль на сто.

— Знаю,— нетерпеливо сказал приезжий.— Лгать я не стану.

— Может быть, капитан—ваш родственник?—спросил Гупи.

— Капитан — голландец, уже поэтому ему трудно быть моим родственником.

— А ваше имя?

— Горн.

— Удивительно! — сказал Дрибб.— И он согласился на вашу просьбу?

— Как видите.

В его тоне слышалась скорее усталость, чем самоуверенность. На языке Дрибба вертелись сотни вопросов, но он сдерживал их, инстинктом чувствуя, что удовлетворению любопытства наступили границы. Астис сказал:

— Здесь нет гостиницы, но у Сабо вы найдете ночлег и еду по очень сходной цене. Хотите, я провожу вас?

— Я в этом нуждаюсь.

— Дрибб...— начал Астис.

— Хорошо,— раздраженно перебил Дрибб,— вы получите 10 фунтов завтра, в восемь часов утра. До свидания, господин Горн. Желаю вам устроиться наилучшим образом. Пойдем, Гупи.

Он повернулся и зашагал прочь, сопровождаемый свиноводом.

— Теперь я держу пари, что с Дрибба получить придется только с помощью увесистой ругани. Господин Горн, я к вашим услугам.

Астис протянул руку, повернулся и удивленно прищелкнул языком. Он был один.

— Горн! — позвал Астис.

Никого не было.

II

Цветущие, низкорослые заросли южных холмов дымились тонкими испарениями. Расплавленный диск солнца стоял над лесом. Небо казалось голубой, необъятной внутренностью огромного шара, наполненного хрустальной жидкостью. В темной зелени блестела роса, причудливые голоса птиц звучали как бы из-под земли; в переливах их слышалось томное, ленивое пробуждение.

Горн шагал к западу, стремясь обойти цепь оврагов, заполнявших пространство между колонией и северной

частью леса. Старый кольцовский штучер покачивался за его спиной. Костюм был помят — следы ночи, проведенной в лесу. Шел он ровными, большими шагами, тщательно осматриваясь, разглядывая расстояние и почву с видом хозяина, долго пробовавшего в отсутствии.

Юное тропическое утро охватывало Горна густым дыханием сочной, мясистой зелени. Почти веселый, он думал, что жить здесь представляет особую прелесть дикости и уединения, отдыха потревоженных, невозможного там, где каждая пядь земли захватана тысячами и сотнями тысяч глаз.

Он миновал овраги, гряду базальтовых скал, похожих на огромные кучи каменного угля, извилистый перелесок, опоясывающий холмы, и вышел к озеру. Места, только что виденные, не удовлетворяли его. Здесь не было концентрации, необходимого и гармонического соединения пространства с лесом, гористостью и водой. Его тянуло к уютности, полноте, гостеприимству природы, к тенистым, прихотливым углам. С тех пор, как будущее перестало существовать для него, он сделался строг к настоящему.

Зной усиливался. Тишина пустыни прислушивалась к идущему человеку; в спокойном обаянии дня мысли Горна медленно уступали одна другой, и он, словно читая книгу, следил за ними, полный сосредоточенной грусти и несокрушимой готовности жить молча, в самом себе. Теперь, как никогда, чувствовал он полную свою оторванность от всего видимого; иногда, погруженный в думы и резко пробужденный к сознанию голосом обезьяны или шорохом пробежавшей лирохвостки, Горн подымал голову с тоскливым любопытством, — как попавший на другую планету, — рассматривая самые обыкновенные предметы: камень, кусок дерева, яму, наполненную водой. Он не замечал усталости, ноги ступали механически и деревенели с каждым ударом подошвы о жесткую почву. И к тому времени, когда солнце, осилив последнюю высоту, сожгло все тени, затопив землю болезненным, нестерпимым жаром зенита, достиг озера.

Мохнатые, разбухшие стволы, увенчанные гигантскими, перистыми пучками, соединялись в сквозные арки, свесившие гирлянды ползучих растений до узловатых корней, сведенных, как пальцы гнома, подземной судорогой, и папоротников, с их нежным, изящным кружевом резных ли-

ствев. Вокруг стволов, вскидываясь, как снопы зеленых ракет, склонялись веера, зонтики, заостренные овалы, иглы. Дальше, к воде, коленчатые стволы бамбука переплетались, подобно соломе, рассматриваемой в увеличительную трубу. В просветах, наполненных темно-зеленой густой тенью и золотыми пятнами солнца сверкали крошечные, голубые кусочки озера.

Раздвигая тростник, Горн выбрался к отмели. Прямо перед ним узкой, затуманенной полосой тянулся противоположный берег; голубая, стального оттенка поверхность озера дымилась, как бы закутанная тончайшим газом. Справа и слева берег переходил в обрывистые холмы; место, где находился Горн, было миниатюрной долиной, покрытой лесом.

Сравнивая и размышляя, Горн бросил на песок кожаную сумку и сел на нее, отдавшись рассеянному покою. Место это казалось ему подходящим, к тому же нетерпение приступить к работе решило вопрос в пользу берега. Он видел квадратную, расчищенную площадку и легкое здание, скрытое со стороны озера стеной бамбука. С помощью одного топора, посредством крайнего напряжения воли, он надеялся создать угол, свободный от нестерпимого соседства людей и липких, чужих взглядов, после которых хочется принять ванну.

Посреди этих размышлений, стирая картины предстоящей работы, вспыхнула старая, на время притупленная боль, увлекая воображение к титаническим городам севера. Тысячемильные расстояния сокращались, как лопнувшая резина; с раздражающей отчетливостью, обхватив колена красными от загара руками, Горн видел сцены и события, центром которых была его воспаленная, запятанная душа. Остановившимся, потемневшим взором смотрел он на застывшие в определенном выражении черты лиц, матовый лоск паркета, занавеси окна, вздуваемые ветром, и тысячи неодушевленных предметов, напоминающих о страдании глубже, чем самая причина его. Светлый, бронзовый канделябр с оплывающими свечами горел перед ним, похищая у темноты маленькую, окаймленную кружевом руку, протянутую к огню, и снова, как несколько лет назад, слышался стук в дверь.— громкое и в то же время немое требование...

Горн встряхнул головой. На одно мгновение он сделался противен себе, напоминая ампутированного, сдергиваю-



«ОСТРОВ РЕНО»



«ПРОИСШЕСТВИЕ В УЛИЦЕ ПСА»

щего повязку, чтобы взглянуть на омертвевший разрез. Томительная тишина берега походила на тишину больничных палат, вызывающую в нервных людях потребность кричать и двигаться. Чтобы развлечься, он приступил к работе. Он чувствовал настоящую мускульную тоску, желание утомляться, поднимать тяжести, разрубать, вколачивать.

И с первым же ударом синеватой английской стали в упругий ствол бамбука Горн загорелся пароксизмом энергии, неистовством напряжения, жаждущего подчинять материю непрерывным градом усилий, следующих одно за другим в возрастающем сладострастии изнеможения. Не переставая, валил он ствол за стволом, обрубал листья, ломал, отмеривал, копал ямы, вбивал колья; с глазами, полными зеленой пестроты леса, с душой, как бы оцепеневшей в звуках, производимых его собственными движениями, он погружался в хаос физических ощущений. Грудь ломило от учащенного дыхания, едкий пот зудил кожу, ладони рук горели и покрывались водяными мозолями, ноги наливались отяжелевшей венозной кровью, острая боль в спине мешала выпрямиться, все тело дрожало, загнанное лихорадочной жадью убить мысль. Это было опьянение, оргия изнурения, иступление торопливости, наслаждение насилием. Голод, подавленный усталостью, действовал, как наркотик. Изредка, мучаясь жаждой, Горн бросал топор и пил холодную солоноватую воду озера.

Когда легли тени и вечерняя суматоха обезьян возвестила о приближении ночи, маленькая, дикая коза, пришедшая к водопою, забилась в камыше, подстреленная пулей Горна. Огонь был поваром. Дымящиеся, полусожженные куски мяса пахли травой и кровавым соком. Горн ел много, работая складным ножом с такой же ловкостью, как когда-то десертной ложкой.

Насыщаясь, охваченный растущей темнотой, пронизанной красным отблеском тускнеющих, сизоватых углей костра, Горн вспомнил барок. С корабельного борта его дальнейшее существование казалось ему загадочной сменой дней, полных неизвестности и однообразия, растительным ожиданием смерти, сменяемым изредка приступами тяжелой тоски. Он как бы видел себя самого, маленькую человеческую точку, с огромным, заключенным внутри миром — точку, окрашивающую своим настроением все, схваченное сознанием.

Прямая сырость сгушалась в воздухе, мелодия лесных шорохов плела тонкое кружево насторожившейся тишины, прелый, сладковатый запах оранжереи поддерживал возбуждение. Мысли бродили вокруг начатой постройки, возвращаясь и к океану и к отрывочным представлениям прошлого, утратившего свою остроту в чувстве полной разбитости. Приближался тяжелый, мертвый сон, веяние его касалось ресниц, путало мысли и невидимой тяжестью проникало в члены.

Последний уголь, потрескивая, разгорелся на одно мгновение, приняв цвет раскаленного железа, осветив ближайшие, свернувшиеся от жары стебли, и померк. И вместе с ним отлетел в бархатную черноту дух Огня, веселый, прыгающий дух пламени.

Крик рыси тревожно прозвучал на холме, стих и, снова усиливаясь, раздался жалобной, протяжной угрозой. Горн не слышал его, он спал глубоким, похожим на смерть, сном — истинное счастье земли, царства пыток.

Через пять дней на ровной четырехугольной площадке, гладко утрамбованной и обнесенной изгородью, стоял небольшой дом с односкатной крышей из тростника и окном без стекол, выходящим на озеро. Устойчивая, самодельная мебель состояла из койки, стола и скамеек. В углу высился земляной массивный очаг.

Кончив работу, согнувшийся и похудевший Горн, пошатываясь от изнурения, пробрался узкой полосой отмели к подножью холма, достиг вершины и осмотрелся.

На севере неподвижным зеленым стадом темнел лес, огибая до горизонта цепь меловых скал, испещренных расселинами и пятнами худосочных кустарников. На востоке, за озером, вилась белая нитка дороги, ведущей в город, по краям ее кое-где торчали деревья, казавшиеся издали крошечными, как побеги салата. На западе, облекая изрытую оврагами и холмами равнину, тянулась синяя, сверкающая белыми искрами гладь далекого океана.

А к югу, из центра отлогой воронки, где пестрели дома и фермы, окруженные неряшливо рассаженой зеленью, тянулись косые четырехугольники плантаций и вспаханных полей колонии Ланфиер.

Туземная двухколесная тележка переехала дорогу под самым носом Гупи. Минувая облако едкой пыли, Гупи увидел незнакомого человека, шагавшего навстречу, и невольно остановился. Этого человека он не помнил, но в то же время как будто встречал его. Смутное воспоминание о голландском бароке подстрекнуло природное любопытство Гупи, он снял шляпу и поклонился.

— Э!—сказал Гупи, прищуриваясь.— Вы из города?

— Еще не был в городе,— возразил Горн, сдержав шаг,— и едва ли пойду туда.

— Ну да, ну да! — осклабился Гупи.— Я так и думал. Я узнал вас по голосу. Неделю назад вы высадились в маленькой бухте, так ведь?

— Я высадился в маленькой бухте, это верно,— проговорил, соображая, Горн,— но я не думаю, чтобы встречался с вами.

Гупи захохотал, подмигивая.

— Астис и Дрибб держали пари,— сказал он, успокаиваясь.— Я ушел с Дриббом, Астис уверял всех, что вы провалились сквозь землю. Сыграли вы шутку с ним, черт побери!

— Теперь я, кажется, припоминаю,— сказал Горн.— Да, я несомненно чувствовал ваше присутствие в темноте.

— Вот, вот! — закивал Гупи, потя от удовольствия поболтать.— А почему вы не пошли с Астисом?

— Скажу правду,— улыбнулся Горн,— откровенно говоря, мне было совестно затруднять столь почтенных людей. Другой солгал бы вам и сказал, что все вы показались ему глупыми, болтливыми и чересчур любопытными, но я — другое дело. Чувствуя расположение к вам, я не хочу лгать.

Он произнес это с совершенно спокойным выражением лица, и Гупи, приняв за чистую монету замаскированное оскорбление, расплылся в самодовольной улыбке.

— Ну, ну,— снисходительно возразил он,— велика важность! А вы, честное слово, хороший парень, вы мне нравитесь. Моя ферма в полумиле отсюда; кусок жареной свинины и стакан пива, а? Что вы на это скажете?

— Пойдемте,— согласился, помолчав, Горн. Самоуверенные манеры колониста забавляли его, он спросил:— Сколько у вас жителей?

— Много,— пропыхтел Гупи, взмахивая рукой.— С тех пор, как пароходное сообщение приблизило нас к материку, то и дело высаживаются разные проходимцы, толкаются здесь, берут участки, а через год улепетывают в город, где есть женщины и все, от чего трудно отвыкнуть.

Лабиринт зеленых изгородей, полный сухой пыли, змеился по отлогому возвышению. Ноги Горна по щиколотку увязали в красноватом песке; пыль щекотала ноздри. Гупи рассказывал:

— Женщин здесь встретите реже, чем змей. В прошлом году на прачку, выехавшую сюда за сто миль, устроили настоящий аукцион. Посмотрели бы вы, как она, подбоченившись, стояла на прилавке «Зеленой раковины»! Три человека переманивали ее друг у друга и в конце концов пошли на уступки: одного разыскали в колодце... а двое так и живут с ней.

Гупи перевел дух и продолжал далее. По его словам, не более половины жителей имели семейства и жили с белыми женщинами, остальные довольствовались туземками, соблазненными перспективой безделья и цветной тряпкой, в то время как отцы их валялись рядом с бутылками, оставленными сметливым женихом.

Пришлось население, почти все бывшие ссыльные или дети их, дезертиры из отдаленных колоний, люди, стыдившиеся прежнего имени, проворовавшиеся служащие — вот что сгрудилось в количестве ста дымовых труб около первоначального крошечного поселка, основанного двумя бывшими каторжниками. Один умер, другой еще таскал из дома в дом свое изможденное пороками дряхлое тело, здесь ужиная, там обедая и везде хныкая об имуществе, проигранном в течение одной ночи более удачливому мерзавцу.

— Вот дом,— сказал Гупи, протягивая негнущуюся ладонь фермера к высокому, напоминающему башню строению.— Это мой дом,— прибавил он. В лице его легла тень тупой важности.— Хороший дом, крепкий. Хотя бы для губернатора.

Высокая изгородь тянулась от двух углов здания, охватывая кольцом невидимое снаружи пространство. Заложив руки в карманы и задрав голову, Гупи прошел в ворота.

Горн осмотрелся, пораженный своеобразным величием свиного корыта, царствовавшего в этом углу. Раскаленная духота двора дышала нестерпимым зловонием, мириады лоснящихся мух толклись в воздухе; зеленоватая навозная

жижа липла к подошвам; визг, торопливое хрюканье, острый запах свиных туш — все это разило трепетом грязного живого мяса, скученного на пространстве одного акра. Толстые, желтые туловища двигались во всех направлениях, трясясь от собственной тяжести. Двор кишел ими; огромные, с черной щетиной, борова, нескладные, выхляющиеся подростки, розовые, чумазные поросята, беременные, вспухшие самки, изнемогающие от молока, стиснутого в уродливо отвисших сосцах, — тысячи крысиных хвостов, рыла, сверкающие клыками, разноголосый, режущий визг, шорох трущихся тел — все это пробуждало тоску по мылу и холодной воде. Гупи сказал:

— А вот это мои свинки! Каково?

— Недурно, — ответил Горн.

— Каждый месяц продаю дюжины две, — оживился Гупи, с наслаждением раздувая ноздри. — Это самые спокойные животные. И возни почти никакой. Иногда, впрочем, они пожирают маленьких — и тут уже смотри в оба. Я люблю свое дело. Посмотришь и думаешь: вот слоняется ленивое, жирное золото; стоит его немножечко пообчистить, и ваш карман рвется от денег. Мысль эта мне очень нравится.

— Свиньи красивы, — сказал Горн.

Гупи потер лоб и сморщился. Горн раздражал его, у этого человека был такой вид, как будто он много раз видел свиней и Гупи.

— Я собирался уйти, — заговорил Горн, — но вспомнил, что хочу пить. Если у вас есть вино — хорошо, нет — не надо.

— Есть туземное пиво, «сахха». — Гупи дернулся по направлению к дому. — Из саго. Не пили? Попробуйте. Вскружит голову, как Эстер.

Неуютная, почти голая комната, куда вошел Горн, смягчалась ослепительным блеском неба, врывавшегося в окно; на его синем четырехугольнике толпились остроконечные листья и перистые верхушки роши. Гупи схватил палку и громко треснул ею об стол.

Полуголое существо, с прической, напоминающей папские тиары, вышло из боковой двери. Это была женщина. Плечи ее прикрывал бумажный платок. Темное лицо с выпуклыми, как бы припухшими губами неподвижно осматривало мужчин.

— Дай пива, — коротко бросил Гупи, усаживаясь за стол.

Горн сел рядом. Женщина с темным телом внесла кувшин, кружки и не уходила. Продолговатые быстрые глаза ее скользили по рукам Горна, костюму и голове. Она была не старше восемнадцати лет; грубую миловидность ее приплюснутого лица сильно портила блестящая жестяная дужка, продетая в ухо.

— Не торчи здесь,— сказал Гупи.— Уйди.

Верхняя губа девушки чуть-чуть приподнялась, блеснув золотой зуб. Она вышла, сонно передвигая ногами.

— Я с ней живу,— объяснил Гупи, высасывая стакан.— Идиотка. Они все идиоты, хуже нетров.

— Я думал, что у вас нет... женщины,— сказал Горн.

— Женщины у меня нет,— подтвердил Гупи.— Я не женат и любовниц не завожу.

— Здесь только что была женщина.— Горн пристально посмотрел на Гупи.— А может быть я ошибся...

Гупи расхохотался.

— Женщинами я называю белых,— гордо возразил он, поуспокоившись и принимая несколько презрительный тон.— А это... так. Я не старик... понимаете?

— Да,— сказал Горн.

Он сидел без мыслей, рассеянный; все окружающее казалось ему острым и кислым, как вкус «сахха». Гупи боролся с отрыжкой, смешно оттопыривая щеки и выкатывая глаза.

Пиво кружило голову, холодной тяжестью наливаясь в желудок. Синий квадрат неба веял грустью. Горн сказал:

— Кружит голову, как Эстер... Вы, кажется, так выразились.

— Вот именно,— кивнул Гупи.— Только Эстер не выпьет, как эту кружку. Дочь Астиса. Несчастье здешних парней. Когда молодой Дрибб женится, у него будет врагов больше, чем у нас с вами. Сегодня пятница, и она придет. Если увидите, не делайте глупое лицо, как все прочие, это ей не в диковину.

— Я посмотрю,— сказал Горн.— Люди мне еще интересны.

— Вот вы,— Гупи посмотрел сбоку на Горна,— вы мне нравитесь. Но вы все молчите, черт побери! Как вы думаете жить?

Горн медленно допил кружку.

— В лесах много еды,— улыбнулся он, рассматривая переносицу собеседника.— Жить-то я буду.

— А все-таки,— продолжил Гупи.— Возиться с ружьем

и местными лихорадками... Клянусь боровом, вы исхудаете за один месяц.

Горн нетерпеливо пожал плечами.

— Это неинтересно,— сказал он,— к тому же, мне пора трогаться. Кофе и порох ждут меня, а я засиделся.

— Не торопитесь! — вскричал Гупи, краснея от замешательства при мысли, что Горн так-таки и остался нем.— Разве вам одному веселее?

Горн не успел ответить; Гупи, скорчив любезнейшую гримасу, повернулся к стукнувшей двери с выражением нетерпеливого ожидания.

— Повернитесь, Горн,— сказал он, блестя маленькими глазами.— Пришла кружильница голов,— да ну же, какой вы неповоротливый!

Ироническая улыбка Горна растаяла, и он, с серьезным лицом, с кровью, медленно отхлынувшей к сердцу, рассматривал девушку. Мысль о красоте даже не пришла ему в голову. Он испытывал тяжелое, болезненное волнение, как раньше, когда музыка дарила его неожиданными мелодиями, после которых хотелось молчать весь день или напиться.

— Гупи, вам нужно подождать,— сказала Эстер, взглядывая на Горна. Посторонний смущал ее, заставляя придавать голосу бессознательный оттенок высокомерия.— У отца нет денег.

Гупи позеленел.

— Шути, моя красавица! — прошипел он, неестественно улыбаясь.— Клади-ка то, что спрятала там... ну!

— Мне шутить некогда.— Эстер подошла к столу и уперлась ладонями о его край.— Нет и нет! Вам нужно подождать с месяц.

И в тот короткий момент, когда Гупи набирал воздуха, чтобы выругаться или закричать, девушка улыбнулась. Это было последней каплей.

— Радуйся! — закричал Гупи, вскакивая и бегая.— Ты смеешься! А даст ли мне твой отец хоть грош, когда я буду околевать с голода? Я роздал тысячи и должен теперь ждать! Клянусь головой бабушки, мне надоело! Я подаю в суд, слышишь, вертушка?

Горн встал.

— Я не хочу мешать,— сказал он.

— Эстер,— заговорил Гупи,— вот человек из страны честных людей,— спроси-ка его, можно ли не держать слова?

Девушка пристально посмотрела в лицо Горна. Смущенный, он повернул голову; эти матовые, черные глаза как будто приближались к нему. Гупи ерошил волосы.

— Прощайте,— сказал Горн, протягивая руку.

— Приходите,— проворчал Гупи,— но вы меня беспокоите. Ах, деньги, деньги! — Он сделал усилие и продолжал: — Надеюсь, вы сделаетесь поразговорчивее. Если бы вы взяли участок!

Горн вышел во двор и, остановившись, прислушался. Сверху доносились возбужденные голоса. Он тронулся, попадая в лужи воды и слякоть, истыканную ногами.

Торопливое дыхание заставило его обернуться. Эстер шла рядом, слегка придерживая короткую полосатую юбку и оживленно размахивая свободной рукой. Горн молчал, подыскивая слова, но она предупредила его.

— Вы тот самый, что высадился неделю назад?

У нее был чистый и медлительный голос, звуки которого, казалось, пронизывали все ее тело, выражая лицом и взглядом то же, что говорит рот.

— Тот самый,— подтвердил Горн.— А вы — дочь Астиса?

— Да.— Эстер поправила косы, сбившиеся под остроконечной туземной шляпой.— Но жить здесь вам не придется.

Горн улыбнулся так, как улыбаются взрослые, слушая умных детей.

— Почему?

— Здесь работают.— Высокие брови девушки задумчиво напрыгались.— У вас руки, как у меня.

Она вытянула свои украшенные кольцами руки, смуглые и маленькие, и тотчас же их опустила. Она сравнивала этого человека с дюжими молодцами ферм.

— Вам нечего делать здесь,— решительно сказала она.— Вы из города и кажетесь господином. Здесь нет ничего хорошего.

— Есть,— серьезно возразил Горн.— Озеро. И мой дом там.

Она даже остановилась.

— Дом? Там жили пять лет назад, но все выгорело.

— Эстер,— сказал Горн,— теперь вы видите, что и я умею работать. Я создал его в шесть дней, как бог — небо и землю.

Они вышли за изгородь, напустуемые оглушительным хрюканьем, и шли рядом, погружая ноги в горячий красноватый песок. Эстер засмеялась медленным, как и ее голос, смехом.

— Горожане любят шутить.

— Нет, я не вру.— Горн повернул голову и коротко посмотрел в яркое лицо девушки.— Да, я буду здесь жить. Без дела.

Он видел ее полураскрытый от уважения рот, удивленные глаза и чувствовал, что ему не скучно. Наступило молчание.

Клуб пыли, сверкающий босыми пятками и бронзовым телом, мчался наперерез. Горн задержал шаги. Пыль улеглась; что-то невообразимо грязное и изодранное топталось перед ним, размахивая длинными, как у обезьяны, руками. Эти странные телодвижения сопровождались сиплыми выкриками и вздохами, похожими на рыдания.

— Бекеко,— сказала девушка.— Не бойтесь, это Бекеко. Он дурачок, смирный парень... Бекеко, ты что?

Разбухшая, с плешинами, голова тыкалась в юбку девушки. Бекеко радовался, по временам прекращая свои ласки и прилипая к Горну неподвижными белесоватыми глазами. Он был противен и возбуждал холодное сожаление. Горн отошел к изгороди.

— Бекеко, иди домой, тварь! — вскричала Эстер, заметив, что дурак старается ущипнуть ее руку.

Идиот выпрямился, смеясь и повизгивая, как собака.

— Эстер,— сказал он, не переставая топтаться,— я хочу набрать много полосатых юбок и все принесу тебе. У меня все колет за щекой!

Эстер сделала испуганное лицо.

— Огонь! — вскричала она.— Бекеко, огонь!

Впечатление этих слов было убийственно. Скорчившись, Бекеко упал, охватив голову руками и вздрагивая. Спина его тяжело вздымалась и опускалась.

— Зачем это? — спросил Горн, рассматривая упавшего.

— Так,— сказала Эстер.— С ним нельзя. Он привяжется, как собака, и будет ходить за вами, пока не скажешь одно слово: «огонь». Его кормил брат, но как-то сгорел, пьяный. Дурак боится огня больше побоев. Я вижу его редко, он больше слоняется по болотам и ест неизвестно что.

Горн закурил трубку.

— Я знал, что вы существуете,— сказал он, вдавливая пепел,— раньше, чем вы пришли.

Девушка блеснула улыбкой.

— От Гупи,— протянула она.— Он говорит: это кружильница голов.

— Да,— повторил Горн,— вы — кружильница голов.

Он снова посмотрел на нее: ни тени смущения. Лицо ее не выражало ни кокетства, ни благодарности, и он сам испытал некоторое замешательство, затянувшись табаком глубже, чем обыкновенно.

— Я живу там,— сказала девушка, показывая налево,— где желтая крыша. Отец любит гостей. Вам куда?

— Кофе, табак и порох,— сказал Горн, загибая три пальца.— Я иду к ним.

— К Сабо,— поправила девушка.— У вас штуцер?

— Да.

Эстер кивнула глазами.

— У меня карабин,— сказала она.— Но здесь трудно достать патроны, мы ездим в город. Я целюсь снизу и попадаю без промаха.

— Вы хотите сказать, что не уверены в том же относительно меня,— произнес Горн.— Но я не застенчив. Отойдите вправо.

Он вынул револьвер и, смеясь, поклонился девушке.

— Ведь вам в ту сторону? Шагах в тридцати отсюда вы видите тоненький ствол? Идя мимо, остановитесь, и если в нем отыщете пулю — обернитесь.

Теперь он видел спину Эстер, удаляющийся черноволосый затылок и, прицелившись, едва не чихнул от солнца, заигравшего на отполированной стали револьвера. Удар выстрела опустил его руку. Эстер шла, тихонько покачиваясь, и остановилась у дерева.

Обернувшись, она весело махнула рукой, и снова Горну почудилось, что глаза ее, отделившись, плывут в воздухе.

IV

Никто не будил Горна, он поднялся сам, внезапно, с полной отчетливостью сознания, без сонной вялости тела, без зевоты, как будто не спал, а ждал, лежа с закрытыми глазами.

Спокойный, слегка недоумевающий, он попытался дать себе представление о причинах, так бесследно вернувших

его к сознанию. Розовый хмель утра дышал в окно влажным туманом, солоноватой прелью отмерлей и молчаньем шорохов, неуловимых, как шаг мысли засыпающего человека. Озеро дымилось. Колеблющиеся испарения устилали поверхность, обнажая у берегов светлые, голубые лужицы заснувшей воды.

Горн стоял у окна, растворившись в мелодичной тишине спящего воздуха. На ясном, с закрытыми глазами, лице рассвета плавился блестящий край диска; облачные холмы плыли за горизонт, паутиная резьба леса затягивала другой берег, и Горн подумал, что это могли быть толпы зеленых рыцарей, спящих стоя. Копья, на которые они опирались, были украшены неподвижными зелеными перьями.

Вдруг все изменилось, бесчисленные лучи градом золотых монет рассыпались по земле; вода заблестела ими, некоторые легли у ног Горна, прозрачные, кованые из света и воздуха. Зелень, стеклянная от росы, сохла на глазах Горна. Комочки побуревших цветов бухли и наливались красками, распрямляясь, как вздрагивающие пальцы ребенка, протянутые к игрушке. Густой запах земли щекотал ноздри. Зеленые, голубые, коричневые и розовые оттенки облили стволы бамбука, трепеща в тканях листвы спутанными тенями, и где-то недалеко горло лесной птицы бросило низкий свист, неуверенный и оборванный, как звук настраиваемого инструмента.

Горн стоял, налитый до макушки, подобно пустой бутылке, зеленым вином земли, потягивающейся от сна. Молоко, брызжущее из нежной, переполненной груди невидимой женщины, невидимо падало на его губы, и он представлял ее, ловил ее посланную небу улыбку и шурился от золотой паутины, заткавшей мир. Душа его раздвоилась, он мог бы засмеяться, но не хотел, готов был поверить зеленым рыцарям, но делал усилие и перебивал их тихие голоса настойчивыми воспоминаниями.

Спор Горна с Горном оборвался так же быстро и резко, как резко скрипнула дверь, медленно открываемая снаружи. Щель увеличивалась, человек, тянувший ее, стоял ближе к углу и не был виден.

Горн ждал, неуверенный, что там кто-нибудь есть. Дверь отворялась сама и раньше; это происходило от небольшой кривизны петель. Инстинктивно, больше из любопытства, чем осторожности, он устремил взгляд на ту точку, где скорее всего мог ожидать встретить человеческие глаза.

Но следующий момент заставил его взглянуть ниже. Глаз и часть лба, опутанного белыми волосами, появились на уровне четырех футов снизу; кто-то заглядывал, согнувшись, юркнул за дверь и почти тотчас же показался вновь.

Человек этот, покачнувшись, прошел в дверь, притворил ее и, неуклюже мотнув головой, уставился в лицо Горна глазами, пестрыми от морщин и красных жилок. По-видимому, он был пьян.

Прямой, как жердь, с тупым, неподвижным блеском выцветших глаз, в лохмотьях и босиком, он мог бы отлично сойти за черта, прикинувшегося нищим. В нескольких шагах расстояния руки его казались синими, как у мертвеца, но, подойдя вплотную, можно было рассмотреть сплошной рисунок татуировки, покрывавшей все тело, от шеи до пояса. Змеи, японские драконы, флаги, корабли, надписи, неприличные сцены, цинические изображения теснились друг к другу на груди и руках, мешаясь с белесоватыми рубцами шрамов. На шее мотался шарф, превращенный грязью и временем в кусок веревки. Рваная тулья шляпы прикрывала остроконечные, как у волка, уши и лицо цвета позеленевшей бронзы. Нос, перебитый палочным ударом, хмуρο кривился вниз. Куртка, лишенная рукавов, открывала голую грудь. От всей этой фигуры веяло подозрительным прошлым, темными закоулками сердца, притонами, блеском ножей, хриплой злобой и человеческой шерстью, иногда более жуткой, чем мех тигра. Старик, что называется, пожил.

— Что скажете? — спросил Горн. Он был несколько озадачен. Фигура эта не внушала ему доверия. Странная, как обрывок сна, она переминалась с ноги на ногу.

— Что скажете? — пробормотал оборванец, подмигивая и сясь держаться прямо. — Если вы спросите меня — кто я? — я вам отвечу честно и откровенно. Как хотите, а любопытно взглянуть на человека, живущего вроде вас. Я сам так жил... сам... лет тридцать тому назад я прятался на безлюдном атолле от дьявольски любопытных кэпи. Они, правда, взяли свое... потом... о! — спустя много времени.

Старик брызгал слюной, и в его высохшем, словно передавленном горле катался желвак. Горн спросил:

— Как вас зовут?

— Ланфиер, — захрипел гость, — Ланфиер, если вам это будет угодно.

Горн сосредоточенно кивнул головой. Старик показался ему забавным, важность, с которой он назвал себя, таила неискреннее и хитрое ожидание. Горн сказал:

— А я — Горн.

Ланфиер сильно расхохотался.

— Горн? — переспросил он, подмигивая левым глазом, в то время как правый тускнел, поблескивая зрачком. — Ну, да — Горн, конечно, кем же вы можете еще быть.

Горн нахмурился, развязность каторжника пробудила в нем легкое нетерпение.

— Я, — сказал он, — могу быть еще другим. Человеком, который не привык вставать рано. А вы, кроме того, что вы Ланфиер, можете быть еще человеком, только случайно заставшим меня так, как я есть, — не спящим.

Ланфиер молча оскалил зубы. Он не ответил, его пьяные мысли, ползающие на четвереньках, сбивались в желание щегольнуть явной бесцеремонностью и апломбом.

— Я первый стал жить в этой дыре, — вызывающе произнес он, усаживаясь на жесткое ложе Горна. — Черт и зверь прокляли колонию раньше, чем мой первый удар заступа прогрыз слой земли. Я хочу с вами познакомиться. Про меня много болтают, но, клянусь честью, я был осужден невинно!

Горн молчал.

— Я всегда уважал труд, — сказал Ланфиер с видимым отвращением к тому, что выговаривали его губы. — Вы мне не верите! Пожили бы вы со мной лет сорок назад...

Двусмысленная улыбка прорезала его сухой рот.

— Смерть люблю молодцов, — продолжал каторжник. — Вы приехали, устроили себе угол, как независимый человек, никого не спрашивая и не советуясь. Вы — сам по себе. Таких я и уважаю; да, я хлопнул бы вас по плечу, если бы знал, что вы не рассердитесь. Держу пари, что вы способны кулаком проломить череп и не дадите себя в обиду. Здесь иначе и нельзя, имейте это в виду... Если кто из колонии не нюхал крови, так это я, безобидный и, даю слово, самый порядочный человек в мире.

— К делу, — сказал Горн, теряя терпение. — Если вам нужно что-нибудь — говорите.

Зрачки Ланфиера съежились и потухли. Он что-то соображал. Проспиртованный мозг его искал хотя бы маленького, но цепкого крючочка чужой души.

— Я, — хмуро заговорил он, — ничего не имею, если даже вы меня и выгоните. Несчастному одна дорога — презрение. Клянусь огнем и водой, я чувствую к вам расположение и зашел узнать, как ваше здоровье. Я ведь не полисмен, черт возьми, чтобы строгать вас расспросами, не оставили ли вы за собой чей-нибудь косой взгляд... там, за этой лужицей соленой воды. Мне все равно. Всякий живет по своему. Я только хочу вас предупредить, чтобы вы были поосторожнее. О вас, видите ли, говорят много. Отбросив болтовню дураков, получим следующее летучее мнение: «Приехал не с пустыми руками». Видите ли, когда покупают кофе или табак, пластырь, порох, — следует платить серебром. Лучше всего менять деньги на родине. Здесь горячее солнце, и кровь закипает быстро, гораздо скорее, чем масло на сковороде. О! Я не хочу вас пугать, насколько, но здесь очень хорошие люди и половина их лишена предрассудков. Что делать? Не всякий получает достаточно приличное воспитание.

Глаза Горна прямо и неподвижно упирались в лицо каторжника. Покачиваясь, дребезжащим, неторопливым голосом Ланфиер выпускал фразу за фразой, и они, правильно разделенные невидимыми знаками препинания, таяли в воздухе, подобно клубам дыма, методически выбрасываемым заматерелым курильщиком. Взгляд его, направленный в сторону, блуждал и прыгал, беспокойно ошупывая предметы, но внутренний, другой взгляд все время невидимыми клещами держал Горна в состоянии нетерпеливого раздражения. Он спросил:

— Почему вы не вошли сразу?

Старик открыто посмотрел на хозяина.

— Боялся разбудить вас, — внушительно произнес он, — а дверь чертовски тугая. Застав вас спящим, я тотчас же удался бы поспать в окрестностях, пока вам не надоест спать.

Лицо его приняло неожиданно плаксивое выражение.

— Боже мой! — простонал он, усиленно мигая сухими веками, — жизнь обратилась в пытку. Никакого уважения, никто из местных балбесов не хочет помнить, что я, отверженный и презренный, положил начало всей этой трудолюбивой жизни. Кто знает, может быть, здесь впоследствии вырастет город, а мои кости, обглоданные собаками, будут валяться в грязи, и никто не скажет: вот кости старика Ланфиера, безвинно осужденного судом человеческим.

— Я бы стыдился,— сухо проговорил Гори,— вспоминать о том, что благодаря вашему случайному посещению этих мест полуостров загажен расплодившимся человеком. Мне теперь неприятно говорить с вами. Я предпочел бы, чтобы здесь никогда не было ни вас, ни крыш, ни плантаций. Что же касается добрых людей, получивших скверное воспитание,— передайте им, что всякая неожиданная любезность с их стороны встретит надлежащий прием.

— Речь волка,— сказал каторжник.— Для первого знакомства недурно. Вы меня презираете, а мне нужно, чтобы здесь жило много людей. У меня со всеми есть счеты. Относительно одних, видите ли, у меня очень хорошая память — выгодная струна. Другие — как бы вам сказать — туповаты и мирно пасутся в своих полях. Этих я стригу мирно,— ну, пустяки,— хлеб, табак, иногда мелочь на выпивку. И есть еще чрезвычайно дерзкие невежи — те, которые могут пустить кровь, облизываясь, как мальчуган, съевший ложку варенья. Все они говорят тихо и рассудительно, ступают медленно, и у них постоянно раздуваются ноздри...

Ланфиер понизил голос и, согнувшись, словно у него заболел живот, широко улыбнулся ртом, в то время как глаза его совершенно утратили подвижность и щурились.

— Лодка! — вскричал он. — Откуда лодка?

Гори посмотрел в окно. Сияющее, прозрачное озеро, наполненное тонувшими облаками, было так явно безлюдно, что в тот же момент он еще быстрее, с заколотившимся сердцем, повернулся к вскочившему каторжнику. Неверный удар ножа распорол блузу. Гори сунул руку в карман и мгновенно протянул к бескровному, мечущемуся лицу Ланфиера дуло револьвера.

Старик прижался к стене, охватив голову сморщенными руками, затем с растерянной быстротой движений очутился у подоконника, выпрыгнул и нырнул в чашу. Три пули Горна защекали в листьях. Нервно смеясь, он жадно прислушался к затрещавшему камышу и выстрелил еще раз. Внезапно наступившая тишина наполнилась шумом крови, ударившей в виски. Ноги утратили гибкость, мысли завертелись и понеслись, как щепки, брошенные в поток. Утро, обольстившее Горна, вдруг показалось ему дешевой, отталкивающей олеографией.

В раздумье, не выпуская револьвера, он сел на плохо сколоченную скамейку, чувствуя, как никогда, полную тем-

ноту будущего и хрупкость покоя, тянувшегося четырнадцать дней. Его жизнь приближалась к напряженному существованию осторожных четвероногих, превращаемых в слух и зрение подозрительной тишиной дебрей, и сам он должен был стать каким-то мыслящим волком. В сознании необходимости этого таилась тяжесть и, отчасти, грустная радость человека, которому не оставили выбора.

Теперь он страстно хотел, чтобы женщина с мягким лицом, выкроившая его душу по своему желанию, как платье, идущее ей к лицу, прошла мимо холмов, и леса, и его взгляда, погружая дорогие ботинки в мягкий ил берега, заблудилась и постучала в дверь его дома. Неясно, обрывками, Горн видел ее утренний туалет в соседстве глинистых муравьиных куч, и это нелепое сочетание казалось ему возможным. Его представления о жизни допускали все, кроме чуда, к которому он питал инстинктивное отвращение, считая желание сверхъестественного признаком слабости.

Худая, высоко занесенная рука Ланфиера мелькнула перед глазами, бросив в дрожь Горна. Колония, неизвестно почему названная именем человека, только что охотившегося за ним, представилась ему заштопанным оборванцем, выглядывающим из-за изгороди. Выходя, он тщательно запер дверь.

V

Шагая к равнине, на самой опушке леса Горн был настигнут быстрым аллюром маленькой серой лошади. Эстер сидела верхом; ее сосредоточенное, спокойно-веселое лицо взглянуло на Горна сверху, из-под тенистых полей шляпы. Горн оживился и с довольной улыбкой ждал, пока девушка спрыгивала на землю, а затем, молча оборачиваясь к нему, поправляла седло. Одиночество не тяготило его, но отпускало поводья самым бешеным взрывом тоски, и теперь, когда явился громоотвод в образе человека, Горн был чрезвычайно рад ухватиться за возможность поговорить. Они пошли рядом, и маленькая серая лошадь, медленно шевеля ушами, как будто прислушиваясь, вытягивала на ходу морду за спиной девушки.

— Я рад видеть вас,— сказал Горн.— Мы так забавно расстались с вами тогда, что я и теперь смеюсь, вспоминая о своем выстреле.

Эстер подняла брови.

— Почему забавно? — подозрительно спросила она. — Здесь часто стреляют в цель, и я также.

Горн не ответил.

— Отец послал к вам, — сказала девушка, вглядываясь в линию горизонта. — Он сказал: «Поди съезди. Этого человека давно не видно, бывают лихорадки, а змей — пропасть».

— Благодарю, — сказал удивленный Горн. — Он видел меня раз, ночью. Странно, что он заботится обо мне, я тронут.

— Заботится! — насмешливо произнесла девушка. — Он — заботится! Он не заботится ни о ком. Вы просто не даете ему покоя. Да о вас все говорят, куда ни пойдешь. Кто-то на прошлой неделе утверждал, что вы просто-напросто дезертир с материка. Но вас никто не спросит, будьте уверены. Здесь так живут.

Горн сердито повел плечами.

— Так бывает, — холодно сказал он. — Когда человек не просит ничего у других и не желает их видеть, он — преступник. С полгоря, если его ненавидят, могут избить и выругать.

Эстер повернулась и внимательно осмотрела фигуру Горна, как бы соображая, даст ли этот человек избить себя.

— Нет, не вас, — решительно сказала она. — Вы, кажется, сильны, даром, что бледноваты немного. Здесь скоро будете смуглым, как все.

— Надеюсь! — сказал Горн.

Он помолчал и сморщился, вспомнив нападение Ланфиера. Рассказывать ему не хотелось, он смутно угадывал, что это происшествие может подогреть басни о его якобы припрятанном золоте. Эстер что-то вспомнила; остановив лошадь, она подошла к седлу и вынула из кожаного мешка нечто колючее и круглое, как яблоко, утыканное гвоздями.

— Ешьте, — предложила Эстер. — Это здешние дурианги, они подгнили, но от этого только еще вкуснее.

Оба стояли на невысоком плато, окруженном шероховатыми уступами. Горн, смущенный отгакивающим запахом прогнившего чеснока, нерешительно повертел плод в руках.

— Привыкнете, — беззаботно сказала девушка. — Зажмите нос, это, честное слово, не так плохо.

Горн отковырнул твердую кожицу дурианга и увидел белую киселеобразную мякоть. Попробовав ее, он остановился на одно мгновение и затем съел дочиasta этот удивительный плод. Его нежный, непередаваемо сложный вкус тянул есть без конца. Эстер озабоченно следила за Горном, бессознательно шевеля губами, как бы подражая жующему рту.

— Каково? — спросила она.

— Замечательно, — сказал Горн.

— Я дам вам еще. — Она повернулась к лошади и проворно сунула в карман Горна несколько штук. — Их здесь много, вы сами можете собирать.

Она подумала, раскрыла рот, собираясь что-то сказать, но остановилась и исподлобья, по-детски скользнула по лицу Горна неммым вопросом.

— Вы хотели меня спросить, — сказал он. — Что же? Спрашивайте.

— Ничего, — поспешно возразила Эстер. — Я хотела спросить, это верно, но почему вам это известно? Я хотела спросить, не скучно ли вам со мной? Я не умею разговаривать. Мы все здесь, знаете, грубоваты. Там вам, конечно, лучше жилось.

— Там?

— Ну да, там, откуда вы родом. Там, говорят, много всякой всячины.

Она повела рукой, как бы стараясь нагляднее представить себе сверкающую громаду города.

— Ни там, ни здесь, — сдержанно сказал Горн. — Если хорошо — хорошо везде, плохо — везде плохо.

— Значит, вам плохо! — торжествующе вскричала она. Расскажите.

— Рассказать? — удивленно протянул Горн.

Он только теперь вполне ясно представил и ощутил, какое нестерпимое, хотя и обуздываемое, любопытство должен возбуждать в ней. Неизгладимый отпечаток культуры, стертый, обезображенный полудиким существованием, рельеф сложного мира души сквозил в нем и, как монета, изъеденная кислотой, все же, хотя бы и приблизительно, говорил о своей ценности. Он размышлял. Ее требование было законно и в прямоте своей являлось простым желанием знать, с кем ты имеешь дело. Но он готов был вознегодовать при одной мысли вывернуться наизнанку перед этой простой девушкой. Солгать не пришлось в голо-

ву; в замешательстве, не зная, как переменить разговор, он посмотрел вверх, на дальнюю синеву воздуха.

И пустота неба легла в его душу холодной тоской свободы, отныне признанной за ним каждым придорожным листом. Резкое лицо прошлого светилось насмешливой гримасой, и ревнивая деликатность Горна по отношению к той показала ему странной и даже лишенной самолюбия навязчивостью на расстоянии. Прошрое вежливо освободило его от всяческих обязательств.

И он ощутил желание взглянуть на себя со стороны, прислушиваясь к словам собственного рассказа, проверить тысячи раз выверенный счет жизни. Девушка могла истолковать его иначе, но ведь ей важно знать только канву, остальное скользнет мимо ее ушей, как смутные голоса леса.

— Моя жизнь,— сказал Горн,— очень простая. Я учился; неудачные спекуляции разорили моего отца. Он застрелился и переехал на кладбище. Двоюродный брат дал мне место, где я прослужил три года. Сядемте, Эстер. Путаться в оврагах не представляет особенного удовольствия.

Девушка быстро села, не выпуская повод, на том месте, где ее застали слова Горна. Он сделал по инерции шаг вперед, вернулся и сел рядом, покусывая сорванный стебелек.

— Три года,— повторила она.

— Потом,— продолжал Горн, стараясь говорить как можно проще,— я стал бродягой оттого, что надоело сидеть на одном месте; к тому же мне не везло: хозяева предприятия, где я служил, умерли от чумы. Ну, вот... я переезжал из города в город, и мне наконец это понравилось. И совсем недавно у меня умер друг, которого я любил больше всего на свете.

— У меня нет друзей,— медленно произнесла Эстер.— Друг; это хорошо.

Горн улыбнулся.

— Да,— сказал он,— это был милейший товарищ, и умереть с его стороны было большим свинством. Он жил так: любил женщину, которая его, пожалуй, тоже любила. До сих пор это осталось невыясненным. Он избрал ее из всех людей и верил в нее, то есть считал ее самым лучшим человеческим существом. Женщина эта была в его глазах совершеннейшим созданием бога.

Пришли дни, когда перед ней поставлен был выбор — идти рука об руку с моим другом, все имущество которого

заклучалось в четырех стенах его небольшой комнаты, или жить, подобно реке в весеннем разливе, красиво и плавно, удовлетворяя самые неожиданные желания. Она была в это время немного грустна и задумчива, и глаза ее вспыхивали особенным блеском. Наконец между ними произошло объяснение.

Тогда стало ясно моему другу, что жадная душа этой женщины ненасытна и хочет всего. А он был для нее только частью, и не самой большой.

Но и он был из той же породы хищников с бархатными когтями, трепещущих от голосов жизни, от вида ее сверкающих пьедесталов. Вся разница между ними была в том, что одна хотела все для себя, а другой — все для нее.

Он думал заключить с нею союз на всю жизнь, но ошибся. Женщина эта шла навстречу готовому, протянутому ей другим человеком. Готовое было — деньги.

Он понял ее, себя, он сгорел в несколько дней и сделался молодым стариком. Удар был чересчур силен, не всякому по плечу. Все продолжало идти своим порядком, и через месяц, собираясь уехать, он написал этой женщине, жене другого — письмо. Он просил в нем сказать ему последний мучительный раз, что все же ее любовь — с ним.

Ответа он не дождался. Тоска выгнала его на улицу, и незаметно, не в силах сдержатъ желанія, он пришел к ее дому. О нем доложили под вымышленным им именем.

Он проходил ряд комнат, двигаясь как во сне, охваченный мучительной нежностью, рыдающей тоской прошлого, с влажным и покорным лицом.

Их встреча произошла в будуаре. Она казалась встревоженной. Лицо ее было чужим, слабо напоминающим то, которое принадлежало ему.

— Если вы любите меня, — сказала эта женщина, — вы ни одной минуты не останетесь здесь. Уйдите!

— Ваш муж? — спросил он.

— Да, — сказала она, — мой муж. Он должен сейчас прийти.

Мой друг подошел к лампе и потушил ее. Упал мрак. Она испуганно вскрикнула, опасаясь смерти.

— Не бойтесь, — шепнул он. — Ваш муж войдет и не увидит меня. Здесь толстый ковер, в темноте я выйду спокойно и безопасно для вас. Теперь скажите то, о чем я просил в письме.

— Люблю,— прошептал мрак. И он, не расслышав, как было произнесено это слово, стал маленьким, как ребенок, целовал ее ноги и бился о ковер у ее ног, но она отталкивала его.

— Уйдите,— сказала она, досадуя и тревожась,— уйдите!

Он не уходил. Тогда женщина встала, зажгла свечу и, вынув из ящика письмо моего друга, сожгла его. Он смотрел, как окаменелый, не зная, что это — оскорбление или каприз? Она сказала:

— Прошлое для меня то же, что этот пепел. Мне не восстановить его. Прощайте.

Последнее ее слово сопровождал громкий стук в дверь. Свеча погасла. Дверь открылась, темный силуэт загораживал ее светлый четырехугольник. Мой друг и муж этой женщины столкнулись лицом к лицу. Наступило ненарушимое молчание, то, когда только одно произнесенное слово губит жизнь. Мой друг вышел, а на другой день был уже на палубе парохода. Через месяц он застрелился.

А я приехал сюда на торговом голландском судне. Я решил жить здесь, подальше от людей, среди которых погиб мой друг. Я потрясен его смертью и проживу здесь год, а может и больше.

Пока Горн рассказывал, лицо девушки сохраняло непоколебимую серьезность и напряжение. Некоторые выражения остались непонятными ей, но сдержанное волнение Горна затронуло инстинкт женщины.

— Вы любили ту! — вскричала она, проворно вскакивая, когда Горн умолк. — Меня не обманете. Да и друга у вас пожалуй что не было. Но это мне ведь одинаково.

Глаза ее слегка заблестели. За исключением этого, нельзя было решить, произвел ли рассказ какое-нибудь впечатление на ее устойчивый мозг. Горн ответил не сразу.

— Нет, это был мой приятель,— сказал он.

— Меня обманывать незачем,— сердито возразила Эстер. — Зачем рассказывали?

— Я или не я,— сказал Горн, пожимая плечами,— забудем это. Сегодняшний день исключителен по числу людей и животных. Вон — еще едет кто-то.

— Молодой Дрибб,— сказала Эстер. — Дрибб, что случилось?

— Ничего! — крикнул гигант, сдерживая гнедную кобылу перед самым лицом Горна. — Я упражнялся в отыска-

нии следов и случайно попал на твой. Все-таки я могу, значит. А этот человек кто?

Горна он как будто не видел, хотя последний стоял не далее метра от стремени. Горн с любопытством рассматривал огромное нескладное туловище, увенчанное маленькой головой, с круглым, словно выкованным из коричневого железа лицом; белая с розовыми полосками блуза открывала волосатую вспотевшую грудь. Все вместе взятое походило на мужика и разбойника; добродушный оскал зубов настроил Горна если не дружелюбно, то, во всяком случае, безразлично.

— Подумаешь, ты ничего не знаешь,— насмешливо сказала Эстер.

— А! — Великан шумно вздохнул.— Ты едешь?

Эстер села в седло.

— Прощайте, сударь,— сказал Дрибб Горну, неловко останавливая на нем круглые глаза и дергая подбородком.

— Горн,— сказала Эстер,— не ходите в болота, а если пойдете, выпейте больше водки. А то можете проваляться месяца два.

Верхом, гибко колеблясь на волнующейся спине лошади, она бессознательно бросала в глаза Горна свою резкую красоту. Он, может быть, в первый раз посмотрел взглядом мужчины на ее безукоризненную фигуру и лицо, полное жизни. Эта пара, удалявшаяся верхом, кольнула его чем-то похожим на досадливое удивление.

— Галло! Гоп! Гоп! — заорал Дрибб, устремляясь вперед и тяжело подсакивая в седле.

— До свидания, Эстер! — громко сказал Горн.

Она быстро повернулась; лицо ее, смягченное мгновенной улыбкой, выразило что-то еще.

Бледное отражение молодости проснулось в душе Горна, он снял шляпу и, низко поклонившись, бросил ее вслед удаляющимся фигурам. Эстер, молча улыбаясь, кивнула и исчезла в кустах. Великан ни разу не обернулся, и когда, вместе с Эстер, скрылась его широченная сутуловатая спина, Горн подумал, что молодой Дрибб невежлив более, чем это необходимо для дикаря.

День развернулся, пылая голубым зноем; духота, пропитанная смолистыми испарениями, кружила голову. И снова чувство глубокого равнодушия поднялось в Горне; рассеянно поглаживая рукой ложе ружья, он пришел к выводу, что девственная земля утратила свое обаяние для

сложного аппарата души, вскормленной мыслью. Слишком могучая и сочная земля утомляла нервы, как яркий свет—зрение. Расчищенная и дисциплинированная, не более, как приятное зрелище,—она могла бы стать дивным комфортом, любовницей, не изнуряющей ласками, душистой ванной больных, мерзнувших при одной мысли о просторе реки.

— А я? — спросил Горн у неба и у земли. — Я? — Он вспомнил свои охоты и трепет звериных тел, самообладание в опасности, темный полет ночи, заспанные глаза зари, угрюмую негу леса — и торжествуя выпрямился. В природе он не был еще ни мертвецом, ни кастратом, ни нищим в чужом саду. Его равнодушие стояло на фундаменте созерцания. Он был сам — Горн.

Тучный человек умирающим голосом произносил «пуф» всякий раз, когда, визжа блоком, распахивалась входная дверь, и горячий столб света бросался на земляной пол трактирчика. Как хозяин он благословлял посетителей, как человек — ненавидел их всеми своими помыслами.

Но посетители хотели видеть в тучном человеке только хозяина, безжалостно требуя персиковой настойки, пива, рому и пальмового вина. Тучный человек, страдая, лазил в погреб, взбирался по лесенкам и снова, мокрый от пота, садился на высокий, плетеный стул.

В углу шла игра, облака табачного дыма плавали над кучкой широкополых шляп; характерный треск костей мешался с ругательствами и щелканьем кошельков. Сравнительно было тихо; стены сарая, носившего имя «Зеленой раковины», видали настоящие сражения, кровь и такую игру ножей, от которой в выигрыше оставалась одна смерть. Изредка появлялись неизвестные молодцы с тугими кожаными поясами, подозрительной чистотой рук и кучей брелоков; они хладнокровно и вежливо играли на какие угодно суммы, в результате чего колонисты привыкли чесать затылки и сплевывать.

Ланфиер вошел незаметно, его костлявое тело, казалось, могло пролезть в щель. Еще пьянее, чем утром, с трубкой в зубах, он подвалился к столу играющих и залился беззвучным смехом. На мгновение кости перестали ударяться о стол; рассеянное недоумение лиц было обращено к пришедшему.

— Вот штука, так штука! — захрипел каторжник, кончив смеяться, лишь только почувствовал, что терпение игроков лопається.— Он сказал правду: ну и молодчага же, надо сказать!

— Кто? — осведомился тучный человек в стуле.

— Новый хозяин озера.— Ланфиер понизил голос и стал говорить медленно.— Я ведь сегодня у него был, вы знаете. Он окончательно порядочный человек. «Будь я губернатором,— сказал он,— я эту колонию поджег бы с середины и с четырех концов. Там,— говорит,— одни скоты и мошенники, а кто получше, глупы, как тысяча крокодилов».

— Вы мастер сочинять басни,— сказал, посапывая, кофейный плантатор.— Вы врете!

Ланфиер угрюмо блеснул глазами.

— Я был бы теперь мертв,— закричал он,— будь глаз у этого человека повернее на толщину волоса! Я упрекнул его в заносчивости, он бросил в меня пулю так хладнокровно, как будто это был катышек из мякиша. Я выскочил в окно проворнее ящерицы.

— Сознайтесь, что вы соврали,— зевнул хозяин.

Старик молчал. За сморщенными щеками его прыгали желваки. Играющие вернулись к игре. Ланфиеру не верили, но каждый сложил где-то в темном кусочке мозга «глупых, как крокодилы, людей, мошенников и скотов».

VI

Бекеко, задрав голову, смотрел вверх. Обезьяна раскачивалась на хвосте под самым небом; ее круглые, старчески-детские глаза быстро ощупывали фигуру идиота, иногда отвлекаясь и соображая расстояние до ближайшего дерева.

Бекеко дружелюбно кивал, подмаргивал, и знаками приглашал зверя спуститься вниз, но опытный капуцин по-свистывал недоверчиво и тревожно, по временам строя отвратительные гримасы. Бекеко смеялся. Болезненное, беспричинно радостное чувство распирало его маленькое шедливое тело, и он захлебывался нелепым восторгом, дрожа от нестерпимого возбуждения. Капуцина, как все живое, он ставил выше себя и с вежливой настойчивостью, боясь оскорбить мохнатого акробата, продолжал свои приглашения.

Потом, взглядевшись пристальнее в сморщенное лицо, он вздрогнул и съежился; смутное опасение поколебало его веселость. Нельзя было ошибиться: капудин готовился разгрызть череп Бекеко и, может быть, впиться зубами в его тощий желудок.

— Ну... ну... — испуганно проворчал расстроенный человек, отходя в сторону.

Теперь он не в силах был посмотреть вверх и, волнуясь, осматривался кругом, в надежде найти сук, годный для обороны. Под небом висел зверь огромной величины, на время прикинувшийся маленьким, но теперь Бекеко знал все: на него устроили ловушку, и он попался самым глупейшим образом. Еще не зная, с какой стороны, кроме хвостатого старика, грозит опасность, он стал пятиться, спотыкаясь и вздрагивая от страха. Враги не отставали; невидимые, они бесшумно ползли в траве, покалывая босые ноги Бекеко колючками, больно обжигавшими кожу. Внезапное подозрение, что сзади притаилась засада, бросило его в пот. Колеблясь, он топтался на месте, боясь тронуться, полный безумного ужаса перед томительной тишиной леса и зелеными, закрывающими лицо, гигантами.

Когда показался враг, пылливо рассматривая тщедушную фигуру Бекеко, идиот вскрикнул, запустил в неприятеля тяжелым желтым комком и присел, замирая в тоскливом ожидании смерти. Горн медлил. Почти испуганный, но не призраками, он вертел в руках брошенный Бекеко комочек. Сильное возбуждение охватило его; с глазами, заблестевшими от неожиданности, с пересохшим от внезапного волнения горлом, охотник механически подбрасывал рукой тусклый, грязноватый кусок, забыв о Бекеко, лесе и времени.

Капудин продолжал раскачиваться; оттопырив щеки, он сердито вытянул морду и, разглядев ружье, гневно скрипнул зубами. Потом с шумом перепрыгнул на соседнее дерево, зацыкал, пустил в Горна большим орехом и стремглав кинулся прочь, ныряя в чаще.

Горн осмотрелся. Он был бледен, сосредоточен и плохо справлялся с мыслями. Помимо его воли, они разлетались быстрее пуль, выброшенных из митральезы. Неясное кипение души требовало исхода, движения; лес должен был наполниться звуками, способными заглушить кричащую тишину. Но прежнее ленивое великолепие дремало во-

круг, равнодушно заключая в свои торжественные объятия растерянного побледневшего человека.

— Бекеко! — сказал Горн. — Бекеко!

Идиот боязливо высунул голову из-за ствола дерева. Горн смягчил голос, почти проникнутый нежностью к загнанному уродцу, внимательно рассматривая это странное существо, напоминавшее гномов.

— Бекеко, — сказал Горн, — ты не узнал меня?

Идиот поднял глаза, не решаясь произнести слово. Охотник слегка тронул его рукой, но тотчас же отдернул ее: пронзительный визг огласил лес. Бекеко напоминал испуганного ежа, свернувшегося комком.

— Ну, хорошо, — как бы соглашаясь в чем-то с Бекеко, продолжал Горн, — я ведь тебе не враг. Я тотчас уеду, только скажи мне, милый звереныш, где ты нашел этот блестящий шарик? Он мне нужен, понимаешь? Мне и Эстер. Нам нужно порядочно таких шариков. Если ты не будешь упрямыться и скажешь, Эстер даст тебе сахару.

Он вытянул руку и тотчас же сжал пальцы, как будто тусклый блеск золота обжигал кожу.

→ Эстер... — нерешительно пробормотал идиот, приподымая голову. — Даст сахару!

Он жалобно замигал и снова погрузился в туманную пустоту безумия. Горн нетерпеливо вздохнул.

— Эстер, — тихо повторил он, наклоняясь к Бекеко. — Ты понял, что ли? Эстер!

Лицо Бекеко вытянулось, шевеля плоскими оттопыренными губами. Тяжелая работа ассоциации совершилась в нем. Темный мозг силился связать в одно целое сахар, имя, человека с ружьем и женский образ, плававший неопределенным, ярким пятном. И вдруг Бекеко расцвел почти осмысленной гримасой плаксивого судорожного смеха.

— Эстер, — медленно произнес он, исподлобья рассматривая охотника.

— Да. — Горн вздохнул. Все тело его рвалось прочь, к лихорадочному опьянению поисками. — Эстер нуждается в таких шариках. Где ты нашел их?

— Там! — взмахивая рукой и, видно, приходя в себя, крикнул Бекеко. — Маленькая голубая река.

— Ручей? — спросил Горн.

— Вода. — Идиот утвердительно кивнул головой.

— Вода,— настойчиво повторил Горн.

— Вода,— как эхо, отзывался Бекеко.

Горн молчал. Север, маленькая голубая река. И маленький, не более пули, кусочек золота.

— Бекеко,— сказал он, удаляясь,— помни: Эстер даст сахару.

Он был уже далеко от места, где, скорчившись, сидел испуганный получеловек, и сам не заметил этого. Он шел спешными, большими шагами, проникнутый нестерпимой тревогой, словно боялся опоздать, упустить нечто невероятной важности. Все, начиная с Бекеко и кончая ночью этого дня, вспоминалось им после, как торопливо промчавшийся, смутно восстановленный сон, полный беззвучной музыки. Чувство фантастичности жизни охватило его; отрывками вспоминая прошлое, похожее на сон облачных стай, и связывая его с настоящим, он испытал восторг мореплавателя, прозревающего в тумане девственный берег неведомого материка, и волнение перед неизвестным, подстерегающим человека. Тело его окрепло и утратило тяжесть; лицо, смягченное грезами, задумывалось и улыбалось, словно он читал интересную, нравящуюся книгу, где были переплетены в тонком узоре грусть и восторг, юмор и нежность. Стволы, толщиной с хорошую будку, колбнами уходили в небо, и он чувствовал себя маленьким, вверенным надежному, таинственному покровительству леса, зеленой глубине чащи, напоминающей тревожные сумерки комнат, охваченных глубоким безмолвием. Маленькая голубая река текла перед его глазами, и в ее мокром песке невинно дремало золото, юное, как побеги травы, целомудренное могущество, не знавшее дрожи человеческих пальцев и похотливых взглядов мещан, алчущих без конца. Он шел в одном направлении, жалея о каждом шаге, сделанном в сторону, когда приходилось огибать ствол и холмик. Постепенно, хмурясь и улыбаясь, достиг он сияющих дебрей воображения, гушины грез, делающих человека пьяным не хуже вина. Он походил на засыпающего в тот момент, когда голоса людей из соседней комнаты мешаются с расцветом сказочных происшествий, начинающих в освобожденном мозгу свои диковинные прологи. Это было все и ничто, сомнение в удаче и яростная уверенность в ней, чувство узника, с голыми руками покинувшего тюрьму и нашедшего семизарядный револьвер, стремительный бег желаний; запыхавшаяся душа его торопилась осознать будущее, в то

время как тело, нечувствительное к усталости, ускоряло шаги.

Был тот час дня, когда, лениво раздумывая, вечер приближает к земле внимательные глаза, и цикады звенят тише, чувствуя осторожный взгляд Невидимого, удлиняющиеся тени стволов. Лес редел, глубокие просветы заканчивались пурпуром скал, блестящих в крови солнца, раненного Дианой. Обломки кварца, следы бывших землетрясений желтели отраженным светом зари, короткое бормотание какаду звучало сердитым удовлетворением и строптиво-стью. Горн шел, механически ступая ногами.

Через полчаса он увидел воду. Конечно, это была та самая маленькая голубая река, узкий ручей с небом на дне и блеском песчаных отмелей, чистых, как серый фаянс. Издали она казалась голубой лентой в зеленой косе нимфы. Ее линия, перерезанная раскидистыми вершинами отдельных древесных групп, уходила в скалистый грот, черный от ползучих растений, заткавших щели и выступы складками зеленых ковров, падающих к воде. Горн, с трудом передвигая ноги в сырой гуще цепкой травы, выбрался к голубой ленте и остановился, вдыхая сладкий, прелый запах водорослей.

Здесь ему впервые пришло в голову, что жажда неотступно мучает его тело, и он почти упал на колени, зачерпывая ладонью теплую как остывший кипяток жидкость. Прозрачные капли дождем стекали по его подбородку и пальцам. Он пил много, переводя дух, отдыхал и снова погружал руки в теплую глубину.

Удовлетворение наполнило его слабостью, наступившей внезапно, тяжелой ленью всех членов, нежеланием двигаться. Он посмотрел на дно, но его глазам сделалось больно от солнца, игравшего в подводном песке. Всмотревшись пристальнее, Горн приблизил лицо к самой поверхности воды, почти касаясь ее ресницами. В таком положении он пробыв минуты две; тело его вздрагивало мгновенной, неуловимой дрожью, и кровь приливала к побледневшим щекам быстрее облачной тени, охватывающей равнину.

Желтые искры, тлея смягченным водой блеском, пестрили чистое дно ручья, и чем больше смотрел Горн, тем труднее становилось ему отличить гальку от золота. Оно таинственно покоилось в глубине, от его матовых зерен били в зрачки Горна невидимые, звонкие фонтанчики, зве-

ня в ушах беглым приливом крови. Он засмеялся и громко крикнул. Дрожащий звук голоса отозвался в лесных недрах слабым гулом и стих. Горн встал.

И все показалось ему невыразимо прекрасным, проникнутым торжеством радости. Воздушный мост, брошенный на берег будущего, вел его в сияющие ворота жизни, отныне доступной там, где раньше стояли крепости, несокрушимые для желаний. Земной шар как будто уменьшился в объеме и стал похожим на большой глобус, на верхней точке которого стоял взволнованный человек с пылающими щеками. И прежде всего Горн подумал о силе золота, способного возвратить женщину. Он ехал к ней в тысяче поездов, их колеса сливались в сплошные круги, и рельсы вздрагивали от массы железа, проносившего Горна. Он говорил ей все, что может сказать человек, и был с ней.

Потом он услышал воображенное им самим слово «нет», но уже почувствовал себя не оскорбленным, а мстителем, и с мрачной жадностью набросал сцены расчетливой деловой жестокости, обширный круг разорений, увлекающий в свою крутящуюся воронку благополучие человека, постукавшего в дверь. Горн выбрасывал на мировой рынок товары дешевле их стоимости. И с каждым днем тускнело лицо женщины, потому что умолкали, одна за другой, фабрики ее мужа, и паутина свивала затхлое гнездо там, где громыхали машины.

Прошло не более двух минут, но в течение их Горн пережил с болезненной отчетливостью несколько лет. Осушившийся от возбуждения, он посмотрел вокруг. Солнце ушло за скалы, светлые вечерние тени кутали остывающую землю, молчаливо поблескивала река.

Он вырезал кусок дерна и, придав ему наклонное положение, бросил на зеленую поверхность самодельного вальгера несколько пригоршней берегового песка. Потом срезал кусок коры и, устроив из него нечто вроде ковша, зачерпнул воды.

Это был первый момент работы, взволновавший охотника более, чем песок дна. Он все лил и лил воду, пока в траве дерна не заблестел тонкий, тяжелый слой золота. Силы временно оставили Горна, он сел возле добычи, положив руку на мокрую поверхность станка, и тотчас бешеный хоровод мыслей покинул его утомленный мозг, оставив оцепенение, похожее на восторг и тоску.

Горн вернулся без рубашки и блузы, с кожаной сумкой, полной маленьких узелков, сделанных из упомянутых вещей и оттянувших его плечи так, что было больно двигать руками. Полуголый, обожженный солнцем, он принес к озеру запах лесных болот и сладкое, назойливое изнеможение.

Новое ощущение поразило его, когда он подходил к дому, — ощущение своего тела, как будто он щупал его слабыми от жары руками, и беспричинная, судорожная зевота. Затворив дверь, он вырыл в земляном полу яму и тщательно замуровал туда слежавшиеся тяжелые узелки. Их было много, и ни один не выглядел худощавым.

Опустившись на высохшую траву постели, он долго сидел понурясь и не мог объяснить себе внезапного, тоскливого равнодушия к свежеутоптанной земле хижины. Сжав левую руку у кисти, он слушал глухую возню крови, и зубы его быстро стучали, отбивая дробь маленьких барабанов, а тело ежилось, словно на его потной коже таяли хлопья снега, падающего с потолка.

Горн лег и лежал с широко открытыми глазами, не раздеваясь, в сладострастной истоме, прерываемой периодическим сотрясением тела, после чего обильный пот стекал по лицу. Убедившись, что болен, он стал высчитывать, на сколько дней придется остановить работу и сколько он потеряет от этого. Болотная лихорадка могла обойтись ему в цену хорошего поместья, потому что, как он слышал и знал, болезнь эта редко покидает ранее десяти дней.

Клацая челюстями и корчась, он постепенно пришел в хорошее настроение — признак, что жар усилился. Озноб оставил его, и он насмешливо улыбался голым стенам дома, скрывающим то, из-за чего Ланфиер способен был бы нанести удар спереди, без военных хитростей полководца, устраивающего ложную диверсию.

Горн пролежал до заката солнца, когда жар временно оставляет человека, чтобы возвратиться на другой день в строго определенный час, с аккуратностью немца, завтракающего в пятьдесят шесть минут первого. Слабый, с закружившейся головой и револьвером в кармане, Горн надел новую блузу и вышел на воздух. Мысли его приняли спокойное направление, он тщательно взвесил шансы на достижение и убедился, что не было никакой ошибки, за

исключением случайностей, рассеянных в мире в немного большем количестве, чем это необходимо. Освеженный холодным воздухом, он долго рассматривал звездный атлас неба и Южный Крест, сияющий величавым презрением к делам земных обитателей. Но это не подавляло Горна, потому что глаза его, в свою очередь, напоминали пару хороших звезд — так они блестили навстречу мраку, и он не чувствовал себя ни жалким, ни одиноким, так как не был мертвой материей планет.

Пахнул ветер и замер, оборвав слабый, долетевший издали, топот лошади. Горн машинально прислушался, через минуту он мог уже сказать, что в этот момент подкова встретила камень, а в тот — рыхлую почву. Тогда он вернулся к себе и зажег маленькую лампу, купленную в колонии. Коллеблющийся свет лег через окно в ближайшие стволы бамбука. Горн отворил дверь и стал за ее порогом, слабо освещенный с одного бока.

Неизвестный продолжал путь, но ехал немного тише, из чего Горн заключил, что едут к нему, так как не было смысла лететь галопом к озеру и задерживать шаг ради удовольствия вернуться обратно. Он ждал, пока фыркание лошади не раздалось возле его ушей.

— Кто вы? — спросил Горн, играя револьвером. — Эстер! — помолчав и отступая от удивления, сказал он. — Так вы не спите еще?

— А вы? — спросила она с веселым смехом, запыхавшись от быстрой езды. — Главное, что вы еще живы.

— Жив, — сказал Горн, почувствовав оживление при звуках этого голоса, громкого, как звон небольшого колокола. — Ваш отец должен теперь совершенно успокоиться.

Она не ответила и, молча пройдя к столу, села на табурет. Выражение ее лица непрерывно менялось, словно в ней шел мысленный разговор с кем-то, известным одной ей. Горн сказал:

— Вы видите, как я живу. У меня нет ничего, что я мог бы предложить вам в качестве угощения. Обыкновенно я уничтожаю остатки пищи, они быстро портятся.

— Вы говорите так потому, что не знаете, зачем я пришла, — сказала Эстер, и голос ее звучал на полтона ниже. — Сегодня, видите ли, праздник. Мужчины с раннего утра на ногах, но теперь уже плохо на них держатся. Все спиртные напитки проданы. Везде горят факелы, наш дом украшен фонариками. Это очень красиво. Кто не жалеет пороху, те

ходят кучками и стреляют холостыми зарядами. В «Зеленой Раковине» убрали все столы и скамейки, танцуют без перерыва.

Она выжидательно посмотрела в лицо Горна. Тогда он заметил, что на Эстер желтое шелковое платье и голубая косынка, а смуглая шея украшена жемчужными бусами.

— Я поотстала немного, когда проходили мимо маленькой бухты, и вспомнила вас, а потом видела, как молодой Дрибб обернулся, отыскивая меня глазами. Кинг поскакал быстро, я угощала его каблуками без жалости. Конечно, вам будет весело. Нельзя сидеть долго наедине со своими мыслями, а через полчаса мы будем уже там. Хорошо?

— Эстер,— сказал Горн,— почему праздник?

— День основания колонии.— Эстер раскраснелась, молчаливая улыбка приоткрывала ее свежий рот, влажный от возбуждения.— О, как хорошо, Горн, подумайте! Мы будем вместе, и вы расскажете, так ли у вас празднуют какое-нибудь событие.

— Эстер,— сказал сильно тронутый Горн,— спасибо. Я, может быть, не пойду, но, во всяком случае, я как будто уже был там.

— Пойдите одну минуту.— Девушка лукаво посмотрела на охотника, и голос ее стал протяжным, как утренний рожок пастуха.— Бекеко все просит сахару.

— Бекеко! — повторил сильно озадаченный Горн.— Просит сахару?

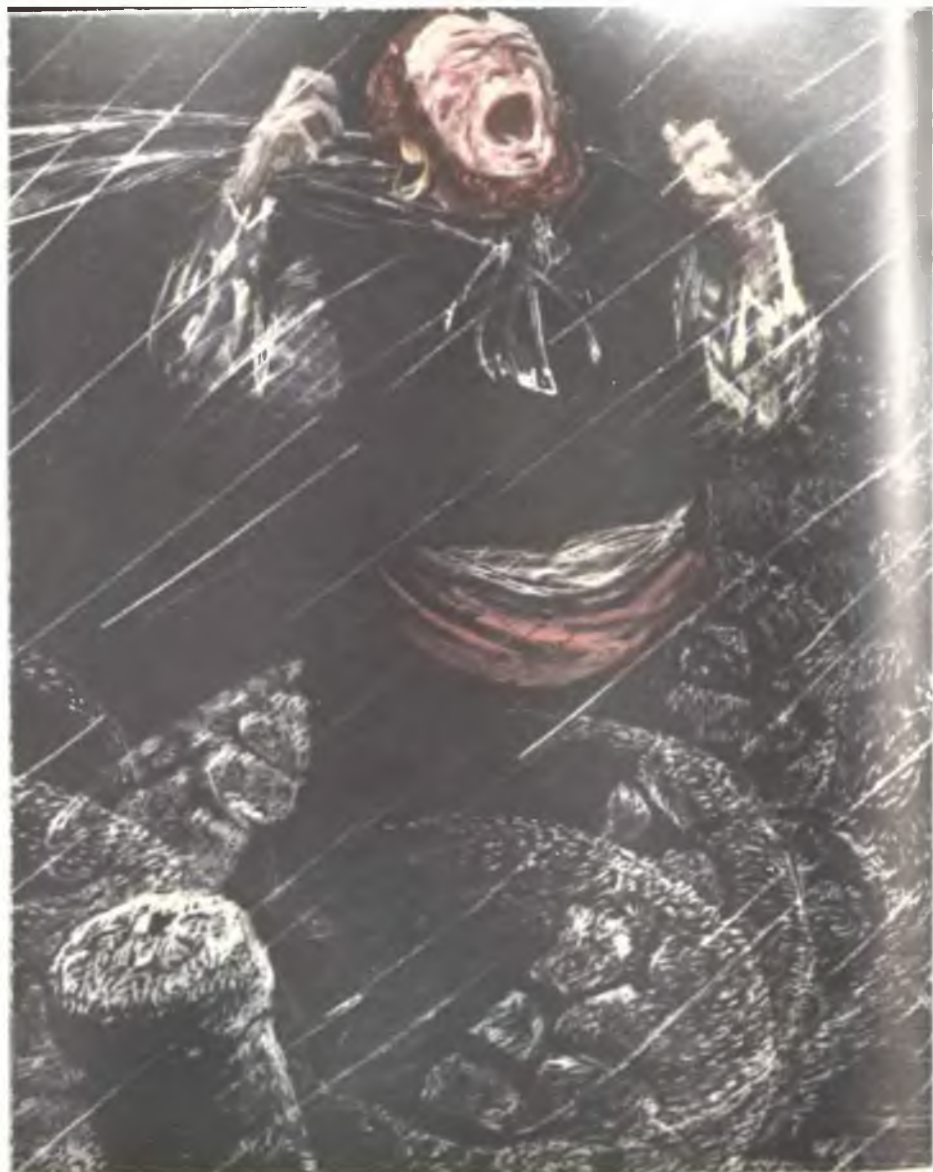
И, вспомнив, насторожился. Ему пришло в голову, что всем известно о маленькой голубой реке. Неприятное волнение стеснило грудную клетку, он встал и прошелся, прежде чем возобновить разговор.

— Он лез ко мне и говорил страшно много непонятных вещей,— продолжала девушка, смотря в окно.— Я ничего не поняла, только одно: «Твой человек (это он называет вас моим человеком) сказал, что ему и Эстер нужно множество желтых камней». После чего будто бы вы обещали ему от моего имени сахару. О, я уверена, что он ничего не понял из ваших слов. Я дала ему, по крайней мере, пригоршню.

Горн слушал, стараясь не проронить ни одного слова. Лицо его то бледнело, то розовело и, наконец, приняло натуральный цвет. Девушка была далека от всякого понимания.



«ПРОЛИВ БУРЬ»



«ШТУРМАН ЧЕТЫРЕХ ВЕТРОВ»

— Да,— сказал он,— я встретил дурачка в припадке панического, необъяснимого ужаса. С вами он, должно быть, словоохотливее. Я успокоил его, не выжав из него ни одного слова. Желтые камни! Только мозг сумасшедшего может сплести бред с действительностью. А сахар — да, но вы ведь не сердитесь?

— Нисколько! — Эстер задумчиво посмотрела вниз.— «Это нужно мне и Эстер»,— говорил он.— Она рассмеялась.— Нужно ли вам то, что мне? Пора идти, Горн. Я много думала об этих словах, а вы, вероятно, мало. Но вы не знали, что они дойдут до меня.

Ее учащенное дыхание касалось души Горна, и он, как будто проснувшись, но не решаясь понимать истину, оставался с замершим на губах криком растерянного удивления.

— Эстер,— с тоскою сказал он,— подымите голову, а то я боюсь, что не так понимаю вас.

Эстер прямо взглянула ему в глаза, и ни смущения, ни застенчивости не было в ее тонких чертах, захваченных неожиданным для нее самой волнением женщины. Она встала, пространство менее трех футов разделяло ее от Горна, но он уже чувствовал невидимую стену, опустившуюся к его ногам. Он был один, присутствие девушки наполняло его смятением и тревогой, похожей на сожаление.

— Я могла бы быть вашей женой, Горн,— медленно сказала Эстер, все еще улыбаясь ртом, хотя глаза ее уже стали напряженно серьезными, как будто тень легла на верхнюю часть лица.— Вы, может быть, долго еще не скажали бы прямых слов мужчины. А вы мне уже дороги, Горн. И я не оскорблю вас, как та.

Горн подошел к ней и крепко сжал ее опущенную вниз руку. Тяжесть давила его, и ему страшно хотелось, чтобы его голос сказал больше жалких человеческих слов. И, чувствуя, что в этот момент не может быть ничего оскорбительнее молчания, он произнес громко и ласково:

— Эстер! Если бы я мог сейчас умереть, мне было бы легче. Я не люблю вас так, как вы может быть ожидаете. Выкиньте меня из вашей гордой головы; быть вашим мужем, превратить жизнь в сплошную работу — я не хочу, потому что хочу другой жизни, быть может, неосуществимой, но одна мысль о ней кружит мне голову. Вы слушаете меня? Я говорю честно, как вы.

Девушка закинула голову и стала бледнее снега. Горн выпустил ее руку. Эстер пошевелила пальцами, как бы страшивая недавнее прикосновение.

— Ну, да,— жестко, с полным самообладанием сказала она.— Если вы не понимаете шуток, тем хуже для вас. Впрочем, вы, вероятно, ищете богатых невест. Я всегда думала, что мужчина сам добывает деньги.

Каждое ее слово болезненно ударило Горна. Казалось, в ее руках была плеть, и она била его.

— Эстер,— сказал Горн,— пожалейте меня. Не я виноват, а жизнь крутит нами обоими. Хотели бы вы, чтобы я притворился любящим и взял ваше тело, потому что оно прекрасно и, скажу правду,— влечет меня? А потом разошелся с вами?

— Прощайте,— сказала девушка.

Все тело ее, казалось, дышало только-что нанесенным оскорблением и вздрагивало от ненависти. Горн бросился к ней, острая, нежная жалость наполняла его.

— Эстер! — мягко, почти умоляюще сказал он.— Милая девушка, прости меня!

— Прощаю! — задыхаясь от гневных слез, крикнула Эстер, и, действительно, она прощала его взглядом, полным непередаваемой гордости.— Но никогда, слышите, Горн, никогда Эстер не раскаивается в своих ошибках! Я не из той породы!

Горн подошел к окну, пошатываясь от слабости. У дверей тихо заржала лошадь.— «Кинг! — спокойно позвала девушка. Она садилась в седло, шелестя шелковой юбкой. Горн слушал.— Кинг! — сказала снова Эстер,— ты простишь мне удары каблуком в бок? Этого больше не будет».

Легкий галоп Кинга наполнил темноту мерным замирающим топотом.

VIII

Думать о собаках не было никакого смысла. Маленькая голубая река никогда не видала их, а если и видела, то это было очень давно, гораздо раньше, чем первый локомотив прорезал равнину в двухстах милях от того места, где Горн, стоя на коленях, пил воду и золотой блеск.

Но он, страшивая на платок пригоршню металла, добычу трехчасового усилия, неожиданно поймал себя на мысли о всевозможных собаках, виденных раньше. Он, как оказывалось, думал о догах больше, чем о левретках, и о

гончих упорнее, чем о мопсах. Затем он кончил коротким вздохом; лицо его приняло сосредоточенное выражение, и Горн выпрямился, устремив взгляд к зеленым провалам леса, окутанного сиянием.

Звуки были так слабы, что лишь бессознательно могли повернуть мысль от золота к домашним четвероногим. Они скорее напоминали эхо ударов по дереву, чем лай, заглушенный чащей и расстоянием. И их было совсем мало, гораздо меньше, чем восклицательных знаков на протяжении двух страниц драмы.

Время, пока они усилились, приобрели характерные оттенки собачьего голоса и сердитую уверенность пса, запыхавшегося от продолжительных поисков, было для Горна временем рассеянной задумчивости и холодной тревоги. Он ждал приближения человека, теша себя надеждой, что путь собаки лежит в сторону. Долина реки избавила его от этого заблуждения. Она тянулась вогнутой к лесу кривой линией, и с каждой точки опушки можно было заметить Горна. Думать, что неизвестный вернется назад, не было никаких оснований.

Горн торопливо спрятал отяжелевший платок в карман, сбросил в воду куски дерна, служившего вашгердом, и, держа штуцер наперевес, отошел шагов на сто от места, где был песок. Сдержанный, хриплый лай гулко летел к нему из близлежащих кустов.

Горн встал за дерево, напряженно прислушиваясь. Невидимый, он видел маленькую на отдалении верховую фигуру, пересекавшую луг крупной рысью, в то время, как небольшая ищейка вертелась под копытами лошади, зигзагами ныряя в траве. Слегка разгневанный, Горн вышел навстречу. Ему казалось недостойным прятаться от одного человека, с какой бы целью тот ни приближался к нему. Он был сердит за помеху и за то, что искали его, Горна.

В этом уже не оставалось сомнения. Собака сделала две петли на месте, только что покинутом Горном, и, заскулив, бросилась к охотнику, прыгая чуть не до его головы, с визгом, выражавшим недоумение. Она могла залаять и укусить, все зависело от поведения самого хозяина. Но ее хозяин не выказал никакого волнения, только глаза его на расстоянии трех аршин показались Горну пристальными и острыми.

Горн стоял, держа ружье, заряженное на оба ствола, под мышкой, как зонтик, о котором в хорошую погоду хо-

чется позабыть. Молодой Дрибб сдержал лошадь. Его винтовка лежала поперек седла, вздрагивая от нетерпеливых движений лошади, ударявшей копытом. Нелепое молчание фермера согнало кровь с лица Горна, он первый приподнял шляпу и поклонился.

— Здравствуйте, господин Горн,—сказал гигант, шумно вздохнув.— Очень жарко. Моя лошадь в мыле, мне, знаете ли, пришлось-таки порядком попутешествовать.

— Я очень жалею лошадь,—мягко сказал Горн.— У вас были, конечно, серьезные причины для путешествия.

— Важнее, чем смерть матери,—тихо сказал Дрибб.— Вы уж извините меня, пожалуйста, за беспокойство,—без улыбки прибавил он, разглядывая подстриженную холку лошади.— Я охотнее заговорил бы с вами у вас, чем мешать вам в ваших прогулках. Но вас не было три дня, вот в чем дело.

— Три дня,—повторил Горн.

Дрибб откашлялся, вытерев рукой рот, хотя он был сух, как начальница пансиона. Глазки его смотрели тревожно и воспаленно. Горн ждал.

— Видите ли,—заговорил Дрибб, с усилием произнося каждое слово,—я сразу не могу объяснить вам, я начну по порядку, как все оно вышло сначала и дошло до сегодняшнего дня.

Было одно мгновение, когда Горн хотел остановить его.— «Я знаю; и вот что,—хотел сказать он.— Зачем? — ответила другая половина души.— Если он ошибается, не надо тревожить Дрибба».

Собака отбежала в сторону и, высунув язык, села в тени чернильного орешника. Дрибб нерешительно пошевелил губами, казалось, ему было невыразимо тяжело. Наконец, он начал, смотря в сторону.

— Вы молчите, хотя, конечно, я вас еще ни о чем не спрашивал.— Он громко засопел от волнения.— Дней пять назад, сударь, то есть эдак суток через семь или восемь после нашего праздника, я был у Астиса.— «Эстер! — сказал я, и только в шутку сказал, потому что она все молчала.— Эстер,—говорю я,—ты нынче, как зимородок». И так как она мне не ответила, я набил трубку, потому что если женщина не в духе, не следует раздражать ее. Вечером встретился я с ней на площади.— «Ты не пройдешь сквозь меня,—сказал я,—или ты думаешь, что я воздух?»

Тогда только она остановилась, а то мы столкнулись бы лбами.—«Прости,— говорит она,— я задумалась».— Так как я торопился, то поцеловал ее и пошел дальше. Она догнала меня.— «Дрибб,— говорит,— и мне и тебе больно, но лучше сразу. Свадьбы не будет».

Он передохнул, и в его горле как будто проскочило большое яблоко. Горн молча смотрел в его осунувшееся лицо, глаза Дрибба были устремлены к скалам, словно он жаловался им и небу.

— Здесь,— продолжал он,— я стал смеяться, думая, что это шутка.— «Дрибб,— говорит она,— от твоего смеха ничего не выйдет. Можешь ли ты меня забыть? И если не можешь, то употреби все усилия, чтобы забыть».— «Эстер,— сказал я с горем в душе, потому что она была бледна, как мука,— разве ты не любишь меня больше?» — Она долго молчала, сударь. Ей было меня жаль.— «Нет»,— говорит она. И меня как будто разрезали пополам. Она уходила, не оборачиваясь. И я заревел, как маленький. Такой девушки не сыщешь на всей земле.

Гигант дышал, как паровая машина, и был весь в поту. Расстроенный собственным рассказом, он неподвижно смотрел на Горна.

— Дальше,— сказал Горн.

Рука Дрибба судорожно легла на ствол ружья.

— И вот,— продолжал он,— вы знаете, что водка бодрит в таких случаях. Я выпил четыре бутылки, но этого оказалось мало. Он был тоже пьяный, старик.

— Ланфиер,— наудачу сказал Горн.

— Да, хотя мы его зовем Красный Отец, потому что он проливал кровь, сударь. Он все смотрел на меня и подсменвался. У него это выходит противно, так что я занес уже руку, но он сказал: — «Дрибб, куда ездят девушки ночью?».— «Если ты знаешь, скажи»,— возразил я.— «Послушай,— говорит он,— не трудись долго ломать голову. Равнина была покрыта тьмой, я караулил человека, поселившегося на озере, тогда, в ночь праздника. Если он любопытен,— сказал я себе,— он придет нынче в колонию. Я обвязал дуло ружья белой тряпкой, чтобы не промахнуться, и сидел на корточках. Через полчаса из колонии выехала женщина, я не мог рассмотреть ее, но в стук копыт было что-то знакомое».— Сердце у меня сжалось, сударь, когда я слушал его.— «Я чуть не заснул,— говорит он,— поджидая ее обратно. Назад она ехала шагом, это было не

позже, как через час.— Эстер! — крикнул я.— Она выпрямилась и ускакала. Не она ли это была, голубчик?» — сказал он.

Горн хмуро закусил губу.

— Дальше — и оканчивайте!

— И вот,— клокотал Дрибб, при чем грудь его колыхалась, подобно палубе под муссоном,— я не знал, почему не было Эстер возле меня и не было долго... тогда. Я думал, что ей понадобится быть дома. Очередь за вами, господин Горн. Если она вас любит, станемте шагах в десяти и предоставим судьбе выкроить из этого что ей угодно. Я пошел к вам на другой день, вас не было. Я объехал все лесные тропинки, морской берег и все те места, где легче двигаться. Затем жил два дня в вашем доме, но вы не приходили. Тогда я взял с собой Зигму, это очень хорошая собака, сударь, она водила меня немного более четырех часов.

— Так что же,— решительно сказал Горн,— все правда, Дрибб. Эстер была у меня. И не буду вам лгать, это, может быть, будет для вас полезно. Она хотела, чтобы я стал ее мужем. Но я не люблю ее и сказал ей это так же, как говорю вам.

Гигант согнулся, словно его придавило крышей. Лицо его сделалось грязно-белым. Задыхаясь от гнева и тоски, он неуклюже прыгнул на землю и, пошатываясь, стиснул зубы.

— Вы не подумали обо мне,— закричал он,— когда увлекли девушку. И если вы врете, тем хуже для вас самих!

— Нет, Дрибб,— тихо произнес Горн, улыбаясь безразличной улыбкой овладевшего собой человека,— вы ошибаетесь. Я думал, правда, не о вас собственно, но по поводу вас. Мне пришло в голову, что было бы хорошо, если бы этот прекрасный лес сверкал тенистыми каналами с цветущими берегами, и стройные бамбуковые дома стояли на берегах, полные бездумного счастья, напоминающего облако в небе. И еще мне хотелось населить лес смуглыми кроткими людьми, прекрасными, как Эстер, с глазами оленей и членами, не оскверненными грязным трудом. Как и чем жили бы эти люди? Не знаю. Но я хотел бы увидеть именно их, а не нескладные туловища, вроде вашего, Дрибб, замызганного рабочим потом и украшенного пуговкой вместо носа.

— Скажите еще одно слово! — Дрибб с угрожающим видом шагнул к Горну. — Тогда я убью вас на месте. Вы будете качаться на этом каучуковом дереве — подлец!

— О! Довольно! — побледнел Горн. Он трясся от гнева. Равнина и лес на мгновение слились перед его глазами в один зеленый сплошной круг. — Не я или вы, Дрибб, а я. Я убью вас, запомните это хорошенько, потом будет поздно убедиться, что я не лгу.

— Десять шагов, — отрывисто, хриплым голосом сказал Дрибб.

Горн повернулся и отсчитал десять, держа палец на спуске. Небольшой кусок травы разделял их. Глаза их притягивались друг к другу. Горн вскинул ружье.

— Без команды, — сказал он. — Стреляйте, как вам вздумается.

Одновременно с окончанием слова «вздумается», он быстро повернулся боком к Дриббу, и вовремя, потому что тот нажимал спуск. Пуля, скользнув, разорвала кожу на груди Горна и шелкнулась в дерево.

Не потерявшись, он коснулся прицелом середины волосатой груди фермера и выстрелил без колебания. Новый патрон магазинки Дрибба застрял на пути к дулу, он быстро попятился, раскрыл рот и упал боком, не отрывая от Горна взгляда круглых тупых глаз.

Горн подошел к раненому. Дрибб протяжно хрипел, подергиваясь огромным, неловко лежащим телом. Глаза его были закрыты. Горн отошел, вздрагивая; вид умирающего был ему неприятен, как всякое разрушение. Лошадь, отбежавшая в сторону, беспокойно заржала. Он посмотрел на нее, на собаку, визжавшую около Дрибба, и удалился, вкладывая на ходу свежий патрон. Мысли его прыгали, он вдруг почувствовал глубокое утомление и слабость. Кожа на груди, разорванная выстрелом Дрибба, вспухла, сочаась густой кровью, стекавшей по животу горячими каплями. Присев, он разорвал рубашку на несколько широких полос и, сделав из них нечто вроде бинта, туго обмотал ребра. Повязка быстро намокла и стала красной, но больше ничего не было.

Пока он возился, Дрибб, лежавший без движения с простреленною навывлет грудью, открыл глаза и выплюнул густой сверток крови. Близкая смерть приводила его в отчаяние. Он пошевелил телом, оно двигалось, как мешок, наполненное острой болью и слабостью. Дрибб пополз к

лошади, со стоном тыкаясь в сырую траву, как щенок, потерявший свой ящик. Лошадь стояла неподвижно, повернув голову. Путь в четыре сажени показался Дриббу тысячетлетним. Захлебываясь кровью, он подполз к стремяни.

Зигма, вертясь и прыгая, смотрела на усилия человека, пытавшегося сесть в седло, потеряв половину крови. Он обрывался пять раз, в шестой он сделал это удачнее, но от невероятного напряжения лес и небо заплясали перед его глазами быстрее, чем мухи на падали. Он сидел, охватив руками шею лошади, одна нога его выскользнула из стремени, и он не пытался вставить ее на место. Лошадь, встряхнув гривой, пошла рысью.

Горн, услышав топот, стремглав кинулся к месту, где упал Дрибб. Кровяная дорожка шла по направлению к лесу,— красное на зеленом, словно жидкие, рассыпанные кораллы.

— Поздно,— сказал Горн, бледнея от неожиданности.

Охваченный тревогой, он вошел в лес и двинулся по направлению к озеру так быстро, как только мог. Исчезли золотистые просветы, ровная предвечерняя тень лежала на стволах и на земле, грудь ныла, как от палочного удара. Почти бегом, торопливо перескакивая сваленные бурей стволы, Горн подвигался вперед и видел труп Дрибба, падающий с загнанной лошади среди толпы колонистов.

«Если труп найдет силы произнести только одно слово, я буду иметь дело со всеми»,— подумал Горн.

Он уже бежал, задыхаясь от нервного напряжения. Лес, как толпа бессильных друзей, задумчиво расступился перед ним, открывая тенистые провалы, полные шума крови и прихотливых зеленых волн.

IX

Дверь, укрепленная изнутри, вздрагивала от нетерпеливых ударов, но стойко держалась на своем месте. Горн быстро переводил взгляд с незащищенного окна на нее и обратно, внешне спокойный, полный глухого бешенства и тревоги. Это был момент, когда подошва жизни скользит в темноте над пропастью.

Он был в центре толпы, спешившейся, щадя лошадей. Животные ржали поблизости, тревожно пофыркивая в предчувствии близкой схватки. Земля, взрытая на середине поля, зияла небольшой ямкой, по краям ее лежали грязные

узелки и самодельные кожаные мешочки, пухлые от напоявшего их мелкого золота. Тусклое, завернутое в сырую, еще пахнущую вяленным мясом кожу, оно было так же непривлекательно, как красный, живой комок в руках акушерки, зевающей от бессонной ночи. Но его было довольно, чтобы человек средней силы, взвалив на спину все мешочки и узелки, не смог пройти ста шагов.

Горн думал о нем не меньше, чем о себе, стиснутом в четырех стенах. Все зависело от того, как повернутся события. Он почти страдал при мысли, что случайный уклон пули может положить его рядом с неожиданным подарком судьбы, лежавшим у его ног.

Свежие удары прикладом в дверь забарабанили так часто и увесисто, что Горн невольно протянул руку, ожидая ее падения. Кто-то сказал:

— Если вы не цените вежливости, мы поступим, как вздумается. Что вы скажете, например, о...

— Ничего,— перебил Горн, не повышая голоса, потому что тонкие стены отчетливо пропускали слова.— Будь вас хоть тысяча, вы можете убить только одного. А я — многих.

Одновременно с треском выстрела пуля пробила дверь и ударилась в верхнюю часть окна. Горн переменил место.

— Право,— сказал он,— я не буду разговаривать, потому что, целясь по слуху, вы можете прострелить мне голосовые связки. Пока же вы ошиблись только на полсажени.

Он повернулся к окну, разрядил штуцер в чью-то мелькнувшую голову и всунул новый патрон.

— Подумайте,— произнес тот же голос, подчеркивая некоторые слова ударом приклада,— что смерть под открытым небом приятнее гибели в мышеловке.

— Дрибб умер,— сказал Горн.— Ничто не может воскресить его. Он был горяч и заносчив, следовало остудить парня. Я предупредителен, пока это не грозит смертью самому мне. Умер, что делать?! Собака Зигма виновата в этом больше меня: опасно иметь тонкое обоняние.

Глухой рев и треск досок, пробитых новыми пулями, остановил его.

— Какая настойчивость! — сказал Горн. Холодное веселье отчаянья толкало его к злым шуткам.— Вы мне надоели. Надо иметь терпение ангела, чтобы выслушивать ваши нескладные угрозы.

За стеной разговаривали. Сдержанные восклицания и топот шагов то замирали, то начинали снова колесить вокруг дома, ближе и дальше, ближе и дальше, вместе и враспынную. Стеклянная пыль месяца падала у окна тусклым четырехугольником, упорно трещал камыш, словно там укладывался спать и все не мог приспособиться большой зверь. Горн плохо чувствовал свое тело, дрожавшее от чрезмерного возбуждения; превращенный в слух, он машинально поворачивал голову во все стороны, держа на взводе курки и ежесекундно вспоминая о револьвере, оттягивавшем карман.

Вдруг треснул залп, от которого вздрогнули руки Горна и зазвенело в ушах. Множество мелких щеп, выбитых пулями, ударили его в лицо и шею, кой-где расцарапав кожу.

После мгновенной тишины голос за дверью сухо осведомился:

— Вы живы?

Горн выстрелил из обоих стволов, целясь на голос. За дверью, вздрогнувшую от удара пуль, шлепнулось что-то мягкое.

— Жив,— сказал он, щелкая горячим затвором.— А ваше здоровье?

Ответом ему были ругательства и взрыв новых ударов. Другой голос, отрывистый, крикнул из-за угла дома:

— Охота вам тратить пули!

— Для развлечения,— сказал Горн, посылая новый заряд.

Шум усилился.

— Эй, вы!—закричал кто-то.— Клянусь вашей печению, которую я увижу сегодня собственными глазами,— бесполезно сопротивляться. Мы только повесим вас, это совсем не страшно, гораздо лучше, чем сгореть! Подумайте насчет этого!

Слова эти звучали бы совсем добродушно, не будь мертвой тишины пауз, разделявших фразу от фразы. Горн улыбнулся с ненавистью в душе; компания, собиравшаяся поджарить его, вызывала в нем настойчивое желание разmozжить головы поочередно всем нападающим. Он не испытывал страха, для этого было слишком темно под крышей и слишком похоже на сон его одиночество перед разговаривающими стенами.

— Вы не узнали меня,— продолжал отрывистый голос.— Меня зовут Дрибб. Я так до сих пор и не видел вашей физиономии; вы слишком горды, чтобы придти под чужую крышу. А тогда, в бухте было слишком темно. Но терпению бывает конец.

— Жалею, что это вы,— сухо возразил Горн.— Из чувства беспристрастия вам не следовало являться сюда. Что вам сказал сын, падая с лошади?

— Падая с лошади? Но вас не было при этом, надеюсь. Он сказал — «Го...» и захлебнулся. Вот что сказал он, и вы мне ответите за этот обрывок слова.

— Отнеситесь к жизни с философским спокойствием,— насмешливо сказал Горн.— Я не отвечаю за поступки молодых верблюдов. Конечно, мне следовало целиться в лоб, тогда он умер бы в твердой уверенности, что я убил его первым выстрелом. А нет ли здесь Гупи?

— Здесь! — прозвучал хриплый голос. Он раздался далее того места, где, по предположению Горна, стоял Дрибб.

— Гупи,— сказал, помолчав, Горн,— напейтесь идоложертвенной свиной кровью!

Щеки его подергивались от нервного смеха. Визгливая брань колониста режущим скрипом застряла в его ушах. Он продолжал, как бы рассуждая с собой:

— Гупи — человек добрый.

Неожиданная, грустная радость выпрямила спину охотника; он уже сожалел о ней, потому что радость эта протягивала две руки и, давая одной, отнимала другой. Но выхода не было. Нелепая смерть возмущала его до глубины души, он решился.

— Пойдите! — вскричал Горн, — одну минуту! — Быстро, несколькими ударами топора он вырубил верхнюю часть доски в самом углу двери и отскочил, опасаясь выстрела. Но звуки железа, врубающегося в дерево, казалось, несколько успокоили нападающих, — человек мирно рубил доску. В зазубренной дыре чернел кусок мглистого неба.

— Гупи,— сказал Горн, переводя дух и настораживаясь.— Гупи, подойдите ближе, с какой вам хочется истории. Я не выстрелю, клянусь честью. Мне нужно что-то сказать вам.

Человек, поставленный у окна, выглянул и, торопливо приложившись, выстрелил в темноту помещения. Горн отшатнулся, пуля обожгла ему щеку. Охваченный припадком тяжелой злобы затравленного, Горн несколько секунд сто-

ял молча, устремив дуло к окну, и все в нем дрожало, как корпус фабрики на полном ходу — от гнева и ярости.

Овладев собой, он подумал, что Гупи уже подошел на нужное расстояние. Тогда, взяв узелок с песком, весом около двух или трех фунтов, он выбросил его в дыру двери.

— Это вам, — громко сказал Горн. — И вот еще... и еще.

Почти не сознавая, что делает, он с лихорадочной быстрой швырял золото в темноту, тупо прислушиваясь к глухому стуку мешочков, мерно падающих за дверь. Слезы душили его. Маленькая голубая река невинно скользила перед глазами.

Беглый, смешанный разговор вспыхнул за дверь, отдельные голоса звучали то торопливо, то глухо, как сонное бормотание. Горн слушал, смотря в окно.

— Погодите, Гупи!

— Да что вам нужно?

— Положите!

— Оставьте!

— Эй, куда вы?

— Как, — и вы? Тысяча чертей!

— А вам какое дело до этого?

— Где он взял?

— Много!

— Я оторву вам руки!

— Во-первых, вы глупы!

Характерный звук пощечины прорезал напряжение Горна. На мгновение шум стих и разразился с удесятенной силой. Топот, быстрые восклицания, брань, гневный крик Дрибба, тяжелое дыхание борющихся скрещивалось и заглашалось одно другим, переходя в стонущий рев. Почти испуганный, не веря себе, Горн хрипло дышал, прислонившись головой к двери. Он чувствовал смятение, переходящее в драку, внезапное движение алчности, увеличивающей воображением то, что есть, до грандиозных размеров, резкий поворот настроения.

Продолжительный, звонкий крик вырвался из общего гула. И вдруг грянул выстрел, после которого показалось Горну, что где-то в стороне от его дома, густая толпа мечется в огромной кадрили, без музыки и огней. Он выбил, один за другим, колья, укреплявшие дверь, тихо приотворил ее, и разом исчезла мысль, оставив инстинктивное, бессознательное полусоображение животного, загнанного в тупик.

Шум доносился справа, из-за угла. Людей не было видно, они спешили покончить свои расчеты. Не следовало ожидать, чтобы они бросились поджигать дом в надежде найти там больше, чем было брошено Горном. Жесткие, нетерпеливые, как дети, они предпочитали пока видимое невидимому. Горн вышел за дверь.

Тени, отбрасываемые луной, казались черными бархатными кусками, брошенными на траву, залитую молоком. Воздух неподвижно дымился светом, густым, как известковая пыль. Мрак, застрявший в опушке леса, пестрил ее черно-зелеными вырезами.

Горн постоял немного, слушая биение сердца ночи, беззвучное, как мысленно исполняемая мелодия, и вдруг, согнувшись, пустился бежать к лесу. В ушах засвистел воздух, от быстрых движений разом заныло тело, все потеряло неподвижность и стремглав бросилось бежать вместе с ним, задыхающееся, оглушительно звонкое, как вода в ушах человека, нырнувшего с высоты. Лошадь, привязанная у опушки, казалось, неслась к нему сама, боком, как стояла, лениво перебирая ногами. Он ухватился за гриву; седло медленно качнулось под ним. Торопливо разрезав привязь ножом почти в то время, как открывал его, Горн выпустил из револьвера все шесть пуль в трех или четырех ближайших, метнувшихся от выстрелов лошадей и понесся галопом, и мгла невидимым ливнем воздуха устремилась ему навстречу.

И где-то высоко над головой, переходя с фальцета на альт, запела одинокая пуля, стихла, описала дугу и безвредно легла в песок, рядом с потревоженным муравьем, тащившим какую-то очень нужную для него палочку.

Горн скакал, не останавливаясь, около десяти верст. Он пересек равнину, спустился к кустарниковым зарослям морского плато и выехал на городскую дорогу.

Здесь он приостановился, сберегая силы животного для вероятной погони. Слева, из глубокой пропасти ночи, со стороны озера, слышалось неопределенное тиканье, словно кто-то барабанил пальцами по столу, сбиваясь и снова переходя в такт. Горн прислушался, вздрогнул и сильно ударил лошадь.

Он был погружен в механическое, стремительное оцепенение скачки, где грива, темная, ночная земля, убегающие

силуэты холмов и ритмическое сотрясение всего тела смешивались в подмывающем осязании пространства и головокругительного движения. За ним гнались, он ясно сознавал это и качался от слабости. Утомление захватывало его. Согнувшись, он мчался без тревоги и опасения, с болезненным спокойствием человека, механически исполняющего то, что делается в подобных случаях другими сознательно; спасение жизни казалось ему пустым, страшно утомительным делом.

И в этот момент, когда изнуренный всем пережитым, он был готов бросить поводья, предоставив лошади идти, как ей вздумается, Горн ясно увидел в воздухе бледный огонь свечи и маленькую, обведенную кружевом руку. Это было похоже на отражение в темном стекле окна. Он улыбнулся, — умереть среди дороги становилось забавным, чудовищной несправедливостью, смертью от жажды.

Задумчивое лицо Эстер мелькнуло где-то в углу сознания и побледнело, стерлось вместе с рукой в кружеве, как будто была невидимая, крепкая связь между девушкой из колонии и женщиной с капризным лицом, ради которой — все.

— Алло! — сказал Горн, приподымаясь в седле. — Бедняга затрепыхался!

И он спрыгнул в сторону прежде, чем падающая лошадь успела придавить его бешено дышащими боками.

Затем, успокоенный тишиной, он постоял немного, бросив последний взгляд в ту сторону, где ненужная ему жизнь протягивала объятия, и двинулся дальше.

ТАЙНА ЛЕСА

I

Гудок заревел. И толпа черных людей ринулась в фабричные ворота. Спеша и перегоняя друг друга, они наполнили вечерний воздух смутным гулом, криками и ругательствами.

Дорога в город шла лесом. Лес, пьяный от воздуха, очаровательная тишина чащи, пахучий сумрак полян,— чего еще требовать от земли — жалкой, пригородной земли севера? Бродить в лесу вечером — значит купаться в теплой, смолистой ванне.

Лес, или парк — как угодно, был прорезан тропинками. Каждая из них довольно болтливо говорила о том, кому принадлежат ноги, проложившие ее.

Там, где бродили влюбленные, образовались петли, спирали, неровные причудливые зигзаги, прерываемые более или менее широкими, утоптанymi местами, где она садилась, а он клал ей голову на колени, примащиваясь в траве. Охотники оставляли глубокие, запутанные следы, терявшиеся в зарослях. Рабочие проложили широкую, почти прямую тропу, ведущую от опушки к городу через самое сердце леса. Им некогда было ни останавливаться, ни сворачивать.

Так шли они каждый вечер, прямой, скучной тропой возвращения, в одиночку, попарно, группами, задыхаясь от быстрой ходьбы. Кругом благоухал лес, невидимые цветы кропили воздух ароматным благословением. «Спокойной

ночи, земля!» — говорило небо, закрывая глаза. Но голубые зрачки их еще долго, полусонные и ласковые, следили за миром.

Угрюмый полировщик двигался медленным развалистым шагом. Попутные кабачки вставляли перед его глазами, и пьяный дух стойки заносил над его душой властную руку демона. Это был человек, за неимением водки прибегающий к лаку и политуре, ибо всякому порядочному человеку известно, как много спирта в этих вещах.

Темнело, благодать сумерек окутывала стволы сосен, ели казались черными, замолкли иволги, осторожно стучал дятел. Зеленые огни светляков вспыхнули крошечными, движущимися изумрудами: погасло небо.

Все медленнее шел полировщик — и были тому причины. Жена поджидала его с сжатыми кулаками. Он знал это так же верно, как то, что вчера была получка и он, отец трех детей, ночевал не дома, а на кровати с сидцевыми занавесками, бок о бок с купленным за два рубля телом. И пропил он, как последняя каналья, все свое жалованье.

Совесть его была спокойна. Давным-давно, полируя дерево для вагонных окон, обдумал он, день за днем, год за годом, всю свою жизнь и отчетливо решил плюнуть на всех и на все. Угнетенный промозглым воздухом городского подвала, кислым ароматом пеленок, ненавистным до одури утомлением труда, долгами и драками с женой в дни получек, — он отводил душу в зеленом тумане хмеля, где плавают красные глаза пьяниц и пахнет свалками. Это была ничтожная, нелепая месть дикаря ушибившему его дереву.

II

Когда последний рабочий торопливо обогнал полировщика, стремясь к горшку с кашей и сну, — полировщик свернул с тропы и углубился в темноту леса, путаясь в серых от росы кустах и кочках, покрытых упругим мохом. Он выдумал кое-что и хихикал, улыбаясь новизне положения. Один день отсрочки казался ему блаженством: ночь в лесу, день на работе, и только завтрашний вечер оскалит румяный рот на окна подвала, где будет вопить взлохмаченная, костлявая, плоскогрудая женщина, требуя денег.

Да, он решился переночевать в лесу. Подходящие к случаю пословицы прыгали в голове. День да ночь — сутки прочь. Летом каждый кустик ночевать пустит. Лег — свернулся, встал — встряхнулся.

В глубоком молчании тишины прозвучал отрывистый, тупой звук, охнуло эхо, и все стихло. И стало еще тише, чем раньше. Полировщик остановился, прислушался, лениво махнул рукой и снова побрел, тяжело придавливая сапогами скользкую хвою. Он мог бы, конечно, лечь просто там, где стоял, но ему все время казалось, что впереди, шагов за пять — пятнадцать, приготовлено какое-то место поудобнее. Но это был просто лес — трава, корни, кусты и кочки.

Он шел, пока не споткнулся, сунувшись на четвереньки, лицом в мелкий рябинник. Руки его уперлись в мягкое, податливое; ноготь скользнул по пуговице. Толчок был довольно силен, и полировщик выпрямился скорей, чем упал, приготавливаясь на всякий случай к возражению действием.

Лежащий безмолвствовал. Мало того — он даже не захрипел и не перевернулся на другой бок, как это принято у порядочных пьяниц, когда их тревожат.

— Ох, сердце мое! — сказал испуганный полировщик; хватаясь за левый бок, и стал искать спички. Они у него были раньше, а теперь упорно не находились...

— Почему же нет спичек? — обиженно спросил полировщик. — А были хорошие спички, пороховые. Спички, которые в жилетном кармане — и сбегли! Вот покури теперь тут, кузькина мать, покури!

Хорошо, — продолжал он после некоторого размышления. — Я, представьте, иду ночью — и ежели еще в потемках пьяное туловище спящее, то я без спичек не могу осветить его физиономии! Спишь! Спи, спи, приятель, до сладостного утра. Где ты, там и я. Жилеточку постелю, пиджачком накроюсь, чтобы, значит, дух теплый из глотки под мышку шел, а в головы, с вашего позволения, пьяное благородие, сунем кустик. Так оно все и выйдет.

И, разговаривая, он стал укладываться, довольный близким соседством пьяного, но живого тела, быть может, знакомого слесаря или литейщика, с которым завтра они будут таращить друг на друга заспанные глаза, вздраги-

вая от резкого холода. Прежде, чем лечь, он ткнул спящего в бок и, стоя на коленях, долго прислушивался к хриплому, рвущемуся дыханию. А тот был неподвижен и молчалив.

III

Полировщику не спалось. Тьма беззвучно клубилась перед его глазами; хвоя колола шею; он вертелся, вздыхая и охая, как самый добродетельный человек, мучимый совестью за кражу в детстве соседского яблока. Тысячи ушей выросли на его голове; телом, сапогами и брюками, даже последней пуговицей ловил он разнообразный шепот леса, микроскопические звуки тишины, сонные голоса ночи. Вкрадчивая, напряженная тревога смотрела ему в глаза густым мраком. Рядом хрипел пьяный.

Полировщик, поворочавшись минут пять, лег на спину. Душная, смолистая сырость распирала его легкие, ноздри, процищенные воздухом от копоти мастерской, раздувались, как кузнечные меха. В грудь его лился густой, щедрый поток запахов зелени, еще вздрагивающей от недавней исто-мы; он читал в них стократ обостренным обонянием человека с расстроенными нервами. Да, он мог сказать, когда потянуло грибами, плесенью или лиственным перегноем. Он мог безошибочно различить сладкий подарок ландышей среди лекарственных брусники и папоротника. Можжевельник, дышавший гвоздичным спиртом, не смешивался с запахом бузины. Ромашка и лесная фиалка топили друг друга в душистых приливах воздуха, но можно было сказать, кто одолевает в данный момент. И, путаясь в этом беззвучном хоре, струился неиссякаемый, головокружительный, хмельной дух хвойной смолы.

Полировщик лежал, слушая, как глухо, с замираниями и переборами, стучит его сердце, отравленное алкоголем. Томительное волнение боролось в его душе с дремотой. Сон убежал вдруг, большими, решительными скачками; мысли, похожие на шелест ночного ветра, наполнили голову; тонкая, капризная грусть стеснила волосатую шею. Полировщик вздыхал, охал; темные невысказанные желания распирали его. В траве, резко отделенные ничтожным пространством, ползли сосредоточенные, извилистые шорохи.

Сперва ухо поймало два или три из них, но потом их прибавилось; невидимая армия насекомых пробиралась в стеблях и хвое, снуя по всем направлениям, и чудилось, что тихо, чуть слышно, звенит трава. Измученный смех совы просыпался в глубине леса. Вслед за этим детский, отчаянный плач зайца резнул ухо и смок. Прошла минута безмолвия; где-то поблизости разбуженная, маленькая, как орех, синкагайка пропела печальным, милым, отрывистым свистом, фыркнула крыльями и утихла. Кукушка подала голос, ее отчетливые, мелодичные восклицания звучали подобно металлическому шарiku, подскакивающему на медном подносе. И с недалекой реки жалобной флейтой пропел кулик, вспархивая над сонной водой.

— Мать честная, отец праведный! — сказал полировщик. — Одно беспокойство, а не то, чтобы что-нибудь.

Нестройная армия воспоминаний маршировала в его возбужденной голове. Палящий, краснощекий, голубоглазый деревенский зной полудня вспыхнул и закружился ослепительным светом. Уютный простор полей пестрел крыльями голубей, лохматыми, увядающими снопами и движущейся вереницей красных бабьих платков. Синяя жидкость озер среди зеленых, плюшевых отворотов осоки.

Крупное дыхание вспотевших лошадиных тел, темные силуэты людей на фоне красной зари. Божественный, великолепный запах земли, сладкий, как только что подоенное молоко, и острый, как запах женщины!

Но это были только расстроенные нервы. Душа этого человека, разбуженная лесом, тянулась к земле, свободной от унылого буханья машинных прессов и мелкой железной пыли, отравлявшей растительность. Он испытывал тяжелое, бессознательное, хныкающее страдание и умиление перед неизвестным, трогающим его щедрой мощностью сил, брызжущих во все стороны, как кровь из раненого, полнокровного тела. Он только сказал, вспоминая слова песни:

Хорошо бы во лесочке
Под-оехать ко милочке...

К себе он чувствовал сладкую, тягучую жалость и глубокую ненависть за все: нищету города и слякоть подвала, убийственный монотонный труд и золотушных детей. И за

то, что никак не мог уяснить — чего же он хочет, и чего не хочет, и где же радость?

Крупное, трехэтажное ругательство выползло на его губы и скорчилось, придавленное безмолвием. Щеки полировщика вздрагивали, а слезящиеся, узенькие глаза скупно точили на них нудную, соленую влагу. Он повернулся лицом к земле и поцеловал ее в колючую хвою нежным, иступленным лобзанием, как целуют грудь женщины.

Но едва ли знал он, почему это так вышло: голова, про-спиртованная суточным пьянством, одиночество, расстро-енные вконец нервы...

Желтые лоскутки солнца, блеклая ржавчина сосновых стволов и пестрые, цветные лужайки. Небо еще бледно, за-спано и холодно-холодно, как утренняя вода для горячего, после сна, лица.

Полировщик проснулся. Пробуждение его было резко от холодного воздуха, ночная сырость, постепенно про-никая в одежду, копила там дрожь утреннего озноба; по-лировщик, содрогаясь всем телом, сел, застучал зубами и осмотрелся.

Пьяница лежал рядом, ничком. Тело его, одетое в при-личный черный костюм, напоминало положением своим букву Т — раскинутые и согнутые в кистях, ладонями вверх руки. Его шляпа высовывалась из-под лица смятым краем, коротко остриженные, черные волосы смотрели на полиро-вщика слепым взглядом затылка. Сохраняя в лице выраже-ние осторожной предупредительности, полировщик нагнул-ся, взял руку соседа, испуганно поддержал ее несколько моментов и выпустил, рассматривая круглыми, как пуговицы, глазами почерневшую кровь лица. Из-за уха к щеке лежащего тянулась запекшаяся, неров-ная полоса, и пьяный вчера — сегодня стал для полиро-вщика трупом.

Опущенная рука хлопнулась на траву и, повернувшись, приняла прежнее положение. Возле нее лежал револьвер, полузакрытый стеблями.

— Караул, — закричал полировщик, пятясь, как ло-шадь от узды. — Ай! Ай! Ай!

Весь в жару от волнения, он то подходил ближе, то ог-лядывался, топтался, кружась вокруг мертвого, охая бес-мысленно, торопливо ругаясь. Труп казался ему обманщи-ком, чем-то вроде пройдохи, кланчащего на бутылку, и воз-

буждал в нем острое любопытство, смешанное с презрением.

— Дурак... ах ты господи! Дурак! — выпячивая губы, тянул он. — Руки на себя наложить, какие же это способности... а?

Бодрый от сна, он вспомнил, какой он хороший мастеровой, как его уважает начальство, как в следующую получку он непременно, непременно принесет домой все, решительно все, до одной копейки, и почувствовал к мертвецу презрительную жалость, нечто вроде презрения мужика к барину, выпиливающему по дереву. Затем, струсив, что его могут увидеть здесь, возле трупа, поспешными, большими шагами зашагал в сторону, туда, где по просвечивающей среди деревьев тропе тянулись группы рабочих.

Монотонная ярость гудка будила окрестности. Пар насмешливо выдувал:

Для рабов —
Ни полей,
Ни цветов!

ИМЕНИЕ ХОНСА

I

В конце июля я получил несколько настойчивых писем от старого друга Хонса, приглашавших меня то в вежливой, то в добродушно-бранчливой форме посетить недавно приобретенное им имение. Как раз в это время я приводил в порядок запутанные благодаря долгому отсутствию отношения мои с некоторыми крупными редакциями и был по горло занят работой. Последнее письмо Хонса я долго держал в руках; текст его носил отпечаток болезненного возбуждения и, не скрою, сильно задел мое природное любопытство.

«Проклятье городу! — писал Хонс своим прыгающим тесным почерком. — Я счастлив только теперь; кругом свет. Относительно города: имей он форму стула, я с удовольствием сломал бы его вдребезги. Ты должен приехать. Ты будешь поражен. Я открыл истину спасения мира».

Далее следовал ряд обычных пожеланий и вопросов. «Истина спасения мира» заставила меня громко расхохотаться. Конечно, это был ряд веселых, пикантных развлечений, на которые чудаковатый Хонс был мастер всегда.

В раздумьи я подошел к зеркалу. Сидячая жизнь в течение последних трех месяцев сильно изменила мою наружность: исчезла здоровая полнота, результат пребывания на берегах океана, слил загар, взгляд стал рассеянным, беспокойным, лицо осунулось. В деревне у Хонса,

должно быть, действительно хорошо. В конце концов, какая-нибудь неделя отдыха могла только помочь впоследствии в успешном конце работы. Я позвонил и приказал горничной собрать чемодан.

II

Описывать, как я приехал на вокзал, спал в душном вагоне, положив голову на плечо уснувшей толстой молочницы, и как благополучно прибыл к назначенному месту,— считаю совершенно излишним. Потрясающая сущность этого рассказа начинается с того момента, когда я увидел Хонса.

Дело было вечером. Сумеречные краски зари сияли тихим благословением, пахло полевыми цветами, росой и необыкновенно вкусным, густым, как смородиновое пиво, деревенским воздухом. Хонс стоял у ворот, широко расставив руки. Он сильно изменился. В степенном, величественном господине трудно было узнать прежнего Хонса, всегдашняя маленьких кабачков и тех веселых городских мест, откуда можно уйти с распоротым животом.

— Я счастлив,— сказал он, обнимая меня, когда я соскочил с лошади и, несколько смущенный торжественностью его голоса, пытался весело засмеяться.— Пойдем же; Гриль, уберите лошадь и насыпьте ей двойную порцию ячменя. Конечно, ты удивлен тем, что я разбогател, не так ли? Это поучительная история.

В Хонсе резко вспыхнула новая для меня черта: он казался подавленным и удрученным, что совершенно и неприятно дисгармонировало с его полной, цветущей внешностью, великолепной бородой и кротким, пронизательным взглядом. Костюм его был оригинален: совершенно белый, он производил впечатление, как будто на Хонса вытряхнули мешок муки. Шляпа, галстук и сапоги были тоже белые.

Мы шли через обширный красивый сад, и, пока Хонс с неестественной для него суетливостью, сбиваясь и путаясь, рассказывал мне действительно слегка подозрительную историю своего обогащения (перепродал чьи-то паи), я с любопытством осматривался. Чрезвычайно нежные, поэтические тона царствовали вокруг. Бледно-зеленые газоны, окруженные светло-желтыми лентами дорожек, примыкали к плоским цветущим клумбам, сплошь засаженным

каждая каким-нибудь одним видом. Преобладали левкой и розовая гвоздика; их узорные, светлые ковры тянулись вокруг нас, заканчиваясь у высокой, хорошо выбеленной каменной ограды маленькими полями нарциссов. Своеобразный подбор растений дышал свежестью и невинностью. Не было ни одного дерева, нежно цветущая земля без малейшего темного пятнышка производила восхитительное впечатление.

— Что ты скажешь? — пробормотал Хонс, заметив мое внимание. — Заметь, что здесь нет ничего темного, так же, как и в моем доме.

— Темного? — спросил я. — Судя по твоим сапогам. Но все-таки, конечно, у тебя есть в доме чернила.

— Цветные, — горделиво произнес Хонс. — Преимущественно бледно-лиловые. Это моя система возрождения человечества.

Моя недоверчивая улыбка прищипорила Хонса. Он сказал:

— Мы войдем... и ты узнаешь... я объясню...

III

Наш разговор оборвался, потому что мы подошли к большому, каменному белому дому. Хонс открыл дверь и, пропуская меня, сказал:

— Я пойду сзади, чтобы ничем не нарушать твоего внимания.

Недоумевающий, слегка растерянный, я поднялся по лестнице. Действительно, все было светлое. Потолки, стены, ковры, оконные рамы — все поражало однообразием бледных красок, напоминавших больничные палаты в солнечный день.

— Иди дальше, — сказал Хонс, когда я остановился у двери первой комнаты.

Невольно я обернулся. В двух шагах от моей спины стоял Хонс и смотрел на меня пристальным взглядом, от которого, не знаю почему, стало жутко. В тот же момент он взял меня под руку.

— Смотри, — сказал Хонс, показывая отделку залы, — необычайная гармония света. Не к чему придраться, а?

Необычайная гармония? Я сомнительно покачал головой. Мне, по крайней мере, она не нравилась. Смертельная бледность мебели и обоев казалась мне эстетическим недо-

мыслим. Я тотчас высказал Хонсу свои соображения по поводу этого. Он снисходительно усмехнулся.

— Знаешь,— произнес он,— пока подают есть, пойдем в кабинет, и я изложу тебе там свои убеждения.

По светлому паркету, через бело-розовый коридор мы прошли в голубой кабинет Хонса. Из любопытства я сунул палец в чернильницу, и палец стал бледно-лиловым. Хонс рассмеялся. Мы уселись.

— Видишь ли,— сказал Хонс, бегая глазами,— порочность человечества зависит безусловно от цвета и окраски окружающих нас вещей.

— Это твое мнение,— вставил я.

— Да,— торжественно продолжал Хонс,— темные цвета вносят уныние, подозрительность и кровожадность. Светлые — умиротворяют. Благотворное влияние светлых тонов неопровержимо. На этом я построил свою теорию, тщательно изгоняя из своего обихода все, что напоминает мрак. Сущность моей теории такова:

- 1) Люди должны ходить в светлых одеждах.
- 2) Жить в светлых помещениях.
- 3) Смотреть только на все светлое.
- 4) Убить ночь.

— Послушай! — сказал я. — Как же убить ночь?

— Освещением, — возразил Хонс. — У меня по крайней мере всю ночь горит электричество. Так вот: из поколения в поколение взор человека будет встречать одни нежные, светлые краски, и, естественно, что души начнут смягчаться. Пойдем ужинать. Завтра я расскажу тебе о всех моих удачах в этом направлении.

IV

В столовой палевого оттенка мы сели за стол. Прислуживал нам лакей, одетый, как и сам Хонс, во все белое. За ужином Хонс ел мало, но тщательно угощал меня прекрасными деревенскими кушаньями.

— Хонс,— сказал я,— а ты... ты чувствуешь возрождение?

— Безусловно.— Глаза его стали унылыми.— Я чувствую себя чистым душой и телом. Во мне свет.

Я выпил стакан вина.

— Хонс,— сказал я,— мне чертовски хочется спать.

— Пойдем.

Хонс поднялся, я следовал за ним; конечно, он привел меня в светло-сиреневую комнату; я пожелал ему доброй ночи. Кротко мерцая глазами, Хонс вышел и тихо притворил дверь.

Засыпая, я громко хихикал в одеяло.

Затем наступили совершенно невероятные события. Какой-то шум разбудил меня. Я сел на кровати, протирая глаза. Издали доносился топот, крики, металлическое бряцание. Первой моей мыслью было то, что в доме пожар. Полуодетый я выбежал в коридор, пробежал ряд яркоосвещенных, бледно-цветных комнат, в направлении, откуда слышался шум, открыл какую-то дверь и превратился в сояной столб...

Мертвецки пьяный, в одном нижнем белье, Хонс сидел на коленях у полуголой женщины. На полу валялись бутылки, еще две красавицы с растрепанными волосами орали во все горло непристойные песни, размахивая руками и изредка хлопая Хонса по его маленькой лысине. На подоконнике три оборванца с лицами преступных кретинов изображали оркестр. Один дул что есть мочи в железную трубку от холодильника, другой бил кулаком в медный таз, третий, схватив крышку от котла, пытался сломать ее каминной кочергой. Хонс пел:

И-трах-тах-тах,
И-трах-тах-тах,
У-ы, у-ы, у-ы.

При моем появлении произошло замешательство. Кретины бежали через окно, прыгая, как обезьяны, в кусты. Вzbешенный Хонс, схватив кухонный нож, бросился на меня, я быстро захлопнул дверь и повернул ключ. Тогда за запертой дверью поднялся невероятный содом.

Поспешно удалившись, я стал обдумывать меры, могущие успокоить Хонса. Конечно, прежде всего следовало уничтожить следы Гоморры, но Хонс был в той комнате, с ножом, следовательно...

Постояв с минуту, я прошел к себе, взял револьвер и снова подкрался к двери. К моему удивлению, наступила тишина. Употребив две минуты на то, чтобы вытащить ключ, не брякнув им, я успешно выполнил это и посмотрел в скважину.

Хонс, сраженный вином, лежал на полу и, по-видимому, спал. Женщин не было, вероятно, они, так же как и

кретины, удалились через окно. Тогда я вложил ключ, открыл дверь и, осторожно, чтобы не разбудить Хонса, привел все в порядок, выкинув за окно бутылки и музыкальные инструменты.

Затем я легонько встряхнул Хонса. Он не пошевелился. Я удвоил усилия.

— Ну, что? — слабо простонал Хонс, приподымаясь на локте.

Я взял его под мышки и поставил на ноги. Он стоял против меня, покачиваясь, с опухшим, бледным лицом.

— Ты... — начал я, но вдруг свирепая, сумасшедшая ярость исказила его черты: я был свидетелем.

С находчивостью, свойственной многим в подобных же положениях, я мягко улыбнулся и положил руку на его плечо.

— Тебе приснилось, — кротко сказал я. — Галлюцинация. Вспомни преподобных отцов.

— Что приснилось? — подозрительно спросил он.

— Не знаю, что-то, должно быть, страшное.

Он с сомнением осматривал меня. Я сделал невинное лицо. Хонс осмотрелся. Порядок в комнате, видимо, поразила его. Еще мгновение, еще ласковая гримаса с моей стороны, и он уверовал в мое неведение.

— Что же такое страшное могло мне присниться? — с наивной доверчивостью, свойственной многим сумасшедшим, сказал он. — С тех пор, как я живу здесь, сны мои светлы и приятны.

Он громко и стыдливо захохотал, в полной уверенности, что обманул меня. Тогда я вздохнул свободно.

РАССКАЗ БИРКА

Вначале разговор носил общий характер, а затем перешел на личность одного из присутствующих. Это был человек небольшого роста, крепкий и жилистый, с круглым бритым лицом и тонким голосом. Он сидел у стола в кресле. Красный абажур лампы бросал свет на всю его фигуру, за исключением головы, и от тени лицо этого человека казалось смуглым, хотя в действительности он был всегда бледен.

— Неужели, — сказал хозяин, глотая кофе из прозрачной фарфоровой чашечки, — не-у-же-ли вы отрицаете жизнь? Вы самый удивительный человек, какого я когда-либо встречал. Надеюсь, вы не считаете нас призраками?

Маленький человек улыбнулся и охватил руками колени, легонько покачиваясь.

— Нет, — возразил он, принимая прежнее положение, — я говорил только о том, что все мои пять чувств причиняют мне постоянную, теперь уже привычную боль. И было такое время, когда я перенес сложную психологическую операцию. Мой хирург (если продолжать сравнения) остался мне неизвестным. Но он пришел, во всяком случае, не из жизни.

— Но и не с того света? — вскричал журналист. — Позвольте вам сообщить, что я не верю в духов, и не трогайте наших милейших (потому что они уже умерли) родственников. Если же вам действительно повезло и вы удостоились интервью с дедушкой, тогда лучше покрывите душой

и соворите что-нибудь новенькое: у меня нет темы для фельетона.

Бирк (так звали маленького человека) медленно обвел общество серыми выпуклыми глазами. Напряженное ожидание, по-видимому, забавляло его. Он сказал:

— Я мог бы и не рассказывать ввиду почти полной безнадежности заслужить доверие слушателей. Я сам, если бы кто-нибудь рассказал мне то, что расскажу я, счел бы себя вправе усомниться. Но все же я хочу попытаться внушить вам к моему рассказу маленькое доверие; внушить не фактическими, а логическими косвенными доказательствами. Все знают, что я — человек, абсолютно лишенный, так называемого «воображения», то есть способности интеллекта переживать и представлять мыслимое не абстрактными понятиями, а образами. Следовательно, я не мог бы, например, правдоподобно рассказать о кораблекрушении, не быв свидетелем этой катастрофы. Далее, каждый рассказ убедителен лишь при наличии мелких фактов, подробностей иногда неожиданных и редких, иногда простых, но всегда производящих впечатление большее, чем голый остов события. В газетном сообщении об убийстве мы можем прочесть так: «Сегодня утром неизвестным преступником убит господин N». Подобное сообщение может быть ложным и достоверным в одинаковой степени. Но заметка, ко всему остальному гласящая следующее: «Кровать сдвинута, у бюро испорчен замок», не только убеждает нас в действительности убийства, но и дает некоторый материал для картинного представления о самом факте. Надеюсь, вы понимаете, что я хочу этим сказать следующее: подробности убедят вас сильнее вашего доверия к моей личности.

Бирк остановился. Одна из дам воспользовалась этим, чтобы вернуть следующее замечание:

— Только не страшное!

— Страшное? — спросил Бирк, снисходительно улыбаясь, как будто бы говорил с ребенком. — Нет, это не страшное. Это то, что живет в душе многих людей. Я готов развернуть перед вами душу, и если вы поверите ей, — самый факт необычайного, о котором я расскажу и который, по-видимому, более всего вас интересует, потеряет, быть может, в глазах ваших всякое обаяние.

Он сказал это с оттенком печальной серьезности и глубокого убеждения. Все молчали. И сразу самым сложным,

таинственным аппаратом человеческих восприятий я почувствовал сильнейшее нервное напряжение Бирка. Это был момент, когда настроение одного передается другим.

— Еще в молодости,— заговорил Бирк,— я чувствовал сильное отвращение к однообразию, в чем бы оно ни проявлялось. Со временем это превратилось в настоящую болезнь, которая мало-помалу сделалась преобладающим содержанием моего «я» и убила во мне всякую привязанность к жизни. Если я не умер, то лишь потому, что тело мое еще было здорово, молодо и инстинктивно стремилось существовать наперекор духу, тщательно замкнувшемуся в себе.

Употребив слово «однообразие», я не хочу сказать этим, что я сознавал с самого начала причину своей меланхолии и стремления к одиночеству. Долгое время мое болезненное состояние выражалось в неопределенной и, по-видимому, беспричинной тоске, так как я не был калекой и свободно располагал деньгами. Я чувствовал глухую полусознательную враждебность ко всему, что воспринимается пятью чувствами. Всякий из вас, конечно, испытывал то особенное, противное, как кислое вино, настроение вялости и томительной пустоты мысли, когда все окружающее совершенно теряет смысл. Я переживал то же самое, с той лишь разницей, что светлые промежутки становились все реже и, наконец, постепенно исчезли, уступив место холодной мертвой прострации, когда человек живет машинально, как автомат, без радостей и страданий, смеха и слез, любопытства и сожаления; живет вне времени и пространства, путает дни, доходит до анекдотической рассеянности и, в редких случаях, даже теряет память.

Случай показал мне, что я достиг этого состояния трупa. На площади, на моих глазах, днем, огромный фургон, нагруженный мебелью, переехал одно из безобидных существ, бегающих с картонками, разнося шляпы и платья. Подойдя к месту катастрофы (не из любопытства, а потому, что нужно было перейти площадь) тем же ровным ленивым шагом, каким все время я шел,— я машинально остановился, задержанный оравой разного уличного сброда, толпившегося вокруг бледного, как известка, погонщика. Девочка лежала у его ног, лицо ее, густо запачканное грязью, было раздавлено. Я видел только багровое пятно с выскочившими от боли глазами и светлые вьющиеся волосы. Сбоку валялась опрокинутая картонка — причина несчастья. Как говорили в толпе, фургон ехал рысью; малютка

уронила свою ношу под самые ноги лошадей, хотела схватить, но упала, и в то же мгновение пара подков превратила ее невыпавшее личико в кровавую массу.

Толпа страшно шумела, выражая свое негодование; трое полицейских с трудом удерживали дюжих мещан, желавших немедленно расправиться с погонщиком. Я видел слезы на глазах женщин, слышал их всхлипывания и, постояв секунд пять, двинулся дальше.

Повторяю: я все это видел и слышал, но мои нервы остались совершенно покойны. Я не чувствовал этих людей, как живых, страдающих, потрясенных, рассерженных, я видел одни формы людей, колеблющиеся, размахивающие руками; черты лиц, меняющие выражение; слышал то громкие, то тихие восклицания; шумные вздохи прибежавших издалека; но это были только звуки и линии, формы и краски, неспособные дать мне малейшее представление о чувствах, волновавших толпу. Я был спокоен; через двадцать шагов началась улица, я зашел в табачную лавку и купил запонки.

Вечером, механически перелистывая книгу истекшего дня, я интересовался своим отношением к жизни как раз по поводу вышеописанного происшествия. Быть может, вы замечали, что зрелище поденщика, раскалывающего дрова под вашим окном, вызывает в вас настолько ясные представления о мускульных усилиях дровокола, что вы сами испытываете некоторое внутреннее напряжение всякий раз, когда топор взвизывает над поленом. Ритм жизни, кипевший вокруг меня, можно было сравнить именно с движениями человека, занятого трудной работой; но я лишь гальванически отражал ее. Такое состояние духа, вероятно, никогда не доставило бы мне малейшей тревоги, если бы не неимоверная скука, порождавшая раздражительность и тоску. Я не находил себе места; родственники с тревогой следили за моим поведением, так как я терял аппетит, худел и делался невыносим в общежитии, внося своей неуравновешенностью полный разлад в семью.

Разумеется, я много размышлял о себе и сделал ряд наблюдений, одно из которых явилось для меня фонарем, бросившим свет на темные, полусознательные пути моего духа. Так, я заметил, что чувствую некоторое удовлетворение, совершая загородные прогулки, вдали от зданий. Надо сказать, что с самого детства зрительные ощущения являлись для меня преобладающими, комплекс их совершенно

определял мое настроение. Эта особенность была настолько сильна, что часто любимые из моих мелодий, сыгранные в отталкивающей обстановке, производили на меня неприятное впечатление. Основываясь на этом, я постарался провести параллель между зрительными восприятиями города и загородного пейзажа. Начав с ф о р м ы, я применил геометрию. Существенная разница линий бросалась в глаза. Прямые линии, горизонтальные плоскости, кубы, прямоугольные пирамиды, прямые углы являлись геометрическим выражением города; кривые же поверхности, так же, как и кривые контуры, были незначительной примесью, слабым узором фона, в основу которого была положена прямая линия. Наоборот, пейзаж, даже лесной, являлся противоположностью городу, воплощением кривых линий, кривых поверхностей, волнистости и спирали.

От этого определения я перешел к краскам. Здесь не было возможности точного обобщения, но все же я нашел, что в городе встречаются по преимуществу темные, одно-тонные, лишенные оттенков цвета, с резкими контурами. Лес, река, горы, наоборот, дают тона светлые и яркие, с бесчисленными оттенками и движением красок. Таким образом, в основу моих ощущений я положил следующее:

Кривая линия. Прямая линия. Впечатление т е н и, доставляемое городом. Впечатление света, доставляемое природой. Всевозможные комбинации этих основных элементов зрительной жизни, очевидно, вызывали во мне то или другое настроение, колеблющееся, подобно звукам оркестра, по мере того, как видимое сменялось передо мной, пока чрезмерно сильная впечатлительность, поражаемая то одними и теми же, то подобными друг другу формами, не притупилась и не атрофировалась. Что же касается загородных прогулок, то относительно благотворное действие их являлось чувством контраста, так как в городе я проводил большую часть времени.

Продолжая углубляться в себя, я пришел к убеждению, что именно однообразие, резко ощущаемое мной, является несомненной причиной моего угнетенного состояния. Желая проверить это, я перебрал прошлое. Там ничего не было такого, что не переживалось бы другими людьми, и, наоборот, не было ничего доступного человеческой душе, чего не испытал бы и я. Разница была только в форме, обстановке и интенсивности. Разлагая свою жизнь на составные ее элементы, я был поражен скудостью человеческих пере-

живаний; все они не выходили за границы маленького, однообразного, несовершенного тела, двух-трех десятков основных чувств, главными из которых следовало признать удовлетворение голода, удовлетворение любви и удовлетворение любопытства. Последнее включало и страсть к знанию.

Мне было двадцать четыре года, а в молодости, как известно, человек склонен к категорическим заключениям и выводам. Я произнес приговор самому себе. Одна из летних ночей застала меня полураздетым, с твердым решением в голове и стальной штукой в руках, заряженной на семь гнезд. Я не писал никаких записок; мне было совершенно все равно, как будут объяснять причину моей смерти. Введя курок, я вытянулся, как солдат на параде, поднес дуло к виску и в тот же момент на стене, с левой стороны, увидел свою тень. Это было мое последнее воспоминание; тотчас же судорожное сокращение пальца передалось спуску, и я испытал нечто, не поддающееся описанию.

К сознанию меня возвратил резкий стук в дверь. Очнувшись, я мгновенно припомнил все происшедшее. Револьвер, хотя и давший осечку, возбуждал во мне невыразимое отвращение; обливаясь холодным потом, я отбросил его под стол ударом ноги и, шатаясь, открыл дверь. Горничная, вошедшая в комнату с кофейным прибором, взглянув на меня, выронила поднос. Я успокоил ее, как мог, сославшись на бессоницу. Был день, я пролежал без сознания семь часов.

Странно — но этот эпизод развлекал меня и заставлял сосредоточиться на только что пережитых ощущениях. Меня удивлял пароксизм ужаса перед моментом спуска курка. Инстинкт, не подвластный логике, цеплялся за жизнь, которая от общих своих основ и до самых последних мелочей была мне противна, как хинин здоровому человеку. Терзаясь этим противоречием, я чувствовал себя связанным по рукам и ногам. И вне и внутри меня, соединенный через тоненькую преграду — человеческий разум, клубился океан сил, смысл и значение которых были понятны мне столько же, сколько нож вивисектора понятен для обезьяны. И я, подобно тряпке, опущенной на дно быстрой речки, плыл, колеблясь от малейшей струи течения, из темного в неизвестное. Я был не я, а то, что давали мне в продолжение тридцати лет глаз, ухо и осязание.

Последовавший затем период отчаяния достиг такой напряженности, что я шесть дней не выходил из дома. Не знаю, выпил ли кто-нибудь за такой промежуток времени столько, сколько, расхаживая по комнате, выпил я. Вино обращалось в пожар, сжигающий мозг и кровь то светлыми, то отвратительными видениями тоски. Это был пестрый танец в тумане; цветок вина, уродливый, как верблюд, и нежный, как заря в мае; увлечение отчаянием; молитва, составленная из богохульств; блаженный смех в пытке, покой и бешенство. Я громко рассуждал сам с собой, находя огромное наслаждение в звуках собственного голоса, или лежал часами с ощущением стремительного падения, или сочинял мелодии, равных которым по красоте не было и не будет, и плакал от мучительного восторга, слушая их беззвучную, окрыляющую гармонию. Я был всем, что может представить человеческое сознание,—птицей и королем, нищим на паперти и таинственным лилипутom, строящим корабли в тарелку величиной.

Через шесть дней, в середине ночи, я проснулся от мгновенной тревоги, поднявшей волосы на голове дыбом, и тотчас же, дрожа от беспричинного страха, зажег огонь. Кроме меня, в комнате никого не было; только из большого туалетного зеркала смотрело лицо, воспаленное пьянством, страшное и жалкое. Это было мое лицо. С минуту я смотрел на него, не узнавая себя, потом встал, оделся, подгоняемый беспокойством и стремлением двигаться, и вышел на улицу.

Все спали, но ключ от входной двери был у меня, и я, не разбудив швейцара, покинул дом, направляясь к новому мосту. Шел я без всякой цели, но быстро, как человек, боящийся опоздать, и помню, рассердился, когда какой-то прохожий, шедший впереди, то с левой, то с правой стороны тротуара, не сразу посторонился. Воздух был свеж и тих, я жадно глотал его и шел, все ускоряя шаги. У моста я остановился, свернул в боковую улицу и, проходя квартал за кварталом, достиг рынка. По мостовой, скользкой от сырости овощного мусора, беззвучно перебежали собаки, прячась за тумбами. Почувствовав небольшую усталость, я присел на огромный дырявый ящик и стал курить.

Нервы мои были так напряжены, что я чувствовал движение времени, отмечая его малейшим сокращением муску-

лов, неровностью дыхания и тяжелым, бесформенным течением мысли. Я не существовал, как целое; казалось, разбитое и собранное вновь тысячами частиц тело мое страдало физическим страхом перед новой смутной опасностью. В это время два человека вышли из-за угла и тщательно осмотрелись, светя ручным фонариком.

Пространство, разделявшее нас, было не более двух шагов, и я мог достаточно хорошо рассмотреть обоих, оставаясь сам незамеченным, так как столб, подпиравший навес лавок, скрывал мою особу. Один, с оплывшим от спирта угрюмо-благообразным профилем, одетый в коротенькую жакетку с поднятым воротником и котелок, державшийся на затылке, проворно сыпал как будто бессмысленными, ничего не говорящими фразами, набором слов, где общие выражения сталкивались и мешались с лексиконом, подобным тарабарскому языку. Другой, маленький, нервный, в старом пальто, с лицом сморщенной обезьяны, то и дело хватался за поля шляпы, двигая ее взад и вперед, как будто голова его испытывала нестерпимую боль от прикосновения головного убора. Он настойчиво возражал, иногда возвышая свой и без того тонкий гнусавый голос, и беспомощно мотал подбородком, выражая этим, по-видимому, сомнение. Фонарик он судорожно сжимал левой рукой, и тень от его большого пальца, опущенного на стекло, падала огромным пятном в освещенный угол земли, между ящиком и запертой дверью здания.

Я скоро бы разобрал, кто эти люди, ведущие спор ночью, в глухом месте — будь мое соображение несколько посвежее; но в тот момент я тупо смотрел на них, удивляясь лишь странной манере говорить. Оба они, появившиеся так внезапно и тихо, казались видениями яркого сна, навязчивыми образами, преследующими расстроенный мозг. Я, кажется, ожидал их исчезновения; по крайней мере ничуть бы не удивился, расплывшись они в воздухе клубом дыма. Но оба, поговорив, сунули руки в карманы и мелким деловым шагом пошли в сторону.

Я безотчетно встал и пошел за ними, смутно догадываясь, что два вора выходят ночью не на пищеварительную прогулку, и втайне радуясь маленькому, слегка таинственному развлечению — видеть лоскут ночной жизни, так резко отличающейся от дневной, но подчиненной смене одних и тех же законов, знакомых, как лицо родствен-

ника. Ночь, с ее кошками, скрытым от глаз пространством, ворами, бродягами, приближающими в темноте странно блестящие глаза к вашему ожидающему лицу; с нарядно одетыми женщинами, дающими впечатление голых; с тишиной звука и звенящим молчанием — таинственна потому, что в недрах ее у бодрствующих начинается оживать все, убитое законами дня. И я, следуя по пятам за крошечным пятном фонаря, скользившего медленными зигзагами с плиты на плиту, чувствовал себя глазом ночи, причастным ее секретам, хитростям, целям и ожиданиям. Я был соглядатаем, участником из любопытства, звеном между мраком и воровским замыслом. Стараясь шагать беззвучно, я инстинктивно опускал ноги краем подошв и шел бесшумно, как зверь.

Те, за кем я следил, шли безостановочно и уверенно; они, видимо, двигались прямо к цели. Миновав соборную площадь и завернув к реке, они остановились у каменного пятиэтажного дома с огромным подъездом и тотчас же, не теряя времени, приступили к делу.

Я спрятался за угол дома и мог видеть, как маленький завертел руками, пытаясь сломать замок. Должно быть, это оказалось нелегким, потому что сухой треск железа повторялся раз пять, то слабее, то резче, а руки, опытные, проворные руки вора двигались с прежним усилием. Товарищ его то и дело совал ему что-то; маленький брал, кряхтя от нетерпеливой тревоги, и снова начинал взлом. Арсенал хитрых соображений и механических фокусов был пущен в ход перед моими глазами. И вдруг явилось желание попробовать счастья самому, стать вором на час, красться, таиться, разрушать без звука, ходить на цыпочках в незнакомой квартире, брать со страхом, рыться в столах и ящиках и бережно заглядывать в лица спящих светлой щелью фонарика.

Не раздумывая, я встал и твердым шагом пошел к подъезду. И тотчас же увидел мирных прохожих, слегка подвыпивших, но еще бодрых. Котелок сказал обезьяне:

— Позвольте попросить у вас закурить, я потерял спички.

— Пожалуйста, сударь,— ответил маленький, пристально окидывая меня взглядом.— Боюсь, не отсырели ли спички.

— Спички? — сказал я, поворачиваясь в их сторону,— спички есть у меня. Берите.

И я протянул ему спичечницу. Котелок взял ее, пожирая меня глазами. Маленький судорожно поклонился, пискнув:

— Вы очень вежливы!

— Да, по мере возможности! — Я улыбнулся как можно приятнее и раскланялся. — Надеюсь, вас это не обманет? К тому же у меня всегда сухие спички.

— Вы чрезвычайно вежливы, — настойчиво повторил маленький.

— Да, это странно, — отозвался глухим басом другой. — Какая нынче прекрасная погода!

— Погода так хороша, — подхватил я, — что даже не хочется сидеть дома, не правда ли?

Он, не сморгнув, ответил:

— Не отсыреют ли ваши спички, сударь? Воздух немного влажен и не совсем годен для здоровья.

— Другими словами, — сказал я, потеряв терпение, — я вам мешаю? Дверь эта крепкой конструкции.

Они еще силились улыбнуться, но тут же отступили назад, тревожно оглядываясь. Я подошел к ним вплотную.

— Вас двое, — сказал я, — против одного, значит, бояться нечего, тем более, что я вам вредить не буду. Я человек любопытный, ночной шатун — человек, любящий приключения. Я хочу войти вместе с вами и украсть на память о сегодняшней ночи то, что придется мне по душе. Вероятнее всего я возьму какую-нибудь безделушку с камина, значит, вас не ограблю. Итак, вперед, Картуши, Ринальдини, коты в сапогах, валеты и жулики! Я войду с вами, как тень от вашего фонаря.

И только я закрыл рот, как оба повернулись и неторопливо пошли прочь, теряясь в сумраке. Они меня не боялись, это доказывал их презрительно-мерный шаг, но и не доверяли моей навязчивости. Шаги их звучали еще некоторое время, потом все стихло, и я остался один.

Тогда я подошел к двери и тщательно ее осмотрел. Это была большая дверь стильных домов, с бронзой и матовыми стеклами. Чиркнув спичкой, я осветил замочную скважину; она носила следы взлома, медный кружок был сбит, и, кроме того, рядом с дверной ручкой зияли два свежепросверленные отверстия. Машинально я потянул ручку; к величайшему моему удивлению, дверь раскрылась совершенно свободно, как днем.

С минуту я стоял неподвижно, так как не ожидал этого. Они сделали свое дело, и я помешал им войти на лестницу. Я мог теперь воспользоваться плодами чужих трудов и, если соображение и находчивость придут на помощь, войти в любую квартиру. Мысль эта привела меня в состояние сильнейшего возбуждения — я был уже в о р о м, испытывая страх, нетерпение и острую жажду неизвестного, лежащего за каждым порогом. Я чувствовал себя скрытным, ловким, бесшумным и осторожным.

Тщательно притворив за собой дверь, я медленно распахнул вторую, внутреннюю. Было темно и тихо, толстый ковер площадки мягко уперся в мои подошвы, как бы приглашая идти смелее. С сильно бьющимся сердцем прошел я мимо каморки швейцара, поднялся по лестнице и остановился у первой двери.

И тотчас же мое напряжение сменилось чувством усталости, смешанным с тревожным разочарованием. Мне нечем было открыть дверь. Без инструментов и ключей — и, даже будь у меня орудия, без знания, как употребить их — я должен был неизбежно возвратиться назад с сознанием, что разыграл дурака. И, значит, все, что произошло ночью, было бесцельно; весь ряд случайностей, связанных одна с другой, — рынок, разговор двух, взлом двери и то, что я вошел сюда, в спящий дом, — все это произошло только затем, чтобы я мог уйти снова, бесшумно и незаметно.

Мысль эта показалась мне настолько абсурдной, что я громко расхохотался. Конечно, я не был простым вором, иначе я был бы уже в любой квартире и чувствовал себя там хозяином. Я не был даже вором в том смысле, что мною руководила корысть, связанная с риском преступления. Я не хотел ничего брать; я шел, увлекаемый тайной, предчувствием неизвестного, порогом чужой жизни, тревогой бессонницы и смутным предчувствием логического конца. И от этого удовлетворения меня отделяла дверь, открыть которую я не мог.

— Если конец должен быть, дверь откроется.

Я машинально прошептал эти слова, но тотчас же смысл их вспыхнул, как порох от угля. В самом деле, я еще не пробовал открыть дверь! Тогда, замирая от ожидания, я отыскал ручку и тихо, медленно сокращая мускулы, потянул к себе дверь. Она была заперта.

Новый прилив возбуждения схлынул — я отошел и уселся на подоконнике, ноги мои дрожали. Растерявшись, не будучи в состоянии предпринять что-нибудь, я вытащил портсигар и стал курить.

Прошла минута, другая; табак постепенно оказывал свое действие. Волнение улеглось, мысль текла спокойнее, но так же напряженно и резко, с болезненной отчетливостью каждого слова, выступавшего, как напечатанное, всеми буквами. Какой мог быть конец? Я представил себе, что дверь открыта, и я блуждаю по темным комнатам. Передняя, гостиная, зал, кабинет, спальня и кухня — вот пространство, которое я мог обойти и увидеть то, что знакомо, — обстановку средней руки; самое большее, лица спящих. Итак, постояв минут пять в потемках с риском быть пойманным, как грабитель, я должен уйти тихо и осторожно, как настоящий вор. Отсюда напрашивались два заключения: 1) входить незачем; 2) к о н ц а не будет.

И хотя была очевидна правильность моего рассуждения, глухое бешенство сбросило меня с подоконника, как ветер — клочок бумаги. Я подошел к двери с дерзостью отчаяния, с страстным желанием войти и убедиться, что ничего нет. Логика приводила меня к бессилию, рассуждение — к отступлению, простое бессознательное движение мысли — к мертвому тупику. Я бросился на штурм своего собственного рассудка и поставил знамение желания там, где была очевидность. В несколько секунд я пережил столкновение сомнений и несомненности, иронии и экстаза, страха и ожидания; и когда, наконец, ясная твердая решимость остановила лихорадочную дрожь тела — почувствовал себя таким разбитым и ослабевшим, как будто по мне бежала толпа. Я з н а л, ч т о б у д е т.

Несомненным, действительно несомненным было для меня то, что ни квартиры, ни мебели, ни людей нет. Есть неизвестное. То, к чему невольно, непреодолимо, неизбежно пришел я ночью, не зная, что меня ждет. Я стоял на пороге чуда. Я стоял перед всем и перед ничем. Я стоял перед смыслом рынка, котелка, обезьяны, взломанной двери, коробки спичек и своего присутствия.

Тогда против моей воли, скрытое стало приобретать зрительные образы, цвета воспаленной мысли. Симфония красок кружилась перед моими глазами, и переливы их были музыкальны, как оркестровая мелодия. Я видел про-

странство, границами которого были звуки, музыка воздуха, движение молекул. Я видел роскошь бесформенного; материю в ее наивысшей красоте сочетаний; движущиеся узоры линий; изящество, волнующее до слез; свет, проникающий в кровь. Я был захвачен оргией представлений. И бессознательно, как хозяин, вынул из бокового кармана ключ.

Момент, когда мне показалось, что все это было, и я уже когда-то стоял так же на лестнице, был мал, как движение крыльев стрижа, порхающего над озером. Я с трудом уловил его. И, погрузившись в себя, замер от ожидания.

Ключ был в моих руках, маленький, медный ключ не от этой двери, но я уже знал, что войду. Уверенность моя была так велика, что я даже не удивился, когда, вложив его в скважину, услышал, как замок щелкнул мягким, странно знакомым звуком. Я волновался так сильно, что принужден был остановиться и переждать припадок сердцебиения. Затем отворил дверь и, шагнув, очутился в темном, нагретом воздухе.

Не помню в точности, что переживал я тогда. Прямо был коридор; я угадал это по особому ощущению тесноты, хотя и не прикасался к стенам. Я двигался по нему как во сне, не зажигая спички, руководимый инстинктом, и, когда сделал десять шагов, понял, что надо остановиться. Почему? Я сам не знал этого. Тело мое было неудержимо и как будто привычно стремилось направо, где, по смутно мелькнувшему убеждению, должна была находиться дверь.

Я шел на цыпочках, сдерживая дыхание... Прежде чем повернуть вправо, я невольно поколебался. Почему—дверь? Я протянул руку, ощупывая ее, и тут, второй раз, неуволимо, как тень от выстрела, скользнуло воспоминание, что этот момент был. Я так же, но неизвестно когда, стоял в темноте коридора, щупая дверь.

Отчаянный страх парализовал мои члены. Ясно, всем существом своим я чувствовал, что сейчас произойдет что-то невообразимое, абсурдное, невозможное. Трясушимися руками я достал спичку, зажег ее и, прежде чем осмотреться, невольно закрыл глаза. Сколько времени я простоял так — не помню, но когда огонь приблизился к пальцам и боль начинающегося ожога дала знать, что сейчас снова наступит тьма,— я взглянул, и в тот же момент спич-

ка погасла, тлея кривой искрой. Но, несмотря на краткость момента, я увидел, что в стене направо действительно была дверь и что я стою в коридоре. Тогда я распахнул дверь, вошел и снова зажег свет.

Это была моя комната; все, начиная с мебели и кончая безделушками на камине,— было мое: картины, оконные занавески, книги, посуда, пол, потолок, обои, письменные принадлежности — все это было известно мне более, чем свое собственное лицо. С тяжестью в сердце, беспомощный сообразить что-нибудь, я обошел все углы, и каждый предмет, который встречали глаза, был мой. Ни одной вещи, способной опрокинуть кошмар чудовищного сходства, не было. Я был у себя.

Тогда, хватаясь за последнюю, безумную в основе надежду, я подался к кровати, отдернул занавески и увидел спящего человека. Человек этот был — я.

Здесь Бирк остановился, как бы собираясь с воспоминаниями. Последние его слова заставили многих перегляднуться. Он продолжал:

— Я вышел на лестницу, спустился к швейцару, разбудил его и увидел заспанное, бритое, знакомое лицо. Овладев собой, я попросил его войти в мою комнату, осмотреть ее и вернуться. Он повиновался с некоторым удивлением; помню, шлепанье его туфель доставило мне огромное удовольствие. Через минуту он возвратился, и между нами произошел следующий разговор:

— Вы осмотрели в с ю комнату?

— Да.

— В ней никого не было?

— Совершенно.

— Вы осмотрели кровать?

— Да.

— Кто лежал на этой кровати?

— О н а б ы л а п у с т а.

— Теперь,— сказал я,— будьте добры, взгляните на наружную дверь.

С изумлением, еще большим, чем прежде, он вышел на тротуар. Я слышал его возню, он нагибался, рассматривал и вдруг крикнул:

— Здесь были воры! Дверь сломана!

И он выпустил град ругательств.

Так как Бирк замолчал, я обратился к нему с вопросом.

— Потом вы вернулись к себе?

— Нет,— протянул он, полужакрывая глаза,— я ночевал в гостинице. Впрочем, это не имеет значения. Я мог бы, конечно, вернуться к себе, но чувствовал потребность успокоиться.

— А потом? — спросил журналист с тонкой улыбкой.— Потом с вами ничего не было?

— Ничего,— задумчиво сказал Бирк. Он был, видимо, утомлен и сидел, подпирая рукой голову. Больше ему не задавали вопросов, но в общем молчании веяло неясное ожидание. Наконец, хозяин сказал:

— Ваша история, действительно, чрезвычайно интересна. В ней много стремительной напряженности, экспрессии и... и...

— И горя,— сказала женщина, просившая о нестрашном.

Р. С. Записав этот рассказ, я пришел к убеждению, что дама ошиблась, предположив в истории Бирка элемент г о р я. Этот человек был всем нам известен, как очень богатый землевладелец, путешественник и гурман. Правда, его никто ни разу не уличал во лжи. Но как поручиться, что ему не пришло в голову желание искусной и, по существу, невинной мистификации? Также странно, что он говорил о себе, как о человеке, лишенном воображения; по-моему, то место в его рассказе, где он грезит перед запертой дверью, доказывает противное. Не менее подозрительны его слова в самом начале: «Я готов развернуть перед вами душу, и если вы поверите ей,— самый факт необычайного, который, по-видимому, более всего вас интересует, потеряет в ваших глазах всякое обаяние. Впрочем, я не берусь утверждать что-нибудь определенное без доказательств в руках». В его пользу говорит только одно: он ни разу не улыбнулся.

ПРОЛИВ БУРЬ

I

В полдень, как и всегда, Матиссен Пэд удалился на песчаные холмы мыса. Из-за волосатой пазухи Пэда торчали лоснящиеся горла бутылок и при каждом шаге кривых ног тоскливо брякали друг о друга, словно им предстояло вылиться не в стальной желудок виртуоза, а в презренные внутренности грудного младенца.

С Пэдом происходило то, что происходит со многими неумеренными людьми, если их телесное сложение и отсутствие нервов хотя отдаленно напоминают племенного быка: он впился. Самые страшные напитки, способные уложить на месте, не хуже пистолетного выстрела, любого гвардейца, производили на его проспиртованный организм такое же впечатление, как легкий зефир на статую. Пока шхуна шаталась в архипелаге, он был воистину несчастнейшим из людей — этот старый морской грабитель, видевший смерть столько раз, сколько в гранате семечек.

Изобретательный от природы, он с честью вышел из затруднительного положения, как только «Фитиль на порохе» бросил якорь у берегов пролива. Каждый полдень, сидя на раскаленном песке дюн, подогреваемый изнутри крепчайшим, как стальной трос, ромом, а снаружи — песком и солнцем, кипятившим мозг наподобие боба в масле нагретыми спиртными парами, Пэд приходил в неистовое, возбужденное состояние, близкое к опьянению.

Выдумкой этой гордился он, пожалуй, не меньше, чем именем, данным им самим шхуне. Раньше судно принадлежало частной акционерной компании и называлось «Регина»; Пэд, склонный к ярости даже в словах, перебрал мысленно все страшные имена, однако, обладая пылким воображением, не мог представить ничего более потрясающего, чем «Фитиль на порохе».

Жгучий вар солнца кипятил землю, бледное от жары небо ломило глаза нестерпимым, сухим блеском. Пэд расстегнул куртку, сел на песок и приступил к делу, т. е. опорожнил бутылку, держа ее дном вверх.

Спирт действовал медленно. Первые глотки показались Пэду тепловатой водой, одобренной выдохшимся перцем, но следующий прием произвел более солидное впечатление; его можно было сравнить с порывом знойного ветра, хлестнувшим снежный сугроб. Однако это продолжалось недолго: до ужаса нормальное состояние привело Пэда в нетерпеливое раздражение. Он помотал головой, вытер вспотевшее лицо и вытащил адскую смесь джина, виски и коньяку, настоянных на имбирных семечках.

Сделав несколько хороших глотков из темной плоской посуды, Пэд почувствовал себя сидящим в котле или в паровой топке. Песок немилосердно жег тело сквозь кожаные штаны, небо роняло на голову горячие плиты, каждый удар их звенел в ушах, подобно большому гонгу; невидимые пружины начали разворачиваться в мозгу, пылавшем от такой выпивки, снопами искр, прыгавших на песке и бирюзе бухты; далекий горизонт моря покачивался, нетрезвый, как Пэд, его судорожные движения казались размахами огромной небесной челюсти.

Почти пьяный, Пэд одобрительно мычал, пытаясь затянуть песню, но ничего, кроме хриплого рева, не выходило из его воспаленной глотки, привычной к мелодиям менее, чем монах к сему. Несмотря на это, он испытывал неверное счастье пьяницы, мечтательное блаженство медведя, извлекающего из расщепленного пня дребезжащую ноту.

Так продолжалось около часа, пока красный туман не подступил к горлу Пэда, напоминая, что пора идти спать. Справившись с головокружением, старик повернул багровое мохнатое лицо к бухте. У самой воды несколько матросов смолили катер, вился дымок, нежный, как голубая вуаль; грязный борт шхуны пестрел вывешенным для

просушки бельем. Между шхуной и берегом тянулась солнечная полоса моря.

Веселый, пошатывающийся, распаренный, как хмель в кадке, Пэд тронулся с места, неуклюже передвигая ногами. В тот же момент лицо его приняло выражение глубочайшего изумления: воздух стал тусклым, серым, небо залилось кровью, и жуткий, немой мрак потопил все.

Пэд тяжело рухнул ничком, сраженный хорошей порцией спирта и солнечного удара.

«Плохие игрушки!» — сказал бы он сам себе, если бы имел время размыслить над этим. В его голове толпились еще некоторое время леса мачт, фантастические узоры, отдельные, мертвые, как он сам, слова, но скоро все кончилось. Пэд сочно хрипел, и это были последние пары. Матросы, подбежав к капитану, с содроганием увидели негра: лицо Пэда было черно, как чугун, даже шея приняла синевато-черный цвет крови, выступившей под кожей.

— Отчалил! — вскричал длинноволосый Родэк, суетясь около Пэда. — Стань тут, Дженнер, а ты, Сигби, тащи его за ноги. Что, не поднять? Ну, говорил же я, что в нем по крайней мере десять пудов!

— Родэк, — сказал Дженнер, взволнованно почесывая за ухом, — поди, принеси две палки и ведро воды. Может, он жив еще. Если же действительно капитан отчалил — мы его донесем на палках до катера.

— Как это не вовремя, — проворчал Сигби. — Назавтра готовились плыть. Я недоволен. Потому что ребята передерутся. И это всегда так, — закончил он, с яростью топнув ногой, — когда в голову лезут дикие фантазии, вместо того, чтобы напиваться по способу, назначенному самим чертом: сидя за столом под крышей, как подобает честному моряку!

II

— Аян, мальчик, — сказал кок, проходя мимо камбуза, — тебе следовало бы тоже там быть: все разгорячены, и теперь держи ухо востро. Полезно слушать, что говорят ребята, это может относиться ведь и к тебе.

Аян улыбнулся.

— Мое время еще не наступило, — тихо проговорил он, раскачивая руками ванты и следя, как выбленки, вздра-

живая от сотрясения, успокаиваются под саллингом. — Я подожду.

— Положим, — сказал кок, хлопая по плечу юношу, — ты не так уж зелен, красивый мошенник, чтобы быть здесь совсем в загоне. Ступай, сокровище палача, в кубрик, там все. Я тоже направляюсь туда по одному делу, которое, откровенно говоря, ставит меня в тупик. Скажи, Ай, видано ли, чтобы от кока требовали знать бухгалтерию? С меня требуют хозяйственный отчет — вещь неслыханная! Это позор, Аян, для настоящих грабителей и так же мелко, как сухой берег. Когда я путался с Гарлеем Рупором (он отчалил шесть лет назад, простреленный картечью навывлет) — не было ничего подобного: каждый, кто хотел, шел в трюм, где, бывало, десятками стояли хорошие фермерские быки, разряжал револьвер в любое животное и брал тот кусок, который ему нравился. Иди, Ай, ведь это же в самом деле будет любопытно!

— Пойдем, — равнодушно сказал Аян, — но ты знаешь, я не люблю шума.

— А ты на них цыкни, — насмешливо возразил повар. — Вот и все.

Была ночь, океан тихо ворочался у бортов, темное от туч небо казалось низким, как потолок погреба. Повар и Аян подошли к люку, светлому от горящих внизу свеч; его полукруглая пасть извергала туман табачного дыма, выкрики и душную теплоту людской массы.

Когда оба спустились, глазам их представилась следующая картина:

На верхних и нижних койках, болтая ногами, покуривая и смеясь, сидела команда «Фитиля» — тридцать шесть хищных морских птиц. Согласно торжественности момента, многие сменили брезентовые бушлаки на шелковые щегольские блузы. Кой-кто побрился, некоторые, в знак траура, обмотали левую руку у кисти черной материей. В углу, у бочки с водой, на чистом столе громоздилось пока еще нетронутое угощение: масса булок, окорока, белые сухари и небольшой мешочек с изюмом.

Посредине кубрика, на длинном обеденном столе, покрытом ковром, лежал капитан Пэд. Упорно не закрывавшиеся глаза его были обращены к потолку, словно там, в просмоленных пазах скрывалось объяснение столь неожиданной смерти. Лицо стало еще чернее, распухло, лишилось всякого выражения. Труп был одет в парадный мор-

ской мундир, с галунами и блестящими пуговицами; прямая американская сабля, добытая с китоловного судна, лежала между ног Пэда. Вспухшие кисти рук скрещивались на высокой груди.

Но смерть, столько раз хлопавшая по плечу всех присутствовавших, производила и теперь слабое впечатление: держались развязно, спорили, бились о заклад — пропахнет ли Пэд к утру или удержится. Смешанное настроение кабака, кладбища и подозрительного общества отозвалось в сердце Аяна неожиданным возбуждением: предчувствие важных событий наполнило его молодые глаза беспокойным блеском зрачков рыси, вышедшей на охоту. Он стал в углу, улыбаясь своей странной улыбкой, похожей на неопределенный жест человека, колеблющегося между приветствием и угрозой.

Едва Аян занял свое место, как на койку взгромоздился Редж, правая рука Пэда; теперь просто рука, потому что туловище отчленилось. Квадратное, надменное лицо Реджа без устали скользило глазами по лицам присутствующих. Наступила относительная тишина.

— Ребята! — сказал Редж. — Случилось то, что случилось. Вот, — он протянул руку к голове трупа, — вы видите. Пэд страшно пил, как вам всем известно и без меня, но кто посмел бы его упрекнуть в этом?

— Хорошо сказано, — подхватил сосредоточенный бас Дженнера. — Валяйте, лейтенант, дальше, и да поможет вам небо благополучно бросить оба якоря в гавани.

— Всякому будет свое время упражняться в красноречии, — перебил Редж, с неудовольствием взглянув на матроса. — Ребята! Что толковать — мы не какое-нибудь военное судно, где выдают чарку виски в полдень и перед ужином. Меня разбирает смех, когда я об этом думаю. Да, Пэд твердо помнил свою позицию, и память погубила его. Сколько у меня в бороде волос, столько раз брал я его за рукав, когда он, нагрузив пазуху и карманы, шел на этот роковой холм. Он ругался. Он страшно ругался и твердил, что должен напиться хоть раз в день. Исправить этот несчастный случай — то же, что подковать на бегу лошадь. Мы здесь бессильны и, если бы могли плакать, труп Пэда плавал бы теперь в наших слезах, как тростинка в большой реке. Благодаря тебе, Пэд, — повысив голос, обратился Редж к трупу, — из шершавых волчат выросли настоящие волки. Аминь.

Он смолк и трагически поднял брови, стараясь уловить, какое впечатление произвела его речь. Раздались сдержанные рукоплескания.

— Теперь,— сказал Редж,— мы, как живые, должны озаботиться насущными, неотложными делами. Нужно привести все в порядок, чтобы тот, кого вы выберете капитаном,— здесь Редж приостановился, но в тот же момент лица всех сделались непроницаемыми, а некоторые даже потупились,— чтобы новый начальник видел все ясно, как на стекле. Сейчас выступит повар Сэт Алль и даст отчет в имеющемся продовольствии. Затем я — в общем приходе и расходе, и, наконец, штурман Гарвей приведет в известность всех относительно оружия, корабельных материалов и остального инвентаря. Потом, не откладывая в долгий ящик, произведем выборы капитана, так как вы знаете, что отсутствие дисциплины на судне пагубнее, чем присутствие женщины. Я кончил.

Загорелый, шишковатый лоб Реджа покрылся испариной. Он перевел дух и отошел в сторону, а на его место стал повар. Манеры Сэта явно показывали глубокое презрение к роли, в которой ему приходилось выступить: он демонстративно покачивался и ежеминутно засовывал в карманы руки, снова извлекая их, когда требовалось сделать какой-нибудь небрежно-шикарный жест.

— Ну, что же,— начал повар,— вы, конечно, меня все хорошо знаете. К чему эта глупая комедия? Будем объясняться начистоту. Я обокрал вас, джентльмены,— в течение этих трех лет я нажил огромное состояние на пустых ящиках из-под риса, перца и вываренных костях. Я еще и теперь продаю их акулам, из тех, что победнее,— три пенни за штуку — будь я Иродом, если не так. Только вот беда: денег не платят.

Яростный взрыв хохота сопровождал эту незамысловатую шутку. Сэт вытер усы, лукаво подмигивая натянутой физиономии Реджа, и стал внезапно серьезен, только в самой глубине его вертячих зрачков вспыхивали насмешливые огоньки.

— Я все записал,— сказал он, доставая засаленную бумажку.— Вот слушайте: осталось у нас: галет 1-го и 2-го сорта сорок мешков, муки — шесть больших бочек, каждая, вероятно, в полтонны; соленой свинины — две бочки, кроме того, имеются два почти издохших быка... Относительно быков: пасти мне, что ли, их здесь? Я завтра пристре-

лю обоих. Ты что обеспокоился, Сигби? Не протухнут, есть ледники и селитра. Что же еще есть у нас? Да — кофе, прессованные овощи...

И он тщательно, упираясь пальцем в бумажку, перечислил всю наличность провизии. Выходило, что в этой, спрятанной от чужих глаз бухте можно просидеть с месяц, не беспокоясь о том, что есть.

Сэт ретировался под дружный гул одобрений. Наступила очередь штурмана. Этот даже не потрудился встать с койки, где между ним и боцманом стояла бутылка в обществе оловянных стаканов. Аян видел из своего угла, как острое, серьезное лицо штурмана высунулось из-за пиллерса, быстро швыряя в толпу увесистые, короткие фразы, прерываемые характерным звуком жующих челюстей.

— Все благополучно, — сказал Гарвей. — Судно в исправности, не мешало бы почистить обшивку форштевня под ватерлинией: тамросло ракушек и всякой дряни. Старая течь, наконец, открыта: вода сочилась под килем, у третьего тимберса от кормы, слева. Поставили заплату. Все материалы налицо, от железных скобок до запасного кливера. Пороху хватит до следующих дождей; при желании бомбардировать луну хватило бы, по крайней мере, на месяц, и это при непрерывной канонаде. Арсенал состоит из сорока двух запасных собак, пяти и шести-зарядных; Когана — двадцать, Мортимера — шесть, Смита и Вессона — семнадцать, Скотта — девять. Два орудия — блестящие, нежененькие, без одной цапапины. Снаряды: картечи — два ящика, гранат — три, кроме того, — две дюжины стальных ядер, с обшивками Лаверсона. Двадцать американских топоров, два гарпуна, одиннадцать сабель, восемьдесят каталонских ножей. Винтовки: одиннадцать Кентуккийских, пять Бердана, десять Новотни. Штуцера: тридцать четыре — Пристлея, один — Джаксона. Патроны в полном комплекте.

Гарвей умолк так же неожиданно, как и заговорил. Отвернувшись, он продолжал чокаться с боцманом.

Между тем шум усилился, по рукам ходили бутылки, многие стояли, прислонившись спиной к столу, на котором лежал Пэд, и, размахивая локтями, толкали покойника. Аян подошел к Гарвею.

— Штурман, — сказал он, чуть-чуть нахмурившись, — вы слышите? Голос каждого звучит совсем иначе, чем

когда был жив капитан Пэд. Я чувствую тревогу. Что будет?

— Ты много стал понимать, Ай,— произнес штурман.— Молчи, ты моложе всех, не твое дело.

— Я чувствую,— повторил юноша,— что произойдут важные события. Меня никогда не обманывают предчувствия, вы увидите.

— Постой! — крикнул Родэк, приподымаясь, чтобы взглянуть на вышедшего вперед Реджа.— Он хочет сказать что-то!

Аян повернулся. Редж, тоже слегка пьяный, махал рукой, приглашая команду слушать. Образовался кружок, лейтенант встал у тупа, упираясь рукой в край стола. Казалось, что он схватил покойника за руку, ища поддержки.

— Эти три месяца,— почти закричал Редж,— дали нам одиннадцать тысяч наличными и две — за проданный транспорт индиго. Деньги переведены в банк «Приятелю». Есть расписки. Проверкой документов займется тот, кто будет новым начальником. Слушайте, ребята,— с новой силой закричал он,— объявите ваши симпатии! Пусть каждый назовет, кого хочет, здесь все свободны!

Разом наступила глубокая тишина, как будто вдруг опустел кубрик и в нем остался один Редж. Началось немое, но выразительное переглядывание, глаза каждого искали опоры в лицах товарищей. Немногие могли похвастаться тем, что сердца их забились в этот момент сильнее, большинство знало, что их имена останутся произнесенными. Кой-где в углах кубрика блеснули кривые улыбки интриганов, сдержанный шепот вырос — и полз со всех сторон, как первое пробуждение ночного прилива.

Аян молча стоял у койки; его озаренные изнутри глаза отражали общее сдержанное возбуждение, заражавшее желанием неожиданно возвысить голос и произнести неизвестное ему самому слово, целую речь, после которой все стало бы ясно, как на ладони. Между тем, спроси его кто-нибудь в это мгновение:—«Ай, кто достойнейший?»— он ответил бы обычной улыбкой, жуткой в своей замкнутости. Наконец боцман сказал:

— Штурман Гарвей, ребята, и никто больше!

При полном молчании матросов штурман пожал плечами, как бы удивляясь столь длинной паузе, но, в общем, остался спокоен. Боцман продолжал:

— Я вам говорю, не кобеньтесь. Гарвей знает все, все видел, все испытал. Он строг, верно, но за порядок при нем я ручаюсь своей кровью. Ну, что же, умерли вы? Берите Гарвея и кончено! Все будет как следует!

— Гарвей! Гарвей! — закричали некоторые, делая вид, что с ними кричат все остальные.— Он! Он!

Сторонники штурмана тесным кольцом окружили своего кандидата, остальные стали около Реджа. Старики, пыхая трубками и сплевывая, доставали револьверы: опытность говорила в них, старый инстинкт хищников, предусмотрительных даже во сне. Раздались крики:

— Долой барина Гарвея!

— Назовите человека, с которым Гарвей разговаривал не через плечо!

— Выбирайте! За бортом много воды!

— Спросите-ка сперва Пэда!

— Полдюжины огородных чучел против настоящего моряка! Браво, Гарвей!

— Лижите пятки у Реджа!

— Долой Гарвея!

— Плохое вы дело затеяли там, у бочки! Гарвей зажмет вам рты быстрее Пэда.

— Редж! Хотим Реджа! Редж!

Кровь хлынула к бледному лицу Реджа. Он быстро поворачивался во все стороны, судорожно смеясь, когда противная сторона бросала ему ругательства. Рука Аяна бессознательно поползла к поясу, где висел нож, он весь трепетал, погруженный в головокружительную музыку угроз и бешенства.

Шум усилился, на мгновение все смешалось в одно пестрое, стонущее пятно, и снова выделились отдельные голоса:

— Редж!

— Гарвей!

— Редж!

— Гарвей!

— Долой Реджа!

— Долой Гарвея!

— Бросить их в воду!

— С боцманом!

— И с сундуками!

— И с оловянными кружками!

— Подумаешь, что все мы без головы.

— Джентльмены! — орал Сигби, сам еще не решивший, кого он хочет. — Каждый из нас мог бы быть капитаном не хуже патентованных бородачей Ост-Индской компании, потому что — кто, в сущности, здесь матросы? Все более или менее знают море. Я, Дженнер и Жип — подшкиперы, Лауссон — бывший боцман флота, Энери служил лоцманом... у всех в мозгу мозоли от фордевиндов и галсов, а что касается храбрости, то, кажется, убиты все трусы! Ну, чего вам?

— Дженнер! — закричали в углу. — Эй, старина, поставь-ка свою кандидатуру!

Отчаянные ругательства наполнили кубрик. Все столпились вокруг покойника, равнодушного, как никогда более, к взрыву страстей. Многие, держа за спиной револьвер, протискивались в самую гущу; в криках слышался звенящий, металлический тембр, показывавший крайнее возбуждение. Боцман Кристоф держал руку за пазухой, и бронзовое лицо его, под снегом седых волос, растягивалось в бешеную улыбку. Гарвей словно окаменел, стоя во весь рост: глаза его с быстротой кошачьей лапы хватали малейшее угрожающее движение, в каждой руке висело вниз дулом по револьверу; Редж, полусогнувшись, притоптывая ногой, ворочал свою толстую шею во всех направлениях; яркие пятна горели на его скулах.

Ни позже, ни раньше, именно в тот самый момент, когда это сделалось необходимым, потому что два-три раза щелкнул курок, Аян бросился к ложу Пэда. Губы его вздрагивали от волнения; наконец, уловив паузу, он крикнул изо всей силы, словно слушающие находились от него по крайней мере за милю:

— Если бы капитан Пэд встал, он выдрал бы всех за уши!

Голос его покрыл шум, и крики затихли. Гарвей сурово улыбнулся, Редж с недоумением дернул подбородком, оглядываясь; громко захохотал Сигби — еще секунда, другая, и бешенство сломилось, как палка, встретившая топор, потому что слова Аяна звучали непоколебимо уверенно; момент был великолепен. Боцман сказал:

— Ай, насмеши еще!

Он посмотрел на юношу, но травленный взгляд его поскользнулся на твердых глазах Аяна, как птица на льду. Аян был странен в эту минуту: нижняя часть его правильного лица смеялась, в то время как верхняя сохраняла не-

возмутимую, серьезную зоркость взрослого, берущегося за дело.

— Повтори-ка, что ты сказал! — крикнул Редж.

— Я предлагаю, — не обращая внимания на смех и шутки пиратов, продолжал Аян, — разойтись сегодня и сойтись завтра. Завтра вы будете хладнокровнее. Никакого толку сегодня не будет, разве что Редж прострелит ногу Гарвею, а Гарвей искалечит Реджа. Пэд, конечно, весьма сконфужен. Завтра, завтра каждый придет к какому-нибудь окончательному решению. И вы же еще пьяны вдобавок!

— Дело! — сказал Сигби, грызя ногти. — Как скоро растут мальчики!

— Да, — продолжал Аян, — нехорошо, если польется кровь. Лучше вы сделаете, если разойдетесь. И нечего там трогать курки. Ведь все вы мои друзья — по крайней мере, мне кажется, что у меня нет врагов. Я ничего не хочу сказать, кроме того, что сказал.

Полдюжины рук опустились на его плечи прежде, чем он умолок. Это грубое одобрение было почти искренним; между тем шум перешел в гул, Редж подошел к Гарвею, как бы ища темы для разговора; Гарвей отворачивался.

— Аян, — произнес Кристоф, когда все успокоилось, — через полгода у тебя вырастут усы, и как ты тогда будешь глядеть?

— Прямо, — сказал Аян. — Море не терпит раздоров, — прибавил он, — а завтра все будет кончено.

— Ай, — сказал Сигби, — ну, ей-богу же, ты протак первой руки. И я тебе говорю: не одна пуля засядет в теле кого-нибудь из нас, пока ты услышишь крик нового капитана: «Готовь крючья!»

III

К пробитию четырех склянок все выстроились на шканцах. Принесли Пэда; тело его, плотно зашитое в брезент, походило на огромного связанного тюленя. Труп положили на деревянный щит, употребляемый при погрузке, открыли борт — и своеобразный морской гроб тихо скользнул по палубе, ногами к воде. Щит, придерживаемый тремя матросами, остановился, покачиваясь; в ногах Пэда, крепко увязанная между ступней, чернела свинцовая балясина. Океан был спокоен; белоголовые морские орлы плавали над водой, держась к берегу и оглашая

пустынную тишину земли резкими, удлиненными выкриками. Гарвей подошел к труп, обнажив голову, и тотчас руки всех поднялись к головам, предоставляя солнцу накалывать затылки и шеи, цвета обожженного кирпича.

Гарвей прочитал молитву, рассеянно смотря вдаль, сбиваясь и перевирая слова. Потом рука его заслонила море, он пригласил слушать.

— Ребята,— сказал он своим обычным сухим голосом, не опуская руки,— пока море не расступилось, Пэд здесь. Я говорить не мастер. Мы плавали и дрались вместе. Многие из нас живы только благодаря ему. Пусть идет с миром.

— С миром! — как эхо, отозвалась команда, и самые суровые лица стали мягче, словно им пощекотали в носу. Кто-то кашлянул.

— Мы тебя не забудем,— продолжал Гарвей.— Ты ушел от виселицы, а мы — неизвестно. Но мы будем жить, как жили, пока нам не перегрызут горло. Аминь.

Он подал знак, и щит быстро перегнулся к воде. Труп пополз вниз, сорвался и исчез за палубой.

— Бу-бух! — всплескивая, сказала вода.

Все подошли к борту, следя, как вздрагивающие круги тают у судна и в отдалении. Прошло секунд десять — прежняя, невозмутимая гладь окружила «Фитиль на порохе».

Тогда все задвигались, заговорили, а лица приняли свободное выражение. С Пэдом было покончено.

— Ребята,— сказал Гарвей,— не все сделано. Капитан не захотел умереть бродягой — есть завещание. Оно лежало у него под замком в ящике, где сушился табак.

Тогда расцвели самые угрюмые лица: завещание это обещало интересные вещи. Сигби протиснулся ближе всех — он никогда не читал такой штучки, даром что отец его умер на собственной земле. Жизнь разлучает родственников.

В руках Гарвея появился пакет, и трудно сказать, был ли он распечатан в ту же минуту десятками напряженных глаз или пальцами штурмана. Хрустнул грязноватый листок; кроме того, штурман держал еще что-то, зажатое в левой руке и вынуженное, по-видимому, из пакета.

Гарвей не поднял на толпу глаз, как делают обыкновенно чтецы, сообщающие что-либо важное. Он читал с некоторым усилием, ибо школьные годы Пэда протекали в завязывании буксирных узлов. Но разобрать все-таки было можно.

«11 июля 18...9 года,— прочел Гарвей, и передние ряды шевельнулись.— Я, Матиссен Пэд, могу умереть. Если это случится, то не желаю расставаться ни с кем в ссоре, поэтому завещаю:

1) Мои собственные деньги, девятьсот шестьдесят фунтов золотом, что под левой задней ножкой стола, подняв доску,— всем поровну и без исключения».

Гарвей остановился и сделал рукой резкий, неопределенный жест.

— Гу-у! — пронеслось в толпе. Теперь волновались задние, переднее кольцо стояло тише, чем в момент похорон.

— «Второй пункт,— сказал штурман.— Все вещи, за исключением трех ковров, на которых изображена охота с соколами, дарю Гарвею. Ковры отдать Аяну, мальчик любил их рассматривать».

Многие обернулись, отыскивая глазами Аяна, стоявшего позади всех. Он был спокоен.

— Ты будешь на них спать, Ай,— сказал сумрачный Рикс, завидуя штурману, потому что ценность вещей Пэда достигала значительной суммы.

— Тише! — зашипел Редж.

Гарвей продолжал:

— «Портрет, который я запечатываю вместе с этой бумагой, прошу кого-нибудь из вас доставить по адресу. В этом моя главная и единственная к вам просьба».

Далее следовало несколько туманных, сбивчивых замечаний, из которых самым ясным было, пожалуй, следующее: «...не мочите, краска не лакирована». Затем что-то зачеркнуто, наконец, следовала подпись, похожая на просыпанные рыболовные удочки.

Любопытство, достигшее нетерпеливого раздражения, выразилось в скрипе подошв. Почти все стояли на носках, вытягивая вперед шеи; Сигби сказал:

— Покажите же, черт возьми! Да он у вас в левой ладони!

Гарвей, не торопясь, спрятал документ. Он сам рассматривал чуждое кривым улыбкам изображение женщины. Тень высокомерного удивления лежала между его бровей, сдвинутых, как две угольные барки в маленькой, тесной гавани.

Раздались возгласы:

— Э! Послушайте! Это невежливо!

— Дайте же и нам, наконец!

— Суньте-ка сюда эту бабу без лака!

— Пэд с розовым цветочком в петлице! Хе!..

— Хо-хо!..

Гарвей протянул руку, и в то же мгновение она осталась пуста. Полустертая акварель прыгала из рук в руки; взрослые стали детьми; часть громко смеялась, плотоядно оскаливаясь; в лицах иных появилось натянутое выражение, словно их заставили сделать книксен. Редж презрительно сплюнул; он не переваривал нежностей; многих царапнуло полусмешное, полустыдное впечатление, потому что вокруг всегда пахло только смолой, потом и кровью.

— Взгляни-ка сюда, Ай,— сказал, приосанившись, молодой Пильчер,— это получше твоих ковров.

Аян взял тоненькую костяную пластинку. Сначала он увидел просто лицо, но в следующее мгновение покраснел так густо, что ему сделалось почти тяжело. Быть может, именно в полустертых тонах рисунка заключалась оригинальная красота маленького изображения, взглянувшего на него настоящими, живыми чертами, полными молодой грации. Он сделал невольное движение, словно кто-то теплой рукой бережно провел по его лицу, и засмеялся своим особенным, протяжным, горловым, незаразительным смехом. Пильчер сказал:

— А? Ну, ей-богу же, у Пэда где-нибудь остался курятник, а он был славный петух.

— Этого не может быть,— твердо сказал Аян.— Нет такой женщины.

— Почему? — ввернул Сигби.

— Я не видел,— коротко пояснил Аян и, помолчав, прибавил: — Я видел их, правда, один раз, но их было чересчур много и нельзя было рассмотреть хорошенько. Мы проходили тогда мимо пристани с фальшивым голландским паспортом. Они там стояли вечером.

— Оставьте пустяки! — крикнул Редж, довольный, что Гарвей замолчал и он может овладеть общим вниманием.— Кто поедет?

— Я не хочу,— сказал Дженнер после того, как молчание стало общим.— Чего ради?

Остальные переминались. Уехать во время междоусобицы, когда вот-вот начнут делить золото Пэда?! Рискнувший на это рисковал также вернуться к пустой бухте или, в лучшем случае, увидеть на горизонте тыл «Фитиля». Редж продолжал:

— Стыдно, ей-богу! Сутки вперед, сутки назад! Эй, желающие!

Некоторые отошли в сторону. Гарвей вдруг побледнел, и все отшатнулись: в руке его заблестел револьвер.

— Неблагодарная сволочь! — закричал он, забыв, что может потерять в этот момент всех сторонников, тайных и явных.— Клянусь чертом, вы стоите того, чтобы вызвать вас по жребию и первому отказавшемуся размозжить голову. Я спрашиваю первый раз: кто?

Это «кто» лязгнуло в толпе, как лопнувший стальной трос. Прозвучали сдержанные ругательства; никто не ответил вызовом — правота чувствовалась на стороне спрашивающего.

— Второй раз! — закричал взбешенный Гарвей.— Кто?

Сигби согнулся, опасаясь, что Гарвей выстрелит. Редж злорадно хихикнул, судорожно потирая руки.

— Подле...— хотел зареветь Гарвей, но голос его сорвался.

Аян подошел к борту и сдержанно кивнул головой.

— Кто? — по инерции произнес Гарвей сравнительно тихим голосом.— Ай, ты?

— Я.

— Тридцать миль на шлюпке и двести по железной дороге к северу.

— Хорошо.

— Сегодня вечером.

— Да.

— Не надо терять времени.

— Я еду, Гарвей.

IV

Ночь мчалась галопом; вечер стремительно убегал; его разноцветный плащ, порванный на бегу, сквозил позади скал красными, обшитыми голубым, клочьями. Серебристый хлопок тумана колыхался у берегов, вода темнела, огненное крыло запада роняло ковры теней, земля стала задумчивой; птицы умолкли.

Был штиль, морская волна тяжело всплескивала; весла лишь на мгновение колыхали ее поверхность, ленивую, как сытая кошка. Аян неторопливо удалялся от шхуны. Шлюпка, тяжеловатая на ходу, двигалась замирающими толчками.

Силуэт «Фитиля» почти исчезал в темной полосе берега, часть рей и стеньг чернела на засыпающем небе; внизу громоздился мрак. Светлые водяные чешуйки вспыхивали и гасли. Прошло минут пять в глубоком молчании — последняя атака тьмы затопила все. Аян вынул из-под кормы заржавленный железный фонарь, зажег его, сообразил положение и круто повернул влево.

Рыжий свет выпуклых закопченных стекол, колеблясь, озарил воду, весла и часть пространства, но от огня мрак вокруг стал совсем черным, как слепой грот подземной реки. Аян плыл к проливу, взглядывая на звезды. Он не торопился — безветренная тишина моря, по-видимому, обещала спокойствие, — но вел шлюпку держась к берегу. Через некоторое время маленькая звезда с правой стороны бросила золотую иглу и скрылась, загороженная береговым выступом; это значило, что шлюпка — в проливе.

Аян встал и некоторое время прислушивался, задерживая дыхание. Справа тянуло душной, теплой гнилью болот, ядовитыми испарениями зеленых богатств, скрытых мраком; слабо шуршал песок, встречая сонный прилив. Берег был совсем близко. Аян сел; теперь он проходил устье бухты, заворачивая к северной стороне пролива. Впереди, милях в двух, лежал океан, сзади шел узкий проход, стиснутый клиньями острова и материка. Дно пролива, истерзанное подводными течениями, работой подземных сил и взрывами штормовых волн, колебавших пучину до основания, напоминало шахматную доску, уставленную фигурами в разгаре игры. Лот, брошенный здесь, достигал то двух футов, то значительной глубины; днем в тихую погоду можно было здесь видеть иглы и зубцы рифов; пролив в это время напоминал слегка оскаленный рот. Большое и маленькое судно могло бы пересечь его с таким же успехом, как перепрыгнуть через собор. Единственная доступная веслу и килю вода тянулась у северного крутого берега: ширина этой ленты была бы все же сомнительна для фрегата.

Взяв направление, Аян стал грести ровно, не утомляясь. Великая пустынная тишина окружала его. Мрак сеял таинственные узоры, серые, седые пятна маячили в его глубине; рыжий свет фонаря бессильно отражал тьму и тяжесть невидимого пространства; нелепые образы толпились в полусвещенной воде, безграничной и жуткой. Аян боролся с тревогой, однозвучный наплыв дум держал его в томительном напряжении, и сцены последних дней роились в чер-

ной стене воздуха, беглые, как обрывки сна. Он смотрел, думал, и вдруг, защебив сердце, открылась темным тайным глазам его безмерная пустота. Он ощутил пространство, невидимые провалы окружили его; спящее лицо океана поднялось к зениту и холодом бездны спугнуло мысль. Он вострепнулся; протяжный далекий гул рос в тишине, как будто заревел горизонт; глухое волнение охватило мрак, в ушах зазвенел стремительный прилив крови. Все стихло.

Это была, конечно, галлюцинация слуха. Аян встал, сел снова, задыхаясь от беспокойства, и крикнул. Голос его, звонко отраженный водой, убил призраки. Все приняло обыкновенные размеры, мирно поскрипывали уключины, слева тянуло теплым, береговым воздухом. Одно-два мгновения Аян подумал еще о спрутах с зелеными фосфорическими глазами; рыбах, похожих на привидения или кошмарный сон; гигантских нарвалах, скатах, отвратительных, как подушка из скользкого мяса; но это уже была последняя судорога воображения; он положил весла, придвинул фонарь и вынул портрет женщины.

Свет ускользал, менял краски, двигал тенями, и чудилось, что лицо неизвестной девушки бегло меняет выражение, улыбаясь Аяну. Он засмеялся; все — шлюпка, весла, фонарь, ружье, спрятанное в корме, — показались ему удивительно приятными, дорогими предметами. Сунув портрет в карман, Аян продолжал еще некоторое время видеть его так же ясно, как и в руках. И, как это часто бывает, когда бесчисленные голоса хором встают в душе — сложная острота момента, сильная, необъяснимая радость охватила его. Он вскочил, полный нетерпеливого стремления двигаться, поднял весло и бешено завертел им над головой. «Шу-с-с... шу-с-с... шу-с-с...» — загудел воздух; шлюпка, плескавшаяся, качалась из стороны в сторону. Аян сел, положил весло, лицо его улыбалось, глаза блестели от возбуждения.

— Почему тихо? — громко сказал он, смеясь самому себе. — Море, кричи!

Береговое эхо тяжело ухнуло и замолкло. Желание стряхнуть тишину, как стряхивают сонливость, овладело Аяном. Он громко сказал, прислушиваясь к своему голосу: -

— Я еду, еду! Один!

Шлюпка придвинулась к берегу, своды ветвей повисли над головой Аяна. Он ухватился за них, и шум листьев глухо пробежал над водой. И снова почудилось Аяну, что

тишина одолевает его; тогда первые пришедшие на ум возгласы, обычные в корабельной жизни, звонко понеслись над проливом и стихли, как трепет крыльев ночных всполохнутых птиц:

— Эй! Всех наверх! Подтяни фалы, брасопь фок; грот и фок в рифы; все по местам! Готовь крючья!

Он смолк, сел, взял весла и сильно ударил по воде, бледный от тайной, горячей мысли, дерзкой, как поцелуй изильника.

V

— Я тотчас вернусь,— сказал слуга, заметив, что Аян двинулся вслед за ним.— Подождите.

— Разве это не все равно? — возразил Аян.— Ведь мне нужно ее видеть, а не вам.

Лакей поджал губы. Взгляд его выражал холодное, почтительное презрение.

— Если вы не смеетесь,— сказал он,— а просто рассеяны, то попросите у меня объяснения. Здесь ждут. И если будет выражено желание принять вас — тем лучше.

— Я плохо понимаю эти вещи,— улыбнулся Аян.— Идите, если это необходимо, но мне некогда.

Он выдержал еще один выстрел изумленных, отлично вышколенных лакейских глаз и сел в углу. Ожидание подавляло его, он трепетал глухой дрожью; любопытство, неясные опасения, тайный, сердитый стыд, рассеянное, острое напряжение бродили в его голове не хуже виноградного сока.

Он был один в светлой пустой комнате. Разноцветный стеклянный купол, пропуская дневной свет, слегка изменял естественную окраску предметов; казалось, что сквозь него сеется тонкая цветная пыль. Мебель из полированного серебристого граба тянулась вдоль стен, обитых светлой материей с изображениями цветов, раскидывающих по голубому фону остроконечные листья. Пол был мозаичный, из черных и розовых арабесок. В большом, настезь распакнутом полукруглом окне сияло небо, курчавая зелень сада обнажала край каменной потрескавшейся стены.

Все это было ново, интересно и вызывало сравнения. Главная роскошь «Фитиля» заключалась в кают-компани, где стояли краденые бронзовые подсвечники и несколько китайских шкатулок, куда время от времени бросали огрызки сигар. Аян нетерпеливо вздохнул, глаза его, прикован-

ные к портьеру, выражали мучительное нетерпение. Мысль, что его не примут, показалась чудовищной. Тишина раздражала.

Время шло, никто не показывался; напряжение Аяна достигло той степени, когда простое разрушение тишины, какой-нибудь посторонний звук является облегчением. Он слегка топнул, затем кашлянул. Разные предположения сустились в его голове. Сперва он подумал, что человек, взявшийся доложить о нем, — не здешний и сыграл глупую шутку, отправившись преспокойно домой. Мысль эта привела его в гневное состояние. Далее он решил, что могло произойти какое-нибудь несчастье. Человек со светлыми пуговицами мог, например, упасть, удариться головой, лишиться сознания. Наконец, еще одно, бросившее его в целый вихрь представлений, соображение пронизало Аяна электрическим током и подняло с места: он здесь в ловушке. Светлые пуговицы отправились за полицией; но как они могли знать — кто он такой?

Впрочем, рассуждать было поздно. Аян вынул револьвер, положил палец на спуск и тихими, крадущимися шагами подошел к двери. Лицо пылало негодованием; возможно, что появление в этот момент лакея было бы для слуги полным земным расчетом. Раздвинув портьеру, он увидел залу, показавшуюся ему целой площадью; в глубине ее виднелись еще двери; веселый солнечный ливень струился из больших окон, пронизывая светлую пустоту.

Теперь необходимо было как можно скорее исполнить взятое на себя поручение и уйти. Ничто не препятствовало Аяну разыскать барышню, вручить ей тяжеловесный пакет и спастись, в крайнем случае даже через окно. Если дорогу преградят люди, он начнет драться. Аян решительно отбросил портьеру и быстро пошел вперед; шаги его морских сапог гулко раздались в пустоте: взволнованный, он плохо различал подробности; зала и ее обстановка сливались для него в одно большое, невиданное, пестрое, стеклянное, резное и золотое. Два раза он поскользнулся; это чуть-чуть не возвратило его к старому предположению, что светлые пуговицы разбили себе голову. В следующий момент прямо на него двинулся откуда-то из угла молодой, гибкий человек, с лицом, опаленным ветром, и острыми, расширенными глазами; костюм его состоял из блузы, кожаных панталон и пестрого пояса. Аян протянул револьвер, то же сделал беззвучнодвигающийся человек, и так они стояли два-

три момента, пока Аян не разглядел зеркала. Озадаченный и покрасневший, он стал искать глазами дверей, но они скрылись, каждый простенок походил один на другой, в глазах рябило, из золотых рам смотрели застывшие улыбки нарядных женщин. Аян тронулся вдоль стены — щель сверкнула перед его глазами; он протянул руку — это была дверь, бесшумно распахнувшаяся под его усилием.

Он двинулся почти бегом — все было пусто, никаких признаков жизни. Аян переходил из комнаты в комнату, бешеная тревога наполняла его мозг смятением и туманом; он не останавливался, только один раз, пораженный странным видом белых и черных костяных палочек, уложенных в ряд на краю огромного, отполированного черного ящика, хотел взять их, но они ускользнули от его пальцев, и неожиданный грустный звон пролетел в воздухе. Аян сердито отдернул руку и, вздрогнув, прислушался: звон стих. Он не понимал этого.

Мгновение полной растерянности, недоумения, жуткого одиночества проникло в его душу тупой болью. Он кинулся в маленький коридор, выбежал на стеклянную, пронизанную солнцем галерею, отворил еще одну дверь и остановился, скованный неожиданностью, задышавшись, с внезапно упавшим сердцем.

VI

Комната, в которую он так стремительно ворвался, с револьвером в одной руке и тяжеловесным пакетом в другой, отличалась необыкновенной жизнерадостностью. Бело-розовый полосатый штоф покрывал стены, придавая помещению сходство с внутренностью огромного чемодана; стены на солнечной стороне не было, ее заменял от пола до потолка ряд стекол в зеленых шестиугольных рамах, — это походило на разрез пчелиного сота, с той разницей, что вместо меда сочился золотой свет. Комната была полна им, он заливал все. Жирандоли с вьющимися растениями закрывали низ стеклянной стены; спутанные тропические цветы свешивались с потолка, завитки их дрожали, как маленькие невинные щупальца. В углу, над бамбуковой качалкой, раскачивался в тонком кольце хохлатый маленький попугай. Посредине — стол, окруженный пухлыми белоснежными креслами; серебряный кофейный прибор отливало солнцем.

Аян не различал ничего этого — он видел, что в рамке из света и зелени поднялось живое лицо портрета; женщина шагнула к нему, испуганная и бледная. Но в следующий же момент спокойное удивление выразилось в ее чертах: привычка владеть собой. Она стояла прямо, не шевелясь, в упор рассматривая Аяна серыми большими глазами.

— Это вы,— с усилием произнес Аян.— Я вас узнал по портрету. Там был человек, он сказал, что пойдет к вам и скажет вам про меня. Я думаю, что это предатель. Я прошел много комнат, прежде чем нашел вас.

— Спрячьте револьвер,— сказала девушка.

Он посмотрел на свою правую руку, занятую оружием, и сунул Вессон за пояс.

— Я вынул его на всякий случай,— произнес он,— мы не доверяемся тишине. Вас зовут Стелла, извините, если я ошибаюсь, но так сказал мне бритый старик, приславший что-то в этом свертке. Что там — мне неизвестно. Вот он. Может быть, я вас испугал, барышня?

Молодая девушка насмешливо посмотрела на посетителя.

— Я, может, и испугалась бы, если бы вы пришли ночью, но теперь день. Садитесь и расскажите, чему я обязана вашим стремительным посещением.

— Пэд умер,— сказал сильно смущенный Аян. Душевное равновесие было им совершенно утеряно — девушка ослепила его. Он смотрел и не мог отвести взгляда от ее лица. Она была значительно моложе, чем на портрете; волосы пепельного оттенка, заплетенные в один пышный жгут, спускались ниже бедер. Платье, серое с голубым, плотно закрывало шею и руки; блестящие оленьи глаза под тонкими, высоко выведенными бровями казались воплощением гордости. Когда она спрашивала, спрашивало все лицо, а правая рука слегка приподымалась нетерпеливым, резким движением.

— Пэд умер,— повторил Аян.— Никто не хотел ехать, так как наступил беспорядок. Если вы ничего не знаете, я расскажу по порядку. Капитан Пэд оставил завещание и в нем просил кого-нибудь отвезти по адресу ваш портрет.

— Вы сумасшедший!— сказала Стелла, расширяя глаза.— К какому капитану мог попасть мой портрет, голубчик?

Аян вспыхнул и побледнел. Сумасшедший! В лице его пробежала судорога страдания. Но он оправился прежде, чем девушка протянула руку, как бы приглашая его успокоиться. Когда он стал говорить далее, голос его сорвался несколько раз прежде, чем он произнес дюжину слов.

— Я говорю, что было; я сам знаю не больше вашего,— тихо сказал он.— Вы не можете на меня сердиться. Я приехал и отыскал бритого старика, который, я не знаю— почему, смотрел на меня так, как будто я хватил его ножом в горло. Он передал мне вот это, оно завязано так же, как было, и указал ваш дом. Я не думаю, чтобы я сломал что-нибудь у вас в больших комнатах: я держался посредине.

— Если это мне, дайте,— удивленно произнесла Стелла.— Но я решительно ничего не понимаю.

— Вот ваш портрет.— Аян протянул маленькую овальную дощечку.— Я берег его от воды и грязи,— прибавил он.

Полунежная, полугрозная улыбка прорезала его смуглые черты. Он плохо понимал себя в эти минуты; происходящее казалось ему сном. Стелла взяла портрет.

И больше не было в ее лице тревожного внимательного недоумения. Она резко повернулась; пепельный жгут вздрогнул и захлестнул ее руку, разом опустившуюся, словно по ней ударили. Когда она снова взглянула на Аяна, лицо ее было совсем белым, губы нервно дрожали.

— Это для меня новость.— Каждое слово ее отдельно ложилось в солнечную тишину комнаты.— Не смотрите на меня круглыми глазами — это не ваше дело. Надеюсь, вы поняли? Дайте сюда пакет.

Пальцы Стеллы беспомощно скользили по нему, пеньковая бечевка крепко стягивала узлы.

— Вот нож.— Аян протянул кортик с роговой ручкой.

Девушка приняла помощь без взгляда и благодарности — внимание ее было поглощено свертком. Нож казался в ее руках детской жестяной саблей, тем не менее острое лезвие вспороло холст и веревки с быстротой молнии. Аян, охваченный любопытством, стоял рядом, думая, что его руки сделали бы то же самое, только быстрее.

Внутри был большой, темный деревянный ящик, ключ торчал в скважине и щелкнул, казалось, прежде, чем девушка схватила его. В тот же момент толстая бумажная

пачка подтолкнула крышку ящика, и град пожелтевших писем разлетелся под ногами Аяна.

Аян нагнулся, подхватил несколько листков и выпрямился, желая передать их девушке, но Стелла торопливо читала первое, что попало под руку.

— Стелла,— нерешительно сказал он,— я соберу все!

Она, казалось, не слышала. Кожаная, разрывая конверты, пробегала она то бисерные, женские, то неуклюжие мужские строки; почти на каждом из писем стояли разные штемпеля, как будто пишущих бросало из одного конца света в другой. Прочсть все у нее, однако, не хватило терпения; впрочем, прочитанного было вполне достаточно.

Некоторое время она стояла, опустив голову, роняя письма одно за другим в шкатулку, как будто желая освоиться с фактом, прежде чем снова поднять лицо. Неуловимые, как вечерние тени, разнообразные чувства скользили в ее глазах, устремленных на пол, усеянный остатками прошлого. Встревоженный, расстроенный не меньше ее, Аян подошел к Стелле.

— Там есть еще что-то в ящике,— совсем тихо, почти шепотом, сказал он.— Взгляните.

Не отвечая, девушка взяла шкатулку, положила ее на стол и опрокинула нетерпеливым движением, почти сейчас же раскаявшись в этом, так как, одновременно с глухим стуком дерева, скатерть вспыхнула огнем алмазного слоя, карбункулов, жемчугов и опалов. Зеленые глаза изумрудов перекатились сверху и утонули в радужном, белоснежном блеске; большинство были алмазы.

Это было последним, но уже сладким ударом, и Стелла не выдержала. Крупные, неожиданные для нее самой слезы женского восхищения брызнули из ее глаз, лицо горело румянцем. В состоянии близком к экстазу водила она вздрагивающими пальцами по холодным камням, как бы усиливаясь передать их равнодушному великолепию всю бесконечную нежность свою к могуществу драгоценностей и торжеству роскоши. Вздохивая до глубины души, не меньше, чем любая женщина в первый сладкий и острый момент объятий избранника, Стелла вскрикнула; звонкий, счастливый смех ее рассыпался в комнате, стих и молчаливой улыбкой тронул лицо Аяна.

Она подняла глаза: совсем близко, четверть часа назад посторонний и подозрительный, стоял дикий, загорелый, безусый юноша. Счастливое недоумение искрилось в его

темных глазах, заботливо устремленных на девушку. Теперь он любил Пэда больше, чем когда бы то ни было; умерший казался ему чем-то вроде благодетельного колдуна.

Стелла не сдерживалась. Если бы она не заговорила, ей стало бы тяжело от подавленной, непреодолимой потребности разрядиться.

— Кто был мой отец? — спросила она. — Вы должны знать Пэда — это его имя; но кто он был?

— Пэд!? — Аян отступил несколько шагов назад. — Пэд — ваш отец!?

— Как будто вы не знали этого. — Стелла погрузила руки в сокровища. — Бросим игру в прятки. Вы ехали сюда, в ваших руках был портрет моей матери. Перестаньте же лгать. Итак... Пэд?!

— Вашей матери? — повторил Аян. — Как мог знать я это? Вы оглушили меня, поверьте, я не ггал никогда в жизни. У меня в голове теперь что-то вроде лесного кустарника. Я не знал.

Глаза его встретились с серыми, надменными глазами, но он не опустил голову. Он сам искал объяснения, как будто за ним было уже право на это и камни Пэда связали их. Аян ждал.

— Вы... наивны, — помолчав, произнесла Стелла. — Теперь вы, надеюсь, знаете?

— Да, вы сказали.

Она снова повернулась к столу, там был магнит, поворачивавший ее голову. Попугай резко вскрикнул, его грубый возглас, казалось, оторвал девушку от спутанных размышлений. Решение, что осталось досказать, в сущности, немного и что это, во всяком случае, лучше, чем хоть какая-нибудь лазейка для сплетен, показалось ей дельным.

— Моя мать была танцовщицей, — сухо произнесла она, не поворачиваясь к Аяну, — танцовщицей в Рио-Жанейро; вы знаете, там разнообразное общество.

Аян кивнул головой.

— Пэд был с ней знаком. Если вы любопытны и это недостаточно для вас ясно — спрашивайте.

— Мне нечего спрашивать.

— Надеюсь. Вы сели бы.

Аян сел. Девушка продолжала стоять, касаясь рукой стола. Раз оказав доверие, она не считала себя вправе остановиться.

— Ее звали так же, как и меня. Она вышла замуж. Дом этот — моего отчима, он чаоторговец; зовет меня дочерью. Кто Пэд?

— Пэд был капитан, — сказал Аян, погруженный в водоворот чувств, откуда ему казалось, что все почему-то обязано знать то же, что он. — Он умер.

— Я это уже знаю.

— «Фитиль на порохе» — не торговая шхуна, — коротко усмехнулся Аян. — Мы останавливаем иногда китоловов, но с ними много возни; Пэд предпочитал почту.

Стелла выпрямилась.

— Это слишком щедро для одного дня, — сказала она, с любопытством рассматривая Аяна. — Вы... грабите?

— Мы берем самое подходящее, — помолчав, возразил Аян. — Деньги попадаются не так часто, но шелковые и чайные транспорты тоже выгодны.

— Молчите! — крикнула Стелла, расхаживая по комнате. — А вооруженные суда... военные?

— Сила на их стороне, — вздохнул Аян. — Мы также теряем людей, — прибавил он, — не думайте, что все сдаются, как зайцы в силке.

— Так, значит, там, на столе... — Стелла подошла к ящику. — Вы не думаете, что они стали темнее после вами рассказанного?

— Пэд очень любил вас, — возразил Аян.

— Вы это знаете?

— Да.

— Он вам говорил обо мне?

— Ни разу.

— Почему же вы это знаете?

— Стелла, — сказал Аян, — он мог не любить вас?

Девушка улыбнулась. Перед ней, в огне солнца, такие же как четверть часа назад сверкали алмазы, и не были они ни темней, ни хуже. Их прошлое сгорело в костре собственного их блеска.

Наконец созерцание утомило девушку, она встала перед Аяном.

— Как вас зовут?

— Ай, еще — Аян.

— Кто вы?

— Матрос.

— Аян, расскажите о вашем судне и о моем... Пэде.

Сбивчивыми, спутанными словами, запинаящимися друг о друга, как люди в стремительно бегущей толпе, выложил Аян все, что, по его мнению, могло интересовать Стеллу. Она не перебивала его, иногда лишь, кивая головой, ударяла носком в пол, когда он останавливался.

Аян начал с Пэда, но скоро и незаметно для самого себя рассказал все. Что хотел он сказать? Прослушайте песню дикаря, плывущего на восходе вниз по большой реке. Он складывает весла и думает вслух низкими, гортанными нотами. Мысли его цветисты и беспорядочно нагромождены друг на друга — упомянув об отточенной стреле, он забывает ее, чтобы воздать хвалу цветущему дереву. Аян говорил о смерти под пулями, и смерть казалась невзначай, как простая контузия; о починке бегучего такелажа, о том, что в жару палубу поливают водой. Он упомянул знойный торнадо, попутно прихватив штиль; о призраке негра, о несчастьях, приносимых кораблю кошками, об искусстве лавировать против ветра, о пользе пепла для ран, об огнях в море, кораблях-призраках. Мертвая зыбь, боковая и килевая качка, ночные сигналы, рыбы, летающие по воздуху, погрузка клади, магнитные бури, когда стрелка компаса пляшет, как взбешенная, — все было в его словах крепко и ясно, как свежая ореховая доска. Он говорил о схватках, где полуживых швыряют за борт, стреляют с ругательствами и острят, зажимая дыру в груди. Тут же, как бы стирая кровь, рассказ перешел к бризу, пассату, мистралю, ост-индским циклонам, тишине океана, расслабляющей тоске зноя. Утренние и вечерние зори, уловки шторма; рифы, разрезающие корабль, как бритва — газетный лист...

Аян остановился, когда Стелла поднялась с кресла. Жизнь моря, пролетевшая перед ней, побледнела, угасла, перешла в груды алмазов. Девушка подошла к столу, руки задвигались, подымаясь к лицу, шее и опускаясь вновь за новыми украшениями. Она повернулась, сверкающая драгоценностями, с разгоревшимся, преображенным лицом.

— Все здесь, — громко сказала Стелла. — Все, о чем вы рассказали, — на мне.

Аян встал. Девушка мучительно притягивала его; страдающий, восхищенный, он что-то шептал потрескавшимся

от внезапного внутреннего жара губами, бледный, как холст. Борьба с собой была выше его сил — он взял руку Стеллы, быстро поцеловал ее и отпустил. Поцелуй этот напоминал укус.

Стелла не пошевелилась, даже не вздрогнула. Слишком все было странно в этот тихий солнечный день, чтобы разгневаться на грубое поклонение, от кого бы оно ни исходило. Только слегка поднялись брови над снисходительно улыбнувшимися глазами: руку поцеловал мужчина.

— Мальчик, — произнесла она, и голова ее повернулась тем же движением, как через несколько дней в гостинной, среди общества, — я нравлюсь тебе?

— Я целовал портрет, — глухо сказал Аян. — Я думал, что это ты.

Девушка рассмеялась. В тот же момент ее схватила пара железных рук, совсем близко, над ухом волна теплого дыхания обожгла кожу, а в сияющих, полудетских, о чем-то молящих, кому-то посылающих угрозы глазах горело такое отчаяние, что был момент, когда комната поплыла перед глазами Стеллы и резкий испуг всколыхнул тело; но в следующее же мгновение все по-прежнему твердо стало на своем месте. Она вырвалась.

Наступило молчание, долгое, как столетие. Попугай громко скрипел, поворачиваясь в кольце. Аян шумно дышал, горе его было велико, безмерно; бешеная, стыдливая улыбка дрожала в лице. Слова, услышанные им, были резки и сухи, как окрик всадника, несущегося по улице:

— Уйдите сейчас же! Прочь!

Он постоял некоторое время, не двигаясь, как бы взвешивая смысл сказанного; затем без рассуждений и колебаний, дрожа от гнева, поднес к виску дуло револьвера. Он действовал бессознательно. Оружие, вырванное маленькой, но сильной рукой, полетело к стене.

Он поднял глаза полные слез, и они туманом застилали лицо девушки. Комната качалась из стороны в сторону.

— Аян, — мягко сказала девушка, остановилась, придумывая, что продолжать, и вдруг простая, доверчивая, сильная душа юноши бессознательно пустила ее на верный путь. — Аян, вы смешны. Другая повернулась бы к вам спиной, я — нет. Идите, глупый разбойник, учитесь, сделайте образованным, крупным хищником, капитаном. И когда сотни людей будут трепетать от одного вашего слова — вы придите. Больше я ничего не скажу вам.

И тогда улыбка радости ответила ее словам — так было немного нужно, чтобы воспламенить порох.

— Я уже думал об этом, — тихо сказал Аян. — Вы не будете стыдиться меня. У нас все вверх дном. Я знаю судно не хуже гордеца Гарвея. Я научился разбирать карты и обращаться с секстаном. Я приду.

Что-то похожее на жалость мелькнуло в глазах Стеллы. Она склонилась, и легкое прикосновение ее губ обожгло лоб Аяна.

— О! — только сказал он.

— Идите же! Идите!

Пошатываясь, Аян открыл дверь. Девушка-сон задумчиво смотрела на его лицо, полное благодарности. Повинуясь неведомому, он вышел на галерею; только что пережитое лежало в его душе мучительной сладкой тяжестью. На пороге он обернулся, последние сказанные им слова дышали безграничным доверием:

— Я — приду!

VIII

От железнодорожной приморской станции до глухого места у каменного обрыва берега, где была спрятана шлюпка, Аян шел пешком. Он не чувствовал ни усталости, ни голода. Кажется, он ел что-то вроде маисовой лепешки с медом, купленной у разносчика. Но этого могло и не быть.

Когда он взял весла, оттолкнув шлюпку, и плавная качка волны отнесла берег назад — тоска, подобная одиночеству раненого в пустыне, бросила на его лицо тень болезненной мысли, устремленной к городу. Временами ему казалось, что долго, в жару спал он где-то на солнцепеке и проснулся с болью в груди, потому что сон был прекрасен и нежен, и видения, полные любовной грусти, прошли мимо его ложа, а он проснулся в знойной тишине полдня, один. Все, как было, живое, с яркой остротой действительности неотступно носилось перед его глазами, блестящими сосредоточенным светом воли, направленной в одну точку.

Море дымилось, вечерний туман берега рвался в порывах ветра, затягивая Пролив Бурь сизым флером. Волнение усиливалось; отлогие темные валы с ровным, воздушным гулом катились в пространство, белое кружево вспыхивало на их верхушках и гасло в растущей тьме.

Аян, стиснув зубы, работал веслами. Лодка ныряла, поскрипывая и дрожа, иногда как бы раздумывая, задерживаясь на гребне волны, и с плеском кидалась вниз, подбрасывая Аяна. Свет фонаря растерянно мигал во тьме. Ветер вздыхал, пел и кружился на одном месте, уныло гудел в ушах, бесконечно толкаясь в мраке отрядами воздушных существ с плотью из холода: их влажные, обрызганные морем плащи хлестали Аяна по лицу и рукам.

Встревоженный матрос перестал грести. Берег был близко, но в этом месте представлял больше опасности, чем защиты, потому что по крайней мере на полумиллю тянулся здесь голый отвесный камень, изрезанный трещинами. Он снова схватил весла, торопясь проплыть скалы. Опасность прищипывала его; согнувшись, упираясь ногами, Аян греб, и весла гнулись в его руках, окаменевших от продолжительного усилия. Иногда, подброшенный сильным толчком, он должен был присесть, чтобы сохранить равновесие; сесть снова после этого на скамью ему удавалось только при помощи инстинкта, управляющего движениями. Кругом бушевал воздух; немое смятение охватывало пролив; волны метались, подобно темному стаду, гонимому паникой во время пожара. Это был шторм.

Прошло несколько времени, и ветер переменял фронт. Теперь он обрушивался с берега; сильнейшая боковая качка встряхивала суденышко Аяна легче пустого мешка, возилась с ним, клала на левый и правый борт, и тогда какое-нибудь из весел бессильно ударяло по воздуху. Море пьянело; пароксизм ярости сотрясал пучину, взбешенную долгим спокойствием. Неясные голоса перекликались в воздухе: казалось, природа потеряла рассудок, слепое возмущение ее переходило в припадок рыдания, и вопли сменялись долгим, буйным ревом помешанного.

Лодку стремительно несло в сторону. Валы, катившиеся теперь от берега, отодвигали ее толчками, как нога отбрасывает встречный предмет. Аян превратился в слух, инстинкт стал зрением, борьба шла ощупью. Он подымал весла, как воин подымает оружие, и отражал удар всей силой своих мышц в тот момент, когда тьма грозила уничтожением, — ничего не видя, читая в глухом стремительном водовороте стихий внутренними глазами души. Он угадывал, предупреждал, наносил удары и отражал их; бросал ставки и брал назад, игра шла вничью. Его качало, ударяло о борт, подымало на высоту, рушило вниз, подбрасы-

вало. Соленые, бьющие в лицо брызги, целые лохмотья воды, сорванные штормом, хлестали его по голове и телу, мокрая одежда стесняла движения, шляпка приобрела легкость испуганного, травмированного человека, мечущегося во все стороны.

Ослепительная фиолетовая трещина расколола тьму, и ночь содрогнулась — удар грома оглушил землю. Панический, долгий грохот рычал, ворочался, ревел, падал. Снова холодный огонь молний зажег глаза Аяна; открыв их, он видел еще в беснующейся темноте залитый мгновенным светом пролив, превращенный в сплошную оргию пены и водяных пропастей. Вал поднял шляпку, бросил, вырвал одно весло — Аян вздрогнул.

Море одолевало его. Он мог теперь совсем не сопротивляться, игра шла к концу. Он как будто окаменел, застыл, ошеломленный случившимся. Он мог только ждать, возмущаться, впасть в отчаяние, кричать, безумствовать.

Глухой гнев наполнял Аяна. Он уцепился за борт, бросив оставшееся весло на дно шляпки. Бороться дальше он считал бы для себя унижением, смешной попыткой обуздать стадо коней. Он не хотел показывать врагу растерянности. Одна мысль, что океан может обрадоваться его испугу, его жалкой защите с помощью голых рук привела его в состояние свирепой ненависти. Он презирал море, нападающее на одного всей силой водяной армии. Смерть не пугала его — напротив, обезоруженный, он без колебания отверг бы пощаду, чтоб не подвергаться унижению жизни, брошенной в виде милостыни. Он приготовился плюнуть в лицо торжествующему победителю. Спокойный, насколько это было возможно, Аян крикнул:

— Жри! Подавись! Собака! Цепная собака!

Залитый водой, измученный, он осыпал пролив презрительными ругательствами, дерзкими оскорблениями, издевался, придумывая самые язвительные, обидные слова.

— Подлый трус!.. Ты воешь, как гиена!.. Корыто акул, оплеванное моряками!.. Пугай детей и старух, продажная тварь, Иуда!

Снова упала молния, ее неверный свет озарил пространство. Удары грома следовали один за другим, резкий толчок подбросил шляпку. Аян упал; поднявшись, он ждал немедленной течи и смерти. Но шляпка по-прежнему неслась в мраке, толчок рифа только скользнул по ней, не раздробив дерева.

— Жри же! — с презрением повторил Аян.

Он встал во весь рост, еле удерживаясь на ногах. Все чаще сверкала молния; это был уже почти непрерывный, дрожащий, режущий глаза свет раскаленных, меняющих извивы трещин, неуловимых и резких. Впереди, прямо на шлюпку смотрел камень. Он несколько склонился над водой, подобно быку, опустившему голову для яростного удара; Аян ждал.

И вдруг кто-то, может быть воздух, может быть сам он, сказал неторопливо и ясно: «Стелла». Матрос нагнулся, весло раскачивалось в его руках — теперь он хотел жить, наперекор проливу и рифам. Молнии освещали битву. Аян тщательно, напряженно измерял взглядом маленькое расстояние, сокращавшееся с каждой секундой. Казалось, не он, а риф движется на него скачками, подымаясь и опускаясь.

Враги сцепились и разошлись. Мелькнула скользкая, изъеденная водой каменная голова; весло с треском, с силой отчаяния ударилось в риф, Аян покачнулся, и в то же мгновение вскипающее пеной пространство отнесло шлюпку в сторону. Она вздрогнула, поднялась на гребне волны, перевернулась и рухнула в темноту.

— Стелла! — крикнул Аян. Судорожный смех сотрясал его. Он бросил весло и сел. Что было с ним дальше — он не помнил; сознание притупилось, слабые, болезненные усилия мысли схватили еще шорох дна, ударяющегося о мель, сухой воздух берега, затишье; кто-то — быть может, он — двигался по колена в воде, мягкий ил засасывал ступни... шум леса, мокрый песок, бессилие...

IX

Аян протер глаза в пустынной тишине утра, мокрый, хмельной и слабый от недавнего утомления. Плечи опухли, ныли; сознание бродило в тумане, словно невидимая рука все время пыталась заслонить от его взгляда тихий прибой, голубой проход бухты, где стоял «Фитиль на пороке», и яркое, живое лицо прошлых суток.

Аян встал, разулся, походил немного взад и вперед, нежа натруженные подошвы в согретом песке берега, размялся и совершенно воскрес. Невдалеке чернела залитая водой, обнажившая киль шлюпка; волнение качало ее, как

будто море в раздумье остановилось над лодкой, не зная что делать с этим неуклюжим предметом. Пролив казался спокойными ангельскими глазами изменившей жены; он стих, замер и просветлел, поглаживая серебристыми языками желтый песок, как рассудительная, степенная кошка, совершающая утренний туалет котят.

Матрос ревниво осмотрел шлюпку: дыры не было. Штудер вместе с уцелевшим веслом валялся на дне, опутанный набухшим причалом; ствол ружья был полон песку и ила. Аян вынул патрон, промыл ствол и вывел шлюпку на глубину — он торопился; вместе с ним, ни на секунду не оставляя его, ходила по колена в воде высокая городская девушка.

Она следила за ним. Он подымал глаза и улыбался сырому, сверкающему морскому воздуху; пустота казалась ему только что опущенным, немым взглядом. Взгляд принадлежал ей; и требование и обещанная чудесная награда были в этих оленьих, полных до краев жизнью глазах, скрытых далеким берегом. Человек, рискнувший на попытку поколебать веру Аяна, был бы убит тут же, на месте, как рука расплющивает комара.

Шлюпка, точно проснувшись, закачалась под его ногами; Аян греб стоя, одним веслом. Рифы остались сзади, впереди лежал океан, слева — меловые утесы, похожие на кучки белых овец, скрывали бухту. Он плыл с ясным лицом, уверенно отгребая воду, грозившую не так давно смертью, и не было в этот момент предела силе его желания кинуться в битву душ, в продолжительные скитания, где с каждым часом и днем росло бы в его молодом сердце железо власти, а слово звучало непоколебимой песнью, с силой, удесятеренной вниманием. Он подплывал к шхуне повелителем в грабеже и удали, молодой, нетерпеливый, с душой, сожженной беззвучной музыкой, воспоминанием и надеждой.

Аян кипел; солнце кипело в небе; вскипая и расходясь, плескалась вода. — Го-го! — крикнул матрос, когда расстояние между ним и шхуной, стоявшей на прежнем месте, сократилось до одного кабельтова. Он часто дышал, потому что гребля одним веслом штука нелегкая, и крикнул должно быть слабее, чем следовало, так как никто не вышел на палубу. Аян набрал воздуха, и снова веселый, нетерпеливый крик огласил бухту:

— Эй! Спусти трап! Свои!..

Шлюпка подошла вплотную; грязный, продырявленный старыми выстрелами борт шхуны мирно дремал; дремали мачты, штаги, сонно блестели стекла иллюминатора; ленивая, поскрипывающая тишина старого корабля дышала грустным спокойствием, одиночеством путника, отдыхающего в запущенном столетнем саду, где сломанные скамейки поросли мохом и желтый мрамор Венер тонет в кустарнике. Аян кричал:

— Эй, на шхуне! Гарвей! Сигби! Родэк! Кто-нибудь, спустите же трап! Ребята!

Тень легла на его лицо, он сказал тихо, как бы обращаясь к себе:

— Они спят. Я забыл, что парни без дела.

Взобраться на палубу при помощи обыкновенной железной кошки было для него пустяком. Он поднялся, укрепил причал шлюпки, чтобы лодку не отнесло прочь, и пошел к кубрику. У трапа он приостановился, соображая, чем удовлетворить законное любопытство товарищей, и вспомнил грязную контору бритого старика, о котором говорил Стелле.

— Да,—мысленно произнес он,—я имел дело со стариком, ее не было. Старик взял портрет, я вернулся.

Заранее улыбаясь возгласам и расспросам, Аян спустился в кубрик. Сначала, в сумраке помещения, он не поверил себе, прищуриваясь и оглядываясь широко раскрытыми, встревоженными глазами, но тотчас убедился, что людей нет. Кубрик потерял жилой вид. Койки, лишенные одеял, сиротливо тянулись перед Аяном; на полу сор, веревки, тряпки, огарки свеч, пустые жестянки; исчезли мешки с имуществом, одежда, висевшая по стенам, оружие. Немая заброшенность и тоска смотрели из каждой щели, настежь раскрытых ящиков, тускло освещенного люка...

Пораженный, Аян силился понять что-нибудь и не мог. Одно-два мгновения он рассеянно потирал руки; блуждающая улыбка кривила губы. Это было мгновенное, тревожное оцепенение, где нет места ни рассуждению, ни догадкам — он потерялся. Слегка испуганный, Аян вышел на палубу: по-прежнему здесь не было ни души. Он поспешил к каютам, в надежде отыскать Реджа или Гарвея, по дороге заглянул в кухню — здесь все валялось неубранное; высохшие помои пестрили пол, холодное железо плиты обожгло его руку мертвым прикосновением; разлагалось и кишело мухами мясо, тронутое жарой. Передник Сэта ви-

сел на гвоздике, как будто повар только что ушел, вернется и вкусно застучит по доске острым ножом.

Первое, что остановило Аяна, как вкопанного, и потянуло к револьверу, — был труп Реджа. Мертвый лежал под бизанью и, по-видимому, начинал разлагаться, так как противный, сладкий запах шел от его лица, к которому нагнулся Аян. Шея, простреленная ружейной пулей, вспухла багровыми волдырями; левый прищуренный глаз тускло белел; пальцы, скрюченные агонией, казались вывихнутыми. Он был без шапки, полуодетый.

Аян медленно отошел, закрывая лицо. Он двигался тихо; тупая, жесткая боль росла в нем, наполняя отчаянием. Матрос прошел на корму: спуститься в каюты казалось ему риском — увидеть смерть в полном разгуле, ряды трупов, брошенных на полу. Он осмотрелся; голубая тишина бухты несколько ободрила его.

Прислушиваясь на каждом шагу, Аян оставил последнюю ступень трапа и двинулся к каюте Гарвея. Дверь не была закрыта; он тихо открыл ее, окаменел, шаря глазами, и вздрогнул от радости: с койки, как бы не узнавая его, смотрели тяжелые, стальные глаза штурмана.

— Гарвей! — шепнул юноша, подходя ближе. — Гарвей!

Штурман открыл рот и пошевелил губами. Первая попытка заговорить была неудачна. Потом, и было видно, что это стоит ему огромного напряжения, Гарвей прохрипел:

— Мальчик!.. Ай... В два слова: ушли все. Ядохну, ранен близ сердца... Собственно говоря, я был дурак... я и Редж... мы враги... но не...

Он двинул рукой, почесал подбородок об одеяло и продолжал:

— Шакалы разбежались, Аян. Я и Редж воспротивились; знаешь, в нашем ремесле поздно искать другого пристанища. И то сказать — Пэд умер... Никак не могли выгнать новую глотку... стадо!.. В тот день, что ты уехал, уже сцепились... Кристоф пошел к Пэду... его застрелил Дженнер. Я не могу рассказывать, Ай, — меня все что-то держит за горло... и стреляет в спину... Но вот... Ты поймешь все... решили делиться, подбил Сигби. Шхуна пуста, Ай... Ушли... Все ушли...

Гарвей смолк, его резкие, осунувшиеся черты выражали невероятное бешенство.

— Дай воды! — коротко сказал он.

Аян подал оловянную кружку, раненый пролил половину на одеяло; горло его подергивалось судорогой. Аян спросил:

— Когда это, Гарвей?

— Вчера вечером. Они все... соберутся... Один... к «Прителю»... Понял?

— Да.

— Расскажи... — захрипел Гарвей. — Впрочем...

Он задохнулся, закрыл глаза и не шевелился. Аян сел, положил голову на руки; плечи и шея его тяжело вздрагивали; это были беззвучные, сухие рыдания. Гарвей, по-видимому, уснул. Усилия, сделанные им, отняли всю энергию угасающего, пробитого тела.

— Стелла, — сказал Аян тише, чем дыхание раненого. — Что дальше?

Прошло, может быть, полчаса; очнувшись, с горем в душе, он пристально рассматривал штурмана. Желание быть выслушанным, передать часть тяжести хотя бы полуживому, страдающему, наполняло его беглым огнем слов; он сказал:

— Гарвей, вы знаете, мне так же больно, как вам. Я... со мной случилось, но вы ничего не знаете... Я мог быть счастлив, Гарвей!..

Он смолк, ему ответила тишина.

— Гарвей, — сказал он, вставая, — я вам могу быть полезен. Я любил и вас также, Гарвей, но у меня не разбегались бы; это так. Я владел бы ими, как владеют стаей собак. Гарвей! Я нащиплю корпии и перевяжу вашу рану; кроме того, вы хотите, вероятно, поесть. Кто ранил вас?

Он протянул руку, коснувшись плеча штурмана. Гарвей молчал. Аян потолкал его, затем нагнулся и приложил ухо к груди — все кончилось.

— Прощайте, штурман! — сказал матрос. — Теперь я один живой здесь. Прощайте!..

Поднявшись на палубу, он отыскал немного провизии — сухарей, вяленой свинины и подошел к борту. Шлюпка, качаясь, стучала кормой в шхуну; Аян спустился, но вдруг, еще не коснувшись ногами дна лодки, вспомнил что-то, торопливо вылез обратно и прошел в крайскамеру, где лежали бочонки с порохом.

Оставляя ее, он оставил за собой тонкий дымок фистия.

— Ты оправдаешь свое название,— сердито, но уже владея собой, сказал он.— Порхай!..

На берегу, бросив лодку, Аян выпрямился. Дремлющий, одинокий корабль стройно чернел в лазури. Прошла минута — и небо дрогнуло от удара. Большая, взмыленная волна пришла к берегу, лизнула ноги Аяна и медленно, как кровь с побледневших щек, вернулась в родную глубину.

— Пролив обманул меня,— сказал юноша,— я спасся затем ли, чтобы повелевать трупами? Но этого быть не может.

Он засмеялся. Это был тот же странный, горловой смех жизненного упорства.

— Я приду,— сказал он, посылая улыбку северу,— приду! У меня есть песня — моя песня.

И он тронулся к заселенным местам, напевая вполголоса:

Свет не клином сошелся на одном корабле:
Дай, хозяин, расчет!..
Кой-чему я учен в парусах и руле,
Как в звездах — звездочет!

С детства клипер, и шхуна, и стройный фрегат
На волне колыхали меня;
Я родня океану — он старший мой брат.
А игрушки мои — русленя!..

Он ушел.

Умирая, одинокий, он скажет те же, полные нежной веры и грусти, твердые большие слова:

— Я — приду!..

Он счастлив — не мы.

Приложение

ЗАСЛУГА РЯДОВОГО ПАНТЕЛЕЕВА

I

— Барабанщики! Играй зорю!

От батальона, ровным и темным квадратом стоявшего перед белыми палатками лагерей, отделилось несколько фигур. Они мерно подняли руки вверх и разом их опустили. В чистом, гулком вечернем воздухе резко просыпалась звонкая трель барабанов:

— Тра-та-та! Тра-та-та! Тра-та-та!..— Барабаны грохотали то настойчиво и медленно, то после мерных и тяжелых ударов рассыпались продолжительной, однообразной трелью. Казалось, что в этой темной и гладкой равнине внезапный треск, подхваченный эхом, выходит не из маленьких, пустых барабанов, а из толпы скромных, серых шинелей, возносящих молитвы к далекому, невидимому богу. Запуганная и обезличенная человеческая масса, казалось, только и могла молиться этим языком барабанов, мерным и сухим, как и все в жизни солдата.

Несколько минут продолжалась игра барабанщиков. Они умолкли разом, как и начали, опять настала тишина, и толстый, черный офицер крикнул сердитым голосом:

— Смирно! На молитву! Шапки долой!

Сотни белых фуражек колыхнулись и потонули в вечернем сумраке. Серая солдатская масса, бесформенная и густая, застыла неподвижно. Вдали, за лесом, медленно потухал закат. Кудрявые, розоватые облака растянулись по горизонту, как крылья невидимого архангела.

— О-о-тче-на-а-аш!..— запел молодой, высокий голос.

— Иже еси на не-бе-се-ех!..— подхватили сотни остальных, и бескусственная густая музыка тысячелетней молитвы понеслась протяжным звучным хором за широкий простор реки. Пелась она дружно и с усердием. Кроткие, ясные слова молитвы говорили о какой-то другой, далекой, как небо, жизни, жизни добрых, спокойных, трудолюбивых людей. Люди, усталые и измученные строевыми учениями, стрельбой, чисткой винтовок и караульной службой, пели молитву за молитвой, и в сердцах их царило незлобивое, мирное чувство.

Спели и последнюю молитву — за царя. Волны звуков замерли, и вместе с ними отлетело в темную даль что-то такое, что превращало во время пения под открытым небом грозную армию в простую толпу молодых, здоровых крестьян и рабочих. Но замерли звуки молитв, и перед смутно белевшими рядами палаток опять стоял вымущированный и щеголеватый батальон ***-ского полка.

Следующая команда, которую ожидал услышать батальон, заключалась в слове «накройсь!» — но прошла минута, другая, а солдаты все еще стояли с непокрытыми головами. Офицер, который должен был отдать эту команду, стоял в кучке других офицеров и разговаривал с ними. Наконец он отделился от группы и вышел вперед батальона, смотревшего на него в упор тысячею глаз.

— Смир-р-но! — рявкнул офицер, повернувшись к фронту всем корпусом.

Батальон встрепенулся и замер.

— Накройсь!

Темные ряды покрылись белыми линиями фуражек. Офицер бросил горящую папиросу и затоптал ее ногой. Затем, внимательно обводя глазами подвластный батальон, — резко и сурово, точно бранясь, начал говорить:

— В приказе по полку, который вам сегодня читали по ротам, командир полка объявляет... объявляет о том, что рядовой 1-й роты, 4-го батальона, Василий Флегонтов Пантелеев получил награду и благодарность командира полка... За точное и неукоснительное и молодецкое исполнение долга службы в борьбе с врагами отечества... За отличное знание службы и служебного долга Пантелеев приказом по полку производится в младшие унтер-офицеры...

Помолчав немного, он продолжал:

— Вот так-то, братцы!.. Желаю вам всем одного: служить так, как служи Пантелеев... Помните, что за царем — служба, а за богом — молитва не пропадет. Служи хорошо — и тебе будет хорошо... Государь надеется на вас, братцы, помогите ему усердием... А жидов, студентов и прочих мерзавцев не слушайте... Одним словом: пусть каждый из вас будет прежде всего солдатом — как Пантелеев!..

Офицер хотел еще что-то сказать, добавить, но, очевидно, раздумал. Он погладил свою бороду и крикнул:

— Так я говорю? Верно?

— Так точно, вашескородие..! — пронеслось в рядах.

— По палаткам!..

Темный четвероугольник батальона быстро растаял и превратился в многочисленные кучи солдат, со всех ног бегущих к палаткам, расположенным за живой изгородью кустов шагах в 30-ти от места молитвы. Хохот, добродушные, но крепкие ругательства и быстрый топот ног раздались в вечерней тишине. Каждый торопился скорее прибежать в палатку и снова бежать на рогатую кухню, с деревянной чашкой, в которую повар, хитрый и вороватый мужик, вольет несколько ложек пресной кашицы без масла, оставив маслице для молодой и пригожей кумы из соседней слободы.

Василий Пантелеев, низенький, краснощекий и белобрысый солдат, прибежал в свою палатку одним из первых. Окинув небрежным взглядом темные углы своего жилья, он постоял немного, потом вынул из кармана желтенькую коробочку с папиросами «Дюшес», бережно закурил, лег на матрац и, сосредоточенно затягиваясь, стал думать о том,

что сказал после молитвы батальонный командир. Все в его речи казалось ему изумительно умным, прекрасным и молодцеватым. Особенно настойчиво звенела в ушах фраза офицера:

— Берите пример с Пантелеева!

И когда он думал об этих словах, чувство собственного достоинства и удовлетворенной гордости наполняло его.

«Вот мы как, брат! — мысленно радовался он, лежа в темноте с открытыми глазами. — Вот ты возьми его, Ваську Пантелеева, голыми-то руками... Нет, погодишь обожжешься!..»

И он хитро подмигивал кому-то, невидимому, кто, как ему казалось, смотрит сверху и любит его Василием Флегонтычем Пантелеевым. Мимо палатки, тихо разговаривая (фельдфебель был очень «нервный», как он сам говорил про себя, и не допускал громких разговоров), проходили отужинавшие солдаты, постукивая ложками. Часть их размещалась группами около деревьев, часть направлялась бродить по полю, некоторые уединялись и, вытащив из крашенных сундучков заветные гармоники, легонько наигрывали «вальцы» и «частушки», смотря по месту происхождения музыканта и его общественному положению.

Недалеко от палатки Пантелеева группа слушателей потешалась рассказами барабанщика Харченко, хохла, пьяницы и задушевного человека Мягкий говор солдата, полный едкой флегматической иронии доносился в палатку, где лежал Василий, вызывая в нем желание тоже пойти и послушать интересные анекдоты о москалях и цыганах. Но сознание отличия, полученного им, и новое звание унтер-офицера удерживало Пантелеева: отныне он считал унижением для себя держаться запанибрата с простыми солдатами. Мысли его, то яркие и живые, то ленивые и бесформенные, неизбежно возвращались к торжеству сегодняшнего дня, герою которого был он.

Написать бы надо в деревню, — думал он, почти уже засыпая. — То-то ахнут... Чай, не кто-нибудь, а вроде как бы офицер... Чай, отпишут знатно... Мы, мол, от тебя, Васька, такой радости не ожидали.

Старик-отец пойдет с письмом к соседям, и в каждой избя грамотный человек будет читать и перечитывать письмо кавалера и унтер-офицера Василия Пантелеева. Все будет ахать и удивляться. Потом хозяин избы возьмет бутылку водки, будет пить и поздравлять старика Флегонта с таким сыном...

Волна мечтаний окончательно захватила полусонного солдата и помчала его в страну ярких неслепостей... Вот он, Василий, на белом коне несется в бой с японцами... Японцы же не те, настоящие, — какие-то другие, страшные подлецы и трусы... Он рубит их направо и налево... Кругом трупы, трупы, трупы... Наконец — бой кончен, крепость взята. Седой генерал подходит к нему и говорит:

— За молодецкую отвагу и службу его величество возводит вас в генералы!..

И вот, «генерал» Пантелеев едет в Питер представляться царю. Везут его в отдельном вагоне... Приезжают в Питер... Дворцы, блеск, гром, музыка... Царь подходит к Василию и говорит:

— Так как ты мой верный слуга, то жалую тебя генерал-аншефом...

Ночь гита и черна, как могила. Лагерь спит мертвым сном. В одной из палаток, храпя и посвистывая, крепко зажав в кулак окурки папиросы, сладким сном спит «генерал-аншеф» Василий Пантелеев.

На другой день, по обыкновению, солдат разбудили рано. Солнце еще плавало на черте горизонта неярким, блестящим диском, согревая воздух, застывший в ночной свежести. Везде блестела роса, прохватывало холодком. Пожимаясь и потягиваясь выходили солдаты, кто — закуривая папиросу со сна, кто — умываясь «изо рта» возле песчаных дорожек, проведенных у палаток.

Проснувшись, Василий долго потягивался и думал о том, что он будет делать сегодня. Ротный день был распределен заранее, и Василию, желавшему получить сегодня возможность погулять в городе, нужно было подумать, кого бы попросить пойти вместо себя в караул, так как на очереди его рота была караульной. Выбор был невелик; ввиду многочисленности караульных постов всего два ефрейтора оставались дома. Но ни один из них не согласился бы взять на себя чужую обязанность не в очередь — без угощения, или, по крайней мере, без гарантий, что такое угощение состоится в недалеком будущем. Поэтому Василий сообразил: сколько он может истратить на заместителя из денег, выданных ему вчера фельдфебелем в награду от полкового командира. Денег было 5 рублей, но Василий сам был намерен устроить себе сегодня угощение «как следоват...» Поэтому полтинник показался ему достаточной суммой для того, чтобы купить свободу на один день. Сомнения же насчет того, что ефрейтор Гришин, собака и питух — соблазнится выпивкой — у Василия не было. Поэтому, умывшись, он направился прямо в батальонный буфет.

Серый, деревянный сарай, где продавали чай, сахар, калачи, пиво и водку, был почти еще пуст, только двое-трое посетителей жадно прихлебывали горячий напиток. Спросив чаю и баранок, Василий подумал, что хорошо бы вот сейчас написать письмо домой и сообщить в нем, что он сейчас такое и как ему вообще хорошо живется.

В это время вошел Гришин, худощавый брюнет, подвижной, с веселыми и быстрыми глазами. Увидав Василия, он подошел к нему и, шутиво обняв его за плечи, воскликнул:

— Унтер-офицер! А нашивки где? Нашивки, брат, нашей сегодня же беспременно!.. Потому — кто-ненабудь обшибется и чести не отдаст... Ступай к буфету, бери тесьмы на две копейки, а я тебе пришью!

— Я и сам пришью, — ответил Василий, досадливо освобождаясь от рук Гришина. И затем, приняв небрежный и скукающий вид, добавил:

— Чай, не в нашивках дело... Тебе вон, к примеру, и нашить нашивки, так все одно, начальство снимет. Потому — не заслужил.

— Ах, едять-те мужи!.. — воскликнул задетый ефрейтор. — Да ты, ваше унтер-офицерскородие, давно ли ши-то лаптем хлебал? А то ишь: с бабами воевал, а тоже: я — не я! С бабами воевать, брат, всякий сможет...

— Ты не говори этого, не моги говорить, — произнес Василий мягко и сдержанно, хотя кровь у него уже начинала ходить ходунном. — Начальство, брат, больше нашего знает, заслужил кто, или не заслужил! А насчет того, что я, к примеру, с бабами воевал, так уж это можно и совсем оставить...

Ему хотелось сказать что-нибудь значительное и сильное насчет службы и долга, сказать сердито и зычно, как это говорит батальонный командир, и как его, Василия, еще молодым солдатом учили на уроках «словесности». Но слова, нужные ему, не шла на ум, и он, пожевав губами, обиженно откинулся на спинку стула. Гришин посмотрел на него широко раскрытыми глазами и расхохотался.

— Ах ты... фря! — выпалил он. Вслед за тем его уже можно было видеть у стойки, где, пожимаясь и гримасничая, он делал «опрокидон». Через минуту он был уже у стола, где пили чай, и громкий, раскатистый хохот солдат, сопровождаемый взглядами в сторону Василия, давал понять, что там прохаживаются на его счет.

Потеряв терпение и желая несколько замаскировать замешательство, молодой унтер подошел к буфетчику, тоже солдату, и спросил у него лист почтовой бумаги, конверт и семикопеечную марку. Он решил, что зубоскальствующая компания перестанет смеяться, когда увидит его серьезного, пишущего письмо. Взяв старую чернильницу, в которой плавали мухи, и заржавленное перо, он присел к столу, обмакнул перо в чернила и вывел крупным кривым почерком:

«Дорогой тятенька и дорогая маменька! — Подумав, он вздохнул и продолжал:

Во первых строках моего письма прошу вашего родительского благословения, которое навеки ненарушимо, и посылаю вам с любовью и почтением низкий поклон. И еще уведомляю вас, тятенька и маменька, что мое начальство очень мною довольно, почему меня произвели младшим унтер-офицером. А еще были мы в **-ской губернии на усмирении бунтов, и жили мы там в большой опасности. А тамошние мужики пошли на экономию и много повыжгли, а хлеб весь растащили и скотину поубивали. А за то начальство их малость пощипало, и так мужиков пороли, что они и теперь без задних ног. А которые зачинщики — тех расстреляли и дома их пожгли...»

Медленно, тяжело пыхтя и кривя губы, помогая языком, глазами и ушами, Василий выводил слово за словом. Дописав до того, как они жгли крестьянские дома, он задумался и посмотрел в потолок. Ему хотелось описать случай, за который он получил денежную награду и повышение, описать так, чтобы ни для кого не было сомнения в том, что его усердие и старание заслуживают всеобщего почта и преклонения. Поэтому он стал сочинять то, чего не было.

Дальше он писал так:

«И еще, дорогой тятенька и дорогая маменька, пришлось мне подступить к бунтовщикам, что в избе сидели запершись. Начальство им велело сдаваться, а они супротив того стали из окон стрелять и близко никого не пускали. А я, перекрестясь, пошел с охотниками и стали залпы из ружей давать. И много ихнего брата поколотили, а меня чуть не убили, четыре пули около головы пролетело, но вашими молитвами бог спас. А командир полка объявил мне за то по полку спасибо и велел выдать пять рублей, окромя того, что в унтер-офицеры произвели. И еще сильно я об вас соскучился, буду просить отпуск у ротного, чтоб дал. Служба у нас строгая, но кто в исправном поведении — того всегда отличают и, окромя того, бывает всякое снижение. Отпишите, продали корову али нет и за сколь. Мельник, ежели за деньгами придет — не давайте, он без росписки сам дяде Тимоше 2 руб. 20 к. задолжал.»

Дальше шли бесчисленные поклоны родным и знакомым всех степеней, и их детям, и детям детей их. Писание письма отняло у Василия больше часу времени. Окончив, он бережно свернул листок и, положив его в конверт, не заклеил, а только наклеил марку и в таком виде отнес в канцелярию для просмотра рогного командира. С некоторого времени ротный стал требовать этого от солдат, и Пантелеев, как примерный служака, считал себя обязанным делать все по приказанию начальства.

III

В одной из глухих улиц бойкого уездного городка, где свила себе гнездо проституция, скупка краденых вещей и трактирный «промысел», — стало «заведение» саратовского мещанина Колюбакина — небольшой трактирчик, с кисейными занавесками, плохим граммофоном, слушая который трудно было понять — пият ли это железо или «Аиду». Здесь можно было найги все, начиная с копченой рыбы и кончая водкой и пивом. Все эти предметы были достаточны для того, чтобы у мещанина почти всегда сидела в заведении масса народа: мастеровых, крестьян, приезжающих по праздничным дням, а главным образом — солдат местного пехотного полка. И в день получения солдатского жалованья, которого хватает только на бутылку водки, и в дни выдачи «товара» (на сапоги) и «дачек» (холст на рубашки) в трактирчике можно было видеть массу воинов, несущих сюда казенное добро. Короче можно сказать, что едва ли не одно это «здание» оправдывало существование целой улицы с громким и задорным именем: «Раздерихинская».

Василий, с веселым, пьяным и потным лицом, сидел здесь уже часа три. Фуражку в белом чехле он ухарски сдвинул на затылок и, вытянув ноги под столом, говорил своему компаньону по выпивке:

— Нету, Дементий Сидорыч, такого закону, по которому солдату пить не полагается... Раз деньги есть — безо всякого сумления иду, гуляю... И я могу пить, сколь душе угодно... И я, брат, не пьян... а, напротив того, все очень тонко понимаю... и все могу произойти... Ну-ка — выпьем по единой!

Крякнули, выпили и закусили. Собеседник Василия, сильно охмелевший, сидел против него, подперев голову кулаками и бессмысленно уставясь пьяными, мутными глазами в лицо товарищу. Хмельная, лукавая улыбка расплзалась по его лицу. Он почти ничего не понимал, но иногда, вдруг широко подняв брови и раскрыв глаза, энергично мотал головой вниз, в знак сочувствия и одобрения.

— Главная штука тут очень простая, — резонировал Пантелеев, — Держись так, чтобы тебя никто не видал... Нет Василия и баста! Где Василий — ау! Нет его! А промежду прочим — кто хвельдфебелю сапоги почистил? Пантелеев! Чья койка зэвсегда в исправности? Пантелеева! Чья винтовка зэвсегда, как зеркало? Опять же Пантелеева! У кого новобранец три раза умрет со страху, пока его шпыняют? Все у него — Пантелеева! А понадобился Пантелеев — «подать его сюда»! — Я, вашескродне! Чего изволите? — «Ну... скажи, к примеру, братец — что означает солдат?» — Солдат есть, вашескродне, к примеру, человек, который есть слуга и защитник царя и отечества от врагов внешних и внутренних... — «Молодец!» — Рад стараться, вашескродне!..

Василий перевел дух и победоносно взглянул на собутыльника. Несмотря на хмель, тот понял, ввиду дарового угощения, что от него

требуются признаки жизни. Поэтому он очень сильно мотнул головой, едва не стукнувшись о стол. Василий надел шапку на самую шею и продолжал:

— Опять же, скажем к примеру — стражение, али там... — «Смир-р-но! По колонне прицел 800 — па-а-альба р-ротою! Р-рота — пии!»...

— И тебе, дураку — в лоб пулю, — расхохотался подошедший Гришин. Он был тоже навеселе, но слегка. С ним стоял другой ефрейтор, коренастый, рябой парень, рассеянно оглядывая зал трактира.

— Ну вот, принесла тебя нелегка!.. — сердито буркнул Василий. — Я с тобой, язвой, и дела иметь не желаю... Хотел тебя сегодня всецело угостить, да еще хотел просить насчет караула... а ты...

Он обиженно махнул рукой и выпил.

— ...А ты — кто тебя знает... просто ты безо всякого понятия человек...

Гришин вдруг нахмурился и, посвистывая, отошел от стола. Василий вскочил, покачиваясь, и ухватил ефрейтора за рукав, желая его задобрить и попросить «сделать милость» — сходить за него сегодня в караул, так как он был уже порядочно пьян и сам идти не мог.

— Экой ты... — бормотал он, схватив за руку Гришина. — Вот пох... Ну, иди, штоль, к нам, — выпеешь...

Ефрейтор не совсем охотно подошел к столу. Но при виде водки глаза его вспыхнули острым, жадным блеском. Он молча взял стакан, наливаемый ему Василием, и чокнулся с ним.

— Ну, победитель баб при Порт-Артуре, — усмехнулся он, — выпьем! — И, не дожидаясь Василия, опрокинул содержимое стакана себе в рот.

Василий же поставил свой стакан на стол и, белый от гнева, шумно перевел дыхание. Как? Ефрейторишка, да еще штрафованный, смеется над ним? Никак этого нельзя допустить!..

— Слушай-ка, брат ты мой, — сказал он голосом, дрожащим от злости и волнения. — Ведь я никаких слов тебе не произносил? Какие я тебе, к примеру, выражения выражал? Чего же тебе-то надо от меня? С бабами я воевал — ну?.. А ты не воевал? Чай, вместе были... Только вот, оно, конечно, тебе досада, что за баб-то тебе шиш с маслом, а я, — тут он повысил голос и стукнул кулаком по столу, — я от моего государя и начальников заслужил! Ага! Вот што!..

Несколько мгновений Гришин стоял с глазами, полными удивления, недоумевая — в шутку или всерьез разошелся новоиспеченный унтер. Но когда он увидел, что у того трясутся губы и дрожащая рука расплескивает из стакана водку, — он весь разом как-то изменился. Его смуглое подвижное лицо посерело, черные живые глазки ушли внутрь и резко обозначились скулы на бледном лице. Он хватил ладонью по столу так, что разом полетели на пол колбаса, рыба, бутылка и стаканы.

— Эй ты, шкура барабанная! — крикнул он металлически резким, звенящим голосом. — Ах ты, Ирод, тварь двуногая! Вместе, говоришь, были?.. Вместе да... Ну, что ж из этого?.. Верно, вместе разбойничали... А ты меня спроси: кто я теперь такой?.. Я — сам для себя пропащий человек? А? Я почему иду? Потому что веяет! Потому что за шкуру свою трясешься! Из страха иду! Плачу, да иду!

Душа во мне подла, да!.. В другой раз — не только что убивать — рыло бы разворотил мерзавцу, что тебя матерски ругает — да как подумаешь, брат, о каторге, да вспомнишь про домашность — и рад бы, да воли нет! Ведь за эту кровь, что мы выпускали, — нам бы в арстантских ротах сгнить надо, под расстрел идти! Ведь мы, окайнная ты сила, кому свои души продали! Думаешь — богу? Как попы галдят, да нам в казарме офицера башку забивают! Не богу, а чёрту мы ее продали! Ты думал, богу надобно малых ребят нагайками пороть? Женщин на штыки сажать, баб беременных? Старикам лбы пулями пробивать? Ведь мы защитники отечества считаемся, а вместо того, мы что делаем? Там, в сел-то, что после нас осталось? Ведь все пожгли! Ведь мы людей мучили, истязали? Да за что? За то, что они правды хотят? Кого мы бьем, кого режем? Думаешь — чужих? Себя ведь, себя истязуем! Ведь мы-то кто? Крестьяне? Домой придишь, — жрать нечего, начальство дерет последнюю шкуру... Ты и тогда нашивки свои наденешь? Сам себя умирять пойдешь? Дашь сам себе, и отцу, и матери по 200 розг — а сестру с собой спать заставишь? Э-э-эх! Вместе, вместе были, да! Только я, брат, вместо твоих пяти целковых — другое получил... Я теперь знаю... Теперь мне все поподробно известно!.. У-у, враги, мучители, кровопийцы!..

Солдат плакал. Его маленькое, худощавое тело сотрясало от рыданий при воспоминании тех ужасов, свидетелем и участником которых был он сам. Василий недоумевая хлопал глазами, не вполне отдавая себе отчет в том, что такое вдруг прикинулось с Гришиным. Когда тот замолк, Пантелеев переложил ногу на ногу и сказал только:

— Ну, это ты тово, брат — оставь! За эти разговоры... знаешь? — Служба...

— Ну, а что бы, к примеру, за эти разговоры? — сказал рябой ефрейтор. — Эти разговоры, брат, везде иныне разговариваются. Беда вот, что больше разговоров, а толку мало... А что касается Гришина, так, чай, сам видишь: у человека душа страждет...

— Это для меня всецело неизвестно, — упрямым тоном заявил Василий. — Мне что? Не бунтуй. Тоже, брат, без порядку никак невозможно.

Гришин нервно выпил водки. Возбуждение его начало проходить. На последние слова Василия он только апатично махнул рукой и заметил:

— Лучше какой ни на есть беспорядок, чем такой порядок, где просят хлеба, а дают — пулю.

IV

Была уже ночь, когда Василий, с отуманенной головой, нетвердой походкой возвращался в лагерь. Он так и не нашел охотника пойти за него покараулить, но знал, что если он на развод не явится — беды для него от этого особенной не произойдет, а вместо него назначат кого-нибудь из старых солдат. Потом он вспомнил, что в письме, которое он отдал в канцелярию, было много наврано относительно его походов в крамольном селе. Ему сейчас же представилось, как его вызывает ротный командир и спрашивает:

— А ты где это, мерзавец, врать научился?

Потом незаметно мысли его от письма перешли к событиям, в которых он так отличился. Не сопровождаемые никакими ощущениями, эти картины недавнего прошлого потекли в его мозгу почти бессознательно, с самыми незначительными подробностями воссоздавая ту обстановку, в которой несколько дней пришлось жить и действовать 1-й роте ***-ского полка.

В один прекрасный вечер на поверке приказом по полку было сообщено во всех ротах 4-го батальона, что завтра батальон отправляется в одну из волостей ***-ской губернии для подавления вооруженной силой крестьянских беспорядков. Рота, в которой служил Василий, рано утром, в полном боевом снаряжении была уже на вокзале, где перед отходом поезда ротный командир сказал солдатам краткую речь, увещывая их не щадить крамольников и быть верными присяге. День был солнечный, жаркий, гесные товарные вагоны, в которых ехали солдаты, были вонючи, грязны и душны. Дня пушного веселья и храбрости все получили угощение: по две чарки водки и по $\frac{1}{2}$ фунта колбасы. Скоро появилась и собственная водка, захваченная теми, кто позапасливее; появились гармоника, и мрачное, подавленное настроение роты стало понемногу проходить. Начались песни, разговоры, но всякий как будто избегал говорить о том, куда и зачем он едет. Это было и без того слишком ясно...

На станции, куда они приехали к полудню, к поезду подошел приказчик из графской экономии, подвергшейся разгрому со стороны местных крестьян, и пригласил гг. офицеров от имени хозяина сесть в ожидавший их экипаж и поехать в усадьбу графа. Солдаты пошли пешком. Было жарко, пыльно, солнечно, тяжелые сумки и патронташи давили тело, винтовки натирали плечо. Через полтора часа ходьбы рота прибыла на двор усадьбы помещика-графа, где солдат поместили в сарае, рядом с сельскохозяйственными орудиями, молотилками, веялками и прочим скарбом. Шагах в тридцати от них, на террасе господского дома, семейство помещика обедало с офицерами. Пили вино, из дома доносились звуки веселой музыки. Барышни, хозяйские дочки, подходили к солдатам и спрашивали «всем ли они довольны, и не надо ли им что-нибудь»... Солдаты долго ежились, несмело отвечая на вопросы, пока кое-кто, побойче других, не сказал, что они голодны. Барышни начали ахать и убежали. Через полчаса солдатам принесли из кухни борща, черного хлеба и по рюмке водки... Посели. В сарае было тихо; близкое присутствие начальства не позволяло развлекаться — посмеяться и поговорить.

Потом все ушли с террасы внутрь дома, и Василий слышал, как кто-то играл на рояли что-то грустное и хорошее и звонкий баритон поручика Козлова пел протяжную и красивую песню о несчастной любви. Когда музыка смолкла, стали кричать «браво» и хлопать в ладоши. Потом на крыльцо усадьбы вышел ротный командир, пьяный, красный, с сигарой в зубах, и велел роте выстроиться у террасы в две шеренги. Скоро на террасу пришел старик, в черной паре и белой глаженной рубашке, в очках; одну ногу он как-то странно волочил за собой. Старик подошел к перилам террасы и несколько времени рассматривал неподвижные лица солдат. Затем сказал им, что он граф, помещик; что он их просит ему помочь и укротить негодяев, которые разоряют его и его семейство. Негодяи эти, по словам графа, не признают ни бога, ни царя, ни чужого добра, и только и смотрят, где что плохо лежит.

Пока старик говорил, пришел сюда какой-то молодой человек в се-

ром, с усами, закрученными вверх, с надменным и строгим лицом. Слушая старика, он изредка усмехался и кивал головою в знак согласия.

Потом оба удалились, и опять явился ротный командир. Он велел разойтись и прибавил, что теперь наступило время, когда он увидит, точно ли они — слуги царя и отечества. Говорил, что если заметит ослушивание, то велит расстрелять. Солдаты молча выслушали слова старика-графа и ротного и так же молча вернулись в сарай. И опять не было разговоров ни про графа, ни про слова ротного командира... Все было ясно и понятно..

Наступил вечер. В доме графа горело много огней и было видно в открытые окна, как танцуют, блистая улыбками и нарядами, красивые дамы и барышни. То и дело играла музыка, нежная и веселая, изредка кричали «ура!» и пели песни. Солдаты получили к вечеру щи, кашу и еще по чарке вина. Многим хотелось уже спать, но мешали шум и песни графских гостей. Усталость понемногу взяла, наконец, свое, и к полуночи глубокий мрак сарая огласился богатырским храпом сотни людей.



Наутро горнист сигнальным рожком поднял разоспавшуюся роту. Фельдфебель сердитым голосом кричал на запаздывающих. Солдаты поспешно плескали себе в лицо горсть воды, надевали шинели и строились на дворе. Офицерство, с докладом к которому уже не один раз сбегал фельдфебель, заставило себя ждать, и солдаты около часа стояли в строю, ожидая выхода начальства.

Его благородие, сонный и сердитый после вчерашней попойки, наконец, появился на крыльце. Несколько секунд он угрюмо смотрел на роту. Затем сказал, отчеканивая слова:

— Слушайте, вы!.. Если только кто из вас, мерзавцев, при команде «пли» оставит пулю в стволе — шкуру спущу... Лучше бы тому из вас и на свет не родиться!

Раздались команды: — «Смирно!» — «На-а плечо!» — «Ряды вздвой!» — «Налево!» — «Шагом м-марш!» — и колонна роты, вздымая густую, белую пыль деревенской дороги, пошла по направлению к крамольному селу, где жили «нутренние враги»...

Пять верст были пройдены быстро, и скоро село, рядами черных, кривых улиц, показалось на склоне отлогого холма. В середине серой кучи изб белела колокольня церкви с ярко горящим в солнечных лучах крестом. Невдалеке протекала извилистая речушка, окаймленная густым кустарником, и вода ее ярко блестела в темной зелени берегов. Худые куры, две-три пары свиней бродили у околицы.

Проходя по улицам, трудно было заметить признаки жизни. Изредка лишь из того или другого окна высовывалась белокурая голова какого-нибудь мальчишки и так же быстро пряталась.

Рота вошла в село и остановилась по команде перед волостным правлением. Офицер уже кричал и ругался у ворот с двумя или тремя мужиками, растерянно стоявшими перед его благородием. Василий видел, как один из них вдруг опустился на колени, но сейчас же вскочил, потому что офицер с ругательством ударил его ногой.

Скоро перед волостным правлением появились стражники, человек двадцать. Ротный долго бранился с ними, кричал и топал ногами. Василий слышал, как он приказывал двоим из них идти разыскивать

старосту и волостного старшину, которые скрылись еще накануне неизвестно куда. Остальные рассыпались собирать мужиков-домокозьев на сход. Начиналась расправа..

Немного погодя, приехало еще «начальство» — чиновник губернского правления и становой.

Для Василия все виденное им и то, что он собирался видеть и сделать, имело точный и ясный смысл. Он знал, что его привели усмирять грабителей... Эти грабители, в свою очередь, представлялись ему потерянными и окончательно негодными людьми, не верующими в бога, что-то вроде шайки мошенников. Разглядывая мужиков, постепенно стекавшихся к месту «действия», он с острым и жадным любопытством всматривался в их лица, и мужики, самые обыкновенные деревенские мужики, казались ему какими-то новыми, страшными и отчаянными мужиками, которым нет места в порядке будничной, повседневной жизни, полной хозяйственных хлопот.

Пустая улица постепенно наполнялась народом. Человек шестьдесят наиболее уважаемых и почтенных крестьян столпилось у крыльца волостного правления. В обоих концах улицы, на некотором расстоянии от двух главных групп — караемых и карателей — столпилось много баб и ребятишек. То тут, то там слышались вздохи, плач и причитания. Дети с любопытством осматривали гостей-солдат. Самые маленькие, сидя на земле, сосредоточенно ковыряли глину или топтались в пыли. Чиновник из города, худошавый низенький брюнет, надел пенсне и, помахивая тросточкой, оглядывал крестьян, стоявших без шапок в полном молчании.

Так прошло минут пять. Наконец, становой вышел вперед и крикнул:

— Ну, что же вы молчите? Ах вы — голь беспортошная! Слушайте-ка: добром мы с вами хотим поладить... Ведь вам же хуже будет! А если вы, негодяи, покоритесь — только одних зачинщиков отправлю в тюрьму. Ну... кто зачинщики?

Мужики молча переглянулись. Никто не двинулся с места, никто не проронил слова, только кой-где послышались тяжелые вздохи.

— Что же — разговором, значит, меня удостоить не желаете? — спросил становой. Лицо его постепенно наливалось кровью, и он, как хищная птица, тяжело дыша, походил вокруг жесткими, круглыми глазами. — Эй, вы! — крикнул он вдруг каким-то высоким, злорадным голосом. — Вы чего притворяетесь? Вы не знаете, что от вас требуется? Вы не виноваты? Может, думаете, — судить вас будут? Нет! Нет вам суда! Я вам суд и расправа!!! Подать сюда все: графский хлеб, лес и имущество! Выдать зачинщиков! Вы все зачинщики! На колени! — заревел он, потрясая кулаками.

В ответ — ни слова. Крестьяне смотрели прямо перед собой, и в лицах их, загорелых и печальных, была написана решимость. Они стояли, переминаясь с ноги на ногу.

— Слушайте: вам же будет хуже! — мягким и грустным тоном сказал чиновник. — Правительство не может допустить беспорядков. Советую вам исполнить наши требования.

— На колени, скоты! — снова закричал становой.

Ни звука, ни движения...

— Валентин Георгиевич! — обратился становой к офицеру, указывая на толпу. — Видите?

— Братцы! — крикнул он солдатам. — Вы видите, как закоренели мятежники! Слушай! Ружья на ру-у-ку! Прямо — шагом марш!

Рота двинулась, и через несколько мгновений острия штыков касались уже передних рядов толпы крестьян. Страшный крик и плач поднялся среди детей и женщин. Бледные растерянные лица солдат встретились почти в упор с бледными, но решительными лицами крестьян. Но тут солдаты в нерешительности остановились.

— Бей прикладами их! — закричал офицер, подбегая к роте. Винтовки постепенно стали опускаться прикладами вниз, но никто еще не решался ударить.

— Бей ты — ну! — И офицер ударил саблей плашмя молоденького солдата, растерянно сжимавшего в руках винтовку. Солдатик встрепенулся и судорожно ударил прикладом впереди себя. Удар попал в грудь какому-то старику. Тот покачнулся и сел на землю; у него захватило дыхание.

В душе Василия внезапно вспыхнуло злобное чувство и желание мести этим загадочным мужикам, которых он не понимает и поэтому ненавидит. Сильно подавшись назад, он ударил наотмашь прикладом, а затем штыком двух передних. Мужики как-то болезненно охнули и подались в толпу.

— Братцы, родимые, бяу-у-ут! — раздался не то крик, не то вой среди баб.

— Ура! — почему-то крикнул Василий, врываясь в толпу.

— Бей! — еще раз скомандовал офицер.

И началось побоище. Били зверски, били до изнеможения, до боли в суставах. Ад стоял на улице. Солдаты и избиваемые мужики смешались в одно... Били по голове, по животу, топтали ногами, наступали на лицо.

Зверь проснулся в человеке и запросил крови.

Крестьяне даже не оборонялись, только руки, инстинктивно протянутые вперед, говорили об ужасе, царящем в душе этих людей. Тяжело дыша, мокрые от пота, ослепленные свалкой, солдаты нанесли удары направо и налево...

Многие женщины бились в истерике, другие рвались к избиваемым, но стражники, расставленные цепью в двух местах поперек улицы, не допускали их...

— На колени! — кричал становой.

— Отойди, довольно! — скомандовал офицер.

И люди, с автоматической покорностью бывшие других, автоматически остановились.

Мужики стояли на коленях.

— Стройся! Равняйся!

Опять выстроилась рота во всем грозном ужасе слепого, бессмысленного насилия. Василий, разгоряченный и возбужденный, чувствовал прилив решимости и отваги. Сейчас он готов был резать, стрелять, колоть, брать крепости...

— Слушайте же вы, сволочи! — обратился становой к крестьянской толпе. — Вы видите, что мы с вами делаем! Хуже будет! Все спалим, запорем до смерти! Баб ваших на ночь солдатам отдадим! Покоряйся! Кто зачинщики?

— Ваше высокоблагородие! — заговорил дрожащим голосом старой, сильно избитый старик. Кровь струилась по его лицу из расщепленной губы, и он ежеминутно утирал ее рукавом армяка. — Ваше высокоблагородие! Не бунтовщики мы! Нет у нас зачинщиков, от нужды ведь великой! Терпенья нашего нет...

— Что? Рассуждать? — взвизгнул чиновник. — Да нам нет дела до вашей нужды! Хоть все подохните! Подавай все награбленное! Иначе разговор будет короток!

— Вот что: даю вам три минуты на размышление, — сказал становой. — Потом будем стрелять...

Наступила тягостная, жуткая тишина. Крестьяне продолжали стоять на коленях, и унижительное положение придавало какое-то величие этим упорным труженикам. Печать правоты лежала на них, и сознание этой правоты, правоты дела, за которое они терпели, можно было ясно прочесть в их лицах.

Прошло три минуты... Офицер отступил на два шага назад и скомандовал:

— Р-рота, кругом — м-марш!

Ружья звякнули, рота повернулась и отошла на несколько шагов от волостного правления.

— Стой!

Остановились...

— Кругом!

Повернулись...

— Прямо по толпе, па-а-льба — р-ротою! Р-рота...

Все застыло... Удивленные крестьяне молча смотрели на солдат, не веря, что в них будут стрелять... За что?

— Пли!..

Треск залпа потряс воздух... Повалились убитые и раненые, судорожно хватая руками землю... Остальные в безумном ужасе бежали вдоль улицы... Стоны, полные безумного ужаса, огласили воздух. Все металось, бежало... Трупы лежали неподвижно, и алые лужи крови подтекали под них...

VI

День прошел как будто в кошмаре. Солдат напоили водкой, и они, пьяные, с дикими песнями и криками носились по селу, избивая всех, кто подвертывался под руку в избах, на улицах, в огородах, куда прятались обезумевшие жители от произвола и разгула «гостей». Селу было объявлено, что если к полночи не будут исполнены требования начальства, оно будет сожжено. Несколько арестованных были висечены до полусмерти и заперты в холодной, где их бросили на голый пол без воды и пищи.

Перед вечером произошло событие, доставившее Василию унтер-офицерские нашивки и денежную награду. Проходя по околице, он увидел кучу парней, о чем-то разговаривавших. При виде солдата парни замолчали и, косо поглядывая на царского слугу, посторонились, не желая, очевидно, давать хогь малейший повод к скандалу. В то же мгновение из-за угла поперечной улицы выплыла вся компания усмирителей.

Впереди шел становой, в белом кителе нараспашку, лакированных сапогах и бархатном малиновом жилете, по борту которого висела толстая золотая цепь. В руках у него была балалайка, и он лениво тренькал на ней, напевая какой-то романс. Сзади плелись ротный командир и губернский чиновник. Все трое были пьяны. Несколько солдат с винтовками конвоировало начальство.

В приливе усердия Василий кинулся на парней, желая отличиться в глазах начальства, и крикнул им, чтобы они убрались. Парни мед-

ленно пошли по улице, оглядываясь назад. К несчастью, пьяный ваглад ротного командира упал на одного из них, шедшего сзади и медленнее других.

— Эй ты, мужик, идиот! — крикнул он ему. — Как тебя — Петька, Ванька, Гришка! Беги! Беги, подлец!

Парень оглянулся и пошел быстрым шагом. Но это еще только более рассердило офицера.

— Беги! — заорал он, выхватывая револьвер. — Ты кто такой? — обратился он к Василию

— Ефрейтор первой роты, четвертого батальона Василий Пантелеев, вашескродие! — отчеканил Пантелеев, вытягиваясь.

— Рубль на водку — подстрели вот этого мерзавца, что прогуливается! Вон того, видишь? Ну, живей!

— Слушаю, вашескродь!

Василий прицелился и выстрелил. Пуля ударила человека в спину. Парень как-то нелепо взмахнул руками и, схватившись за голову, бросился бежать, но через 5—6 шагов упал и так остался лежать. Видно было только, как судорожно подергивались ноги. Остальные разбежались.

Офицер с минуту мрачно смотрел на труп, не двигаясь с места. Затем сказал:

— А ты, брат — стрелок! Будешь унтер-офицером! Молодец!

— Рад стараться, вашескродь! — отчеканил Василий. Стаиовсий вдруг почему-то бессмысленно расхохотался и долго трясясь, прижимая балаалайку к груди. Чиновник подошел к убитому и, брезгливо кривя губы, потрогал его тросточкой. Потом — все ушли...

А ночью село пылало, охваченное огнем. Громадные языки пламени лизали крестьянские крыши, и черный дым высоко летел к небу. Тушить пожар было запрещено. Сонные и хмельные солдаты стояли возле каждой избы, и пламя кровавым блеском играло на их штыхах. Горело крестьянское добро, плоды тяжелых трудов...

Жителей не было видно. Было светло и страшно, как на кладбище при свете похоронных факелов. Ни криков, ни стонов... Казалось, все слезы выплаканы, все груди онемели от мучительных криков боли и горя... Да и кричать было некому: кто бежал в лес, кто в деревню соседей, кто — лежал в мертвецкой, пробитый пулями солдата-крестьянина...

ДОРЕВОЛЮЦИОННАЯ ПРОЗА ГРИНА

1

В начале 1908 года в Петербурге вышла первая книга Грина, «Шапка-невидимка». Большинство рассказов в ней — об эсерах. Пять из них прославляют гуманизм и самоотверженность революционеров («Марат»), их честность и беспощадное презрение к ренегатам и провокаторам («Подземное»¹), готовность стойко и мужественно переносить лишения («На досуге»), наконец, просто человеческую привлекательность и обаяние («В Италию», «Апельсины»), а рассказы «Гость» и «Карантин» отделены от остальных как бы незримой чертой: они открывают цикл разоблачительных рассказов о партии эсеров.

Об этой книге Грина почти не писала критика. А между тем в русской литературе нет более яркого и правдивого изображения эсеровщины, чем рассказы из «Шапки-невидимки» и примыкающие к ним произведения Грина 1908—1913 годов. Это свидетельство писателя, наблюдавшего эсеровщину той эпохи изнутри, глазами участника движения.

Сочувствуя рядовым революционерам, способным и на подвиг, и на высокий гуманизм, и на повседневную трудную работу и борьбу («Марат», «Ночь», «Маленький комитет»), Грин в то же время беспощадно выставляет напоказ политическую аморфность, невнятицу, противоречивость позиции, а в конечном счете бессмысленность террористической деятельности эсеров девяностых годов.

В среде эсеров нет ни единомыслия, ни ясности. Комитет поручает молоденькой девушке, фанатически верящей (не убежденной, а именно верящей) в святость доктрины террора, убить местного крупного чиновника («Маленький заговор»). Но один из руководителей вопреки решению удаляет девушку из города, и покушение срывается. «Организация» показана здесь как сборище позеров и краснобаев.

В рассказах «Ксения Турпанова» и «Зимняя сказка», отражающих идейный и организационный распад партии эсеров в годы реакции («Ну, чего там? Какая еще революция? Живы и слава богу»), выведены усталые, выбитые из колен люди, постепенно забывающие то, что вело их по жизни. «Под идеалами он подразумевал необходимость борьбы за новый, лучший строй. Но представления об этом строе и способах борьбы за него делались с каждым годом все более вялыми и отрывочными» («Ксения Турпанова»).

¹ В дальнейших публикациях — «Ночь».

А между тем русскому обывателю, мещанину и мелкобуржуазному интеллигенту именно эсеровская партия со своими «эксами» и громкими покушениями представлялась наиболее революционной, поэтому в нее и устремлялись, по формуловке В. И. Ленина, «неопределенные, неопределившиеся и даже неопределимые элементы». И когда приходил час испытаний, эти люди, которым их партия не дала крепких и ясных убеждений, либо шли на смерть в полном душевном смятении, либо отступали. Эти два исхода изобразил Грин в наиболее сильных и трагичных рассказах эсеровского цикла — «Третий этаж» и «Карантин».

Трое повстанцев умирают, отстреливаясь, на третьем этаже дома, окруженного солдатами. Они вовсе не герои, а просто обыватели, увлеченные революционным вихрем. Все они охвачены животным страхом, и каждый, прежде чем умереть с криком «За свободу!» трижды внутренне отрекается и от свободы и от революции. Таков «Третий этаж».

А вот «Карантин» — повествование об отступнике. Члену эсеровской партии поручен террористический акт. Просидев положенное время в «карантине» (в полной конспиративной изоляции, чтобы затруднить жандармам поиски связей террориста), он отказывается от партийного поручения. В подтексте — бессмыслица самого поручения, более того — всей эсеровской доктрины террора и — что самое важное — полный отрыв эсеров от народа, их политическая изоляция, «карантин» в широком смысле слова.

Не следует игнорировать то, что гриновские рассказы об эсерах в известной мере развенчивали во мнении широкого читателя не только эсеровскую партию, но и революционное движение вообще. В известной мере это отражало и духовную драму самого писателя. Грин жестоко осудил партию, которой отдал четыре года жизни. Но и эсеровщина оставила в душе его свой тяжелый след. Надежда войти в борьбу осмысленную и целеустремленную оказалась тщетной. Эсеровская среда несла на себе печать мещанской ограниченности, с которой Грин сталкивался еще в родной Вятке, а идеалы эсеров оказались оторванными от народной жизни, их «мечта» не соединялась с действительностью.

В эти годы Грин на некоторое время вообще теряет веру в людей.

Ведущей темой для него становится одиночество. Появляются рассказы о непонятых одиночках — «Каюков» «Пороховой погреб»¹, «Ночлег», «Проходной двор».

Порою эта тема носит яркую социальную окраску. В одном из лучших ранних рассказов Грина трагическая гибель крестьянина Отто Бальсена, на которого случайно наткнулся ночью отряд казаков-карателей, звучит как грозный обвинительный акт самодержавию. Здесь уже человека не понимает государство — слепое орудие насилия и принуждения («Случай»).

Глазунов, герой «Ночлега», готов повеситься, лишь бы не походить на преуспевающего, самодовольного обывателя Петю. Так ироническое повествование о провинциальном неудачнике неожиданно перерастает в протест против мещанства. Протест этот истеричен и беспомощен: «Несчислимое количество Петей сидело на всех маленьких престолах земли, а Глазуновы скрывались в темноте и злобствовали.

¹ В дальнейших публикациях — «Пришел и ушел».

И хотя Глазуновы были умнее, тоньше и возвышеннее, чем Пети, последние преуспевали везде. У них были деньги, почет и женщины. Жизнь бросалась на Глазуновых, тормошила их, кричала им в уши, а они стояли беспомощные, растерянные, без капли уверенности и силы. Неуклюже отмахиваясь, они твердили: «Я не Петя, честное слово, я Глазунов!»

Но смерть, а тем более самоубийство — трагический исход, а не выход. Не деяние, а прекращение деятельности. Между тем человеку надо действовать. Однако возможность действовать в реальной современности казалась Грину ничтожной. Цивилизация навалила на каждого такой груз обязательств, расставила такую цепь ханжеских препон, что самое скромное и естественное проявление активности сулит чаще всего одни неприятности.

Пассажир ночного поезда долго колеблется, не решаясь поправить затекшую руку незнакомки, уснувшей в купе напротив него, боясь нарушить «глупую и подлую логику жизни». «Теплота ее — чужая теплота, он не имел права заботиться», «это может вызвать недоразумение и, в худшем случае, появление обер-кондуктора» («Рука»).

Попыткам вырваться из мира пассивного прозябания в мир действия и посвящено большинство рассказов Грина, написанных в 1908—1913 годах. В них писатель ищет и реальных путей. Его интересуют романтические занятия. Появляются новеллы об открывателях полюса («В снегу»), о геологах, — может быть, первый русский рассказ об этой профессии («Глухая тропа»). Но такие занятия доступны единицам, а между тем «жажда неожиданного и чудесного» живет в каждом человеке, «потребность необычного, может быть, самая сильная после сна, голода и любви», удовлетворение любопытства — одно из «двух-трех десятков основных чувств».

И герои Грина тоскуют по яркому, необычному, неведомому.

Пьяницу-рабочего охватывает «страдание и умиление перед неизвестным» («В лесу», в позднейших изданиях «Тайна леса»).

Темного мужика Ерощку будоражит изображенная на открытке фигура бравого гвардейца, которую он принимает за портрет сына-солдата, живущего, стало быть, совсем иной жизнью, чем его отец («Ерощка»).

Интеллигент переживает «смешное и трогательное волнение гуся, когда из-за досок птичника слышит он падающее с высоты курлыкание перелетных бродяг» («Воздушный корабль»).

И как мало надо человеку, любому человеку, чтобы мечта овладела им! Жалкий пароходный заяц «пассажир Пыжиков», «приятно ошарашенный и даже согретый душевно» тем, что ему разрешили ехать без билета, уже вполне подготовлен к постройке воздушного замка. И он не только в миг выстроил его, но и совершенно там обжился: «Дорогая моя, протяните ноги к камину, я прикажу ремонтировать замок» («Пассажир Пыжиков»).

Чаще всего героя, в особенности интеллигента, чиновника или начитанного рабочего, обуревают мечта об исправлении мира. Однако реальных способов «исправить» жизнь герои Грина не знают. Самый «счастливый» из них просто закрыл глаза на весь мир, кроме «любимой женщины и верного друга» — собаки. Но автора такая позиция не устраивает. Рассказ кончается ироническими словами: «Я ушел с верой в силу противодействия враждебной нам жизни молчанию и спокойствием. Чур меня! Пошла прочь!» («Человек с человеком»).

И тогда остается бунт. Доменщик Евстигней швыряет кирпич в окно, откуда, словно из другого мира, доносилась ошеломившая его фортепьянная музыка («Кирпич и музыка»). Босьяк Геннадий топчет и ломает кусты малины, заботливо возвращенные эстонцем-садовником («Малинник Якобсона»).

Бунт этот бессмыслен прежде всего потому, что обречен. Геннадия вышвыривают из чужого сада, Евстигнея прогоняют от управительского окна. Третий — строгальщик Вертлюга — погнывает, втиснутый в трансмиссию станка, прежде чем решается реализовать свое «годами копившееся отвращение к скучному и однообразному труду». Рассказ этот так и назван автором в последней редакции — «Наказанье». Но бунт бессмыслен еще и потому, что вырваться из этой жизни некуда. Сын лесника Граньки, уехавший из родной глуши, немало поездивший по Руси («Был везде. Последние два года прожил в Москве»), вроде бы отлично устроивший свою жизнь («Поступил в пивной склад заведующим. Жалованье, квартира, отопление, керосин»), бросил все и вернулся, потому что в обретенной им обеспеченности нет «смысла», «тоскаиво», «вопросы появляются». Не по нем мир «хищных, зубастых и мудрых щук, погнавшихся за иллюзией» («Гранька и его сын»).

Итак, реального пути к переустройству ненавистного российского захламленного писателем не видел, в социальные, общественные формы борьбы не верил. Где же проявить человеку свою волю к добру, где применить исполнинскую силу, которая распирает его, где раскрыть сокровищницу человеческой души (ибо «что может быть интереснее души человеческой!»)?

Вместе с героиней «Тихих будней» Грин считал, «что в великой боли и тягости жизни редкий человек интересуется чужим «заветным» более, чем своим, и так будет до тех пор, пока «заветное» не станет общим для всех, ныне же оно для очень многих — еще упрек и страдание».

Он и делал это «заветное» достоянием всех — в тех самых рассказах, о которых шла речь выше, но отлично понимал, что воздействие их на читателя значительно ослаблено, ибо герои их по большей части не делают, а лишь томятся, думают, мечтают. Грин всякий раз попадал в положение персонажа известного рассказа Эдгара По, который не мог подробно объяснить, как приятель продал ему дыхание, и сетовал, что «слишком поверхностно описал коммерческую операцию, объектом которой было нечто столь неосозаемое».

Для того, чтобы герои начали действовать, следовало поместить их в исключительные обстоятельства. И Грин сделал этот шаг — увел действующих лиц в выдуманную «Гринландию». Бесспорно, не сделай он этого, не развернулись бы не только его герои, но его собственное дарование не обрело бы той необходимой доли самобытности, без которой невозможно ни одно крупное литературное явление.

2

Все упомянутое выше написано Грином, так сказать, «в реалистическом ключе». Сам он называл эту часть своих сочинений более осторожно — рассказами, «действие которых происходит в России».

Чтобы перенести действие в «Гринландию», понадобилось не

только изменить имена действующих лиц и названия мест, но и всю поэтику перевести в ключ романтический.

Босьяк Пыжиков выстроил воздушный замок в воображении. Оби-татель «Гриландии», герой рассказа «Имение Хонса», разбогатевший на темных махинциях, выстроил такой замок на самом деле.

Хонс заявляет: «Я открыл истину спасения мира» — и реал-изует свое открытие — его замок оборудован в соответствии с теорией, по которой из обихода должно быть изгнано «все, что напоминает мрак». В имении все окрашено в светлые тона, даже растения в саду подобраны так, чтобы «нежноцветущая земля без малейшего тёмного пятнышка производила восхитительное впечатление».

Пыжиков, разнежась на пароходе, ведет себя как жалкий пошляк — заводит интрижку с пассажиркой из гулящих, и его в конце концов ссаживают на первой пристани. Хонс, в соответствии с воз-росшими возможностями, затевает ночью, тайком от приятеля, ко-торому он днем развивал свои идеи «смягчения душ человеческих», безобразнейшую оргию.

Перед нами тот же Пыжиков, дай ему волю. Проблема пошлости и ничтожества та же, что и в реалистическом рассказе, но гипербола, преувеличение, выпуклость, стереоскопичность нарисован-ного автором придают идее покоряющую и заражающую убедитель-ность.

«Пассажир Пыжиков» будит чувство шемящего уныния, «Имение Хонса» — сарказм. Пыжиков — пошляк, Хонс — воплощение самой пошлости, идеи о пошлости.

В одном из рассказов Грин дал в негативной форме определение романтического метода. Герой, реалист, практик, говорит о себе: «Я — человек, абсолютно лишенный так называемого «воображения», то есть способности интеллекта переживать и представлять мыслимое не аб-страктными понятиями, а образами» («Рассказ Бирка»).

«Гриновское» в творчестве Грина опирается на воображение автора и... читателя. Второе, собственно, не менее важно.

Но воображение Грина, его безудержная фантазия на проверку оказывается теснейшим образом связанной с действительностью. «Мыслимое» — то есть идеи об окружающем мире, которые затем воплощались в образы и характеры его романтических книг, — рож-далось у писателя из повседневности, из буден поденно-журналист-ской работы, которую он не прекращал до начала двадцатых годов¹.

У Грина был учитель и друг из числа больших русских писателей начала XX века — Александр Иванович Куприн. Дружба с Купри-ным, начавшаяся в 1908 году и длившаяся до самого его отъезда в эмиграцию, к сожалению, пока почти не прослежена ни мемуаристами, ни критиками. Между тем именно Куприн, всегда окруженный мно-жеством литераторов и журналистов, ввел Грина в эту среду и обра-тил на него внимание редакторов и издателей всевозможных ежене-дельников, двухнедельников, ежемесячников и альманахов. По книж-ной продукции конца 900-х и 10-х годов нетрудно установить появле-ние имени Грина почти во всех изданиях, где печатался А. И. Куприн.

¹ За эти годы (1906—1921) Грин печатался в 65 русских перио-дических изданиях, в пятнадцать из них был в разное время посто-янным сотрудником по несколько лет (среди них «Огонек», «Новый журнал для всех», «Петроградский листок», «Всемирная панорама», «Аргус», «Новый сатирик», «Летучие альманахи», «20-й век»).

В эти годы Куприным созданы многие из его наиболее политически острых произведений. В «Штабс-капитане Рыбникове» (1905), «Гамбринусе» (1906) картины обывательской России написаны широко и беспощадно. Куприн часто в ту пору шел в оценке событий гораздо дальше, был куда радикальнее своего молодого друга (стоит сравнить тот же «Гамбринус» с гриновскими рассказами эсеровского цикла, как разница эта станет совершенно ясна). Но в том, что Грин на протяжении по крайней мере первых пятнадцати лет своей литературной работы неизменно оставался пристальным наблюдателем русской действительности, откликаясь на важнейшие события политической и культурной жизни, заслуга А. И. Куприна несомненна. У Грина были свои пристрастия в современности. Так, его постоянно привлекали новости науки и техники. Именно Грин был, вероятно, первым русским беллетристом, уделявшим столько внимания кинематографии («Она», «Волшебный экран», «Как я умер на экране» и первый в русской литературе рассказ о фронтовом кинорепортаже — «Забытое», опубликованный уже в начале октября 1914 года).

Известно, что «Авиационная неделя» 1910 года послужила для Грина толчком к написанию романтического рассказа «Состязание в Лиссе», а затем романа «Блестящий мир». Но уже в 1912 году Грин опубликовал реалистический рассказ о состязании пилотов и к тому же самым его названием впервые ввел в литературу слово «летчик», до того бытовавшее лишь в жаргоне русских авиаторов («Летчик Киршин», в позднейшей публикации «Тяжелый воздух»).

Он же написал маленький рассказ о современном Дон-Жуане, к которому убитый соперник является в образе голоса на граммофонной пластинке («Таинственная пластинка»). И т. д. и т. д., вплоть до того, что в одном из фантастических рассказов Грина описана... пластмасса за много лет до ее появления в нашем обиходе (из нее сделаны волшебные карты в «Клубном арапе»).

И как раз на годы наиболее активного участия Грина в повременной прессе приходится расцвет его новеллистики. За это время он выпустил десять книг, объединив в них (за исключением двух: «Шапки-невидимки» и «Знаменитой книги») в основном романтические рассказы — и среди них почти все, что приобрело впоследствии наибольшую популярность. Именно в эти годы его герои, «гринландцы», решали для себя (и для автора!) проблемы, занимавшие их прототипов в России, искали пути к счастью и боролись со злом.

Для этих поисков, для этой борьбы они в отличие от своих романтических собратьев из «русских» рассказов Грина обладали силой и полем деятельности.

Поначалу Грину, обремененному грузом неизжитых эсеровских иллюзий и босяческой романтики, казалось, что стоит сильному человеку, герою, презрев толпу, порвать со своей средой — и задача решена.

В «Гринландин» это сделать легко.

Ведь если пошляку Хонсу ничего не стоило возвести сказочное имение, окрашенное в светлые акварельные тона, то и разочарованному Горну («Колония Ланфиер») нетрудно высидеть где-то в тропиках и попытаться осуществить в XX веке робинзонаду. И в отличие от скромной русской девушки Евгении, которую безнаказанно оскорбляют обыватели («Тихие будни»), Грин, не задумываясь, защищает свое достоинство оружием, отстреливаясь от тупых и злобных коло-

нистов,— в «Гринландии» это можно. Таков был первый из путей к счастью — воинствующее одиночество.

Это уход — индивидуалистическая попытка порвать с обществом, и Грин в нескольких произведениях скрупулезно исследует возможности и препятствия к достижению счастья на этом пути.

Но у этой медали страшная обратная сторона. Уйти от людей безнаказанно не дано никому. В человеческом общении каждый связан с другими сетью социальных и этических обязательств. Уйти можно, только порвав эту сеть, поставив себя вне общества, став отщепенцем.

Среди «ушедших» есть люди, симпатичные автору, такие, как чиновник казенной палаты Петр Шильдеров, который оставил дом и стал Диасом — проводником в Андах («Далекий путь»), или Плэнар («Система мнемоники Атлея»), или безобидный кузнец Пенкаль («Лунный свет»); есть равнодушные к людям эгоцентристы вроде Ромелинка («Смерть Ромелинка»), Рэга («Синий Каскад Теллур») или Галиена Марка («Возвращенный ад»); есть, наконец, воинствующие мизантропы. Некоторые из этих последних выступают уже сложившимися негодяями,— таков убийца Блюм, профессиональный специалист по «мокрому» делу, которого используют для покушений неразборчивые в своем фанатизме террористы («Трагедия плоскогорья Суан»). Другие на наших глазах проходят путь от опынения свободой и одиночеством до сознательного отщепенства — таковы упомянутый выше Горн и «русский эмигрант» Баранов («Дьявол Оранжевых вод»).

Объединенные центробежным стремлением от людей, все они, однако, ищут разного, и автор провожает каждого до самого конца избранной им дороги.

Одни стремятся в природу.

С поразительной силой убеждает нас Грин в неоспоримых преимуществах леса, гор, моря, реки перед любым человеческим поселением. Не мудрено, что природа пьянит матроса Тарта («Остров Рено»), юношу Эли Стара («Пугь»), кузнеца Пенкаля или Горна, потевшего любимую женщину.

Других зовут путешествия, дальние страны. Таков Ромелинк.

Третьих увлекает самая потребность действовать, «жить напряженной жизнью». Рэг ради удовлетворения этой потребности проникает в зачумленный город, охотник Астарот сдерживает в горном проходе натиск целой вражеской армии («Зурбаганский стрелок»), юнга Аян преодолевает смертельную опасность, стремясь во что бы то ни стало вернуться в море, на пиратскую шхуну «Фитиль на пороже». Заканчивая повествование о нем («Пролив бурь»), автор патетически восклицает: «Он счастлив — не мы!»

Но так ли это? В самом ли деле счастлив Аян и все «уходящие»?

С беспощадностью аналитика Грин доказывает: нет.

Юнга Аян, вернувшись, застает на шхуне только умирающего штурмана: после смерти капитана команда передралась и в живых не осталось никого, кроме отсутствовавшего и потому счастливо уцелевшего Аяна. Начало ссоры описано в рассказе, и читателю совершенно ясно, что если Аян и «счастливее, чем мы», то ненамного. Волчий закон — право сильного — существует и в «Гринландии».

Такой конец постигает по-своему почти всех героев «ухода». Без людей нет жизни даже беглому каторжнику Ивлету («На склоне холмов»). Он похищает самого командира карательного отряда, только

чтобы поговорить с живым человеком, ибо «еще месяц такой жизни — и я повешусь от скуки». Другой «ушедший», Баранов, и в самом деле кончает с собой от тоски. Третий, Рэг, вынужден признаться, что счастье его «холодное».

А журналист Галиен Марк, который был избавлен мозговым заболеванием от мучительной «пытки сознания», преследующей цивилизованного человека, и «ослеп для многих вещей, понятных изощренной душе и неуловимых ограниченному, скользкому вниманию», то есть обрел, в сущности, желанную свободу от «тесной, кропотливой связи с бесчисленностью мировых явлений»? Недолго довольствовался он прелестью этого эгоистического рая примитивных ощущений, где не тревожат тебя ни настроение, ни мысль, и с облегчением «вернулся к старому аду — до конца дней» («Возвращенный ад»).

Нет, «уход» не способ найти счастье. И Грин, как во многих других случаях, завершает поиск насмешливым аккордом. В одном из последних рассказов, посвященных этой теме, «Капитан Дюк», изображен «уход наоборот» — веселая история о том, как прожженный морской волк безуспешно пытался замазывать грехи, удаляясь для этого в секту «Голубых братьев»...

Да и вообще нет счастья тем, кто его ищет для себя. Это простую истину Грину долго мешала постичь жестокая российская действительность и его собственная трудная биография. Но талант его, от природы гуманистический, развернулся, только когда он нашел героя, живущего для других. Лучшее из написанного Грин — об этом. Герои, устремленные к людям, сопровождали прозу Грина с самого начала. Это и робкий ночной пассажир из рассказа «Рука», и общительный Ерощка из одноименного рассказа, и даже подвыпивший моряк, запустивший в жену утюгом из «Наследства Пик-Мика», он ведь сделал это по любви, от полноты чувств! Выводя героев на романтические просторы, писатель до конца использовал преимущества «Гринландии» перед всеми странами реального мира. В сущности, пафос творчества Грина и состоит в утверждении исполинской силы и безграничных возможностей человека, — дай ему волю творить добро!

Гриновская галерея добрых исполнителей бесконечно разнообразна, однако всех их роднит одно общее качество — человечность. Их сила не животная сила. Перед нами всегда либо сила воли, сила разума, либо сила чувства.

Изобретатель Жиль, чтобы заработать на опыты, обошел пешком вокруг света, а когда ему не заплатили, пошел второй раз («Вокруг света»)!. Его вела одержимость — одно из самых высших человеческих качеств.

Леона Штриха, у которого умирала жена, горе провело по воде, как посуху («Огонь и вода»).

Вместе с Астаротом, зурбаганским стрелком, оборонял горный проход от врага разочарованный в жизни меланхолик Валуэр. Подвиг вдохнул в него силу.

В нескольких рассказах, написанных в разное время, Грин возвращался к теме борьбы с произволом богачей, всякий раз противопоставляя их бесчеловечным причудам и капризам смелость, стойкость, волю, в конечном счете силу духа («Львиный удар», «Лабиринт» и др.).

Все гриновские силачи — обыкновенные люди, обыкновенные жители необыкновенной «Гринландии». Сила их в том, что их ведут на подвиг истинно человеческие качества: честность, бескорыстие, талант, любовь, одержимость. В этом нравственное значение прозы Грина, она будит в людях то самое «чувство высокого», о котором так хорошо писал К. Паустовский.

В 1914—1916 годах Грин много пишет о войне.

В «Гринландии» война так же ужасна и бесчеловечна, как и в любой реальной стране. Художник в разрушенном городе узнает о суждениях, которые сошли с ума после гибели детей, и задумывает картину об этом. «Ему казалось, что все бедствия, вся скорбь войны могут быть выражены здесь, воплощены в этих фигурах...» Но то, что он узнал, — выдумка гнусных мародеров, которые пытались, спекулируя на его чувстве, заманить и ограбить его. Выяснив это, художник с облегчением оставляет свой замысел. «Кто из нас не отдал бы всех своих картин, не исключая шедевров, если бы за каждую судьба платила отнятой у войны невинной жизнью» («Баталист Шуан»).

Но это лишь мечта. На самом деле война уносит сотни тысяч жизней и сводит с ума целые города. Так, сошел с ума город, разрушенный воздушным налетом («Желтый город»), покончило с собой в ужасе население целого острова, только узнав, что ему угрожает война («Отравленный остров»). И лишь народам, не развращенным цивилизацией, доступны благородные решения военных конфликтов: в миниатюре «Поединок предводителей» вожди двух племен решают спор единоборством, проявляя при этом силу духа, свойственную лучшим из жителей «Гринландии». В поединке они погибли оба, но народы их объединились. И в этом — сила мечты самого Грина.

Ею отмечены наиболее значительные произведения писателя.

Вл. Р оссе льс

ПРИМЕЧАНИЯ

При жизни Грина было две попытки издать собрание его сочинений. В 1913 году издательство «Прометей» в Петербурге выпустило трехтомник, включив в него 24 рассказа писателя. Затем, в конце 20-х годов, издание «Полного собрания сочинений» предпринял владелец частного издательства «Мысль» И. В. Вольфсон. Предполагалось выпустить пятнадцать томов по 10—12 авторских листов, вышло же всего восемь. В них были включены «Алые паруса», «Золотая цепь» и около 100 рассказов. Девятый том вышел уже после ликвидации «Мысли» в издательстве «Федерация» под названием «Огонь и вода» (Л., 1930). Оглавления шести невышедших томов сохранились (ЦГАЛИ). Проспект издания составлял автор, и отбор произведений, несомненно, выражает авторскую волю. Он и был положен в основу настоящего собрания сочинений А. С. Грина¹, подготовленного при участии вдовы писателя, Н. Н. Грин. Оно является наиболее полным и включает четыре романа, «Алые паруса», «Автобиографическую повесть» и 180 рассказов, в том числе 56 произведений, не входивших в сборники.

Для отдельных изданий Грин подбирал свои рассказы тематически. Так, посылая директору издательства «Земля и фабрика» «список рассказов, могущих быть включенными в книги», он писал: «...я располагаю их по группам, придерживаясь их внутренней одноцветности»,— и дальше характеризовал каждую из групп: «...эта группа передает настроения сильных натур, поставленных в исключительные обстоятельства», или: «...это рассказы о странных характерах», или: «фантастические рассказы» и т. п. (ИМЛИ). Так же расположен материал и в издании «Мысли».

Однако при подготовке настоящего собрания сочинений от этого принципа пришлось отказаться, так как на протяжении своей творческой жизни Грин неоднократно переиздавал многие рассказы, вклю-

¹ Все свои сочинения, за редчайшими исключениями, Грин подписывал только так, а не «Александр Грин» или «А. Грин». Поэтому именно такая форма написания принята в нашем издании на титульных листах и переплете.

чая их по разным признакам в различные тематические группы. В основу настоящего издания положен принцип жанрово-хронологический, причем весь материал расположен в основном в порядке появления произведений в печати (разумеется, кроме тех случаев, когда известна дата написания). Датировка наследия Грина крайне сложна. Сам он редко датировал свои произведения, а печатался на протяжении своей литературной деятельности более чем в ста периодических изданиях. Наследие его библиографически описывается лишь в самое последнее время, работа эта еще не закончена, и даты первых публикаций установлены еще не для всех рассказов Грина.

К сожалению, последние прижизненные издания, и в особенности собрание сочинений, выпущенное «Мыслью» (1927—1929), далеко не всегда могут быть приняты как основной текст. Издание «Мысли» выходило, в сущности, без наблюдения самого Грина: он жил в эти годы в Феодосии, лишь изредка наезжая в Ленинград, и корректуры не держал, многие рассказы, включенные в собрание тоже напечатаны с ранних публикаций, без учета позднейшей правки автора, и изобилуют опечатками. Для настоящего издания канонический текст каждого произведения пришлось устанавливать впервые, и здесь, конечно, возможны неточности. Сверка со всеми прижизненными публикациями, а также с беловыми автографами (если они сохранились) не только дала возможность выявить множество опечаток, искажений и купюр (в том числе и цензурного характера), но и показала, что некоторые произведения бытовали при жизни автора в двух и более самостоятельных редакциях.

Грин часто перепечатывал одни и те же рассказы под разными названиями. В каждом подобном случае приходилось выбирать, под каким заглавием следует включить рассказ в собрание сочинений, ибо подчас перемена вызывалась случайными причинами нелитературного характера, и потому не всегда последняя прижизненная публикация может служить здесь опорой. Так случилось, например, с «Именем Ханса». Издательство «Мысль», не спросив автора, опубликовало рассказ под заглавием «Именем Ханса», и даже в тексте имя героя было соответствующим образом изменено.

В примечаниях к настоящему изданию указывается место и время первой публикации произведения, а если известно, то год его написания и текст, по которому оно печатается. Если указаний на источник нет, значит, текст взят из собрания сочинений издательства «Мысль».

В ИТАЛИЮ. Впервые опубликовано в газете «Биржевые ведомости» (в газете, очевидно, ошибочно: «В Италии») от 5/18 декабря 1906 года (веч. выпуск).

Печатается по сб. «Шалка-невидимка», СПб., 1908.

«В Италию» — первый легальный рассказ А. С. Грина. До этого, помимо революционных прокламаций, им были написаны «Заслуга

рядового Пантелеева» и «Слон и Моська». О последнем рассказе известно только, что он был создан летом 1906 года, сдан в типографию, но не был напечатан. Рукопись не найдена.

Рассказ «В Италию», по воспоминаниям В. П. Калицкой (первая жена А. С. Грина), написан осенью 1906 года.

СЛУЧАЙ. Впервые — в газете «Товарищ» от 25 марта (7 апреля) 1907 года. Под этим рассказом впервые появляется подпись «А. С. Грин».

В 1915 году в журнале «20-й век», № 4, рассказ появился в новой редакции, под названием «Прусский разъезд». Действие перенесено в Польшу, имена героев изменены, социальный мотив резко приглушен, вместо казачьего патруля действует немецкий: сказались требования буржуазного шовинистического еженедельника.

Печатается по сб. «Шапка-невидимка».

МАРАТ. Впервые — в журнале «Трудовой путь», № 5, 1907. Печатается по сб. «Шапка-невидимка».

«*Меж высоких хлебов загаялось...*» — стихотворение Н. А. Некрасова «Похороны», ставшее народной песней. Стихи цитированы Грином по памяти, текст и размер первого куплета песни им несколько изменены.

Кекуок — танец американских негров, вошедший в моду в Европе и Америке в начале XX века.

НОЧЬ. Впервые — в журнале «Трудовой путь», № 6, 1907. В сб. «Шапка-невидимка» опубликован под названием «Подземное».

Печатается по книге: Аникив С. «Шпик». А. С. Грин «Ночь». М., 1916.

По воспоминаниям В. П. Калицкой в рассказе описана история провокатора, стоявшего во главе саратовской организации всеров.

ПСР — партия социалистов-революционеров (эсеры).

Уварис — рабочий (фр.).

«Кавказ и Меркурий» — русское судоходное общество начала XX века.

Бен Акиба (Акиба Бен Иосиф) — выдающийся еврейский ученый и политический деятель (I век н. э.).

АПЕЛЬСИНЫ. Впервые — в газете «Биржевые ведомости» от 24 июня (7 июля) 1907 года (утр. выпуск).

Печатается по сб. «Шапка-невидимка».

Рассказ автобиографичен. В 1905 году к Грину в феодосийскую тюрьму несколько раз под видом невесты приходила незнакомая девушка.

Герц (Герц), Фридрих Отто (род. 1878) — австрийский социал-демократ, экономист, ревизионист марксизма; его труды были настольными книгами эсеров.

НА ДОСУГЕ. Впервые — в газете «Товарищ» от 20 июля (9 августа) 1907 года.

Печатается по сб. «Шапка-невидимка».

В 1903—1905 годах Грин, сидя в севастопольской тюрьме, с нетерпением ждал писем от уехавшей в Швейцарию эсерки Екатерины Александровны Бибергаль, бывшей студентки Высших женских курсов (Бестужевских), с которой он познакомился в Севастополе (см. о ней «Автобиографическую повесть»).

ЛЮБИМЫЙ. Впервые — в газете «Биржевые ведомости» от 18 ноября (1 декабря) 1907 года (утр. выпуск).

Печатается по сб. «Шапка-невидимка».

КИРПИЧ И МУЗЫКА. Вошел в сб. «Шапка-невидимка». Рассказ написан не позднее 1907 года, так как о выходе сборника газета «Наш день» сообщила 4 (17) февраля 1908 года.

Рассказ публиковался также под названием « Столкновение ».

Анансеким — от аннанэсегим (татарское бранное слово).

Галах — пьяница, забуддыга.

Зимогор — бродяга, босяк.

ГОСТЬ. Вошел в сб. «Шапка-невидимка». Написан не позднее 1907 года.

Печатается по этому сборнику.

КАРАНТИН. Вошел в сб. «Шапка-невидимка». Написан в 1907 году.

Печатается по сб. «Шапка-невидимка».

Рассказ автобиографичен. Летом 1903 года Грин был отправлен на карантин под Тверь для того, чтобы полиция не могла установить круг его знакомств. В дальнейшем предполагалось использовать Грина для террористического акта. Но он, как и герой рассказа, отказался выполнить задание.

Эсдеки — социал-демократы, члены партии РСДРП.

«Революционная Россия» — газета эсеровской партии.

Освобожденные — буржуазные либералы, группировавшиеся во круг журнала «Освобождение» (1902—1905), издававшегося в эмиграции под редакцией П. Б. Струве.

Штирнер, Макс (псевдоним Каспара Шмидта, 1806—1856) — немецкий философ-идеалист, идеолог анархизма.

РУКА. Впервые — в газете «Биржевые ведомости» от 3(16) февраля 1908 года.

Печатается по газетной публикации.

«ОНА». Впервые — в сокращенном виде под названием «Игра света» в газете «Наш день» от 18 февраля (2 марта) 1908 года. Пер-

вая полная публикация в «Литературно-художественном альманахе», СПб., изд. «Прибой» № 1, 1909.

Печатается по «Знаменитой книге», Пг., 1915.

В газетной публикации после слов «Поплыл тягучий, долгий звон, усилился, стих и замер» следовало:

«И долго, целый час после этого, не оживал в игре света экран маленького театра. А потом снова, мелко и бессильно, задребезжал колокольчик, вздрагивая и умирая тупым зовом в осенней мгле».

ТРЕТИЙ ЭТАЖ. Впервые — в еженедельнике «Неделя «Современного слова» № 1, 1908.

Печатается по сб. «История одного убийства», М.-Л., изд. 2-е, 1927.

Начиная с издания «Рассказы», том 1, СПб., изд. «Земля», 1910 год, рассказ публикуется с посвящением Науму Яковлевичу Быховскому.

ЛЕБЕДЬ. Опубликовано в еженедельнике «Неделя «Современного слова» № 7, 1908.

Печатается по списку, правленному рукой А. С. Грина (ЦГАЛИ).

ИГРУШКА. Опубликовано в «Неделе «Современного слова» № 14, 1908.

Печатается по тексту еженедельника.

МАЛЕНЬКИЙ КОМИТЕТ. Впервые — в «Неделе «Современного слова» № 20, 1908.

Печатается по книге «История одного убийства», М.-Л., изд. 2-е 1927.

Рассказ автобиографичен. В сентябре 1903 года Грин по поручению партии эсеров приехал в Севастополь для агитации среди флотских экипажей и солдат крепостной артиллерии. Здесь он познакомился с Екатериной Александровной Бибергаль. (См. примечание к рассказу «На досуге».)

Бакунин М. А. (1814—1876) — русский революционер, один из идеологов анархизма.

Лавров П. Л. (1823—1900) — русский социолог и публицист, идеолог революционного народничества.

ЕРОШКА. Впервые — в газете «Маяк» от 2 (15) октября 1908 года, затем с искажениями в журнале «Солнце России», № 19, 1913.

Печатается по тексту газеты «Маяк».

МАТ В ТРИ ХОДА. Впервые — в журнале «Бодрое слово», № 4 (декабрь), 1908.

В дальнейшем рассказ неоднократно перепечатывался в периодических изданиях со множеством искажений и опечаток.

Печатается по первой публикации.

МАЛЕНЬКИЙ ЗАГОВОР. Впервые — под названием «История одного заговора» в «Новом журнале для всех», № 4 (февраль), 1909. Печатается по «Знаменитой книге».

КОШМАР. Впервые — в газете «Слово» от 1 (14) и 8 (21) марта 1909 года.

Печатается по «Знаменитой книге».

ОСТРОВ РЕНО. Впервые — в «Новом журнале для всех», № 6 (апрель), 1909.

«Остров Рено» А. С. Грин считал по-настоящему первым своим рассказом.

Критика довольно высоко оценила рассказ. Так, А. Горифельд в журнале «Русское богатство» (март, 1910) писал: «Превосходный тропический пейзаж, втягивающий вас в свой безумный пьяни-тельный мир, говорит, что это могло быть: мы понимаем душу Тарта, понимаем, как затянула его новая жизнь, беспредельная, неподвижная и стремительная: нужны еще черточки; надо, чтобы мы уверились, что это не только могло быть, но и было: и конкретные бытовые де-тали — подтяжки капитана, брань матроса, название городка на да-лекой родине — переносят рассказанное из мира фантастики в мир дей-ствительности. Новой жизни ищет Тарт. Все герои Грина ищут...»

Другой критик, Л. Войтоловский, свою статью заключает слова-ми: «Может быть, этот воздух совсем не тропический, но это новый, особый воздух, которым дышит вся современность — тревожная, душная, напряженная и бессильная. И даже, наверное, это совсем не приметы тропических лесов, лиан и водопадов, но все это точные приметы писателя, по которым сразу узнаешь его лицо. Ибо это лицо неподдельного таланта» (газ. «Киевская мысль» 24 июня 1910).

Штирборт — правый по движению судна борт.

Клипер — быстроходное парусное судно.

Штаг — снасть стоячего такелажа, удерживающая мачты, стеньги, бушприт.

Ванты — оттяжки из стального или пенькового троса, служащие для бокового крепления мачт.

Гафель — брус, наклонно укрепленный в верхней части мачты, служит для крепления верхней кромки паруса.

Лисель — парус, поднимаемый при слабом ветре.

Шкот — снасть, служащая для управления парусом.

Брашпиль — лебедка для выбирания якоря.

Фал — снасть, служащая для подъема рей, косых парусов, флага.

Макао — азартная игра в карты или в кости, основанная на сов-падении или несовпадении числа очков у играющих.

ВОЗДУШНЫЙ КОРАБЛЬ. Впервые — в журнале «Всемирная панорама» № 2, 1909.

Публикуется по книге «Рассказы», том I, СПб., «Земля», 1910.

Стихотворение М. Ю. Лермонтова Грин привел по памяти, не точно.

ШТУРМАН «ЧЕТЫРЕХ ВЕТРОВ». Впервые опубликован (с опечаткой в названии: «Штурм «Четырех ветров») в газете «Слово» от 31 мая (13 июня) 1909 года.

Принайтовлснная бочка — т. е. привязанная (от слова *найтов* — веревка, трос, которым связывают один или несколько канатов, а также крепят подвижные предметы).

Бизань — самый задний косой парус.

ПРОИСШЕСТВИЕ В УЛИЦЕ ПСА. Впервые — в газете «Слово» от 21 июня (4 июля) 1909 года.

Печатается по книге «Происшествие в улице Пса», Пг., 1915.

НОЧЛЕГ. Впервые — в журнале «Всемирная панорама», № 21, 1909.

В 1916 году Грин написал другой вариант рассказа, под названием «Конец одного самоубийцы», но, готовя полное собрание сочинений, вернулся к первой редакции.

ЦИКЛОН В РАВНИНЕ ДОЖДЕЙ. Впервые — под названием «Циклон» — в журнале «Всемирная панорама», № 36, 1909.

Печатается по «Знаменитой книге».

ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙСТВА. Впервые — в книге «Рассказы», том 1, СПб., изд. «Земля», 1910.

Рассказ был написан не позднее 1909 года, т. к., по данным «Бюллетеня книжных новостей», выпуск XIV, книга вышла 10 марта 1910 года.

Печатается по сб. «История одного убийства», М.-Л., изд. 2-е, 1927.

КОЛОНИЯ ЛАНФИЕР. Впервые — в «Новом журнале для всех», № 15 (январь) 1910.

Барк — большое парусное судно, у которого задняя мачта снабжена только косыми парусами.

Дурианги — плоды дерева, распространенного в Южной Индии и на Малайях.

Тиара — корона римского папы.

Митральеза — старинное многоствольное оружие.

ТАЙНА ЛЕСА. Впервые — под названием «В лесу» (с подзаголовком «Очерк») в журнале «Вселенная», № 2, 1910.

Печатается по «Знаменитой книге».

ИМЕНИЕ ХОНСА. Впервые — в журнале «Весь мир», № 8 (февраль) 1910.

Публиковался также под названием «Море блаженства».
Печатается по книге «Загадочные истории», Пг., 1915.

РАССКАЗ БИРКА. Впервые — под названием «Рассказ Бирка о своем приключении» в журнале «Мир», № 4, 1910.

Картуш, Луи (ум. 1721) — знаменитый парижский разбойник.
Ринальдини, Ринальдо — герой разбойничьего романа Х. Вульфнуса — синоним романтического разбойника.

ПРОЛИВ БУРЬ. Впервые — в «Новом журнале для всех», № 20 (июнь) 1910.

Выбленки — концы тонкого троса, укрепленные поперек вант на подобие ступенек.

Форштевень — массивная часть судна, являющаяся продолжением киля и образующая носовую оконечность.

Фордевинд — курс судна, совпадающий с направлением ветра.

Пиллерс — деревянная или металлическая стойка, поддерживающая палубу судна.

Тимберс — деревянный брус (преимущественно кривых профилей), идущий на изготовление шпангоутов.

Галс — курс судна относительно ветра.

Брасопить — поворачивать (от слова «брас» — снасть, укрепляемая на концах реи и служащая для поворота последней в горизонтальной плоскости).

Фок — нижний прямой парус на передней мачте корабля.

Бегучий такелаж — оснастка корабля.

Торнадо — ураган в тропических странах.

Русленя — узкая площадка, находящаяся на высоте верхней палубы снаружи борта судна, на котором укрепляются ванты.

ЗАСЛУГА РЯДОВОГО ПАНТЕЛЕЕВА. Первый рассказ Грина. Написан летом 1906 года и издан за подписью А. С. Г. осенью того же года в качестве агитброшюры для солдат-карателей. Весь тираж был конфискован в типографии и сожжен полицией. Автор до самой смерти считал свое первое произведение погибшим, однако в 1960 году один экземпляр брошюры был найден в материалах «Отдела вещественных доказательств Московской жандармерии за 1906 г.» (ЦГАОР).

Печатается по архивному экземпляру с исправлением явных опечаток.

Владимир С ан д л е р

СОДЕРЖАНИЕ

В. Вихров. Рыцарь мечты	3
-----------------------------------	---

РАССКАЗЫ 1906—1910

В Италию	37
Случай	46
Мараз	54
Ночь	67
Апельсины	85
На досуге	93
Любимый	98
Кирпич и музыка	103
Гость	116
Карантин	121
Рука	153
«Она»	158
Третий этаж	170
Лебедь	179
Игрушка	186
Маленький комитет	191
Ерошка	197
Мат в три хода	202
Маленький заговор	208
Кошмар	239
Остров Рено	250
Воздушный корабль	272
Штурман «Четырех ветров»	278
Происшествие в улице Пес	283

Ночлег	288
Циклон в Равнине Дождей	293
История одного убийства	299
Колония Ланфиер	315
Тайна леса	367
Имение Хонса	374
Рассказ Бирка	380
Пролив бурь	395

ПРИЛОЖЕНИЕ

Заслуга рядового Пантелеева	431
Дореволюционная проза Грина. <i>Вл. Россельс</i>	445
Примечания	454

А. С. Гриф.
Собрание сочинений в 6 томах.
Том I.

Подготовка текста
Вл. Россельса.

Оформление художника
Е. Казакова.

Технический редактор
А. Шагарина.

Подп. и печ. 21/IX 1965 г. Тираж 463 000 экз.
Изд. № 1725. Зак 1974. Форм. бум. 84×108¹/₃₂.
Физ. печ. л. 14,5 + 5 вкл. иллюстраций.
Условных печ. л. 24,29. Уч.-изд. л. 26,33.
Цена 90 коп.

Ордена Ленина типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина. Москва, А-47,
улица «Правды», 24.

